

Н О В Ы Е
М И Р

7

Н О В Ы Е
М И Р

1958

7

=====

1958

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 7

Июль, 1958 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕФИМ ДОРОШ — Два дня в Райгороде	3
А. ТВАРДОВСКИЙ — Из лирики разных лет	28
АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ — Две тысячи метров над уровнем моря, повесть	38
И. ЛИСНЯНСКАЯ — Бал на нефтяных камнях. Город. Повитель. Гости-ница, стихи	134
ВЛ. СЕМЕНОВ — Два стихотворения	137
БОРИС ШУМИЛОВ — Стихи комбайнера	139
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Первое знакомство. Из зарубежных впечатлений	142
ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА	
С. К. ПОТТЕККАТТ — Маленькая хозяйка. Перевели с языка малайялам Чандра Сэккер и В. Ефанова. ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ — Чудеса и чудотворцы. Перевел с арабского К. Юнусов. ХИЛЬМИ ОЗГЕН — Надгробное слово. Перевел с турецкого Р. Фиш	182
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
С. МАРШАК — Заметки о мастерстве	195
ПУБЛИЦИСТИКА	
Я. ТАВРОВ — Дальневосточные записи	211
П. ПОДЛЯШУК — Мастерской из Дорогомилова. (К сорокалетию ВЛКСМ)	224
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	239
Л. Черкасский. Поэзия борьбы. — В. Якунин. Плодотворная встреча.	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
А. ДЕРМАН — Воспоминания о В. Г. Короленко	249
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	260
Михаил Светлов. Первая книга молодого поэта.— И. Питляр. Испытание временем.— Л. Михайлова. В поисках неведомых сокровищ.— Т. Трифонова. Хозяева жизни.— В. Блок. Живой Вахтангов.	
<i>Политика и наука</i>	273
А. Середа. Дружба, скрепленная кровью.— Кандидат исторических наук В. Попов. Американская петля над Азией — Кандидат юридических наук А. Спекторов. В странах Арабского Востока.— Кандидат филологических наук З. Гершкович. Прошлое русской периодической печати.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЕФИМ ДОРОШ

★

ДВА ДНЯ В РАЙГОРОДЕ

Из деревенского дневника

Апрель, 1958.

Несколько дней назад, часу в десятом вечера, явился ко мне вдруг Андрей Владимирович, давнишний мой приятель и в некотором роде сосед — из окон нашей квартиры на третьем этаже, если смотреть в сторону парка, принадлежавшего некогда грузинским царевичам, хорошо виден в просветах между редкими липами провинциальный зеленый забор, за которым и стоит среди яблонь и вишен рубленый дом Андрея Владимировича...

Пожалуй, только в современной Москве, скраины которой так быстро застраиваются многоэтажными домами, можно встретить в близком соседстве великолепную перспективу асфальтированных кварталов и проступившую из-под грязного снега смятую травку на обочине булыжной мостовой, уходящие в небо светлые плоскости стен и тяжеловатый узор пряничных уздных наличников, жесткую геометрию кранов и вялый утренний дым из трубы, запутавшийся в мокрых ветвях голого сада. Весной в этом саду пахнет отсыревшим, слежавшимся листом, посреди лета в высокую и горячую траву падают крепкие незрелые яблоки, а зимними вечерами на снегу между деревьями лежат розовые, фиолетовые и зеленые отсветы неоновых реклам, сияющих на высоких фасадах и крышах окрестных домов.

Когда я бываю у Андрея Владимировича, в этом саду, в темноватых комнатах просторного дома с их коричневыми бревенчатыми стенами и ослепительно белыми окнами, на которых топорщатся накрахмаленные занавески, мне всегда чудится, будто я уехал из Москвы в командировку. Такие дома, где избяная простота сочетается с предметами культурного обихода, остались только в небольших старых городах срединной России.

Некрашенные полы здесь по деревенскому обыкновению моют с дресвой. Холщовое вышитое полотенце с домодельным кружевом висит на деревянном тычке. Над письменным столом укреплен большой старомодный барометр с упраздненным теперь определением «Великая сушь». В застекленных шкафах, кроме русских классиков, множество толстых книг по мелиорации, почвоведению, общему земледелию...

Во всем этом — и в старых фотографиях на стенах, где изображены все больше девушки в маленьких круглых касторовых шапочках и молодые люди в мундирах Корпуса военных топографов и Межевого института, — во всем этом есть что-то от девятнадцатого века, разночинное, земское.

Да и самое дело, которым занят Андрей Владимирович, — осушение минеральных и болотных земель, — при всем том, что оно отвечает насущнейшим нуждам нашего сельского хозяйства и, как говорится, не отстаёт от века, в сравнении с другими современными науками, скажем, с той же атомной физикой или кибернетикой, может показаться несколько устаревшим, старомодным, более характерным для того же прошлого столетия.

Профессия ли моего приятеля, вынуждавшая его всю жизнь скитаться по деревням, вставать и ложиться с петухами, или же обычай, установленный еще дедами, сельскими причетниками, послужил тому причиной, но только и сейчас, в центре нового столичного района, где часов до двух ночи горят фонари, рокочут автомобили, троллейбусы высекают из проводов шипящие искры, Андрей Владимирович держится крестьянского обычая чуть ли не засветло укладываться спать. Только чрезвычайные обстоятельства могут побудить его нарушить это правило.

И я не удивился, когда Андрей Владимирович объявил, что зашел на минутку по весьма неприятному поводу — сегодня с последней почтой он получил из Райгорода известие о тяжелой болезни Натальи Кузьминичны.

Была еще одна причина поехать в Райгород — недавние решения о реорганизации машинно-тракторных станций. Хотелось побывать в деревне в те дни, когда туда как бы снова, уже в ином качестве, пришел трактор.

Конечно, прошло еще мало времени, едва ли дело продвинулось дальше некоторых организационных мер, однако было заманчиво посмотреть, какими событиями отмечены первые шаги уже не эмтэсовского, а колхозного трактора. С тех давних дней, когда он впервые появился на советской земле, и по сию пору трактор воспринимается нами не только как «автомашина для буксировки прицепных повозок или для тяги сельскохозяйственных и других орудий», как говорится о нем в словарях. Он как бы символ смычки города и деревни, союза рабочих и крестьян. С нашим трактором связаны все сколько-нибудь значительные события в истории советского крестьянства. Теперь, становясь общественной крестьянской собственностью, трактор снова внесет какие-то новые черты в деревенскую жизнь.

Все это и побудило нас как можно скорее собраться в дорогу.

* * *

Мы едем в Райгород..

Я уж и не помню, сколько раз ехал этой дорогой, и не могу сказать, в какое время года она лучше: весной ли, осенью, зимой или летом! Да и весна ведь не во все свои дни одинакова, и лето, и зима, и осень.

Бывало, темный асфальт поблескивает после ночного дождя, чуть желтеет сырой песок на обочинах, внизу, по обеим сторонам дороги, жесткие, с налетом ржавчины болотные травы стоят в воде, повсюду торчат трухлявые, заросшие мхом пни, косматые ели остроконечными вершинами врезаются в серое дымчатое небо. Потом вдруг заболоченный ельник отойдет от дороги, выбравшейся на косогор, откроются черные распаханные поля, зеленые озими, за которыми виднеется начавший облетать сквозной ольшаник в дальнем овраге. Еще поднимется дорога, серый влажный воздух начнет как бы светиться от светло-желтой листвы берез, вставших по сторонам, от пожелтевшей уже лещины, красного осинника. Но вот дорога снова пошла под гору, через речную долину со стогами сена, с узколистыми ракетами над темной водой. И снова сырой ельник, откуда тянет грибной прелью и хвойным настоем, вплотную подступил к дороге.

Но бывает осенью и такой день, когда первый морозец высушит асфальт, пожухшие болотные травы чуть искрятся от мелкого инея, как бы темным стеклом накрыта стоячая вода и в облетевших серых лесах под белесым небом только ель да сосна выделяются своим зеленым цветом.

И летом дорога выглядит по-разному.

В знойные дни накатанная до блеска полоса асфальта, идущая в гору, сливается впереди с излучающим свет небом. Пока едешь лесом, застоявшийся воздух пахнет горячим смолистым деревом, а вырвешься на открытое место, откуда видны скошенные луга в низинах и ржавые поля по склонам холмов, ветер донесет слабый запах вянущих злаков и трав.

В ненастье же, когда из-под колес автомобиля летят брызги и стремительное движение его по мокрой дороге рождает быстрый шипящий звук, блестят лужи в колеях черного лесного проселка, чуть краснеют сухие иглы, которыми плотно выстлана земля под широкими ветвями старых елей, оцепеневшее стадо выкнет на лугу возле речки, как бы в дыму стоит открытая дождю деревенька на дальнем косогоре.

Разной бывает дорога и зимой — в метель, в солнечный и слепящий морозный день, в глухой темный денек, когда на асфальте пылит по-земка.

Особенно же не похожи друг на друга весенние дни.

Я припоминаю холодный и пасмурный майский день. Почти до самого Райгорода все здесь было белым от цветущей черемухи — она всегда цветет в холода. Каждая встречная машина была украшена охапкой веток с поникшими белыми кистями; осыпавшиеся круглые лепестки перемещались по сухому асфальту, как снежная крупа поздней осенью.

Припоминается еще и конец апреля — теплый солнечный полдень. Над голыми коричневыми полями курился пар. Зеленели озими. В просторных неодетых лесах было светло от цветущей ивы. Листва на иве, осине и орешнике еще не распустилась, и все они были густо увешаны пушистыми сережками.

Сейчас тоже апрель, в самом начале.

Под Москвой и вокруг небольших промышленных городов, где к весне снег чернеет от копоти и поэтому быстро тает, поля уже обнажились, только в оврагах, канавах и кое-где в редком сосняке лежит он смерзшейся жесткой коркой. В голубом солнечном небе, похожий на длинное перистое облако, одиноко белеет след реактивного самолета. Нарядные, красные с белым каменным узором старинные церкви, светлые желтые дома новых заводских поселков и цветные автомобили на дороге выглядят удивительно яркими в сравнении с бурой землей и серыми деревенскими избами. Но не эти избы, не поля, не церкви и ободранные сосны определяют здесь характер ландшафта — полосатые, черные с белым, столбы отсчитали уже не один десяток километров, а взгляд все еще не может освоиться в великом множестве подробностей современного индустриального пейзажа, свести их к общему плану.

Бетонные виадуки пересекают наискосок железнодорожные пути. Плесневеют отравленные промышленными отходами болотца. Прутья молодых деревьев торчат вдоль высоких новых домов посреди поля. Шагают плечистые решетчатые мачты высоковольтных линий с чуть провисшими проводами. Повсюду видны заводские трубы, краны, как бы плавящиеся на солнце стекла цеховых крыш, эстакады, какие-то усеченные дымящиеся башни...

Все это, конечно, уже не городское, столичное, но еще и не сельское, районное. Здесь еще не чувствуешь себя путешественником, так велика, я бы сказал, сила московского притяжения. Нужно проехать примерно километров сто от Москвы, и оттуда начнется наша дорога на Райгород.

Меж тем Андрей Владимирович рассказывает, как десять лет тому назад познакомился с Натальей Кузьминичной. Он поступил тогда работать на Опорный мелиоративный пункт в Ужболе, ему понравился дом Натальи Кузьминичны, и он попросил, чтобы она сдала ему в наем горницу. Поколебавшись, Наталья Кузьминична согласилась, однако вечером, когда он привез из Райгорода свои вещи, она встретила его холодно, отчужденно, даже на порог не пустила, сказав, что никакие ей жильцы не нужны.

«Куда же я теперь пойду... на ночь глядя?» — проговорил Андрей Владимирович. «А куда хошь,— сказала Наталья Кузьминична,— мне-то что».

С Андреем Владимировичем я знаком вот уже скоро шесть лет. Эту историю я слышал от него много раз, причем рассказывается она всегда при Наталье Кузьминичне. Наша приятельница обычно смущается и краснеет. «Полно тебе уж,— говорит она и чем-то напоминает застенчивую девушку, хотя ей без малого пятьдесят,— нешто я знала...» Вообще-то она человек решительный, прямой, простодушно-грубоватый, и эта милая робость, эта чуть жеманная стыдливость не столько черта характера, сколько предписанная деревенским этикетом манера поведения.

В этом последнем я убедился, наблюдая Наталью Кузьминичну в ее деловых отношениях с незнакомыми людьми,— тут уж она робеть не станет. И на городском рынке, куда она привезет молоко или ягоды, и в магазине, выбирая какой-нибудь бидон или мануфактуру, и в чужом лесном селе, где она торгует сеном или дрова, Наталья Кузьминична держится просто, деловито, если надо — с несколько бесцеремонной прямо-той. Впрочем, ее живой, быстрый ум и врожденное чувство собственного достоинства позволяют ей и в тех случаях, когда хороший тон требует стыдливой робости, деликатно определить черту, за которой застенчивость становится тягостной, смешной...

Красная от смущения, потупившись, не решаясь отойти от дверного косяка, стоит она, бывало, в доме Грачевых, наших общих райгородских знакомых, и отвечает на вопросы кого-либо из остановившихся здесь приезжих. Постепенно речь ее приобретает все большую свободу, естественность, остроту. Если разговор вдруг зайдет об охоте, — как там у них под Ужболом, есть ли «места»? — Наталья Кузьминична заметит со сдержанной усмешкой, что какие бы места ни были, все равно, говорят, хороший охотник в год простреляет корову, а плохой так и три. Или же, освоившись, однако все еще отказываясь оставить кухню и сесть за стол, к чаю, она сама начнет спрашивать, какие, мол, в Москве новости, и тут же скажет, что хороша, конечно, Москва, а только против Ужбола больно шумна. Ее интересуют самые неожиданные вещи, иной раз весьма далекие от повседневного деревенского обихода, — к примеру, откуда известно, что земля вертится. «Не знаю, — рассуждает она, и по ее поблескивающим веселым глазам не поймешь, всерьез это или в шутку, — может, ночью и летаю в Песошню, а только утром, как легла с вечера в Ужболе на печи, так и проснусь». А потом, развязав шаль и опустив ее на плечи, простоволосая, прихлебывая чай, она с увлечением рассказывает всякие деревенские случаи, удивляя внезапностью характеристик. «Как Наполеон!» — сказала она однажды о пьяном до помрачения разума мужике, который, соскочив с лошади, стремительной поступью двинулся к клубу, грозясь поджечь его.

С Натальей Кузьминичной мы стали друзьями уже во вторую нашу встречу, около шести лет назад, — первый раз я увидел ее незадолго до этого, когда приехал к Андрею Владимировичу в Ужбол, но тогда мы и словом не обменялись. За такими же разговорами подружилась она в том же доме Грачевых и с Сергеем Сергеевичем, архитектором, реставрирующим здешний кремль. На первых порах он снимал у Грачевых комнату, и Наталья Кузьминична, помню, говорила мне с несколько деланным удивлением и не без гордости, что никак не поймет, почему это Грачевы считают своего постояльца человеком замкнутым, молчаливым, с ней, например, он обо всем разговаривает.

— Эх, Наталья, Наталья! — прерывает мои размышления Андрей Владимирович.

Нетрудно догадаться, что этим он хочет сказать то, о чем говорить мы избегаем. Неужто операция, которую на этих днях должны сделать Наталье Кузьминичне, подтвердит грозное предположение врачей?

А впереди нас меж тем совсем другая легла дорога. Она то поднимается вверх, то опускается вниз, и вершины холмов, через которые она идет, режут ее на прямые серые полосы, из которых каждая последующая чуть уже предыдущей. Дух захватывает от этой прямой, брошенной далеко вперед, в самое небо, твердой ленты асфальта.

— По стрельбии отмерена! — с восхищением говорит о дороге Андрей Владимирович, и то, что он, старый инженер, на крестьянский лад произнес слово «астрольбия», то, что он вообще назвал этот замененный теперь теодолитом геодезический инструмент, опять-таки для него очень характерно. Много больше тридцати лет работает он на разного рода земляных работах, и в некоторых его словечках, во всей повадке угадывается иной раз старинного закала русский землекоп, грабарь, с которым он разбивал канавы на болотах, то и дело хлопая налившимися кровью комаров, хлебал отдающую дымом похлебку возле вечернего костра, заваливался спать в свежее сено. Он мне однажды рассказывал, как в молодости, когда еще был бедным студентом, подрядился работать десятником на осушке болот и купил себе лапти, в которых, если нет сапог, удобно шагать по болоту, — лапти ведь воды не держат! — и как рабочие, сами работавшие в лаптях, решили купить ему в складчину сапоги, чтобы не ронял он достоинства артели.

Восклицание Андрея Владимировича заставляет подумать еще и о том, как ловко и удобно приспособлялся иной раз не шибко грамотный человек иностранное слово — будто инструмент по руке выбрал. «Стрельбия» — да ведь тут чудится стрела, с полетом которой можно сравнить прямизну дороги.

В лесу по обеим сторонам шоссе, между деревьями и тенями от них, ослепительно белеет снег. Если выйти из машины, можно увидеть, что в ельнике, как мелкая травка на ситце, печатным узором лежат на твердом снегу зеленые иглы, а в ольшанике, тоже наподобие ситца, снег украшен черными сухими шишечками прошлогодних сережек. От снега тянет холодком, а солнце пригревает уже по-весеннему, и в воздухе стоит совсем весенний запах сырой, теплой хвои, влажных, нагретых солнцем веток березы, ивы, осины, ольхи. Почки на деревьях еще крепкие, твердые, через месяц, не раньше, выбросят они листья. Это пахнет кожица на почках, тонкая кожура веток. Благодаря яркому свету, должно быть, начинает казаться, что деревья окутаны желтоватой, отливающей зеленым дымкой.

Зеленью отливает и жесткая смятая прошлогодняя трава в проталинах на склонах бугров, над которыми, уходя далеко в поля, серебряным глазом сверкает наст, но и здесь все дело в жарком свете утреннего солнца первых дней апреля. Оно как бы растопило плотную голубизну неба, ставшего вдруг прозрачным, и все на земле отражает его свет.

Лес давно уже отошел от дороги за округлое и выпуклое белое поле, тянется там коричневой с желтинкой извилистой полосой, а за лесом еще одно выпуклое поле, и за ним еще полоса леса — зубчатая, почти синяя...

Перед иными селами на середину дороги выходят церкви. Едешь, едешь прямо на церковь — и вдруг она отступит в сторону, дорога обойдет ее.

На сером полотне далеко открытого вперед шоссе отчетливо рисуются светлые автоцистерны; они везут в столицу молоко вечернего удоя. Большие, чуть ли не целиком из стекла, красные или синие автобусы дальних маршрутов катят под уклон либо медленно взбираются на гору. Изредка проносится обтянутый выцветшим брезентом почти квадратный «ГАЗ-69».

При встречах автомобили со свистом рвут воздух.

Снова вдоль дороги встал лес, и на белой полянке в этом зеленом еловом лесу оранжевой выглядит кирпичная древняя часовня. Ровно че-

тыреста один год тому назад, возвращаясь с мужем в Москву с освящения храма в одном здешнем монастыре, на этом самом месте царица родила наследника гневливейшему из русских царей. Должно быть, ради необычности обстановки, в какой рожала царица, поставлен был этот памятник — сам по себе царевич такой чести не заслужил, так как был слабоумен.

Все дальше, дальше уводит дорсга. Мелкий гравий, которым посыпан асфальт, бьется о днище автомобиля. Первая в этом году пыль завивается, надо полагать, дымкой позади нас, как вон у той бегущей впереди машины.

Просторная всхолмленная земля лежит вокруг — с перелесками в оврагах и на буграх, с пустыми косогорами, с красными прутьями тальника, торчащими возле речки, на льду которой уже стоит вода, с высоким жердистым осинником, с замшелым ельником в низинке и бором на суходоле.

Позади остался Павловск, светлая березовая роща на выезде...

Городок этот, в сущности, часть Райгорода, до которого отсюда всего двадцать километров. И народ здешний, хотя и принадлежит к другому району, тот же райгородец. На городской площади между двухэтажными неопределенной архитектуры камельными домами с пестреющими на них вывесками тех же самых учреждений, что и в соседнем Райгороде, потолкавшись среди людей, мы с Андреем Владимировичем услышали хорошо нам знакомый характерный выговор. Я тут же вспомнил при словье, которым в старину дразнили райгородца: «У нас-ти в Райгороде чесноку-ти, луку-ти, а кавоз все коневый!» Не в говоре, конечно, суть, однако и он наводит на мысль, что районам этим хорошо бы вернуться к естественной, исторически сложившейся общности. Кстати, и в старое время в Павловске учрежден был однажды административный центр, однако мера эта себя не оправдала, и городок благополучно перевели в заштат.

От Павловска начинается спуск в приозерную котловину. Здесь уже нет ни лесов, ни перелесков, только могучие раскидистые ветлы стоят по обсем сторонам дороги. Даже сейчас, лишенные листьев, ветви их образуют свод. Дорога в этих местах петляет, быть может потому, что прокладывали ее среди болот, выбирая место посуше, потверже. В западинах рядом с дорожной насыпью, в овражках, на льду бесчисленных здешних речек накопилось уже изрядно снежной воды. Если остановить машину, слышен тихий звенящий шум — открыто, прорыв канавку в зернистом снегу, или потаенно, под приподнятой смерзшейся в лед коркой, вода бежит сюда со всех окрестных возвышенных мест. Мне припоминается, как председатель колхоза в Любогостицах, старый мой приятель Иван Федосеевич, сказал однажды, что если за сто верст отсюда бабка сослепу горшок в печи опрокинет, так тут будет наводнение. Впрочем, нынче едва ли можно ожидать большой воды: дни хотя солнечные, но тает медленно, а ночью подмораживает.

На далеком пригорке справа от нас чуть поблескивают среди серых ветел красные и зеленые крыши села. Оно стоит высоко над рекой, свинцовый лед которой темнеет между белыми берегами, кое-где исчерченными лозняком.

В этом селе родилась и жила до замужества Наталья Кузьминична. Каждый раз, когда я приезжаю в Ужбол, она спрашивает меня, видел ли я по дороге красивое село на горе, внизу еще там речка... Бывало, в девушках бегала она каждое утро с эдакой кручи купаться, босая, по росе, а трава под ногами мягкая, кусты на берегу, когда продираешься, царапаются, и в тихой воде вдруг что-то вскидывается. Потом она

рассказывает, как на горячих конях умчал ее отсюда свадебный поезд. «Я девятнадцати лет, по двадцатому, вышла, — вздыхает она, — год, говорят, несчастливый».

Муж Натальи Кузьминичны трагически погиб через шесть лет после свадьбы, оставив ее с двумя детьми и старухой свекровью. Замуж Наталья Кузьминична больше не пошла, хотя сватались многие, не пожелала мальчикам своим отчима. Четверть с лишним века прожила она крестьянской вдовой.

Мы торопимся в Райгород потому, что считаем эту встречу с Натальей Кузьминичной едва ли не последней. Мы обязательно хотим увидеть ее до операции, будто бы назначенной на завтра. Операцию-то она может и перенести, но каково будет видеться с ней, хорошо зная, что болезнь приговорила ее к близкой трудной смерти.

И хочется понять, чем была ее жизнь.

На рассвете соскакивала Наталья Кузьминична с печи, сунув ноги в сапоги, шла во двор, выпускала корову, принималась топить печь, приносила воду из колодца, чистила картошку, поднимала ухватом ведерные чугуны, отстрипавшись, заперев избу, уходила в поле.

Холодный весенний ветер на пашне, бывало, бывало, докрасна исхлещет лицо. Сухощавое, но крепкое тело дрожит от напряжения, какое требуется, чтобы удержать сошники в борозде.

Случалось, зимой бригадир наряжал в лес за дровами.

И она запряжет, проверит, в меру ли подтянут чересседельник, сунет кнут в сено, сядет по-бабьи, вытянув ноги, шевельнет вожжой... Лошадь покачивает впереди заиндевшим курчавым крупом, бежит неторопливой трусой. В темном воздухе чуть сеется мерзлый пушок. Дремлется. Изредка заносит вдруг в сторону раскатившиеся дровни — и сна как не бывало.

А уж полоть, косить, жать — это ее постоянная работа.

И поросенку припасать. И корову доить.

И молоко отнести на рынок, пробежав с бидонами на коромысле километров шесть, или ягоды, или другой какой товар — это ведь тоже была ее неизменная обязанность. И усадьбу она сама обихаживала и весь дом.

По субботам, настояв на золе кипяток и наготовив щелоку, она мыла ребятишкам головы, чесала частым роговым гребешком. Пока жива была свекровь, она и ее мыла и парила в печи, как здесь заведено.

Ей самой мало что нужно было, а ребят она одевала чисто, покупала им книжки, тетради, карандаши, однако не баловала, под горячую руку могла и мокрой тряпкой огреть либо веником. Мальчики росли не спесивые, если покличут их, они отнесутся приветливо, от гостинца отказываться не станут, но сами нипочем не полезут, просить не будут.

Водились за ней и таланты.

Каждый бригадир и председатель, даже новый, приехавший в колхоз из других мест, хорошо знал, что Наталья Кузьминична — мастерица стога метать. «Таково навьет да причешет, — утверждала молва, — что и ветру не разворошить и дождю не промочить!» И она охотно выходила стожить сено.

Она признавалась мне, что вообще любит «вместешную» работу, то есть общую, коллективную. И работается, мол, веселее, и все про всех знаешь!

Для нее не было ничего интереснее деревенских новостей.

На собрании она не посмеет выступить, но дела в колхозе ей известны во всех подробностях и частностях, и о каждом обстоятельстве у нее есть свое твердое суждение. А ничто так не сокращает времени и расстояния, как дотовый бабий разговор про все на свете, — работают ли они в поле или, расторговавшись, усталые и оживленные, не торопясь возвращаются с рынка.

Эти разговоры и пересуды иной раз составляют подлинное общественное мнение, которое так или иначе оказывает влияние на ход колхозных дел. Сколько раз случалось, что на том же собрании либо на заседании правления после долгих споров поднимется всеми уважаемый товарищ и скажет: «Слыхали, что бабы говорят?» или «Не зря наши бабы толкуют!» — и дело решится таким путем, будто у Натальи Кузьминичны спросили.

Есть у нее и художественные задатки.

Она может, только что придя с поля, малиновая от жары, подсесть к играющим на крыльце соседским ребятишкам и начать мастерить им из огурцов всякого рода посуду: ушаты, шайки, корыта...

Ей интересно смотреть, как ранней весной на торфяном болоте, забравшись в заросли ивы, лось поедает молодые побеги.

Все это еще не есть поэтическое творчество, не выдается из ряда вон, как и работа Натальи Кузьминичны, обыкновенная, будничная. Но такие черты характера рождают в народе сказку, песню, узор, а из ее простой бабьей работы получается молоко и картошка, мясо и хлеб.

Райгород!..

Дорога впереди нас круто поворачивает влево, и старые высокие березы вдоль обочины, пятнистые, в трещинах и наростах, как бы преградили нам путь. Едва мы повернули, как между стволами берез, на мысу белого еще по-зимнему озера, возник вдруг белый Дмитриевский монастырь, а несколько глубже, над городскими крышами, вспыхнули маковки кремля.

Мы огибаем озеро. Желтый, исхлестанный ветрами тростник и замерзшие заливы с лужами талой воды подходят к самому полотну высоко поднятого здесь, изогнутого дугой шоссе.

Пустынный проселок, весь в поперечных, обледенелых, рыжих от навоза ухабах, выбитых за зиму копытами лошадей, идет в сторону Ужбола.

Но в селе нам делать нечего, Наталья Кузьминична в больнице.

По сияющим лужам, разбрасывая брызги, мы въезжаем в город.

Солнце. В воздухе какое-то банное, расслабляющее тепло. Блестит, перемежая свет и тени, быстрая и шумная вода в ручейках. Среди зернистого снега, местами покрытого шершавыми черными корками, виднеются большие проталканы. Сырая земля уже нагрелась, она мягкая и податливая.

А в доме у Грачевых темновато и пахнет сыростью, Михаил Васильевич говорит, что голанку топить перестали, да и стены мыли к пасхе. Сейчас ведь вербная неделя, по этому случаю сняты и занавески с окон, и коврик с стен, и подзоры с кроватей — идет предпраздничная стирка и уборка. Отошла зима с поскрипывающим снегом за стенами, с мелко нарезанными цветными нитками на белой вате между оконными рамами, с жарким и сухим печным духом во всем доме, а зеленая весна — с грозой, с хлопающими окнами и вынесенными под первый дождь фикусами — еще не наступила, и в эту пору сумрачно, затхло старосветское провинциальное жилище...

Михаил Васильевич рассказывает, что позавчера Наталье Кузьминичне сделали операцию, которая прошла благополучно, однако врачи еще не говорят, подтвердились ли их подозрения, и никого к ней не пускают.

Не пустят, конечно, и нас.

Впрочем, если больной это не во вред, то можно все-таки ее поглядеть, надо только попросить Василия Васильевича, секретаря райкома партии, чтобы он позвонил в больницу. Во всяком случае, секре-

тарю райкома скорее скажут, в опасности ли ее жизнь,— мы-то ведь с Андреем Владимировичем посторонние здесь люди.

С райгородским секретарем я в дружеских отношениях, но если бы этого и не было, если бы я впервые приехал сюда, то все равно, кажется мне, отправился бы со своей заботой в районный комитет партии.

Более четверти века тому назад первый раз в жизни вошел я в райком.

Это было под вечер, в конце марта, в глухом лесном селе, недавно преобразованном в районный центр. Как при сотворении мира, здесь все было впервые: райком, райисполком, районная контора связи, районное отделение банка... Село называлось Смердынь. Название это было оскорбительно и неблагозвучно. Давно уже древнее слово «смерд» не воспринимается в его изначальном значении — крестьянин, земледелец,— но истолковывается в том смысле, какой придали ему крепостники,— раб. А новому времени, наступавшему в деревне, ненавистны были какие-либо следы зависимости человека от человека. И не хотелось людям, утверждавшим новые начала деревенской жизни, чтобы в названии района, где они живут, слышались слова «смерд», «смердит». Правда, извозчики, которые везли нашу шефскую агитбригаду со станции, отстоявшей километрах в пятидесяти от села, продолжали называть его Смердынью, однако на вывесках учреждений районный центр уже именовался Лесное. Извозчики даже не спросили, куда нас везти; по обледенелому навозу пустой базарной площади, на раскатывающихся, без подрезов, санях, недлинным обозом подъехали мы в сумерках к дому райкома партии. И мы были горды тем, что нас, молодых ребят, самому старшему из которых было двадцать с небольшим лет, именно в райком сочли должным привезти эти бородастые мужики.

Я уже теперь не помню, что помещалось в первом этаже двухэтажного дома, где находился райком, — дом был полукаменный, с кирпичным низом и рубленным верхом. Но большие многоконные и пустоватые комнаты второго этажа, оштукатуренные, с простеньким узорчиком по светлой масляной краске, хорошо мне памяты. В них почти не было мебели. Только приземистые, с грубым фигурным литьем, коричневые несгораемые шкафы стояли в двух или трех комнатах. В шкафах лежали партийные документы, среди прочих, как мы представляли себе, и телеграмма из Москвы о нашей командировке на посевную. Посевная того года носила поэтическое наименование — Вторая большевистская весна. И еще стояли в комнатах райкома, кроме нескольких различного назначения столов, одинаково исполнявших канцелярскую службу, широкие и высокие ореховые гардеробы с резными филенчатыми дверками. В гардеробах лежали газетные подшивки, брошюры... Комнаты райкома еще потому выглядели пустоватыми, что все окна были голые, без портьер или занавесок, а на стенах видны были отметины, оставленные, должно быть, мраморной крышкой комода, шишечками никелированных кроватей, углами иконостаса.

Дом принадлежал, сколько я помню, лесопромышленнику, сбежавшему или высланному. И у нас было такое ощущение, будто судьба, снизойдя к нашей будничной, как нам казалось тогда, юности, сотворила чудо и позволила нам участвовать в Октябрьских боях.

Секретарь райкома, крупный, бритоголовый мужчина, излишне сдержанный и чуть выше среднего роста, как мы считали, рассказал нам, сколько уже засыпано семян в колхозах, куда мы поедем, какое там настроение и как нам себя держать. У нас были бутафорские деревянные винтовки, с которыми мы выступали в героической оратории, и он

посоветовал не вынимать их из ящика, пока мы едем из села в село, иначе кулачье пустит слух, что мы вооруженный отряд, присланный стобрать и вывезти в Москву засыпанные колхозниками семена. Он сказал еще, что, пока мы ехали сюда со станции, про нас уже сложили подлую частушку.

Частушку эту я давно забыл. В памяти осталось только, что «бригада» в ней рифмовалась не без угрозы со словом «гады». И еще осталось смутное воспоминание о необычном, впервые испытанном чувстве, в котором странно перемешивались неясная тревога, гордость, счастье.

Когда секретарь ушел, мы принесли соломы, пахнувшей морозцем, и постелили ее на полу. Прежде чем улечься, иные из нас еще постояли перед черными окнами с резко белевшими переплетами рам. Вглядевшись, мы начали различать сероватые от снега крыши, чуть проступавшие из темноты. Потом и небо увидели мы, почти такое же сероватое. Небо слилось бы со снегом, если бы не полоса потемнее, тянувшаяся между ним и крышами. Это были те самые первобытные леса, куда нам предстояло выехать утром.

Нам рассказывали, что весной, когда растает снег, на небольших полях в еловой чаще можно увидеть во множестве огромные моренные валуны; ледниковые озера там, и болота, и редкие, с высокими избами деревеньки на зеленых пригорках, уставленных теми же лобастыми валунами.

Мы увидели все это потом воочию.

Под нашими санями проламывался лед на озерах. Разувшись, мы переправлялись через сплавные реки по уходящим из-под наших ног скользким, холодным бревнам. Мы ехали верхами на неоседланных лошадях между исполинскими елями, и в лицо нам, кружа голову, шел от земли крепкий запах мокрой прошлогодней хвои, мха...

И каждый день мы выступали перед хмурыми, молчаливыми мужиками; у каждого из них сзади, на поясице, заткнут был за ремень узкий топор на длинном топорыше. На наших выступлениях были и женщины, глядевшие добрее мужчин. Полно было детей, которые сидели вперед всех на полу.

Происходило это в школе, на сдвинутых партах с настланными сверху досками. Или в чьей-нибудь риге, прямо на земле,— зрители в таких случаях смотрели представление стоя. Мы читали стихотворные речи, исполняли частушки, пели торжественные песни и показывали кукольные спектакли.

Мы успели привыкнуть к тому, что никто не аплодировал. Первый раз мы просто растерялись, но нам объяснили, что в здешних местах никогда не видели какого-либо театрального зрелища и не знают, что в знак похвалы полагается хлопать ладонью о ладонь. После нашего выступления многие из хозяев шли к амбарам, отмыкали замки, при свете фонаря отщипывали семенное зерно для первого в здешних местах коллективного посева.

У меня до сих пор хранится самодельный плакатик, написанный по трафарету на оборотной стороне обоев: «Засыпано семян — ржи... ячменя... овса...» Такие плакатики, проставив количество пудов, мы приклеивали к воротам или к дверям изб.

Но все это происходило потом.

Что же до того первого вечера в райкоме, то все мы, ребята с московских окраин, еще не умея об этом сказать, даже подумать, впервые ощутили себя тогда гражданами.

Послеполуденная истома провинциального будничного базара.

Мы заглянули сюда с Андреем Владимировичем по дороге в райком, надеясь на случайную встречу с кем-либо из наших деревенских

знакомых. Может статься, нам повстречается кто-нибудь из Любогостиц или из соседних деревень, и мы узнаем, дома ли, в городе или в областной центр уехал Иван Федосеевич, тамошний председатель. Нам очень важно повидать его сейчас, после недавнего закона о реорганизации МТС.

На рынке пустынно, тихо. Блестит жидкая грязь на мелком круглом булыжнике мостовой. В темных промежутках между стенками палаток, в углах под заборами синеет смерзшийся грязный снег, оттуда несет холодом и затхлостью. А мокрые, наслезенные деревянные площадки, на которых стоят узкие столы под навесами, желтеют и дымятся в лучах солнца.

Две или три городские старухи дремлют над эмалированными ведрами с квашеной капустой и крупными, будто заржавевшими солеными огурцами.

В мясном павильоне мясник рубит свиную тушу на широкие и тонкие бело-розовые куски, а колхозница, которой принадлежит эта туша, вздыхает, мнетса, не смеет ему сказать, что хватит, мол, довольно, все равно покупателей уж нет, пускай бы до завтра полежала неразрубленной.

Тут народу побольше, чем в молочном павильоне, где почти пусто.

Но это не столько покупатели, сколько рыночные завсегдатаи, люди все пожилые, старые, которые ходят сюда, как англичане в клуб. Старикам этим интересно, каков и откуда привоз, что почем, если же какому-нибудь товару цена дешевая, то они и купят. Они собираются по большей части здесь, около мяса, потому что это продукт солидный, можно сказать, основной, не то что яички или какая-нибудь морковь. Они твердо убеждены, что от мяса у человека вся крепость, и разговоры о том, будто в их возрасте оно вредно, считают пустой болтовней. По их мнению, вредной пищи, если она свежая, вообще не бывает, а есть пища слабая — для слабой работы, скажем, картошка, молоко, и есть пища сильная — для сильной работы, например, мясо, каша. А старому человеку именно сильная пища и нужна.

Эти старики, по преимуществу недавние продавцы, буфетчики в закусных, заведующие ларьками, портные, швейцары, начинавшие работать «мальчиками» лет шестьдесят тому назад, почти все происходят от райгородских посадских людей. В древних переписных книгах я находил прозвища, от которых пошли их фамилии: Мосолов, Куракин, Тютнев... В первом случае родоначальником был Мосол, в старину этим словом называли здесь перекупщиков холста. Во втором случае предка кликали Курака, иначе говоря, портной или писец, который шьет или пишет неряшливо, дурно. Что же до третьей фамилии, то произошла она скорее всего от урочища, возле которого стоял двор ее основателя, потому что тютней в этих краях, говорят, называли болото с перехватом, узкое в одном месте.

Однако не одним лишь происхождением своим любопытны завсегдатаи районного базара. Такие вот старики располагают множеством точных сведений, касающихся различных обычаев, работ, особенностей и свойств какого-либо продукта, всех вообще обстоятельств деревенской жизни, которую знают доподлинно, так как с отроческих лет кормятся около крестьянина. И язык у них на диво хорош, в нем соединилась близкая к сути вещей речь земледельца с острословием приказчика или полового.

До меня доносится чей-то рассудительный, неторопливый голос: «Курица, если на ногах, рублей двадцать, битую за пятнадцать отдадут».

Я вспоминаю, как Михаил Васильевич Грачев, относящийся к этой же категории людей, ответил однажды на обращенный к нему запоздалый упрек: «Брови надо вовремя подымать!» От него же я услышал в жаркую пору лета: «Горох весь окатился», то есть перезрел, круглый стал, крупный, и сразу на память пришло старинное «скатной, или самокатный, жемчуг».

Припоминается еще и раннее утро первого дня охоты, когда тот же Михаил Васильевич из своего окошка кричал через дорогу соседу, потерпевшему, видать, неудачу: «Александр Иванович, уток не продашь?» И сосед, секунды не думая, ответил: «Продаю только связками по двенадцать штук: три кряковых, три чирка, три шилохвостых, три ныра».

В эти мои размышления врезается фраза, добродушно адресованная самому себе стариком, торгующим у колхозницы свинину: «На базаре два дурака: одному хочется дешевле купить, другому — дороже продать».

Не встретив ни одного знакомого, мы уходим с базара.

Андрей Владимирович говорит, что время сейчас такое — выедешь из дому на санях, а возвращаться надо на телеге, поэтому из дальних деревень никто на базар небось и не ездит... Да и поздно уже — обед!

Мы идем медленно в тяжелой зимней одежде, нагретой солнцем.

На грязном тротуаре перед базарными воротами пестреют нестерпимо яркие бумажные цветы, блестящие деревянные яички, матрешки, маленькие фантастические колесницы с зеленым и красным узором на белой древесине колес и кузова. Мимо, покачиваясь, проезжают автоцистерны с горючим, тяжелые грузовики с бумажными пакетами минеральных удобрений или фанерными ящиками в цветных этикетках; мокрыми, черными, рубчатými своими колесами они мнут и месят желтоватый и рассыпчатый снег...

Пахнет рогожей, керосином, старыми бочками из-под селедок.

В кабинете секретаря райкома светло и жарко от солнца, от пыльных столбов света, от горячих стекол шести окон. Только что здесь была экскурсия из соседнего района, а теперь вошли приглашенные секретарем представители двух колхозов, которым райком советует объединиться.

Товарищи рассаживаются вдоль стены, противоположной окнам, — там, вероятно, прохладнее, потому что кирпич долго держит зимний холод.

Деловой разговор еще не начался, ожидают председателя райисполкома, которому только что позвонили. И пока Василий Васильевич спрашивает товарищей, как они доехали, какова дорога, я разглядываю каждого из них — троих мужчин и одну женщину, — стараясь угадать, кто кем работает. Я знаю, что среди них должны быть два секретаря партийных организаций, председатель сельсовета и председатель колхоза; второй председатель колхоза, известный по всей округе Фрол Ионыч Авдеев, умный и неторопливый старик, говорили мне, болен. Колхоз, где он уже много лет председателем, один из пяти или шести самых богатых в районе. Надо полагать, объединяют его с колхозом средним, если не слабым. Значит, трудность в том, чтобы склонить к этому делу «богачей». Но кто тут представляет их, кто из всех четырех секретарь партийной организации богатого колхоза? На первый взгляд, каждый может им оказаться, кроме, пожалуй, самого старшего из них, мужчины лет сорока с лишним.

Худощавый, с плохо выбритым лицом в желваках и белесыми навязкато глазами, он глядит хмуро и недоброжелательно. Длинная

шея его с обвисшей кожей то и дело ворочается в просторном воротничке грязной, без галстука рубашки. Темная пиджачная пара на нем измята, будто он спал в ней, а у высоких коричневых валенок голенища по краю рваные.

Скорее всего, что он председатель второго, слабого колхоза.

И хотя по наружности и костюму грешно судить о человеке, я сразу же зачисляю его в разряд людей пренеприятных.

Мне хорошо известен этот тип мелкого деревенского бюрократа, полуграмотного, нахватавшегося митинговых фраз и канцелярских оборотов. Время его отошло, потому что за последние годы все больше и больше образованной молодежи остается работать в деревне. Достаточно взглянуть на соседей этого, видать по всему, обозленного неудачника,— он полагает, конечно, что достоин значительных степеней,— достаточно посмотреть на молодую женщину и двух молодых мужчин, чтобы установить истинное соотношение сил. Их ведь здесь все-таки трое, а он один!

Крепкие, чисто и ладно одетые ребята, они тесно сидят рядышком, переговариваются шепотком, с веселым любопытством поглядывают вокруг.

Василий Васильевич шутливо замечает, что оба колхоза, надо надеяться, не живут, как Дубровский... «с Троекуровым!» — подсказывает молодая женщина. Должно быть, ей лет двадцать пять, но она и теперь еще чем-то напоминает школьницу, основательно, на всю жизнь запомнившую то, чему ее учили. У нее простое свежее лицо, уже загоревшее на весеннем солнце, ясные глаза, негустые косы с узкими ленточками, уложенные венком.

Неприятный мне человек, председатель колхоза, как я думаю, поведя глазами, с каким-то сонным, угрюмым пренебрежением смотрит на женщину.

Тут Василий Васильевич обращается к нему, спрашивает, как, по его мнению, отнесется Фрол Ионыч к возникшей здесь мысли, чтобы им объединиться с соседями, и я понимаю, что ошибся, что этот человек и есть секретарь партийной организации богатого колхоза. Впрочем, что до его характеристики, то едва ли я, к сожалению, согрешил против истины.

Не произнеся ни слова, человек этот добродетельно и возмущенно пожимает плечами и приподнимает брови, тем самым, что называется, с ходу «продает» своего товарища по работе, старейшего из местных председателей.

Но Василий Васильевич не дал ему выказать таким образом свое отношение к отсутствующему. Он снова спрашивает, говорил ли секретарь с Фролом Ионычем на эту тему, оказывал ли на него необходимое партийное влияние. Однако секретарь партийной организации норовит уйти от прямого ответа, невнятно бормочет, что Фрол Ионыч, мол, беспартийный, как же ему, секретарю, на беспартийного влиять, ничего он с ним поделывать не может...

Василий Васильевич меняется в лице.

Сдержанно, с едва приметной усмешкой, говорит он, что как же это так, партия, получается, сама по себе, а беспартийные тоже сами по себе, партия на них не влияет, не воспитывает их, не ведет за собой!

Но секретарь как будто не слышит этих слов.

До этого он сидел дремлющий, насупленный, а тут вдруг оживился. Он вытягивает длинную, вылезавшую из рукава бледную руку и, поманивая тяжелым красным кулаком, говорит сквозь зубы с каким-то злым наслаждением: «Был бы он партийный... я бы его вызвал... поставил по команде смирно...»

Василий Васильевич поднимается, высокий, чуть сутулый, в застегнутом на все пуговицы синем кителе с отложным воротником. Можно бы ожидать резкости, но секретарь райкома, помедлив, говорит: «Я к вам заеду на днях».

В это время входит председатель райисполкома.

Мне вспоминается его предшественник Фетисов, скандально провалившийся на прошлогодних выборах. Почему-то на память пришло, как в позапрошлом году, в сенокос, повстречался он мне в городе. Маленький, остролицый, с преждевременной плешинкой, накрытой прядью светлых волос, чрезвычайно деловито и озабоченно бежал он куда-то своей торопливой побезкой. Едва мы поздоровались, как он объявил, что у Ивана Федосеевича с сеноуборкой плохо: в прошлом году на сегодняшнее число было скошено и заскородовано столько-то тонн, а в нынешнем — всего лишь столько-то. Он добавил еще, что вот... надо домой заскочить, перекусить — и сразу в колхоз!

Я представил себе тогда Ивана Федосеевича, опытного хозяина, комсомольца первых лет революции и члена партии с середины двадцатых годов, представил себе крестьянскую его иронию, начитанность талантливой самоучки и подумал, каким словом, какой цитатой из Щедрина или Демьяна Бедного встретит он этого бодрого воробышка, приехавшего, как принято говорить, «организовать народ и добиться перелома». Однажды Фетисов, выступая по поводу заготовки торфа, то и дело произносил такие слова, как «патриотизм», «трудовой энтузиазм», в связи с чем Иван Федосеевич напомнил мне то место из «Войны и мира», где Беннигсен на совете в Филях ораторствует о «священной древней столице России», а Кутузов повторяет сердитым голосом слова Беннигсена и этим указывает на фальшивую ноту этих слов.

Воспоминания отвлекли меня несколько от того, что происходит в кабинете, и я не сразу могу установить, почему вдруг все замолчали и смотрят на самого молодого из приезжих мужчин, который, смутясь, потупил голову.

Ростом он невысок, но выглядит на редкость крепким, подобранным, так и видишь его прыгающим через барьер или бегущим за футбольным мячом. Впечатление спортивности усиливает еще смуглота кожи, коротко остриженные на затылке волосы. Тесная вылинявшая гимнастерка выдает в нем недавнего солдата, и это наводит на мысль, что молодой человек отличается цепкой хозяйственностью, работает топором, заступом, понимает в моторах.

Да ведь он и есть председатель второго колхоза.

Василий Васильевич, вероятно повторяя вопрос, говорит: «Что же ты... против?» — на что ему горячо, словно старшая сестра, вступившаяся за не очень речистого брата, возражает молодая женщина: «Нет, нет... что вы!»

Я догадываюсь, что она секретарь партийной организации этого колхоза.

И второй молодой мужчина, одетый в такой же китель, как у секретаря райкома, но только коричневый, подтверждает, что председатель колхоза не против объединения, понимает всю его необходимость и выгоду, о чем они втроем не раз толковали. Их колхозу тракторов не купить, да и земли у них не так много, чтобы тракторы себя оправдали, не простаивали.

Он говорит внятно, хотя и негромко, чем-то напоминает исправного и деликатного учителя, чуть застенчивого на людях. Теперь уж, мне кажется, и гадать нечего: этот молодой человек — председатель сельсовета.

Здесь, вскинув глазами, начинает вдруг говорить симпатичный мне демобилизованный солдат, о котором я тут же узнаю у Василия Васильевича, что около двух лет назад, вернувшись из армии, он вызвался работать в плохоньком колхозе и постепенно наладил там хозяйство. «Лесу мы за зиму навозили, — говорит он как бы через силу, — двор хотели строить...»

Председатель райисполкома и Василий Васильевич резонно объясняют ему, что с Фролом Ионычем они гораздо скорее построят этот двор, да и многое другое построят, что после объединения он станет работать заместителем у Фрола Ионыча — надо ведь старику готовить смену.

Все это, конечно, верно. И молодой председатель колхоза, как и его друзья, с которыми, разумеется, он давно уже все обговорил, хорошо понимает хозяйственную целесообразность предстоящего объединения.

Откуда же это чуть шемящее «лесу мы навозили»?

Андрей Владимирович, когда услышал эти слова, толкнул меня локтем. Татарские глаза его при этом довольно поблескивали. Он наклонился ко мне и проговорил с одобрением: «Справный мужичок!»

Справность, то есть запасливость, обиходливость, привычка к заведенному порядку, когда все, как говорится, идет чередом, способность обладать делом в наилучшем виде — все это, по-моему, черты характера положительные. Правда, при известном социальном строе они могут послужить инстинкту частной собственности, но строй-то у нас не тот.

Молодому председателю колхоза, коли на то пошло, куда выгоднее работать у Фрола Ионыча, нежели в слабом своем колхозе. И если он с тоскливой нотой говорит о предусмотрительно завезенном им зимой лесу, из которого собирался строить скотный двор, если он так же, в чем я убежден, станет говорить о каждой телочке, выращенной при его участии, о вспаханном по его замыслу перелоге, то дело здесь не в собственнических инстинктах, как полагают иные ревнители социалистической морали. Дошло ведь до того, что в недавние времена чуть ли не каждого хозяйственного председателя стали называть кулаком, словно он эксплуатировал чужой труд, давал деньги в рост, барышничал, наживался на людской беде. У такого председателя только и греха, что он жаден до земли, до цемента и теса, умеет торговать, сам не поест, а накормит лошадь, осмотрителен в расходах, озабочен заработками колхозников, не согласен оставаться без семян, чтобы выполнить поставки за нерадивых соседей. Все это приводит к тому, что колхоз богатает, а с ним и государство. Современные справные мужички, которых не отодрать от колхозного двора, как не отодрать было их предков от собственного, работают, подчас не сознавая этого, не ради себя и «ближних», но ради «дальних», что, по ленинскому определению, предвещает коммунизм. Однако вопреки здравому смыслу такой вот измятый, не проспавшийся чужедворок, радость которого в том, чтобы товарища своего поставить по команде «смирно», или же чистолюй, в своей жизни ничего не сработавший собственными руками, продолжает именовать кровную приверженность к росту в поле, к поросенку, задравшему свой любопытствующий пятачок, пережитком собственнической крестьянской психологии. Поэтому-то слова Н. С. Хрущева о социалистической природе колхозной собственности имеют значение не для одних лишь экономистов, но для каждого, кто стоит близко к деревенским делам, для всех практических работников деревни.

Колхозам нашим почти тридцать лет, многое изменилось за это время не только в имущественном их состоянии, но и в психологии людей, значительная часть которых выросла и сформировалась при колхозном строе. И все же некоторые товарищи, отвечающие за положение дел в деревне, продолжают видеть в современном колхознике, даже председа-

теле, как бы прежнего единоличного мужика, да еще плохонького, от которого, коли недоглядеть, государству нашему может быть пагуба, — то он хлеб не сдаст в срок либо вовсе утаит его и продаст хлеботорговцу, то он по слабости своей не вывезет навоза. И вот в самую жатву, оставив осыпающуюся рожь, колхозники принимаются молотить и возить зерно заготовителям, хотя выгоднее было бы сперва все убрать в поле, а затем уж взяться за молотьбу. Или же, бросив вывозить лес, хотя надо бы успеть подвезти его по санному пути к шоссе, колхозники берутся за навоз, который можно бы и после вывезти.

Нынешние райгородские руководители правильно поняли истинное происхождение печальной ноты, прозвучавшей в словах «справного мужика». Они разговаривают с молодым председателем уважительно, мягко, однако же не без улыбки, а он, именно в силу своей справности давно уже принявший все резоны в пользу объединения с соседом, с болью отвыкает от выношенного им плана скотного двора, чтобы завтра увлечься каким-нибудь другим замыслом.

Нелюдим из колхоза Фрола Ионыча, положив ногу на ногу и обхватив сцепленными пальцами острое колено, сидит в стороне от всех. Он пренебрежительно морщится, но не оттого, я думаю, что не хочет объединяться, — к делам хозяйственным он исполнен равнодушия, каким отличается отбившийся от земли канцелярист, — ему противны все эти разговоры, когда надо бы «дать команду».

Из окон кабинета видна синеватая в тени аркада гостиного двора с ультрамариновыми вывесками, с крутой, почти черной крышей. Розовая, под коричневой тесовой кровелькой кремлевская стена тянется за гостиним двором. А еще выше, плоские на фоне светящегося послеполуденного апрельского неба, белеют звонница, собор, храм какого-то святого «на торгу». Синие, с золотыми звездами, и серебристые чешуйчатые маковницы круглятся в вышине.

Можно подумать, что за окнами расставлены картины Кустодиева. Но вот из-за угла выдвигается длинный желтый с красным автобус. Давешние экскурсанты, председатели колхозов и бригадиры из соседнего района, не застегнув подбитых овчиной или ватой драповых пиджаков, идут из низких ворот кремля. Уездный пейзаж приобретает черты современности.

Все уходит из кабинета, и Василий Васильевич по нашей просьбе принимается звонить в больницу. Пока главврач собирает необходимые сведения, Василий Васильевич рассказывает нам, что в районе, как мы уже, конечно, догадались, идет сейчас новое укрупнение колхозов. Первым начал Иван Федосеевич, рассудивший, что в новых условиях, когда тракторы будут принадлежать колхозам, выгоднее иметь больше земли. Между прочим, некоторые из его колхозников стали было возражать, потому что соседи, с которыми они объединялись, хотя и сидели на обширных землях, однако не отличались достатком. Тогда Иван Федосеевич, терпеливо слушавший шумные речи, поднялся вдруг и сказал: «Братцы, Бирме помогаем, а вы сергиевским мужикам не хотите помочь!» После этого все проголосовало за объединение. Теперь Иван Федосеевич в качестве уполномоченного райкома объединяет два дальних колхоза. Объединился с Угожами и Кирилл Федорович из Ржищ. Объединяются и другие. Скорее всего, что в районе останется восемь либо девять колхозов.

Но ведь тут само собой получается, что и сельсоветы должны быть покрупнее. Да и району, быть может, надо вернуться к границам бывшего уезда. Я вспоминаю соседний Павловск, вывески его учреждений и говорю, что закон о реорганизации машинно-тракторных станций кос-

нется многих сторон районной действительности, потому что МТС не только производственная единица...

Разговор принимает тот оборот, какой характерен для нашего времени, когда иные формы и устройства, бывшие прогрессивными, а потом окостеневшие, сменяются новыми, куда более удобными для работы и жизни народа.

Телефонный звонок. Главврач сообщает, что состояние Натальи Кузьминичны вполне удовлетворительное, операция не подтвердила подозрений врачей, и если мы хотим, то завтра в два часа дня можем навестить больную.

Василий Васильевич зовет нас вечером в гости.

Площадь между домами райкома и райисполкома занята садиком, заваленным грязным снегом, и деревянной трибуной с выцветшими октябрьскими плакатами. Сегодня нет ветра, и красный с синим государственный флаг Российской Федерации, утвержденный на крыше исполкома, обвис. Мне нравится это старинное двухэтажное здание с чугунными перилами низкого балкона и лепными медальонами. На медальонах изображены толстощекие дамы в локонах и плешивые пухленькие старики — по мысли изваявшего их некогда доморощенного скульптора, они олицетворяют собой грацию и мудрость. Перед исполкомом всегда стоят всякого вида и типа колхозные автомашины. Много их и сегодня.

Андрей Владимирович идет в исполком, к районному мелиоратору.

Я же отправляюсь в кремль, островерхие башни которого стоят вдоль одной из сторон площади. Едва я вхожу в невысокие сводчатые ворота, как встречаю Сергея Сергеевича, архитектора, вот уже скоро пять лет занятого здесь реставрационными работами. Фамилия его звучит на скандинавский лад, лицом же он походит на грека или южного славянина. Человек он приезжий, но вообще-то в этом древнем городе легко встретить следы многих племен. Наискосок от райисполкома, за городским валом, стоит церковь, называемая в народе именем некоего блаженного, будто бы жившего на этом самом месте в хворостяном шалаше, — предание рассказывает, что родом он был из германской земли, пришел сюда в середине пятнадцатого столетия. А несколько дальше, на выезде из города, жил в тринадцатом веке в основанном им монастыре татарский царевич, тайно бежавший из Орды; после смерти он был причислен к лику святых. Надо ли говорить о мастерах, ученых и торговых людях, имена которых, профессию или национальность можно угадать в фамилиях потомков. Из разных стран приходили сюда люди, но все становились русью.

Я рассказываю Сергею Сергеевичу про болезнь Натальи Кузьминичны. Мы вспоминаем с ним ее открытый, веселый нрав, и я не могу сказать почему, но мне вдруг приходит на память, как несколько лет назад, в преддверии мешерских лесов, я опоздал на паром, остался ночевать в пристанционном поселке и попал на квартиру к рыхлой вдове, которая, покамест я пил чай, рассказывала мне длинную и унылую историю своей жизни, все время приговаривая: «Жизнь моя, конечно, не задалась...» Собственно, это самое покорное «конечно» и послужило причиной того, что я запомнил слезливую вдову.

Сергей Сергеевич по своему обыкновению серьезно отнесся к рассказу. Он говорит, что отдельная жизнь может не задаться, но жизнь народа — никогда... Отсюда оптимистичность истинного искусства, даже если оно трагедийно. Только чувствительные мещане производят и потребляют пессимизм.

Потомок нескольких поколений архитекторов, Сергей Сергеевич рассказывает об искусстве, как пахарь о земле, моряк — об океане. Суть здесь

не в профессиональном отношении к предмету, а в том, что в искусстве он видит не таинство и не забаву, а нечто столь же нужное людям, как хлеб, как океанские пути, соединяющие народы. Потому-то он, должно быть, так естествен и прост с нашей Натальей Кузьминичной, что не ставит себя по отношению к ней ни жрецом, знающим скрытое от нее, ни бардом, призванным ее воспевать.

Разговаривая, Сергей Сергеевич поднимает вверх свои глаза византийца или болгарина с древней фрески. Прямо над нашими головами круглятся и поблескивают на белых барабанах зеленые, с золотыми подзорами маковки. Сергей Сергеевич говорит о человечности, о доброй сказочности этой архитектуры. Здесь нет ничего, что подавляло бы волю, что внушало бы человеку мысль о его ничтожестве перед лицом бога. Очень чистые душой, жизнерадостные люди строили эти храмы. И мотивы брали из окружающей жизни: маковка с луковицей — это ведь огород, подзоры — девичье кружево... У Сергея Сергеевича негромкий голос, одет он в заляпанный известкой полушубок строителя.

Вечером, когда мы с Андреем Владимировичем идем к Василию Васильевичу, под нашими ногами потрескивает ледок, с тихим треском оседает подмерзшая грязь. Чернеют деревья на тротуарах, ветвями и веточками своими, образовавшими частую сетку, уходят в звездное небо.

С морозца приятно войти в теплый, ярко освещенный дом.

Василий Васильевич разговаривает по телефону; увидев нас, он говорит в трубку: «А вот и они!» Он передает ее мне и объясняет: «Иван!» И вот я слышу далекий, почти не измененный расстоянием голос моего друга. Иван Федосеевич говорит, что находится сейчас в том самом месте, где мы были с ним два года назад, километрах в сорока с лишним от Райгорода, неподалеку от бывшей усадьбы Воронцовых-Дашковых, где было имение князей... Я сразу же вспоминаю не совсем обычный поселок, административный центр нескольких деревень, затерявшийся среди полей, рядом с одичавшим старинным парком. Там был небольшой деревянный дом с мезонином, вероятно поповский, потому что, кроме помещичьего дома, от которого и следа не осталось, в давние времена там находились только дворы церковников. И еще там стояли вокруг обширной луговины, пересеченной в разных направлениях следами телег и автомашин, новые здания, рубленые, оштукатуренные и собранные из шифера, покрытые железом, шифером, этернитом, с красными, синими, черными и зелеными стеклянными вывесками: сельсовет, почта, сберкасса, лесничество, сливной молочный пункт, какая-то научная станция...

Пока Иван Федосеевич рассказывает, что он объезжал здесь колхозы, а теперь собирается дсмой, в памяти моей встает тот июльский день, когда мы были с ним там, выглянувшее после дождя солнце и как мы шли к парку, откуда, по уверению Ивана Федосеевича, можно было увидеть далекое воронцовское поместье, потому что такой прямой была дорога, специально проложенная к приезду императрицы Екатерины, посетившей здесь известную Е. Дашкову. Мы шли мимо дома с мезонином, и мой приятель, посмотрев на низкое и широкое окно мезонина, с некоторой грустью сказал, что там, когда он работал в этих местах, жил секретарь ячейки и что они, бывало, допоздна засиживались вдвоем. А на старинном валу позади парка, за которым на месте широкого проспекта, обозначенного теперь одинокими исполинскими березами, вился среди лесной перосли глухой затравенный проселок, Иван Федосеевич остановил мужика, возвращавшегося со сливного пункта с порожними молочными бидонами. Тот охотно придержал лошадь, стал было сворачивать сигарку, готовясь к обстоятельному разговору. Он ответил на несколько вопросов о давних товарищах Ивана Федосеевича, поинтересовался:

«Сами-то вы откуда будете?» Потом, когда Иван Федосеевич, ничего не сказав о себе, принялся расспрашивать, каков у них колхоз, много ли нынче выдали, тот с простодушной удовлетворенностью сообщил: «Подходяче... Кила полтора зерна, рубль деньгами...» Иван Федосеевич вдруг резко повернулся и пошел прочь — от неожиданности наш мужик даже табак просыпал. «Подходяче!..» — несколько раз сердито проговорил мой приятель.

Я вспоминаю все это, и наш телефонный разговор сегодня кажется мне как бы естественным заключением той давнишней случайной встречи.

Иван Федосеевич говорит, что звонил домой, но никто не отвечает, а ему сегодня ехать, вот он и попросил Василия Васильевича, чтобы тот выслал за ним к Угожам машину, — дальше-то не проехать... А уж до Угож его отсюда на лошади доставят. Часам к двенадцати если пошлют, в самый раз будет — дорога-то нынче... Он спешит попрощаться, потому что лошадь уже подана, зовет приехать к нему завтра утром.

Весь вечер, пока мы сидим у Василия Васильевича, я думаю об Иване Федосеевиче. Я представляю себе еще покрытую снегом землю, белеющую в темноте, черные перелески, едва видную ночью дорогу, по которой, запахнув потуже овчинную шубу, едет в санях мой приятель. Ночной апрельский морозец охватил раскисшую днем дорогу. Полозья то соскальзывают с бугра в обледенелую колею, то проламывают тонкий лед и движутся в воде, набежавшей за день в неглубокую ложбину. В иных местах, где земля обнажилась, лошади еле тащат сани по затверделой грязи, и тогда седок с возницей соскакивают, шагают рядом с санями. Вокруг ни огонька, только смутно белеющий снег и черные пятна. Пахнет весенним морозцем, соломой, лошадь. И так часа четыре, пока не виден станет впереди фонарь сельской лавки в Угожах и застывшая в туманном его свете райкомовская «Победа».

Не я один думаю об Иване Федосеевиче — о чем бы мы ни говорили, кто-нибудь из нас обязательно вспомнит любогостицкого председателя. Я замечаю, что Василий Васильевич, и всегда-то уважавший Ивана Федосеевича, видит сейчас в нем своего помощника и даже в некотором роде учителя. Будучи дипломированным специалистом и человеком сравнительно молодым, Василий Васильевич хотя и считал нашего общего друга личностью яркой, талантливой, однако относил его к разряду людей, характерных для вчерашнего дня нашей деревни. Теперь он согласен, что такие вот председатели, колхозные Чапаи, как о них говорят, владеют большим — причем именно колхозным, а не просто крестьянским — хозяйственным опытом, досконально знают все обстоятельства народной жизни, ход мыслей народных, отличаются партийной принципиальностью.

Одной фразой своей, одним этим: «Братцы, Бирме помогаем, а вы сергиевским мужикам не хотите помочь!» — Иван Федосеевич сделал то, чего не смог бы сделать длинной речью иной ответственный товарищ из района. Секретарь райкома неспроста запомнил эту фразу, несколько удивленную и чуть укоризненную интонацию, с какой она была произнесена. И голос-то у него звучит сейчас точь-в-точь как у Ивана Федосеевича. Это он как бы принаравливается к инструменту, разгадывает его.

Потом он рассказывает нам, что райком если посылает сейчас кого-нибудь с поручением в колхоз, то старается послать председателя или бригадира, вроде Ивана Федосеевича. До сих пор почему-то практиковалось, чтобы колхозников учили крестьянскому делу заведующий сберкассой, аптекарь или весьма юный, хотя и начитавшийся брошюр инструктор.

Во всем этом я вижу то новое понимание колхоза, колхозника, какое выводится мною из нового определения существа колхозной собственности, данного партией. Единоличного крестьянина, который был мелким собственником, колхозника начала тридцатых годов, владевшего лишь во много раз увеличенным крестьянским двором, могли учить и успешно учили тот же заведующий сберкассой, выражаясь фигурально, тот же начитанный инструктор. Но Иван Федосеевич, в колхозе у которого вдобавок ко всему будет сейчас десять или двенадцать тракторов, он и сам уже способен кое-чему научить. Мне представляется правильным, что он ездит теперь по колхозам не только с лекцией об откорме свиней или осушке болот, — это и прежде было и сегодня полезно делать, — а в качестве представителя райкома, облеченного всеми необходимыми полномочиями.

Близко к полуночи мы покидаем уютный дом Василия Васильевича.

* * *

Утро второго дня в Райгороде встречает нас дождиком.

Михаил Васильевич Грачев, хозяин дома, где мы остановились, замечает, что дождик этот, как говорят старики, снег ест. Михаилу Васильевичу лет семьдесят пять, но «старики» — это не он, а те, у кого он с отроческих лет учился уму-разуму. Даже и старому человеку трудно сказать о себе: «старик».

После чая мы отправляемся к Ивану Федосеевичу в Любогостицы.

Интересно, что из всех моих здешних знакомых только Иван Федосеевич, крестьянин, Михаил Васильевич, бывший уездный мешанин, да еще Сергей Сергеевич, потомственный интеллигент, — что только они произносят название этого села с ударением на втором «о» — Любогостицы, и это звучит, мне кажется, очень по-русски. Все остальные, кого я знаю или слышал когда-нибудь, выговаривают торопливо: «Любогостицы».

Перед городской пожарной частью моет машину райкомовский шофер — пожилой угожский крестьянин Петр Николаевич. Он останавливает нас, здоровается; заметив, что машина у нас новая, принимается ее осматривать, скорее, впрочем, из вежливости, из своеобразного предостережения о хорошем тоне, чем из любопытства. Делает он это, я думаю, точно так же, как делал его отец, повстречав знакомого мужика на новой лошади, — мне все чудится, что он зубы смотрит у нашей «Победы».

Похвалив машину, Петр Николаевич не то спрашивает, не то утверждает: «К дружку собрались!» Он говорит, что нынче ночью отвозил Ивана Федосеевича: «Вон как машину изваракал!» Затем он доверительно сообщает, что Иван-то наш такую, мол, штуку выкинул: сорок пять тысяч своих денег в колхоз отдал. Полагалась ему премия с годового дохода — шестьдесят тысяч, так он взял и сказал на собрании, что от трех четвертей премии отказывается. «Силен мужик!» — восхищается Петр Николаевич и добавляет не без некоторого хвастовства: «Наш, угожский!»

Мы уже с Андреем Владимировичем слышали об этом случае и сейчас, пока едем в Любогостицы, вспоминаем некий давний эпизод, который в свое время показался нам забавным, а теперь, когда мы сопоставили его с только что рассказанной нам историей, обернулся несколько другой стороной, вернее, помог понять кое-что в характере нашего друга.

Было это года три назад. Иван Федосеевич озабочен был тогда постройкой дороги, которая соединила бы Любогостицы с другими селами

колхоза. В ту нашу встречу мы собрались пообедать вчетвером на райгородском вокзале — с нами еще был довольно известный московский литератор. И вот за обедом Иван Федосеевич стал вдруг говорить, что прежде, бывало, писатели строили по деревням школы, больницы, дороги... Кто-то из нас с некоторой назидательностью сказал, что да, в те времена, при царизме, правительство не заботилось о народе, приходилось это брать на себя отдельным передовым людям, хотя благотворительность ничего не могла изменить, и сейчас обо всем этом даже вспоминать как-то смешно, когда наше Советское государство... «Почему же смешно! — возразил Иван Федосеевич. — Худо ли, если бы какой-нибудь знаменитый писатель построил нам дорогу!.. А то все государство да государство...» При этом он, как нам показалось, хитро поглядел на нашего гостя, и мы тогда заподозрили его в желании поддеть, разыграть известного литератора.

Но вот сейчас, вспоминая тот разговор, сопоставив его с недавним поступком Ивана Федосеевича, мы вдруг поняли с Андреем Владимировичем, что не благотворительность видит наш друг в такого рода действиях, а естественные отношения между социалистическим обществом и гражданином.

Андрей Владимирович говорит: «Идейный коммунист!»

Этим словосочетанием, которым в годы революции беспартийные выражали свое уважение к истинным большевикам, только и можно объяснить цельность Ивана Федосеевича, совпадение у него слова с делом.

Мы говорим о почти детской прямоте Любогостицкого председателя.

Лет шесть назад, когда один из незадачливых здешних руководителей с приятельской доверительностью рассказал нашему другу, что его приглашают в область на весьма видную, но, как говорится, «не очень пыльную» работу, тот ему откровенно сказал: «Иди, дружок, пока чистый, а то завалишь у нас дело, нахватась выговоров, кто тебя тогда возьмет!»

Когда мы въезжаем в Любогостицы, дождик перестает.

Иван Федосеевич хлопочет возле самовара: заваривает чай, поднимает крышку, опускает в самовар чистую холстинку с яйцами... Он выкладывает на тарелку длинные пуырчатые огурцы из теплицы, от которых в комнате как бы становится солнечно, по-весеннему празднично. Об огурцах он говорит, что и за деньги почти ничего не берет в колхозе, так как никому покажется, будто председатель, имея большую власть, даром все тащит, а вот уж в зеленом огурчике не может себе отказать. Он откупоривает бутылку какого-то плодоягодного вина, изготовленного захолустным пищекомбинатом, и с обычной своей категоричностью решает за всех: «Белого пить не будем!» Наш друг и вообще-то способен выпить рюмку, две, а сегодня, после трудной ночной поездки и всего только четырех часов сна, вино, видать по нему, вовсе нейдет.

Впервые я вижу, чтобы Иван Федосеевич так тяжело, по-стариковски передвигал обутыми в валенки ногами, впервые думаю о нем, что он ведь почти старик. В редких волосах вокруг лысины деревенского книгочея и мудреца, в небритой бороде поблескивает седина. Он вздыхает, словно ему неможется, глядит устало, временами с удивительным в нем равнодушием. Этот его остановившийся взгляд как бы обращен внутрь.

Однажды на пленуме обкома Иван Федосеевич рассказал притчу.

Жили, мол, в селе два Ивана, ровесники годами, во всем одинаковые крестьянские парни. Но вот году в тридцатом, когда начиналась коллективизация, один Иван уехал в город и поступил в некую военизированную охрану, а другой стал собирать мужиков в колхоз. Больше четверти века прошло с того времени. Председатель колхоза Иван встретил город-

ского Ивана. Глядит, у того ордена и медали за выслугу лет, пенсия... Что ж, это справедливо. Несправедливо только то, что председателю Ивану, коли старость подойдет, нет никакой пенсии.

А ведь колхозный Иван — производитель общественного продукта.

Надо бы, сказал он, подумать о тех, кто в самое трудное время не уходил из деревни, плечом своим подпирал нелегкий колхозный воз.

Иван Федосеевич принимается рассказывать о своей поездке.

Колхозы, где он побывал, охотно объединились, однако трудность была в том, кого из двух председателей оставить работать. В одном колхозе председатель был свой, в другом — приезжий из города. Про этого городского рассказывали, будто он в областном городе дом себе покупает, собирается поселить в нем тещу, а сам только и глядит, как бы туда сбежать... Приятель наш говорит, что он поверил этому, — надо сказать, что у него вообще несколько настороженное отношение к людям, приехавшим как бы выручать деревню, своеобразная ревность тут, что ли!.. Однако при откровенном разговоре с глазу на глаз открылось, что все это оговор и сушая клевета, потому что товарищ этот как раз не покупает, а продает городской дом, тещу же хочет взять к себе, если только его выберут.

Что ж до деревенского председателя...

Тут Иван Федосеевич багровеет, и вместе с гневом к нему словно возвращается крепость и сила втянувшегося в работу пожилого крестьянина.

Он говорит, что того председателя надо бы отдать под суд, но у него там изрядно дружков, в том числе и некоторые с партийными билетами.

Любопытно, что Иван Федосеевич не сказал: «коммунисты».

Один такой горлодер все кричал на собрании, что колхозная демократия попирается, всякие начальники не дают выбрать, кого народ желает.

Не с гневом уже, а с усмешкой рассказывает Иван Федосеевич, как он сшиб этого радетеля народного тремя вопросами. Он спросил его, во-первых, кто же тут начальник. Я живо представляю себе нашего друга, в немного обвисшей романовской шубе и смятом треухе, как он встал, повел глазами, разыскивая «начальника», и как смеялись при этом колхозники. Во-вторых, спросил он его, почему тот считает, что если поступят по его словам, так это — демократия, а если по словам уполномоченного райкома партии, так это — нарушение демократии? Наконец, задал он третий вопрос, что хорошего сделал для колхоза этот самый претендент?..

Народ хорошо чувствует слово, а Иван Федосеевич, хотя и пристрастен, подобно всякому самоучке, к иностранным словам, однако всегда ставит их к месту, будто со свистом, одним ударом вгонит в дерево гвоздь.

Теперь уж к тому кандидату в председатели на всю жизнь пристала кличка «претендент».

Под окнами дома Ивана Федосеевича стоят две громоздкие, новые, неизвестные мне сельскохозяйственные машины. Я спрашиваю: что это, уже по новому закону куплены?.. Иван Федосеевич небрежно отвечает, что нет, это энтэсовские силосоуборочные комбайны. Зато потом, когда мы все отправляемся смотреть новый свинарник и навстречу нам движется нечто выкрашенное в красный цвет, чрезвычайно складное, напоминающее небольшой трактор, взгляд председателя загорается, и он говорит с восхищением: «Самоходное шасси!» К этой машине можно прицепить, точнее навесить, чуть ли не любое сельскохозяйственное орудие либо тележку, и она станет делать нужную в хозяйстве работу. Ее можно пустить на любую здешнюю землю — склон ли это холма, ложбина, лужок среди кустов... В сущности, она так же универсальна и ма-

невренна, как лошадь, но только значительно мощнее, и содержать ее куда дешевле. Вот это и есть механический конь нечерноземной нашей стороны, и можно понять председателя колхоза, когда он жалеет, что продали ему только одно самоходное шасси.

Сама собою приходит мысль, что теперь, когда покупать машины по преимуществу станут колхозы, Иван Федосеевич начнет диктовать свою волю сельскохозяйственному машиностроению, а по тому, как он отнесся к двум разным машинам, легко представить себе, чего он примерно хочет.

Андрей Владимирович спрашивает председателя, куда он поставит купленные тракторы. Тот, словно это его чуть задело, в свою очередь спрашивает: «Думаешь, хуже, чем в эмтэс, будет?.. Не бойсь. Навес сделаем».

Я рассказываю моим друзьям про картину Пластова «Ужин трактористов».

Меня поразило, что в картине, которую можно бы назвать жанровой, действительность, запечатленная художником, выглядит как бы существующей от начала бытия. Каждая подробность в ней относится к нашим дням: и фуражка пограничника на небритом трактористе, и жестяной ширпотребовский бидончик в руках босой девчонки, принесшей трактористам ужин, и трактор с облачком дыма, не выключенный ради спешности... Однако при взгляде на людей и на уходящую к горизонту пашню, освещенную красноватым закатным солнцем, невольно хочется сказать о картине: «Оратаи».

С глубинной сутью народной жизни связан у нас трактор.

Мы говорим о том, что каждый из нас уже взрослым человеком видел, как трактор пришел в деревню, а мы и сейчас еще не очень старые люди.

Так мы идем по селу, разговаривая.

Черные мокрые тополя и ветлы поднимают к серебристому небу большие, растрепанные грачиные гнезда. Избы стоят еще в высоких завалянах, в тростниковых щитах на северных стенах. Среди серого мокрого снега темнеет грязь проталинок, коричневыми грудками лежит размытый навоз, бегут мутные ручьи, уносят соломинки, пустые семенники бурьяна, прутья...

Маленькая и проворная красная машина движется сельской улицей.

Мы входим в свинарник, точнее сказать, в цех по выработке свинины.

Два длинных и широких крыла свинарника соединены квадратным зданием. В этом здании от огромных куч зеленоватой сеной муки, которую девушка в подоткнутом халате и глянцевого резинового сапогах смачивает из брандспойта горячей водой, пахнет июльским лугом. Чернеет мокрый асфальтированный пол. На высокие резервуары, на кожухи каких-то механизмов ложится мелкая сеновая пыльца. Мотор гудит. С шипением рвется тугая, поблескивающая струя воды. Измельченное сено, до этого почти серое, попав под струю, сразу зеленеет. Лязгает железо подвесной дороги, по которой в вагонетках уходит к ревушим свиньям только что приготовленный корм.

В двухсветных, расположенных в крыльях помещениях для самих свиней, занятых рядами сквозных, как ограда на бульваре, железных станков, светло от больших окон, от белых стен, от великого множества шевелящихся, ушастых, розовых свиных тел. Свиньи здесь как будто специально подобраны по размеру, словно их изготовила одна машина: маленькие, побольше, большие, матки с поросятами, сулоросые матки... Они удивительно чистого розового цвета. Все это придает, я бы сказал, индустриальные черты, в сущности, исполнскому свиному хлеву. Впрочем, это все-таки не хлев. И тепло и дух здесь совсем другие. Запах

корма и аммиака от канавок для стока жижи смешивается с сухим жаром батарей центрального отопления.

Конечно, можно взять у государства кредит и построить нечто подобное. Так и поступают иные легкомысленные председатели, не подозревающие даже, что этим они походят на прекраснодушных «просвещенных» помещиков, которые, побывав за границей, не применившись к экономике своего хозяйства, вводили «аглицкие» новшества, на чем и разорялись. Я вспоминаю старый здешний свинарник, откуда страна получила сотни и сотни тонн свинины,— бревенчатый, несколько ушедший в землю, с подслеповатыми оконцами и хлюпающим деревянным полом. Еще пять лет назад некий заезжий журналист с высшим агрономическим образованием фамильярно и снисходительно выговаривал при мне Ивану Федосеевичу: «Что же это ты, председатель!.. Не к лицу такому колхозу этакая рутинá...» Журналист то и дело произносил это слово, однако выговаривал его почему-то с ударением на «а». «Какая же это рутинá,— равнодушно заметил тогда Иван Федосеевич,— это свинарник!» Между прочим, в старом свинарнике, отремонтировав его, колхоз держит телят. Моего друга не увлечь показной стороной дела, иногда и приносящей внешний успех, ему нужна грубая выгода. Разумеется, государство помогает кредитами и любогостицкому колхозу, однако этот прекрасный свинарник, как и все богатства колхоза, зиждется на единственно прочной в сельском хозяйстве основе — на земле.

Главный врач городской больницы подробно и просто, как студентам первого курса, рассказывает нам о состоянии здоровья Натальи Кузьминичны. При этом он все время что-нибудь энергично вертит и ощупывает сильными, длинными, чуть загибающимися назад пальцами: ключи, карандаши, монеты... И лицо у него подвижное, энергичное, немного коротковатое под белой шапочкой, с крупными глазами и широким носом. Покамест Андрей Владимирович разговаривает с врачом, я гляжу на него со стороны, вспоминаю, что все называют его даровитым, образованным хирургом, и прихожу к мысли, что этот сравнительно молодой человек, видать по всему думающий, интеллигентный, принадлежит к той породе русских врачей, слава которых складывается в провинции и расходится затем по всей стране.

А потом мы идем к Наталье Кузьминичне через коридоры и комнаты, где цветы в обернутых бумагой горшках, вышитые портьеры на окнах, салфетки на столиках и диванах скрадывают казенность, сообщают обстановке черты домашности — особенность, по-моему, чисто районная.

Наталья Кузьминична лежит навзничь, на низкой подушке. Лицо у нее малиновое, исхудавшее, с резко обозначившимися скулами. В распущенных, слипшихся от пота волосах заметно прибавилось седины. Глаза помутнели, полны слез. Увидев нас, она принимается еще пуше плакать.

Мы хорошо знаем, что ей уже ничто не угрожает, и поэтому с чистой совестью произносим обычные в таких случаях слова утешения. Но она молчит, только еще чаще, прерывистее всхлипывает, и слезы текут быстрее.

Впечатлительную и нервную натуру нашей приятельницы потрясло все то, что с ней произошло: внезапные проводы в больницу и соболезнования откровенных деревенских соседок, сводящиеся к тому, что ей, мол, уже не жить, сердешной; спешность операции, физическая боль, последствия наркоза, реальность смерти и мысли о сыновьях, об осиротевшем вдруг доме.

Мне начинает казаться, что она даже не видит нас, не узнает...

Нас торопит нянечка, и мы говорим, что скоро опять приедем.

— Когда? — спрашивает вдруг Наталья Кузьминична.

В этом ее вопросе угадывается гордость тем, что вот не забыта она друзьями, и слышится в нем любопытство уставшего от долгих слез ребенка.

До свидания, Наталья Кузьминична!..

Солнце, прорвавшись сквозь облака, освещает желтоватый еловый лес. Мы стоим возле каменного столба, утвержденного некогда на границе между двумя губерниями; поднявшийся в гневе медведь кажется нам скорее мужицким гербом, нежели дворянским. Высокая, освещенная солнцем ель, вся в длинных медных шишках, простерла вокруг тяжелые мохнатые лапы. Шофер остановившейся тут же грузовой машины, должно быть, из-за солнца и смолистого духа и запаха тающего снега, схватил вдруг валявшийся здесь обломок жерди, швырнул его вверх, и старая ель, потревоженная им, мгновенно оделась сквозными, сияющими, летящими семенами. Каждое семечко прикреплено к основанию крошечного крыла, но в полете, вертясь, оно кажется мотыльком, весело помахивающим двумя крылышками.

Поблескивая, медленно опускаются на землю крылатые семена.



А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ИЗ ЛИРИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

(1936—1958)

1. ДОРОГА

Столбы, селенья, перекрестки,
Хлеба, ольховые кусты,
Посадки нынешней березки,
Крутые новые мосты.

Поля бегут широким кругом,
Поют протяжно провода,
А ветер прет в стекло с натугой,
Густой и сильный, как вода.

2

Шумит, пробираясь кустами,
Усталое, сытое стадо.
Пастух повстречался нестарый
С насмешливо-ласковым взглядом.

Табак предлагает отменный,
Радужною радует речью.
Спасибо, товарищ почтенный,
За добрую встречу.

Парнишка идет босоногий,
Он вежлив, серьезен и важен.
Приметы вернейшей дороги
С готовностью тотчас укажет.

И следует дальше, влекомый
Своею особой задачей.
Спасибо, дружок незнакомый,
Желаю удачи!

Девчонка стоит у колодца,
Она обернется, я знаю,
И через плечо улыбнется,
Гребенку слегка поправляя.

Другая мне девушка снится,
Но я не боюсь порицанья:
Спасибо и вам, озорница,
За ваше вниманье.

3. МУЖ И ЖЕНА

Что он делал, что он думал
В этот день в избе пустой,
Работающий и угрюмый
Человек, хозяин твой?

Довидна возился с печкой,
Снаряжался у дверей,
Подпоясанный уздечкой,
Гнал на речку лошадей?

Может, все ж зашел к соседям,
Хоть промолвил те слова:
«Что-то баба долго едет,
Знать, понравилась Москва?»

Иль сидел в избе одетый,
У окна, как старый дед,
Пыхал трубкой за газетой,
Понимал, а может, нет?

Иль на радостях собрался,
Выпив, с кем-нибудь сидел
И тобою похвалялся:
«Баба — о! Политотдел!»

4

А ты, что множество людей,
С тобою росших, помнишь,
Ты под ровесницей своей
Грустишь, под липой темной.

Я знаю, старый человек,
Ты волю дал обиде,
Что прожил долгий, трудный век
И ничего не видел.

Ты знал, что все края равны,
Везде нужда и горе,
И не прошел родной страны
От моря и до моря.

Дождался дома сытых дней,
Все так, одно обидно:
Себя считал ты всех умней,
Да просчитался, видно.

5

За распахнутым окном,
 На просторе луга
 Лошадь сытая в ночном
 Отряхнулась глухо.

Чуял запах я воды
 И остывшей пыли.
 Видел — белые сады
 В темноте светили.

Слышал, как едва-едва
 Прошумела липа,
 Как внизу росла трава
 Из земли со скрипом.

6. МАТЕРИ

И первый шум листвы еще неполной,
 И след зеленый по росе зернистой,
 И одинокий стук валька на речке,
 И грустный запах молодого сена,
 И отголосок поздней бабьей песни,
 И просто небо, голубое небо —
 Мне всякий раз тебя напоминают.

7

Прошло пять лет. Объехав свет,
 Со станции знакомой,
 Один, как перст, потрепан, сед,
 Он приближался к дому.

И нес в котомке как залог
 Любви и жизни дружной
 Веселый ситцевый платок —
 Жене подарок мужний.

То ль где-то он его стащил
 В чужой толпе базарной,
 То ль на Магнитке получил
 По карточке ударной...

И вдруг он видит по пути
 В лавчонке захолустной
 Платков таких — хоть пруд пруди.
 И стало очень грустно.

8. ПЕРЕД ДОЖДЕМ

У дороги дуб зеленый
 Зашумел листвой каляной.
 Над землею истомленной
 Дождь собрался долгожданный.

Из-за моря послешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась, точно в гору.

Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.

Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.

Стало тише и тревожней
На земле похолоделой...
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

9

Есть обрыв, где я, играя,
Обсыпал себя песком.
Есть лужайка у сарая —
Там я бегал босиком.

Есть речушка — там я плавал,
Как бывало, не дыша.
Там я рвал зеленый явор,
Плетки плел из камыша.

Есть береза вполобхвата,
Та береза на дворе,
Где я вырезал когда-то
Буквы «САША» на коре...

Но во всей отчизне славной
Нет такого уголка,
Нет такой земли, чтоб равно
Мне была не дорога.

10. СЕЛЬСКОЕ УТРО

Звон из кузницы несется.
Звон по улице идет.
Отдается у колодца,
У заборов, у ворот.

Дружный, утренний, 'здоровый
Звон по улице идет.
Звонко стукнула подкова,
Под подковой хрустнул лед;

Подо льдом ручей забулькал,
Зазвенело все кругом;
Тонко дзинькнула сосулька,
Разбиваясь под окном;

Молоко звонит в посуду,
Бьет рогами в стену скот,
Звон несется отовсюду —
Наковальня тон дает.

11

Лед идет, большой, громоздкий,
Ночью движется и днем.
Все заметнее полоска
Между берегом и льдом.

Утром ранним, утром дымным
Разглядел я вдалеке,
Как куски дороги зимней
Уплывали по реке.

Поперек реки широкой
Был проложен путь прямой.
Той дорогой, той дорогой
Я ходил к тебе зимой...

Выйду, выйду напоследки,
Ой, как воды высоки,
Лед идет цепочкой редкой
Серединою реки.

Высоки и вольны воды.
Вот пройдет еще два дня —
С первым, с первым пароходом
Ты уедешь от меня.

12. ДЕТИ

Стол красуется накрытый.
День не просто выходной:
В доме летчик знаменитый,
Гость желанный — сын родной.

Загорелый, синеглазый.
— Вырос, — шутят старики, —
Как вошел в избу, так сразу
Стали ниже потолки...

А у дома, у машинны —
Сходка целая ребят.
Все, как взрослые мужчины,
Руки за спину, стоят.

И, наверно, мыслит каждый:
Погодите, дайте срок,
Точно так и я однажды
В гости гряну на порог.

13

Звезды, звезды, как мне быть,
Звезды, что мне делать,
Чтобы так ее любить,
Как она велела?

Вот прошло уже три дня,
Как она сказала:
— Полюбите так меня,
Чтоб вам трудно стало.

Чтобы не было для вас
Все на свете просто,
Чтоб хотелось вам подчас
Прыгнуть в воду с моста.

Чтоб ни дыма, ни огня
Вам не страшно было.
Полюбите так меня,
Чтоб я вас любила.

14

То к сыну старик, то к шинели сыновней,
То сядет за стол, то к порогу опять.
— Нет, шутка ли слово такое: полковник!
Полковник! Герой! Это надо понять.

И смотрит на сына с тревогой любовной,
И снова встает, не уймется отец.
— Полковник! А скажем и так: ну, полковник,
Ну даже полковник! А я вот кузнец.

Ну что ж, повстречались. Ну, выпили вместе
За милого гостя в отцовской избе.
А то, что касается службы да чести,
Ты — сам по себе, я — сам по себе.

15. ТАНК

Взвоят гусеницы люто,
Надрезая снег с землей,
Снег с землей завьется круто
Вслед за свежей колеей.

И как будто первопуток
Открывая за собой,
В сталь одетый и обутый,
Танк идет с исходной в бой.

Лесом, полем мимолетным,
Сам себе кладет мосты,
Только следом неохотно
Выпрямляются кусты.

В гору, в гору, в гору рвется,
 На дыбы встает вдали,
 Вот еще, еще качнется,
 Оторвется от земли! —

И уже за взгорьем где-то
 Путь прокладывает свой,
 Где в дыму взвилась ракета,
 Где рубеж земли,
 Край света
 — бой.

16

Не дым домашний над поселком,
 Не скрип веселого крыльца,
 Не запах утренний сенца
 На молодом морозце колком,—

А дым костра, землянки тьма,
 А день, ползущий в лес по лыжням,
 Звон пули в воздухе недвижимом,
 Остекленевшем — вот зима...

17

— Давай-ка, товарищ, вставай, помогу,
 Мороз подступает железный.
 На голом снегу лежать на боку
 Совсем тебе не полезно.
 Держись-ка за шею, берись вот так.
 Шагаем в полном порядке.
 Замерзли руки? Молчишь, чудак,
 Примерь-ка мои перчатки.

Ну как, товарищ? Опять — плечо?
 А вот и лесок. Постой-ка.
 Теперь пройти нам столько еще,
 Полстолько да четвертьстолько.

Ты что? Оставить тебя в лесу?
 Да ты, дорогой, в уме ли?
 Не хочешь идти — на себе донесу.
 А нет — дотащу на шинели.

18

Я задумал написать
 На досуге повестушку.
 Захворал — и слег в кровать
 Греть постылую подушку.

И о замысле своем
 Не жалел я, а подумал:
 Бог с ним — глядь, еще умрем.
 И хотя тогда не умер,
 Позабыл совсем о нем.

Нужно дело выбирать,
 Чтоб оно рождало силы,
 С ним о смерти забывать
 На краю самой могилы.

19. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЗИМА

В вагоне пахнет зимним хлебом,
 Гремят бидоны на полу.
 Сосет мороженое с хлебом
 Старуха древняя в углу.

Полным-полно, народ в проходе
 Бочком с котомками стоит.
 И о лихой морской пехоте
 Поет нетрезвый инвалид.

20

Два города в утренних дымах,
 В разгаре морозного дня.
 Два города самых любимых,
 Два самых родных у меня.

Неравные две величины —
 В том критика будет права:
 Один — это город Москва,
 Другой — это город Починок.

Над улицей главных путей
 Моя примостилась квартира.
 То улица — за день полмира
 Пройдет и проедет по ней.

А где-то Починок в болотце,
 В сугробах, в березках кривых.
 Он городом с год как зовется —
 Пожалуй, еще не привык.

Но — город. Зовется недаром:
 Кино, фотография, клуб.
 Афиша московская: «Жаров.
 Проездом. Цена один рубль».

21. МЛАДШЕМУ ДРУГУ

Двадцать восемь — какая же молодость.
 В этот малый для дерева срок
 Успеваешь пробиться из желудя,
 Вровень с лесом подняться дубок.

С человеком ему не сравниться.
 В двадцать восемь ли, матушка-мать,
 Человек успевает родиться,
 Возмужать и родителем стать.

В этот срок берега опускаются,
Уступая движенью морей,
Государства и земли меняются,
Забываются смены властей.

Нет, какая же молодость. Мужество,
Полдень, утру идущий вослед.
В пору прибывшей силы содружество
С гордым опытом прожитых лет.

22

Я полон веры несомненной,
Что жизнь — как быстро ни бежит, —
Она не так уже мгновенна
И мне вполне принадлежит.

Со всем ее живым и сущим
Отрадным светом и теплом,
С ее прошедшим и грядущим
Добром и горьким недобром.

Она дала мне дней задаток,
Ну что же, в дело обратим,
И как тот малый срок ни краток —
Он от нее неотделим:
Он ей самой необходим.

23. МОИМ КРИТИКАМ

Всё учить вы меня норовите,
Преподавать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная: что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?..

24

Не знаю, как бы я любил
Весь этот мир, бегущий мимо,
Когда б не убыль прежних сил,
Не счет годов необратимый.

Не знаю, как горел бы жар
Моей привязанности кровной,
Когда бы я не подлежал,
Как все, отставке безусловной.

Тогда откуда бы взялась
В душе, вовек неомраченной,

Та жизни выстраданной сласть,
Та вера, воля, страсть и власть,
Что стоит мук и смерти черной.

25

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог,

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.



АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ

★

ДВЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Повесть

1

Нестор Бетаров прилетал на своем мотоцикле неожиданно-негаданно, точно снег на голову, и только затем будто, чтобы взять очередную метеосводку.

На дне ущелья редела река. Это была светло-зеленая горная река, не знающая покоя ни летом, ни зимой. В любое время года с неумолимой яростью перекачивала она гальку, рвала береговые скалы, обглаживала камни, свалившиеся с гор. Зима здесь в горах наступала рано. Внизу, «на плоскости», как говорили местные люди, только-только убрали урожай, а в горах уже шел снег, свистели свирепые вьюги. Но никакой, даже самый лютой, мороз не мог сковать осатанелую реку — только еще отчаяннее металась она на каменном ложе, еще отчаяннее охлестывала белой пеной дикие берега.

А над сумасшедшей горной водой резвилась маленькая оляпка; здешние люди называли ее водяным воробьем. Грудь у птички была белая, ножки коралловые, перышки черно-бурые, блестящие, одно к одному, точно облитые смолой. Она быстро перелетала, вернее перескакивала, с камня на камень, такая юркая, что за ней едва поспевал глаз. То и дело оляпка бросалась за кормом в самую пучину, в самый злой водоворот, туда, где сильнее всего с однообразным буйством вздымало на камнях и рвало ледяную воду.

Каждый раз казалось, что птичка погибла. Проходила минута-другая, и вдруг как ни в чем не бывало оляпка выпрыгивала из воды в добром десятке метров ниже по течению, и ни единой капли не срывалось с ее тельца! Она усаживалась на камень и принималась коротким клювом чистить смоляные перышки, посверливая все вокруг насмешливыми черно-фиолетовыми буравчиками глаз.

Мотоцикл Бетарова на короткое время забивал речной шум; взлетала пыль на крутом повороте тропинки; на секунду Бетаров пропадал за сильным обломком скалы — и вот он, собственной персоной, перед ступенями гидрометеорологической станции.

Он глушил мотор, и тотчас, как звуковой фон в радиоприемнике, все пространство близлежащего мира снова заполнял равномерный, непрерывный гул реки.

Что ж, метеосводку так метеосводку!.. Только никто на станции не верил, что Нестор Бетаров приезжает сюда из-за одного лишь долгосрочного прогноза погоды.

Дед Токмаков говорил неодобрительно:

— Что ты газуешь, парень, шумишь без толку? Дохлое твое дело, Нестор, уж поверь ты мне.

Но Бетаров не смущался. Добродушно посмеиваясь, он отвечал Токмакову с деланным безразличием:

— Служебная надобность, дед. Без прогноза погоды мы жить не можем.

— Как же, как же! Очень нам хорошо известно, это самое, какая такая надобность! — ворчал дед Токмаков, топорща бороду, и укоризненно покачивал тяжелой головой. — Ничего у тебя не выйдет, парень. Для нашей Татьяны Андреевны ты, это самое, непримечательная личность. Мотоциклетки, думаешь, она не видела?

Бетаров слезал с мотоцикла и, похлопывая по ладони перчатками с широкими раструбами, посмеиваясь, шел в дом. Он знал, что его здесь не встретят, как желанного гостя, но это не имело для него никакого значения.

2

Дом гидрометеостанции, громоздкий, сложенный из серых камней, словно старинная горская крепость, стоял над рекой в узкой горной впадине. Всего на два-три часа в сутки проникали сюда прямые солнечные лучи. В остальную часть дня солнце совершало свой круговорот за горными кряжами, за ослепительными снежными куполами и только высоко над домом задерживалось на лобастых замшелых склонах.

Вблизи гидрометеостанции шагали со скалы на скалу, потом взбирались по угрюмым кручам и уходили за перевал к шахтам цинкового рудника — в соседнее большое ущелье — исполинские опоры подвесной канатной дороги. Бесшумно в неумолчном гуле реки проплывали над скалами металлические вагонетки: к перевалу двигались пустые, из-за горного хребта — груженные цинковой рудой; обогатительная фабрика находилась «на плоскости» у самого подножия гор.

Какую-нибудь неделю назад Нестор Бетаров, старший мастер канатной дороги, отлично обходился без долгосрочных прогнозов. Все началось с того, что однажды, в погожий осенний день, когда людей в горах не мучил пронизывающий ветер и до зимы, казалось, было еще далеко, Бетаров явился на станцию по приказанию главного инженера рудника: предстоял ремонт подвесной дороги — смена канатов, окраска опор. Рудник запаздывал с выполнением годового плана, и канатную дорогу в летнее время остановить на ремонт не удалось. Теперь, в преддверии зимы, начальство пожелало запастись наперед сведениями о предстоящей погоде, чтобы ненастье не захватило врасплох ремонтную бригаду.

Что касается Бетарова, то он лично считал эти предосторожности излишними. Это был высокий шумный молодой человек, не умевший сидеть сложа руки. Если даже и выпадала минута вынужденного безделья, например, когда приходилось чего-нибудь ждать, то и в этом случае он принимался перочинным ножиком строгать тросточку из орешника, мастерить игрушку для ребят, чинить какую-нибудь безделицу, а то просто швырять оземь перочинный нож — жох или плошка?

Сказать, что Бетаров не верил в метеорологическую науку, было бы неверно. Он просто мало знал о ней. Ну и кроме того, в соответствии с распространенным мнением считал, что особенно полагаться на нее, конечно, не стоит. Ведь, кажется, сами метеорологи говорят, что их предсказания верны процентах в сорока; значит, противоположные данные верны в шестидесяти процентах. Но еще — и это, вероятно, было главное — он рассуждал трезво и здраво: ремонтировать подвесную дорогу необходимо — значит, какая бы погода ни была, рано или поздно,

изволь, выполняй задание; для того и существовали здесь он и его люди.

Все же, поскольку было получено распоряжение главного инженера, Бетаров поехал на гидрометеостанцию.

Шагая через две ступеньки, он поднялся на крыльцо и впервые переступил порог рокового дома.

В просторной прихожей никого не было. Он прошел в коридор и возле «титана» перед кухонной дверью увидел тощую, как кочерга, пожилую работницу Марью.

— Гражданочка, кто у вас тут командир? — не ведая о том, что ждет его впереди, весело спросил Бетаров.

— Какой такой командир? Если вам Петра Петровича, так он вчерась уехавши на плоскость, вызвали в райисполком.

— Ну, а кто тут главный вместо него?

— А вместо него Татьяна Андреевна, кто же иначе?

— Куда к ней? Сюда? Сюда? — Бетаров бесцеремонно тыкал пальцем в двери, выходящие в коридор.

Но ему не пришлось разыскивать Татьяну Андреевну.

С гидрологической вертушкой в руках, похожей на маленькую торпеду, в короткой куртке с меховым воротником, в высоких резиновых сапогах, в вязаной пушистой шапочке, она сама оказалась перед ним, выйдя из своего кабинета. Из-под распахнутой куртки выглядывал синий свитер.

— Татьяна Андреевна, тут до вас человек, — сказала Марья.

— Да-а? — думая о чем-то своем, телефонным голосом коротко спросила Татьяна Андреевна.

Отчужденное, полное безразличия «да-а?» удивило Бетарова. Он привык к тому, что перед ним легко раскрывались все двери и, так же как двери, все людские сердца. Он безотказно вызывал симпатию, в особенности у женщин, и знал об этом. Редкая представительница прекрасного пола, если она не была закоренелой мужененавистницей, — попадаются же и такие — оставалась безразличной к взгляду сверкающих, огнедышащих глаз Бетарова, к его лучезарной улыбке (когда Нестор Бетаров улыбался, открывался ровный ряд крепких белых зубов, похожих на дорогое украшение из слоновой кости). Во всяком случае, его улыбка, как в известной кинопесне, покоряла даже мужчин.

Почему же сейчас «не сработало», что называется, его неизменное обаяние?

В коридоре было не очень светло, мерцал на стенах свет, отраженный из топки «титана», которую открывала Марья, и Бетарову показались таинственными очаровательное узкое лицо Татьяны Андреевны, ее глуховатый, неожиданно телефонный голос. Его поразил спокойный взгляд молодой женщины, и еще больше поразило то, что он не произвел на нее никакого впечатления. Бетаров стоял молча, точно оглушенный, забыв даже улыбаться, удивляясь самому себе, своему странному состоянию.

— Вы ко мне? — вежливо продолжала «телефонный» разговор Татьяна Андреевна и зажгла в коридоре свет.

Бетаров почувствовал неловкость. Что это за человек такой, которому удается с глазу на глаз так ясно дать понять — мы с вами на разных концах провода? Что это, холодность, свойственная ей вообще? Или, может быть, высокомерие? Или та особенная отрешенность от мирских соблазнов, которой Бетаров никогда еще в жизни не встречал и которой, по его мнению, могли отличаться разве одни лишь ученые и поэты?

Вглядываясь в Татьяну Андреевну с любопытством и возникшей неприязнью, Бетаров увидел, что у нее большие глаза, которые принято

называть зелеными, тонкие, может быть подбритые, брови, по-детски припухшие губы, какие так нравятся мужчинам, и выпуклые верхние веки, что она не худа, но и не полна, что у нее красивая высокая прическа.

Исчезла обычная бойкость, испарилась обычная самоуверенность, возникло в сердце ощущение досадной пустоты, и Бетаров сказал чуть ли не со злостью:

— Я насчет погоды. Товарищ Вараксин, наш главный инженер, договорился с вашим начальником. Станция должна готовить нам метеорологическую сводку.

— Вам нужно к товарищу Сорочкину. К сожалению, он уехал с начальником в райцентр.

— А вы не можете?

— Не могу. Я гидролог. Придется заехать завтра.

Она сочла разговор оконченным, но Бетаров загораживал выход. Как пень торчал он посреди коридора, злясь на себя за обескураживающее, непривычное смущение. Почему он растерялся ни с того ни с сего?

— Разрешите,— сказала она, делая попытку пройти.

Он не пошевелился. В стремлении понять, что с ним происходит, пытаюсь перебороть непонятное смятение, он спросил с нарочитой грубостью:

— Кто же тогда наблюдает за погодой? Бросили на произвол? Насколько мне известно, метеорологи должны записывать показания всяких там термометров и барометров по несколько раз на день.

Вот теперь она снисходительно и вежливо улыбнулась.

— На станции имеются дежурные наблюдатели. Они на местах, но прогноза у них вы не получите. Что вас еще интересует?

Она взглянула на Бетарова без раздражения, но с недовольством, как смотрят на случайное препятствие.

Обидный для мужчины взгляд,— так подумал Бетаров. А подумав так, он почувствовал желание сказать: «Меня все интересует, что касается вас». И вдруг с поразительной ясностью, точно кто-то подсказал за его спиной, он понял, почему ни с того ни с сего он застыл как пень посреди коридора!.. Он усмехнулся, встряхнул головой и произнес с озорством и вызовом:

— Меня интересует, куда земля девается, когда палка втыкается?

Татьяна Андреевна не улыбнулась. Она пожала плечами, мягко, как больному, сказала: «Всего наилучшего»,— отстранила Бетарова и пошла к выходу.

Нестор качнул головой и, полуобернувшись, смотрел, как она уходит. Когда Татьяна Андреевна взялась за ручку выходной двери, он двинулся за ней и сказал негромко:

— Одну минуту, я пошутил, и, как часто со мной бывает, не совсем удачно... Меня на самом деле интересует, что вы здесь делаете. Лично вы.— Он любил употреблять это словечко «лично».— Гидрометеорология — что это за штука такая?

Положение было ясное. Потому ли, что Татьяна Андреевна была молодая, или в силу своего характера, но таких неудач она не прощала. О людях она привыкла судить строго, быстро составляла о них мнение и редко оказывала снисхождение человеческим слабостям. В отношении мастера канатной дороги можно было не сомневаться — нагловатый, развязный, пошлый тип. Его внезапный интерес к науке не требовал объяснений.

— Я занята, к сожалению,— ответила Татьяна Андреевна.

Бетаров вышел за ней на крыльцо. Он вдруг словно очнулся.

— Позвольте, я помогу! — крикнул он, бросаясь к Татьяне Андреевне. Она удивленно оглянулась.

— Совершенно ни к чему.

И быстро пошла вниз, не оглядываясь.

Странный, необъяснимый случай: никогда не унывающий, не знающий, что такое смятение чувств, подметки режущий на ходу, Нестор Бегаров сник и приуныл. Неприятная пустота появилась в его сердце. Да что с ним случилось, черт побери? Влюбился с первого взгляда, что ли? Никогда не бывало с ним такой чертовщины!

Он остановился возле крыльца. Лицо его вытянулось, глаза потускнели. Скорбным взглядом проводил он молодую женщину, проворно спускавшуюся по узкой тропинке. Гидрологическую вертушку она несла двумя руками, как снаряд, приготовленный к выстрелу.

Когда Нестор Бегаров завел мотоцикл, Татьяна Андреевна стояла на подвесном водомерном мостике над грохочущей, несущейся рекой и опустила вертушку в бурную, взъерошенную воду. Ветер рвал полы ее куртки, осыпал водяной пылью. Вяло клубясь, поднимались над рекой клочья холодного тумана.

3

Жизнь в доме гидрометеорологической станции начиналась рано.

Если не считать дежурных наблюдателей, снимающих показания приборов и в ночные часы, прежде всех просыпался в своей каменной хибаре дед Токмаков. Седая борода его позеленела от старости, но был он еще полон сил, кражистый, не по-стариковски устойчивый на ногах.

В ущелье еще совсем темно; небо, затянутое облаками, не отличишь от серого и мрачного горного хребта, а дед Токмаков в негнущемся, точно из жести, брезентовом дождевике уже бродит вокруг дома, расчищает дорожки от ночного снега, колет дрова возле кухонного крыльца.

Дед Токмаков был первым жителем ущелья. Он поселился здесь в давние времена, когда не было ни канатной дороги, ни обогатительной фабрики. Руду из шахт вывозили «на плоскость» на дигорских ишаках по десяти копеек с пуда. А в ущелье, где теперь стоял дом гидрометеостанции, невозможно было пробиться, так густо заросли кизилом и боярышником его обрывистые склоны, и на дне не бушевала теперешняя неумная река, а бежал скромный ручеек, журчание которого было едва слышно. Жил тогда Токмаков в той же хибаре, сложенной из каменных обломков.

На горе вокруг жилья он рассадил яблоневый сад, сорта выбрал все плодоносные, морозостойкие; был он первым знатоком-садоводом во всей округе, нетерпеливый к людям, насмешливый, с нравом въедливым и немирным.

Случайным прохожим, забредавшим в его усадьбу, он говорил:

— Ничего нет на свете лучше дерева. Растет, а молчит, вот какая причина. Тишину уважаю пуще всего прочего...

Уже тогда кизил и боярышник почти начисто вывелись в ущелье, может быть, вымерзли или какая-нибудь тля их заела, зато набралась ярости и силы река и из притока превратилась в главную артерию: верно, изменил ее характер горный обвал. А Токмаков все жил в ущелье, не зная ни горя, ни радости.

В наши уже дни перебросили через глухое ущелье канатную дорогу, потом понадобилось разместить в горах гидрометеостанцию. Лучшего места, чем усадьба Токмакова, не нашлось — и рядом с его хибарой рудничные рабочие сложили большой дом.

Сперва дед Токмаков ершился да ерпенился, но больше для видимости; все время, пока он жил бирюком-отшельником, не переставал он тосковать по человеческому слову, по доброму соседству, лишь спесь и нераскаянная гордыня не позволяли в этом признаться даже самому себе.

И дед Токмаков поступил на станцию сторожем. Теперь, когда ему говорили: «Пора бы тебе, дед, на покой», он отвечал сердито:

— Скажете, на покой! Я еще работник будь здоров! Пойди такого поищи.

После деда Токмакова в доме гидрометеостанции поднималась работница Марья. Она была здесь одна за всех — убирала, подметала, мыла полы, стирала, готовила обед для научных сотрудников. Выражение грубого солдатского лица Марьи было всегда недовольное, точно ее подняли сирсенок. Она получала двойную зарплату, как уборщица и как кухарка, при всяком удобном поводе начальник станции представлял ее к премии, но Марья всегда ворчала, всегда грозила, что пропади все пропадом, завтра она поднимется и уйдет и ни разу даже не оглянется, будет она губить свой век в такой глуши!.. Однако Марья только пугала, никуда она не уходила, работала за двоих, и весь станционный быт держался на ее тощих, костлявых плечах.

После того как Марья разжигала кипятильник «титан», о котором дед Токмаков говорил: «Хоть бы он распаялся, проклятый!», потому что любил чай из самовара, начинали вставать сотрудники станции, свободные от ночного дежурства.

Выходил начальник станции, тихий и скромный Петр Петрович Гвоздырьков, человек, очень уважающий науку. Сам он приобрел к научной деятельности не так давно и потому, наверно, особенно был к ней почтителен. Всю жизнь Гвоздырьков принадлежал к той всеобъемлющей и расплывчатой категории людей, чья специальность определяется словом «хозяйственник». Именно поэтому Гвоздырькову пришлось на своем веку начальствовать и в промысловой артели, и в тресте местной промышленности, и в областном холодильнике, и заведовать показательной швейной фабрикой, и управлять крупными пристанскими складами в городе Поти. Работая в складском хозяйстве, он и завершил свое — не столько высшее, сколько тяжкое — заочное образование и стал метеорологом.

Прежде чем засесть в кабинете, где он вершил несложные хозяйственные дела станции, Петр Петрович обходил метеорологическую площадку, лабораторию, комнату, где стояли рация и телефон, называющуюся на станции «аппаратной», кухню, наводил порядок.

В разговорах с людьми Гвоздырьков любил плакаться, что все у него валится из рук, не хватает ни на что времени, на станции полный хаос. В действительности хозяйственником он был отличным, к тому же прилежным, кропотливым метеорологом, и станция за свою работу неоднократно получала премии.

Затем на горизонте умывальной комнаты появлялся Геннадий Семенович Сорочкин, старший метеоролог, весьма уважаемый молодой человек с пушком на упитанных розовых щеках, точно он еще не начал бриться, хотя было ему уже за тридцать.

Ну, а за Сорочкиным, как правило, в лиловом кокетливом халатике бежала умываться Грушецкая — синоптик, худая некрасивая женщина.

Года три уже работала Грушецкая на станции, но что она за человек, каковы ее душевные качества, добрая она или злая, о чем она думает, о чем мечтает, никто на станции толком себе не представлял. И, наверно, так случилось не потому, что Грушецкая была скрытная особа. Скрыткой ее вряд ли можно было назвать. У этой молчаливой, малоприметной женщины было великое множество знакомых, старинных подруг, родственников, никто на станции не вел такой обширной переписки, как она. Скорее всего попросту никто Грушецкой по-настоящему не интересовался. Иногда она выходила на работу недовольная, даже сердитая — это случалось весьма часто; иногда веселая, оживленная — гораздо реже. Но чем объяснялась смена настроений — оставалось неизвестным. И только однажды в новогоднюю ночь, которую сотрудники станции проводили

дома, не поехав из-за заносов в рудничный Дворец культуры, Грушецкая, похорошевшая, в новом платье с широким белым кружевным воротником, подвыпила и разоткровенничалась с Сорочкиным на кухне, где они вместе с Марьей крутили мороженое.

— Была молодая, раскидывала карты — сколько было желаний! — задумчиво и восторженно рассказывала она, с натугой крутя мороженицу. — А теперь возьмусь гадать самой себе. чего бы задумать? И нет никаких желаний. И, знаете, дорогой Геннадий Семенович, хорошо! Может быть, старость подошла? Не знаю.

— Бог знает, что вы говорите, — сказал Сорочкин с неприязнью, предполагая, что Грушецкая рисуется.

Он был уверен, что Лидия Максимовна втайне влюблена в него, но так как Сорочкин ничем не интересовался, кроме науки, и сторонился женщин, то с Грушецкой он вел себя деликатно, ценя ее деловые качества, но холодно, страшась, как бы неосторожным словом или поступком не вызвать с ее стороны неприятных объяснений.

Наконец поднималась супруга начальника — Валентина Денисовна, женщина грузная, властная и жалостливая. На станции она работала в качестве наблюдателя, но, будучи начальнической женой, считала себя чем-то вроде хозяйки дома. Почти все сотрудники станции с этим безмолвно давно свыклись. Один аэролог Авдюхов, пожилой, желчный человек с сухим морщинистым лицом, всегда подтянутый, чисто выбритый, не желал считаться с ее авторитетом.

Жизнь Авдюхова сложилась неудачно. В прошлом судовой радист, он был арестован по ложному обвинению. После реабилитации ему не пришлось вернуться на прежнюю работу — возраст не тот. Он стал аэрологом и вел теперь изучение верхних слоев атмосферы, составлял аэрологические карты. Кроме того, на его обязанности лежала передача метеорологических сведений в областное бюро погоды и радиосвязь.

К работе на гидрометеостанции Авдюхов относился без большой любви — не мог забыть моря, далеких плаваний, чужеземных портов, широты мира, распахнутой прежде перед ним, наконец, просто милой сердцу сложной аппаратуры судовых радиорубок.

Скользили над узким ущельем бесшумные вагонетки, шастали по кустам их скособоченные тени, солнце совершало свой круговорот, металась в каменном русле бешеная река, прыгала над водой маленькая оляпка, а он жил здесь тише воды, ниже травы, с угрюмым спокойствием принимая все — и хорошее и дурное.

Если случалось повздорить с начальником, а чаще — с его женой, Авдюхов быстро умолкал, подхватывал ружье и, больше уж не говоря ни слова, уходил в горы. Гвоздырьков, вздыхая, каждый раз провожал его беспокойным взглядом. Но Авдюхов недолго пропадал в горах. Он возвращался вскоре как ни в чем не бывало, снова молчаливый, умиротворенный, и всегда — без добычи.

Всеобщая любимица, милая, красивая Татьяна Андреевна просыпалась в семь утра, завтракала и шла на водомерный пост.

Татьяне Андреевне нравилась ее специальность. Может быть, она даже немного ее идеализировала. Но так было не всегда. Еще девчонкой, в школе, она мечтала о какой-нибудь необычайной профессии. Она была бедовой девчонкой, ей нравилось шеголять в штанах, она любила воду, ветер, солнце, снег, любила проливные дожди, когда кажется, что ливню нет конца, любила лазать по деревьям, играть в «казаков-разбойников», не признавала заборов, хорошо плавала, бегала, прыгала, зачитывалась Майн-Ридом, Жюлем Верном, в «Войне и мире», не так, как другие девочки, внимательно и с интересом читала главы о войне. Ей хотелось быть капитаном дальнего плавания, летчицей, дрессировщицей диких зверей,

киноактрисой в приключенческих картинах, знаменитым эпидемиологом. Когда она стала постарше, интересы ее расширились, приобрели характер более серьезный, но все же и в них преобладали романтические, не женские склонности. В двух последних классах она колебалась, выбрать ли ей вулканологию, акробатику, астроботанику или заняться проблемами атомной физики. Впрочем, она задумывалась еще и о межпланетных путешествиях и о вопросах сейсмологии.

А экзамен она держала в медицинский институт, потому что и это было чертовски интересно и на медицине настаивала мама, врач-педиатр. В медицинский институт она не прошла по конкурсу, и тогда ее беспокойное и неукротимое внимание остановилось на гидрологии по двум причинам: во-первых, по опыту прошлых лет в Ленинградский гидрометсорологический институт был меньший наплыв и легче принимали, во-вторых, на нее все время оказывал могучее влияние брат подруги, некий стройный русоволосый юноша по имени Олег, что, впрочем, не имеет ко всему дальнейшему ни малейшего отношения.

Олег был старше года на три и учился уже на втором курсе. Увлечен он был гидрологией необычайно. Тане (потому что тогда Татьяна Андреевна была просто девочкой Таней Завьяловой) иногда казалось, что гидрология увлекает Олега гораздо больше, чем она сама. Может быть, именно это обстоятельство сильнее всего и поразило ее беспокойное воображение. Олег находил в своей науке и поэзию, и огромное социально-экономическое значение, и какие-то тонкости лирического, юмористического и идейного порядка. О любви и нежных чувствах он молчал, точно был выше этого, а о гидрологии мог говорить часами, то улыбаясь, как над удачной остротой, и даже хихикая, то задумываясь и грустя, точно речь шла о чем-то чрезвычайно чувствительном и деликатном. Он вспоминал, что во все времена истории человечества люди селились возле рек, на берегах морей и океанов. Вода поила, кормила человечество, служила для него средством сообщения. Он говорил о древних цивилизациях, связанных с мореходством. О стихии морей и рек. Об океанографии, романтической науке, тесно связанной с метеорологией. О круговороте веществ в природе. Течение реки подобно течению жизни, говорил он, и это была уже чистая поэзия, гипербола, образ, краска, свет. Жизнь реки он уподоблял жизни человека, подчеркивая ту лишь разницу, что жизнь человека, увы, более изменчива, менее продолжительна, менее закономерна. Он любил говорить о неповторимых, индивидуальных характерах рек, морей и океанов и даже собирался построить катер и путешествовать на нем по стране. Таня посмеивалась над ним, говорила, что он, словно Ильинский в «Волге-Волге», без воды и ни туды и ни сюды... Но это ей нравилось.

В институте на Тучковой набережной она поняла, что гидрология гораздо сложнее, чем говорил о ней Олег. И, может быть, скучнее. Так показалось ей на первом курсе. Но потом выяснилось, что она поторопилась с выводами: сложность науки пришлась ей по душе. Скука сменилась увлечением, а главное — родилась вера, что ее наука нужна людям.

Татьяна Андреевна спускалась на водомерный мостик, висящий над рекой на крепких стальных канатах, определяла скорость течения, исследовала прозрачность воды, характер наносов, измеряла температуру, снимала показания лимнографического самописца. Постороннему человеку показался бы однообразным ее ежедневный труд. Но Татьяна Андреевна каждый раз находила что-нибудь новое в жизни реки, бурной и неутомной. Поэтому в ее представлении вчерашний день никак не походил на день сегодняшней.

В восемь утра и в восемь вечера ежедневно, из месяца в месяц, летом и зимой, весной и осенью, в бурю и в метели, в дождь и в снег, проводила она исследования реки, в редкие дни передоверяя свои функции дежур-

ному наблюдателю. У выхода из ущелья проектировалось строительство крупной гидроэлектростанции, и точность наблюдений Татьяны Андреевны имела большое значение.

В промежутках между практическими исследованиями и наблюдениями Татьяна Андреевна писала кандидатскую диссертацию.

По вечерам сотрудники станции, свободные от дежурства, собирались в большой комнате внизу, называвшейся кают-компанией. Так прозвал эту общую комнату Гвоздырьков, сохранивший после давней работы на пристанских складах пристрастие ко всему морскому. Он вообще любил вставлять в свою речь замысловатые, тяжеловесные слова. Он говорил, например, не «содействовать», а «споспешествовать», не «книжка», а «книжица», не «видеть», а «лицезреть». Или, например, он вычитал где-то слово «тератологический» и вставлял его теперь где надо и где не надо. Авдюхов подсмеивался над Петром Петровичем и говорил, что он впутывает в свою речь тяжеловесные слова с такой же целью, с какой в старинные времена артиллеристы подмешивали к пороху камфару, ртуть или нашатырь — «для грома».

В кают-компании стояли самодельная радиоло — итог трехмесячного вдохновения Авдюхова — и старое расстроенное пианино «Красный Октябрь», некогда полученное станцией от главного управления в премию за отличную работу. Здесь вывешивались приказы начальника станции и недельные расписания дежурств. Здесь стояли библиотечные шкафы с книгами, которыми ведала Грушецкая. На круглом столике лежали газеты и журналы, в том числе потрепанный комплект журнала «Солнце России» за 1912 год; кто-то из сотрудников купил его в городе на баракхолке и выложил для общего пользования.

Женщины по вечерам занимались в кают-компании рукоделием. Вернее, рукодельничали Гвоздырькова и Грушецкая; Татьяна Андреевна ни шить, ни кроить, ни вышивать не умела. Чаще всего, сидя за большим столом, она читала, а когда решала и сама приняться за какую-нибудь блузку или скатерку, Грушецкая с деланным испугом кричала:

— Татьяна Андреевна, годубчик, к чему эти шадости? Оставьте, оставьте, вы испортите!

Интересничая, Грушецкая всегда говорила в нос, точно у нее был сильный насморк.

— Да, да, положите, Татьяна Андреевна. Вденьте лучше нитку в иглу, — подхватывала тотчас Валентина Денисовна.

У Татьяны Андреевны были острое зрение и твердая рука, и нитку в иглу она вдевала великолепно.

Наблюдатели Пучков и Меликидзе, молодые здоровые парни, студенты-заочники, играли в кают-компании в шахматы, и внешний мир тогда переставал существовать для них.

Авдюхов брэнчал на расстроенном пианино. Мотив он всегда подбирал жалостливый и упрямо выстукивал его двумя пальцами в дрожащих, минорных тонах; странным казалось, что из-под таких неуклюжих, грубых рук возникают легкие, душещипательные звуки.

— Да перестаньте нас мучить, Николай Степанович! До каких пор можно терпеть?! — кричал кто-нибудь, не выдержав музыкальной пытки.

Авдюхов не спорил. Он покорно закрывал пианино, пересаживался к радиоле и начинал ловить музыку зарубежных стран. А так как, поймав одну передачу, он тотчас начинал ловить другую, то пытка звуками продолжалась с прежней силой, и его только просили уменьшить громкость.

Иногда на гидрометеостанцию забредал Сергей Порфирьевич Вараксин, главный инженер рудника. Тогда Авдюхов переставал терзать музыкальные агрегаты и составлялась пулька в преферанс.

Иногда всей компанией, оставив на станции дежурных наблюдателей, ездили на цинковый рудник во Дворец культуры. Грузовую машину присылал за ними главный инженер.

Жизнь на станции шла тихо, размеренно, день за днем, месяц за месяцем. Проходило лето, кончалась осень, наступала зима. Тогда снегом заносило дом до крыши, наглухо заметало дорогу, и, если снегоочистители не справлялись, сотрудники станции неделями сидели, отрезанные от внешнего мира. Зимой в доме было холодно и неприятно, большие печи в круглых железных кожухах, как ни топи, не могли нагреть дом. Весной и осенью дорога иной раз раскисала, летом случались осыпи и завалы, и тогда тоже надолго прерывалась колесная связь с внешним миром. С переменами времен года менялся характер наблюдений, в зависимости от погоды труднее или легче было работать на метеорологической площадке или на водомерном мостике, но в общем работа оставалась одинаковой. Все так же дул в ущелье, как в трубе, колючий ветер и на дне ущелья редела и мчалась по камням бешеная река.

— О нашей жизни романа не напишешь,— любил говорить Сорочкин.

4

Главный инженер рудника Сергей Порфиревич Вараксин, грузный мужчина девяноста пяти килограммов весу, забредал на гидрометеорологическую станцию как бы мимоходом.

Хорошо ли, плохо ли работал рудник, напряженной или сносной была производственная программа, почти каждую субботу, а уж раз в месяц наверняка, Вараксин, обстоятельно снарядившись, отправлялся в горы на охоту — в сапогах с длинными голенищами, подхваченными у колен ремешками; в кожаной куртке на гагачьем пуху; за плечами — отличный двуствольный зауэр; у пояса — кокетливый жеребковый ягдташ; впереди хозяина мечется взад и вперед, заглядывая во все закоулки, отяжелевший от квартирной жизни, но все еще неугомонный пойнтер Агафон, шенком вывезенный из Москвы. Словом, эффектное, мужественное зрелище: охотник вышел на промысел,— романтика, древние инстинкты; один на один перед лицом первозданной природы.

Но так как путь Вараксина пролегал через седловину, за которой по ту сторону невысокого отрога, на склоне бокового ущелья стоял дом гидрометеорологов, то его охотничьи поползновения частенько ограничивались банальной пулькой в преферанс. Гвоздырьков и Авдюхов были отменные преферансисты, и Вараксин, сам хороший игрок, высоко ценил их талант. Постепенно, от вылазки к вылазке, от пульки к пульке, охота все больше переставала быть страстью Вараксина, если когда-нибудь действительно и была ею, и все необратимее, безотказнее перерастала в красивую позу, в средство замаскировать истинное увлечение — карты. Пойнтер Агафон безнадежно жирел в обществе деда Токмакова и Альмы, юной овчарки Петра Петровича.

Еще поначалу, когда Вараксин не утратил полностью охотничьей чести, в его сознании все же теплилось намерение поискать добычу. Но Агафон уже чуял, к чему больше лежала душа хозяина, и, достигнув перевала в соседнее ущелье, он все чаще и все увереннее сворачивал на тропинку к станции, опережая, таким образом, неверное сознание человека. А потом и сам Вараксин перестал тешить себя охотничьими помыслами. Вскидывая за спину двустволку, он прямехонько направлялся к станции, и через каких-нибудь три часа в прихожей дома гидрометеорологов рокотал его снисходительный, проникновенный, бархатный начальнический бас:

— Привет дому сему и его домочадцам! Есть тут кто живой?

— Заходите, Сергей Порфирьевич, заходите. Все на местах, как гвозди. Стерегут погодные явления, иначе нам не положено,— успокаивал его дед Токмаков, неизменно встречавший Вараксина на площадке перед домом, потому что Агафон заранее возвещал о приближении охотника.

Из вежливости и из почтения к начальству старик поднимался за Вараксиным в прихожую.

— Возьми Агафона, дед, присмотри за собакой. Помещение изнеживает пса,— говорил Вараксин наставительно, точно он со своим Агафоном дни и ночи проводил в охотничьих скитаниях.

На сановный голос главного инженера, не торопясь из соображений солидности, выходил Гвоздырьков, за ним — Сорочкин.

Для гидрометеорологов Вараксин был очень нужный человек. Транспорт, дорога, электроэнергия, всякого рода хозяйственная помощь, стройматериалы, рабочая сила — все это, как говорится, было в его руках, могучих руках главного инженера, тем более, что директора на руднике фактически не было: старый был снят, а нового все не назначали.

Здесь, на станции, Вараксин не собирался скрывать, что высоким превратностям охоты он предпочитает низменную пулю, но из вежливости все делали вид, будто он забрел сюда совершенно случайно и только в силу особых обстоятельств или, не дай бог, недомогания и что за карточный стол он усаживается, так сказать, уступая вынужденной необходимости.

Чрезвычайно довольный посещениями Вараксина, Гвоздырьков всегда приветствовал его одной и той же фразой:

— Рады вас лицезреть, Сергей Порфирьевич. Собрались на охоту?

— Есть потребность маленько размять косточки. Да и Агафон у меня совсем зажилел.

— Не поздновато выбрались?

— В самый раз, Петр Петрович, в самый раз. Поброжу чуток на ночь глядя. На вершинах еще светло,— отвечал Вараксин, продолжая по инерции играть роль завязтого охотника.— Где-нибудь выберу укромное местечко, заночую у костра. Ничего нет лучше, кто понимает. А на рассвете встал добрый молодец, умылся росой, умылся из ручья, причесался пятерней — и в дело. Вы меня поняли?

— Как в сказке,— поддакивал Гвоздырьков без тени иронии.

— А что думаете? У нас благодатные края. Грех прикатить сюда из Москвы, столицы нашей Родины, и затвориться в служебном кабинете!..— Почувствовав, что несколько увлекся и пересолил, Вараксин заканчивал, как бы посмеиваясь над своими маленькими и такими простительными слабостями: — Словом, Мальбрук в поход собрался... Даже если ничего не добуду, надышусь властью горным воздухом.

— Чего-чего, а горного воздуха у нас хватает,— соглашался Гвоздырьков, торопясь сообразить, не забыл ли он о какой-нибудь хозяйственной надобности, с которой следует на этот раз обратиться к Вараксину.

— А не лучше ли сгонять пулю? — задавал прозаический вопрос не выносящий лицемерия Авдюхов.

— Пулю? Золотая идея! Охота-то пуше неволи, эту истину еще наши предки знавали,— немедленно соглашался главный инженер, нимало не смущаясь.

Рослый, самодовольный, даже надменный, Вараксин двигался с ленцой, с теми барственными манерами, когда кажется, что человек делает вам одолжение, оказывает честь, общаясь с вами. При всем том Вараксин казался каким-то странным средоточием противоречий. Всегда и везде он был разный. Это хорошо знали люди, часто сталкивавшиеся

с ним: на работе — один, во время игры в преферанс — другой, в семье — третий. Когда он был настоящий, этого никто не знал.

Присутствующих он подавлял своим начальническим величием. Стоило ему войти в кают-компанию, большую просторную комнату, как всем сразу становилось тесно. Он ходил взад и вперед, похохатывая, уверенно играя глазами, благосклонно острил с высоты своего величия, и все жались в сторонку, поджимали ноги, точно боялись, чтобы он ненароком на них не наступил. Но вскоре Вараксин сел в углу кают-компании на облюбованное раз навсегда место и тогда неожиданно как бы уменьшался в объеме. За весь вечер он больше не поднимался, туда же, в угол к нему, подсаживались партнеры.

В раздумьях о собственной персоне Вараксин видел себя человеком неразговорчивым, суровым, волевым, человеком дела, рубящим с плеча и режущим в глаза правду-матку, человеком, для которого слово — камень, а внешне он производил несерьезное впечатление. За картами он был болтлив, как сорока, не ведая об этом. И часто с неподражаемым императивным оттенком задавал вопрос: «Вы меня поняли?»

Пока партнер сдавал карты, Вараксин разливался на излюбленную тему.

— Опять с меня гонят стружку, а я сижу и улыбаюсь, как майская роза, — говорил он, похохатывая и вздыхая с томным спокойствием равнодушного человека. — Ничего больше не остается, директора у нас до сих пор нет. Как сняли Крылова, так точно вымерли все директора. Вот и получается: ты и главинж, ты и врид, отдувайся, голубчик, один за всех. А квартальное задание опять увеличено на семь процентов. О чем оно думает, высокое начальство, хотел бы я знать?

— Оно — наши отцы, мы — ихние дети, — отвечал Сорочкин, стараясь подладиться под тон Вараксина и поддержать разговор. — Играю пики.

— Скажу два, — не давая себя увлечь посторонними рассуждениями, провозглашал Авдюхов на вдохновенном языке преферансистов.

И как-то за карточным столом Вараксин изрек грубовато:

— Вы, метеорологи, — счастливые люди. Во-первых, бездельники, каких свет не видал, сидите у моря, ждете погоды, а денежки на зарплату вам идут. Во-вторых, живете в особых условиях, вроде как в хорошем монастыре, вдали от мирских забот и пакостных треволнений. Начальство в прекрасном далеке. Где-то там дремлет со своим бдительным оком. Вы здесь сами себе господа. О таком положении только мечтать.

Непонятно было, серьезно говорит Вараксин или балагурит.

— Да как-никак две тысячи метров над уровнем моря, — сказал Сорочкин. — Труднодоступный район. Пониженное атмосферное давление. У нас даже чайник закипает раньше, чем на плоскости. Конечно, подвигов мы здесь не совершаем. На полярных зимовках да в высокогорных условиях где-нибудь на ледниках положение почище нашего. Но и мы можем гордиться, житье у нас нелегкое. Конечно, если случится что-нибудь исключительное, например землетрясение, тогда что говорить... — Он задумался и набрал полную грудь воздуха. — Но как будто ничего такого нам сейчас не грозит. В отношении землетрясения район тектонически не опасный. Только разве снежные заносы, обвалы. Но к ним мы привыкли.

— Мы в карты играем или открыли дискуссионный клуб? — спросил Гвоздырьков.

— Я играю, в чем дело? — огрызнулся Сорочкин.

За большим столом щебетали ножницы в руках женщин. Пучков и Меликидзе играли в шахматы, с отрешенным видом бубня себе под нос неопределенные напевы.

Пучков отличался от обыкновенных людей атавистически буйной растительностью. Волосы у него росли отовсюду — из ушей, из ноздрей,

брови лохматились непокорными ключьями, на шее можно было косы заплетать. На мир Пучков глядел ясными, прожигающими, небесными глазами, в них светилась неизреченная мудрость, точно сейчас он, как Понтий Пилат, спросит: «Что есть истина?» Об истине Пучков не вопрошал, но его незамысловатые высказывания очень веселили Меликидзе, и тот, выныривая на секунду из шахматного забвения, залихват, простуженно хохотал. А простужаться Меликидзе ухитрялся даже в жаркий июльский день.

Игра в преферанс продолжалась, и никто не ждал, что она осложнится ссорой.

Сорочкин зарвался в поединке с Вараксиным и проиграл.

— Геннадий Семенович в своем репертуаре, — не удержался Авдюхов.

Сорочкин разозлился. Поражение его не обескуражило, проигрывать он привык, но его всегда задевали насмешки Авдюхова.

— Одни гордятся тем, что работают на нашей станции. А другие действительно пошли сюда, как в монастырь, — сказал он с целью побольнее отплатить аэрологу.

— В монастырь... В монастырь... Вы рассуждаете не как человек, а как насекомое, — угрюмо отозвался Авдюхов.

Вараксин подтолкнул локтем Сорочкина.

— А он ершистый, будто молодой, — сказал он с деланным одобрением. — Колюч, парень, ой, колюч! Интересно, какой вы были раньше, в молодости? Небось и близко не подходи, а, Николай Степанович? Укушу, съем, а? Характерец, наверное, был невыносимый?

Он потешался над Авдюховым, зная, как трудно досталось тому спокойствию, подбадривал Сорочкина на новые словесные подвиги.

— Да, уж характерец был, наверно, не приведи бог! — все еще хохорясь, подхватил Сорочкин. — Ну, сознайтесь, Николай Степанович, ведь правда?

На Сорочкина Авдюхов не обратил внимания. Он сказал Вараксину:

— Есть на свете субъекты, недоверчиво относящиеся к действительности, склонные к подозрениям. Они считают, что и в социализм люди идут только по принуждению, насильно. Скорее всего такие типы судят по себе. Не веря в добрые чувства, во всем они видят одно дурное. Таким кажется: уж вот они — труженики, страдальцы, а все остальные — так себе, вольные стрелки. Но это же неправда! — повысил голос Авдюхов. — Неправда это! Никто из нас, уважаемый Сергей Порфирьевич, не думает, что мы здесь на станции живем, будто в монастыре, как вы изволили выразиться. А если у кого-нибудь и были в жизни беды, у меня, например, так я не отсиживаться сюда приехал, а работать, работать!..

Женщины притихли за большим столом. Меликидзе и Пучков оторвались от шахмат. Сорочкин нахмурился, по лицу его поползли красные пятна — в сущности, он не хотел обижать Авдюхова. Татьяна Андреевна отложила книгу и подошла к карточному столу.

— Ну, будет, будет, — сказала она.

А Вараксин и бровью не повел. Складывая карты и пощелкивая ими, он сказал Авдюхову спокойно и надменно:

— А вы, батенька, не горячитесь. Все человеки, все прыгаем.

— Перестаньте, товарищи! Мы же не симпозиум проводим на морально-этические темы! — страдальческим голосом произнес Гвоздырьков.

Вараксин откликнулся почти добродушно:

— А чего он так волнуется? Дело житейское: рыба любит, где глубоко, наш брат, волосатик, — где музыка играет. Уехал в отпуск и вернулся через десять дней. Что толковать — хороший показатель, — сердито закончил он.

— Показатель чего? Вернулся, ну и что?

— А то, что поскорей к себе в берлогу. Не будем отпираться.

Авдюхов усмехнулся, посмотрел в дородное, набрякшее от злости лицо Вараксина и сказал:

— Потому что не меньше Геннадия Семеновича имею право любить нашу станцию.

— Ну, перестаньте, товарищи! К чему эти споры? — сказал страдальчески Гвоздырьков.

— А к тому, что специально заводятся разговоры, чтобы уязвить меня. Откуда только берется такая бессмысленная жестокость? Откуда и для чего?

— Ну что вы, Николай Степанович! — воскликнул тогда Вараксин с деланным огорчением; на лице его сияла умиротворенная улыбка, точно он испытал великое наслаждение.

Сорочкин, понявший, что разговор принял чересчур острый характер, примолк. Стараясь как-то разрядить обстановку, Пучков провозгласил с пафосом:

— Люди, люди! Сколько в них трагического и смешного!

На этот раз его замечание не развеселило Меликидзе. Он с досадой взглянул на товарища и сказал сердито:

— Что ты смеешься? Ничего смешного. Твой ход. Делай!

5

Неприязнь к Вараксину складывалась у Авдюхова исподволь, скапливалась по мелочам, от встречи к встрече, от случая к случаю. И дело было, само собой разумеется, не столько в коренном различии характеров, сколько в разных взглядах на жизнь, в разной манере жить. И, может быть, между ними и ссоры бы не произошло, если бы разница во взглядах на окружающий мир не встала однажды перед Авдюховым с резкой и оскорбительной ошутимостью.

У Валентины Денисовны Гвоздырьковой был сын от первого брака, служивший для нее источником постоянных волнений. Он жил в Москве, в квартире родителей первого мужа, и рос дерзким, непослушным, драчливым мальчиком. Двойки сопровождали продвижение Володи по головокружительной тропе знаний, как стража, конвоирующая осужденного на эшафот. Но ежегодно происходило чудо — перед самыми экзаменами мальчик непостижимым образом подтягивался, выправлялся и, на удивление всем, переходил в следующий класс чуть ли не лучше первых учеников.

А когда остались позади беспокойные школьные годы, наступила пора новых родительских испытаний. Мальчик решил стать актером, и никакие силы не могли его в этом поколебать. В школьном драмкружке он с успехом сыграл Несчастливцева и раз навсегда уверовал в свое сценическое призвание.

Сколько сил потратила почтеннейшая Валентина Денисовна, чтобы удержать сына от опрометчивого шага! Все актеры — пропащие люди, считала она с простодушной убежденностью профана. И вдруг такой ужас: единственный сын среди этой армии неустроенных, несчастных людей! Она забывала, что Володя — «дерзкий и непослушный». Теперь она помнила лишь о том, что он «такой чуткий, такой отзывчивый!..»

Она вспоминала, как возникло когда-то в ее жизни маленькое беспомощное существо, какое место заняло оно в ее сознании. Оно стало в ее жизни самым главным. Оно росло, болело, училось. Когда они жили вместе, к нему приходили товарищи, и с ними считались так же, как с теми, кто приходил по делам к самому Гвоздырькову, хотя он был не отцом, а отчимом. И оно в конце концов заполнило все, потому что добряк Петр Петрович полюбил Володю, как родного сына.

Прошли годы, и существо стало взрослым, самостоятельным. Оно даже женилось. У него была теперь своя, не совсем понятная жизнь. И вот осталась пустота... Для того ли она носила сына под сердцем, кормила грудью, не спала ночами, страдала за каждый его шаг, за каждый синяк, за каждую плохую отметку!..

— Актеры, писатели, художники!.. Это не профессия для порядочного человека. Они пьянствуют, бездельничают, проводят бессонные ночи. Это богема, все знают! — говорила Гвоздырькова с завидной уверенностью.

— Ах, Валюша, оставь ты эту философию, — уговаривал ее Петр Петрович.

Но Валентина Денисовна твердо держалась своего мнения. «Только через мой труп», — раздражаясь, заявляла она в ответ на его уговоры.

И Петр Петрович умолкал.

Валентина Денисовна бомбардировала Володю письмами, заклинала, грозила, умоляла. Он отвечал редко — на пятое, на седьмое ее письмо, писал коротко, неласково и не желал ничего слушать: он должен быть актером!

Каждое его письмо Валентина Денисовна принимала со слезами. А когда он долго не отвечал, работа валилась у нее из рук. Валентина Денисовна становилась почти неменяемой. Тогда она принималась пилить Петра Петровича с тупым упрямством, требуя, чтобы он добился перевода в Москву: надо жить вместе с Володей. И это была уже форменная чепуха, потому что в Москве Петру Петровичу нечего было делать и у них там не было жилплощади. А о совместной жизни с Володей смешно было и заикаться: как часто бывает, невестку Валентина Денисовна не терпела.

Доведенной до высокого нервного напряжения Валентине Денисовне недостаточно было делиться своими переживаниями с одним Петром Петровичем. Она стала посвящать в семейные горести и невзгоды сотрудников станции. Каждый вечер теперь она поднималась в комнату к Грушецкой погадать на картах. Карты, как на беду, выпадали неопределенные, путаные, она плакала, огорчалась, плохо спала.

Как-то раз она заговорила о сыне при Вараксине. Тот с большим сочувствием отнесся к ее беде. Он сказал, что на будущей неделе едет в командировку в Москву и обязательно ради Валентины Денисовны побывает у Володи, поговорит с ним, окажет на него соответствующее воздействие. Можете быть спокойны, с молодежью он всегда находит общий язык. Да, да, он понимает, он приложит все усилия, но все же, чтобы не быть самонадеянным, вдруг не удастся юношу переубедить? Может быть, наоборот, посодействовать, чтобы его приняли?

— Что вы, Сергей Порфирьевич, ни в коем случае! — закричала Валентина Денисовна.

— Думаете, туда легко попасть? Так запросто сдал экзамены, и гопля-ля? Именно в театральный институт без знакомства не попадешь ни за какие коврижки.

— И хорошо, и очень хорошо!.. Пожалуйста, Сергей Порфирьевич, чтобы он и думать не смел о театральном институте, — повторила Валентина Денисовна. — Еще того не хватало, чтобы содействовать!..

— Ну, смотрите, как знаете. А то, признаться, у меня сохранились кое-какие старые связи. Когда-то я был ба-альшой театрал, — сказал Вараксин, и в голосе его прозвучала меланхолическая и вместе с тем игривая интонация.

— Я вам заранее очень-очень благодарна.

— Какие пустяки! Будет сделано, не сомневайтесь! — с величественным добродушием заверил Вараксин.

Вараксин уехал. Валентина Денисовна с нетерпением ждала его возвращения. Она даже перестала писать Володе, точно затаила дыхание. Она боялась испортить тайный сговор какой-нибудь неудачной фразой.

Недели через две стало известно, что Вараксин вернулся, однако на станции он не появлялся — наверное, накопилось много дел за время его отсутствия. Валентина Денисовна стеснялась его беспокоить.

Авдюхова трогала бесхитростная материнская любовь Гвоздырьковой. Он никогда не видел Володю, но ему заглазно нравился этот молодой человек, нравилось как раз то, что внушало такую тревогу матери, — его настойчивость, одержимость, упорство.

Он говорил Гвоздырьковой:

— Валентина Денисовна, дайте жить человеку, как он хочет. Зачем его принуждать?

— Вы, верно, живете, как хотите?

— Я? Не знаю. Но ведь ваш Володя не ребенок.

— Вы не знаете его, совсем не знаете. Суший ребенок!

— Самостоятельный, женатый человек, нужно наконец это понять! Не делайте из него раба обстоятельств!

Валентина Денисовна тяжело вздыхала и сворачивала на другую, но столь же привычную, больную тему:

— Да, конечно, во всем виновата ранняя женитьба. Эта отвратительная девчонка окрутила его, когда Володе не было и девятнадцати лет.

И слезы лились, лились по ее лицу.

С Гвоздырьковой у Авдюхова были сложные отношения. Валентину Денисовну обижало то, что Авдюхов не признавал ее авторитета. А Авдюхова постоянно раздражали ее начальнические замашки. Они вечно ссорились, переругивались, но вместе с тем душевная неустроенность Авдюхова и его чистосердечие примиряли Гвоздырькову и с его насмешками и с дурными качествами его характера. А Авдюхова привлекали прямота и бесхитростность Валентины Денисовны. И в результате, при всей противоречивости их отношений, между ними установилось нечто напоминающее дружбу.

Авдюхов часто болел. Вдруг, без определенных причин, его начинало лихорадить, прошибал холодный пот, кружилась голова, или, как он определял, его начинало «вести в сторону». Иногда возникало такое ощущение, будто он сейчас потеряет сознание. Обычно это случалось по вечерам, но за несколько часов, еще днем, он чувствовал, что надвигается очередной приступ. Он старался пересилить недомогание, скрывал от всех свой недуг.

Однажды тайна Авдюхова была открыта. В тот день выдалась на редкость плохая погода. Не считаясь с метеорологическими предначертаниями и прогнозами, в ущелье загудел непутевый антициклон, вздымая миниатюрные смерчи из песка, палых листьев и сухих веток.

Этого никто не ожидал. Область пониженного давления была отмечена синоптиками многих пунктов, было предсказано направление грозового фронта, но в течение каких-нибудь суток все смешалось, изменилось, антициклон рванул на юго-восток, и в широко распахнутые ворота ущелья, где находилась гидрометеостанция, ворвался, как в трубу, гребень грозового фронта. Тяжелое облако вползло в ущелье и застряло в нем, окутав деревья и скалы холодным туманом. К вечеру туман рассеялся и пошел дождь.

На станции дежурила Валентина Денисовна. Она достала резиновые сапоги, надела в прихожей морской дождевик, сохранный Гвоздырьковым после службы на пристанских складах, и пошла на метеорологическую площадку снимать показания приборов.

Эту работу она должна была повторять каждые два часа, все время, пока длилось ее дежурство.

Дождь лил, хлестал. водяной пар, конденсирующийся в воздухе и обвязанный выпадать из облаков в виде отдельных дождевых капель, обрушился на землю сплошной лавиной воды. Потоки воды неслись по тропе, ветер сбивал с ног. До площадки было каких-нибудь двести-триста метров, но преодолеть это расстояние стоило неимоверного труда. Хорошо еще, что в ожидании зимы от дома к метеорологической площадке протянули канаты. Без них в крошечной мгле можно было заблудиться.

Гвоздырькова шла, держась за канат, скользя в потоках воды, сгибаясь под ударами ветра.

С великим трудом поднималась она по маленькой лесенке психрометрической будки, чтобы записать в журнал показания ртутного барометра, температуру воздуха, снять показания самопишущего барографа. Она была опытным наблюдателем, обладала профессиональной сноровкой, но в такую погоду каждый раз волновалась, что ветер вырвет из рук и унесет журнал, разобьет приборы. И каждый раз она пересиливала этот страх и методично, скрупулезно выполняла все операции — определяла под проливным дождем силу и направление ветра, меняла резервуар дождемера, прикрыв полой дождевика, уносила на станцию наполненный сосуд. Нужно было ухитриться ни капли не разлить и не набрать ни капли лишней воды. И каждый раз, возвращаясь с метеорологической площадки на станцию, Валентина Денисовна промокала до последней нитки, несмотря на резиновые сапоги и дождевик.

В такие дежурства время шло страшно быстро. Казалось, и часа не прошло, а тебе снова нужно натягивать резиновую одежду и идти под ветер и дождь.

Когда Валентина Денисовна перед концом дежурства в последний раз вернулась с площадки, был уже поздний вечер и в коридоре ее встретил Петр Петрович и сказал: что-то случилось с Авдюховым, пусть она поднимется и узнает, не нужно ли ему помочь.

Накануне, как часто бывало, Гвоздырькова отчаянно поругалась с Авдюховым за то, что он вылил дождевую воду, которую она собрала для мытья головы, но Валентина Денисовна была отходчива, тем более, что дождевой воды теперь было хоть отбавляй, и Гвоздырькова уже не чувствовала раздражения. Она скинула в прихожей холодный, шлепающий, точно лапами, резиновый дождевик и пошла к Авдюхову.

У его двери она остановилась и прислушалась. Через дверь было слышно, как Авдюхов стонет, разговаривает сам с собой, ей даже показалось, что он скрежещет зубами. Она открыла дверь без стука и вошла.

Авдюхов лежал на кровати одетый, отвернувшись к стене.

— Николай Степанович, — тихо позвала Гвоздырькова. Авдюхов повернулся, тотчас поднялся и сел, чуть покачиваясь. На нее он не смотрел. — Лежите, лежите! Лучше бы вам раздеться и лечь совсем. Температуру мерили?

— Температура ни при чем, — ответил он сдержанно.

— Ну-ка, дайте я пощупаю лоб.

— Не в этом дело, — сказал Авдюхов и недобро поднял на Гвоздырькову глаза. — Зря беспокоитесь, это скоро пройдет.

— Я позвоню на рудник, нужно вызвать врача.

— Ничего не нужно, пожалуйста. — Ему не хотелось говорить, но он знал, что от Валентины Денисовны молчанием не отделаешься. — Со мной так бывает иногда. Врач не поможет. Тем более, неизвестно, что это такое.

— Да, но вам плохо!

Он слабо махнул рукой.

— Какие-то приступы, припадки... Пустяки. Не то эпилепсия, не то малярия. Впрочем, скорее что-нибудь другое.

— Но что-то нужно делать.

— Ничего не нужно. Отлежусь, к утру пройдет.

— И часто с вами так бывает?

— Бывает.

— Но я никогда не замечала.

— Я этим не хвастал. Послушайте, Валентина Денисовна,— сказал он после паузы, стараясь унять озноб.— Очень прошу, никому об этом не говорите. Работе моя хвороба не мешает, потрясет и проходит, но мне неловко, что я такой хворой.

— О чем может быть разговор.

— Никому, хорошо? Ни Татьяне Андреевне, ни Сорочкину? Петр Петрович знает и вы, хорошо?

— Никому не скажу, обещаю.

Авдюхов снова лег. На лбу его выступила испарина, его трясло. Гвоздырькова присела на край кровати и вздохнула.

— Что, Вараксин не звонил? — спросил Авдюхов и тронул ее за руку.

Она покачала головой.

— Вы знаете, последнее письмо от Володи послано, когда Вараксин уже вернулся,— сказала она, отводя глаза и снова вздыхая.

— Ну и что?

— А то, что о Вараксине в письме ни звука. Был ли он у Володи, нет ли — непонятно. Может, у них что-нибудь произошло? Потому, может, Вараксин и на станции не показывается?

— Что у них могло произойти? Может, он просто не был у вашего Володи?

— Но как можно, ведь сам обещал!

— Обещать он мог, а выполнить обещание... Давайте завтра пойдем к Вараксину.

— Неудобно, Николай Степанович.

— Ничего. Я пойду с вами. Не люблю я этого гражданина, но придется пойти.

— Как вы пойдете после приступа?

— Завтра буду здоров.

За ночь погода переменилась, дождь прекратился, ветер упал, но к Вараксину пошли они через день или два, потому что Гвоздырьковой казалось, что Авдюхов плохо себя чувствует после приступа.

В рудничный поселок можно было попасть двумя путями — по шоссе на дороге, вокруг горного массива, и напрямик, через седловину. Путь напрямик был не легок, но зато раза в три короче, и пешком сотрудники станции именно так и ходили. Будет ли под силу Авдюхову продолжительный подъем среди зарослей орешника и обнаженных каменных уступов, а затем крутой спуск по узкой охотничьей тропе в большое ущелье?

— Пустяки, отлично доберемся,— сказал Авдюхов в ответ на опасения Валентины Денисовны.— Обратю с попутной машиной доедем по шоссе до поворота, а там — по ровной дороге, пусть даже в темноте...

Вараксина они нашли в директорском кабинете за огромным письменным столом, возле которого на отдельном столике стояло три телефона.

Он встретил их с чрезвычайной любезностью, усадил в глубокие кожаные кресла перед своим столом, вызвал секретаршу и приказал при-

нести газированной воды. О том, видел ли он Володю, говорил ли с ним, он не упоминал.

«Ну, конечно, так оно и есть! Пообещал и забыл о своем обещании», — подумал Авдюхов.

Что больше всего претило Авдюхову в повадках Вараксина — это его высокомерный, снисходительный вид, разлитое во всем его облике всеокрушающее благополучие. Стоило Авдюхову услышать голос Вараксина, как все в душе аэролога взъерошилось, запротестовало, и он даже подумал, что, пожалуй, зря вызвался сопровождать Гвоздырькову, еще, чего доброго, сорвется и наговорит Вараксину какой-нибудь ерунды.

Конечно, и у Вараксина случались в жизни неприятности, это Авдюхов отлично представлял. Но какие это были неприятности в сравнении с теми, которые выпадали на долю других! Может быть, именно это обстоятельство отчасти и вызывало неприязнь Авдюхова.

В самом деле, всю жизнь Вараксин провел в Москве. Конечно, и ему пришлось поработать на периферии, но совсем недолго — сразу после окончания института он как инженер, конечно, не мог обойтись без производственного опыта. Он его получил на уральском руднике, и тотчас в ход были двинуты нужные связи, добрые знакомства, и вскоре он снова восседал в Москве, в милой, родной Москве, бурной, торопливой, с ее сногшибательной и приятной уличной суматохой, уличными контрастами и меняющимися пейзажами. Он умел потрафить начальству, и какая хорошая сложилась у него жизнь! Отличная квартира в новом министерском доме, персональный автомобиль, а затем и собственная загородная дача в кооперативном поселке.

И надо же было случиться такой беде! Вот уж незадача, что говорить! Все просто диву давались, как он не вывернулся. Для укрепления руководства на местах на старости лет его, как мальчишку, бросили на цинковый рудник, где и развернуться негде во всю полноту таланта. Добро бы на полгода, ну на год, наконец! Нет, он корпит здесь уже четвертый год. Кому ты нужен, раз не сумел показать себя?

И, конечно, в глубине души Вараксин проклинал судьбу за неудачу и завидовал тем, кого не коснулись подобные неприятности...

То и дело звонили телефоны — то один, то другой (третий, вероятно областной, помалкивал), и Вараксин отдавал команды краткими, рассчитанными на внешний эффект, броскими фразами.

За окном кабинета были видны шахтный копер и эстакада погрузочной станции подвесной канатной дороги. Сюда входили порожние вагонетки и выходили со станции нагруженные рудой.

Попивая газировку, Вараксин со вкусом делился с посетителями горькой своей судьбиной.

— Что вы хотите, две тысячи метров над уровнем моря! Каждый метр высоты — чертовское осложнение производственных условий, быта, снабжения, транспортировки, — с оттенком снисходительности, но с искренней досадой повествовал он о своих печалях. — Каждый метр высоты равен по меньшей мере километру на плоскости, удаляющему рудник от железнодорожных коммуникаций, культурных центров. У механизмов падают мощности, люди теряют выносливость. Уверяю вас! А какая у нас геологическая обстановка? Старые выработки путают все на свете. Когда-то, в давние времена, эти горы хищнически изрыли крепостные рудокопы, феодальные владельцы гнались за серебряной рудой, а мы страдаем. Представьте себе, ведем новую выработку, и вдруг, будьте такие любезные, перед нашим носом пустота, кубиков двести пустоты! Для вокальных упражнении подходящая камера, а нам — беда! Попробуй закрепи такую Помпею, того и гляди, рухнет этот цирк на

твою голову. Что можно сделать, как предусмотреть древние закладки? Ни карт, ни планов...

В кабинет изредка заходили сотрудники рудоуправления, он подписывал какие-то бумажки и продолжал свою песню; видно, это доставляло ему удовольствие.

Авдюхов и Валентина Денисовна сидели и молчали, не зная, как поделикатнее приступить к делу, а он разглагольствовал о сложном залегании пород, о невероятном, нарушающем все расчеты давлении земных недр. Гора точно ползет куда-то вбок, заваливает штольни; дубовую крепь в шахтах ломает, как спички. Температура в шахтах даже летом не поднимается выше девяти градусов. А динамит в условиях пониженного атмосферного давления замерзает при плюс двенадцати! Приходится придумывать специальные приспособления для подогрева взрывчатки. Вы поняли меня? И, конечно, в этой связи вечные недоразумения с инспекцией безопасности. А скандалов на руднике и без того хватает. Редиска поступает в продажу в конце лета! Кино раз в неделю! А возьмите такую простую вещь, как дорога. Сколько он здесь живет, столько ведет борьбу за дорогу, единственную артерию, связывающую рудник с внешним миром. В половодье дорогу норовит снести река, а половодье тут случается по два раза в году: весной — при таянии снегов, осенью — из-за дождей. Но если, паче чаяния, разразятся непредвиденные ливни, то дорогу сносит и в неуказанное время. Например, этот ливень позавчера — в двух местах почти у выхода «на плоскость» проезда нет. А обвалы? Постоянный дорожный бич. А профиль дороги? Резина на нашем транспорте выходит из строя через четыре-пять месяцев. Дорогой должно заниматься дорожное управление, а фактически нянчится с нею рудник.

Гвоздырькова все поддакивала ему в надежде, что Вараксин сам вспомнит о своем обещании, объяснит, что у него произошло с Володей. Авдюхов отмалчивался.

— В общем, что говорить, обстановочка! — Вараксин наконец подбил итог.

— Да, человек в идеале — великое существо. К сожалению, нередко в нем много пакости, — отозвался Авдюхов.

В конце концов он пришел сюда с Валентиной Денисовной, чтобы выяснить, видел Вараксин Володю или нет. Чего же он будет молчать?

Вараксин весь преобразился. Ему понравилась мысль Авдюхова. Он не стал раздумывать, кого именно Авдюхов имеет в виду, и вдруг затрясся, засмеялся и даже потер от удовольствия руки.

— Мыло розовое или зеленое, а пена у него все равно белая, — сказал он довольным голосом. — Теперь-то ясно, в связи с перестройкой промышленности и методов организации и руководства наше министерство будет ликвидировано и все субчики-голубчики покатаются на периферию. Они думали, меня сослали, а сами живут-поживают, добра наживают! Не тут-то было, друзья милые. Ну-ка, пожалуйста бритесь!

Он многозначительно поднял указательный палец.

Ход его рассуждений был так неожидан, что Авдюхов сразу даже не понял его.

— Вы, собственно, о чем?

— А о том, что, по моему глубокому убеждению, в человеке содержится слишком много влаги. Если память не изменяет, чуть ли не девяносто с чем-то процентов. Медицине следовало бы подумать, как эту влагу выпаривать из человека, чтобы он стал жестче, сильней.

Авдюхову надоело слушать Вараксина.

— Сергей Порфирьевич, все это хорошо и даже, может быть, отлично, но вот вопрос, из-за которого мы к вам пришли: видели вы Володю? — спросил он напрямик.

— Какого Володю?

— Как какого? Сына Валентины Денисовны. Вы обещали повидать его в Москве.

Широким жестом Вараксин хлопнул себя по лбу.

— Как я сразу не сообразил! Понимаете, Валентина Денисовна, так в Москве замотался, что ни на минуту не мог вырваться. Москва, понимаете!..— сказал он, несколько не смущаясь.

— Так вы его не видели? — с изумлением спросила Гвоздырькова. Вараксин развел руками.

— Понимаете, занят был, не продохнуть.

Как видно, то, что он пообещал и не исполнил обещания, ничуть его не беспокоило. Он просто об этом не думал.

Валентина Денисовна не сразу разобралась, что же такое произошло. Вараксин не видел Володю, был слишком занят, но что-то такое еще было в этом странное, она не сразу сумела определить что.

— Как же вы не сообщили, что не виделись с Володей? Ведь я волнуясь! — сказала она.

И, сказав так, тотчас подумала: ничего странного нет; в Москве Вараксин действительно мог быть очень занят. Не в этом дело. Как бы занят он ни был, не сообщить, что миссия, за которую ты взялся добровольно, не увенчалась успехом, — проявление предельной человеческой черствости.

— Да ну, это же пустяки, — между тем сказал Вараксин беспечно. — Зачем придавать капризам мальчика такое значение?

Гвоздырькова встала.

— Как вам не стыдно, — сказала она тихо. — Не ждала я от вас такого равнодушия.

— Ну что вы, Валентина Денисовна, — от всей души удивился Вараксин. — Ведь ничего серьезного не случилось, господи боже мой! Ну замотался, ну не сумел повидать вашего сынка. Разве это вопрос жизни и смерти? Что произошло?

— Если бы от вас зависел вопрос чужой жизни и смерти, вы и его бы решали с таким же безразличием, — сказал Авдюхов.

— Опять ищете ссоры, Авдюхов? Вы подумали, прежде чем высказаться?

— Я подумал, а вот вы даже не способны понять, как нехорошо вы поступили.

— Послушайте! — грянул Вараксин и грозно поднялся со своего кресла. — Поступление в вуз всегда сопряжено с затруднениями. Затруднения были и будут. Что вы хотите от меня?

Авдюхов встал.

— Пойдемте, Валентина Денисовна, — сказал он. — Тут нам говорить не о чем.

— Товарищи, да побойтесь вы бога! — закричал вдогонку Вараксин. — Это же смешно!..

Ни Гвоздырькова, ни Авдюхов не остановились.

Гвоздырькова вскоре примирилась с поступком Вараксина. Она была незлопамятна, и, кроме того, волнение за судьбу сына вытеснило все приводящие обстоятельства. Но Авдюхов такие вещи долго помнил.

А Вараксин вел себя так, точно в самом деле ничего особенного не случилось. Недели две он не появлялся на станции, а потом в одну из суббот как ни в чем не бывало прикатил в автомобиле — в Москве он «выбил» для рудника новую «Победу» и теперь вместе с шофером обкатывал ее.

В ущелье уже смеркалось. По времени было рано, но тяжелые косые тени ложились на восточные склоны; река тонула в сумерках, и только пенистые буруны ярко сверкали глубоко внизу, словно подсвеченные электричеством. Зима еще не наступила, но кое-где уже подолгу залеживался ночной снег; из-за этих немногочисленных пока еще снежных пятен фирновые поля на дальних вершинах казались теперь ближе и доступнее.

У поворота к гидрометеостанции, внизу, возле водомерного мостика, стояли почти все обитатели станции: чета Гвоздырьковых, Татьяна Андреевна, Авдюхов, Сорочкин.

Вараксин остановил машину, выгрузил Агафона, жирного и ленивого, точно его откармливали на сало, и отпустил шофера. Работники станции заметили главного инженера. Гвоздырьков приветственно помахал рукой. Вараксин спускался неторопливо, солидно, по-командирски независимо.

— Сидим у моря, ждем погоды? — стараясь пересилить шум реки, выкрикнул Вараксин в виде приветствия.

— У реки, с вашего позволения, у реки, — рассудительно поправил его Гвоздырьков. — Рады вас лицезреть, Сергей Порфирьевич! Собрались на охоту? На охоту, я говорю, собрались? — повторил он громче.

Здесь, у водомерного мостика, шум реки был так силен, что приходилось почти до крика напрягать голос.

Река мчалась, вся седая от крутой пены, неистовая, с могучей, первозданной силой. От ее стремительного бега казалось, что все вокруг сползает в сторону, противоположную ее движению, — береговые устои, камни, торчащие из воды, деревья на берегах, кусты. И люди, спустившиеся к реке, бессознательно старались крепче ставить ноги, напрягали мускулы, чтобы их не захватило это движение.

— Что я, маленький или дурной? Годы уже не те!.. Не те годы, я говорю! В такую пору карабкаться по скалам — покорно благодарю! Я говорю, мерси покорно!.. Погодка какова? И ветер, и уж скоро тьма-тьмушная. Будем откровенны, давайте лучше исполним что-нибудь на мотив «Пиковой дамы»: тройка, семерка, туз!.. Вы меня поняли? — похотытая с высоты своего величия и повторяя отдельные фразы, чтобы его все услышали, объявил Вараксин.

— Це дило треба разжуваты. Сейчас закончим маленькое совещаньице, тогда решим, — ответил Гвоздырьков.

— Не слышу!

— Закончим маленькое совещаньице, говорю.

— А о чем у вас тут митинг?

— Техника наша пошаливает, — сказала Татьяна Андреевна.

— Что? — не расслышал Вараксин.

— Она говорит: пошаливает техника! — закричал Гвоздырьков. — Прямо беда. Создалось, можно сказать, тератологическое положеньице!.. — Он недовольно повернулся к реке. — Видите, чертовка, подточила береговые устои. Стоим и рядим, как быть. Как быть, говорю, понятно? Видите, водомерный мостик. Переносить не положено, а береговые устои — увы! — приказывают долго жить. Спрашивается, что делать? При первом подъеме воды все снесет в тартарары!

Придерживая ружье, Вараксин нагнулся к устью мостика.

— Тут пустяки! — выкрикнул он. — Пришлю бригаду, зацементируют в три счета.

— Брависсимо, Сергей Порфирьевич! Ловим вас на добром слове, — обрадовался Гвоздырьков. — Как, Татьяна Андреевна, довольны?

Татьяна Андреевна служебно улыбнулась. И Вараксина точно подменили. Вот не думал бы никто из присутствующих, что на сытом, холемом лице главного инженера может появиться такое восторженное выра-

жение! Но оно появилось, как только он увидел улыбку Татьяны Андреевны. Он склонился к ней, словно забыл обо всех находившихся здесь, и ждал, что она скажет, ждал с затаенной надеждой и волнением.

Татьяна Андреевна еще раз улыбнулась.

— Если товарищ Вараксин сдержит обещание, тогда, надеюсь, все будет в порядке,— сказала она.

Она-то улыбалась служебно, чему научила ее жизнь, но Сергей Порфирьевич не различал подобных тонкостей. Он схватил ее за локоть, расшаркался, поклонился.

— Для вас, Татьяна Андреевна, только для вас...— басил он, прижимая ее локоть к своему налитому жирком, массивному боку.— Для вас я готов сделать все что угодно.

Авдюхов не выдержал. Глядя исподлобья, он проворчал:

— Как же, как же, знаем ваши обещания.

— Что? — не расслышал Вараксин.

— Николай Степанович надеется, что вы не оставите нас своими молитвами! — пересиливая шум реки, выкрикнул Гвоздырьков.

— По-моему, он сказал что-то другое,— подозрительно заметил Вараксин.— А, Николай Степанович, вы что сказали?

— Я сказал, что перед чарами Татьяны Андреевны никто не устоит.

В ответ на слова Авдюхова Вараксин раскланялся.

— У меня к вам еще одна просьба, Сергей Порфирьевич,— сказала Татьяна Андреевна.— Мне нужны кое-какие материалы из вашего геологического бюро. Я говорю, материалы из геологического бюро!

— Получите в любой день и час.

— Вы им скажете?

— Какой может быть разговор! Сегодня дам команду.

— Так я на вас рассчитываю.

— Будьте покойны. Ну, а сейчас обследуем всю вашу механику, обмозгуем что к чему,— сказал он и, скинув ружье, ягдташ, собрался спуститься к самой воде.

В это время его внимание привлекла оляпка, охотившаяся под водой.

— Смотрите! — закричал он, показывая в сторону оляпки.— Видите? Вот опять!..

Только что усевшаяся на камень, торчащий среди взъерошенной реки, маленькая оляпка снова нырнула за добычей в злой пенный водоворот. Со стороны казалось, что она нарочно выбирает наиболее опасные места. В надвигающихся сумерках не видно было, где птичка выпрыгивает из воды.

— Странно, не правда ли? — заметил Сорочкин.— Все птицы улетели в дальние края, а этой словно лучшего и не надо. Холодище, ледяная река... Какие силы заставили ее приспособиться к жестоким, неблагоприятным условиям?

— У каждой птицы, как у человека, своя судьба. Своя беда или свое счастье,— глубокомысленно изрек Вараксин.— Ведь и человек иной раз для своего обитания выбирает совсем неласковые места.

Авдюхов качнул головой и отошел в сторону. Опять ввязываться в драку с этим гладким, благополучным и бесчувственным существом?

А Вараксин между тем приблизился к Гвоздырьковой и сказал любезно:

— Мы немного повздорили, Валентина Денисовна, но, ей-богу, я, в сущности, не виноват. Не виноват, я говорю. Может быть, недопонял, как для вас это серьезно, вы уж простите меня, грешен.

— Бог вас простит,— ответила она.

— Да ну, Валентина Денисовна, давайте мировую. Мировую, говорю, давайте.

Она не умела долго помнить зла, протянула руку, он поднес ее руку к губам и поцеловал, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Вот и отлично! Ну, а вы, старый ягуар? — крикнул он в сторону Авдюхова.

— Давайте, давайте, — неопределенно ответил тот, помахал рукой и отвернулся.

Вараксин развел руками, дескать, сделал все, что мог, и стал довольно ловко для своего грузного тела спускаться по каменной осыпи к воде. Гвоздырьков сейчас же полез за ним, а за Гвоздырьковым — Татьяна Андреевна.

Они спускались точно в погреб. Снизу, от реки, несло сыростью и стужей. Водяная пыль, поднятая ветром с поверхности реки, с пенистых барашков над водоворотами, оседала на их лицах. Здесь, у самой воды, и вовсе нельзя было разговаривать. Осматривая береговые устои, на которых держался водомерный мостик, они объяснялись знаками.

И случилось так, что Татьяна Андреевна неосторожно повернулась, ноги ее соскользнули с мокрых камней, и она сорвалась бы в воду, если бы Вараксин не подхватил ее под руку. Но, удержав Татьяну Андреевну, он сам потерял равновесие, сорвался и рухнул вниз со всей силой своего девяностопятикилограммового веса.

Река была неглубока, но здесь, у берега, крутил такой водоворот, что Вараксина сразу обдало чуть ли не до плеч.

Валентина Денисовна засуетилась на площадке возле водомерного мостика, Сорочкин что-то выкрикивал, не зная, как помочь; вокруг них, путаясь под ногами, лая и не решаясь броситься к хозяину, метался Агафон. На помощь быстро спустился Авдюхов, и вдвоем с Гвоздырьковым они ухватили Вараксина за руки и выволокли его на берег.

— Как неприятно, Сергей Порфирьевич, все из-за меня, — сказала огорченная Татьяна Андреевна, но слов ее никто не расслышал.

— Знамение свыше, — сказал Вараксин, отдуваясь. — Сам бог велел отменить охоту и засесть за преферанс! — Можно было предположить, что его все-таки мучит самообман и он рад действительно уважительной причине. — Сама судьба, видать, за то, чтобы вместо охоты мы засели за пульку, — все повторял он, поднимаясь на площадку у водомерного мостика.

— Вы совсем мокрый, Сергей Порфирьевич, так можно и простудиться. Скорей, скорей в дом, — захолопотала Валентина Денисовна.

— Пошли, Татьяна Андреевна? — выкрикнул Вараксин, собираясь двигаться наверх.

Сорочкин взял его ружье и ягдташ.

— Я должна закончить измерения! — прокричала в ответ Татьяна Андреевна.

Авдюхов не глядел ни на Татьяну Андреевну, ни на Вараксина. Перед ним неслась река, неистовая, взъерошенная, в блестящих пенистых гребнях, в облаках обжигающей водяной пыли, и ему пришла мысль о том, что и человеческая жизнь несется, как эта река, — в неистовстве, неутомности, в блеске успехов, в пене неудач, — куда, зачем? И тут же он усмехнулся: отличная мысль из категории общих мест. Не хуже соображений Вараксина об оляпке.

— Николай Степанович, вы идете? — спросил Гвоздырьков.

Авдюхов полуобернулся, покачал головой.

— Я играть не буду, не хочется.

— Да бросьте вы, Николай Степанович! — крикнул, останавливаясь на тропе, Вараксин.

— Меня не надо упрашивать, — сказал Авдюхов и отвернулся к реке.

— Николай Степанович, зря на меня сердчаете,— снова сказал Вараксин.— Ну, повздорили разок-другой. Знаете, издержки дружеских отношений. А если шутки мои, так я же безобидно...

— Да, да, я понимаю. Настроение неподходящее, и голова болит.

— Именно когда я приехал,— уже с досадой сказал Вараксин и поглядел в сторону Татьяны Андреевны.

Зная, что уговаривать Авдюхова бесполезно, Гвоздырьков сказал Вараксину:

— Пойдемте, Сергей Порфирьевич, будем играть «с болваном».

— Неплохая замена,— сострил Сорочкин.

Они ушли. Авдюхов помедлил немного и сказал Татьяне Андреевне:

— Видеть не могу Вараксина. Голоса его не переношу. Этих его величественных движений...

— Знаете, об этом нетрудно догадаться,— сказала Татьяна Андреевна и улыбнулась.

— Возможно, я несправедлив, но ничего не могу с собой поделать.

— Николай Степанович, а может, вы просто ревнуете? — спросила она, смеясь.

Она сегодня была в смешливом настроении.

Авдюхов покосился на нее, и взгляд его был такой, точно он сейчас рассердится или возмутится, но в следующую секунду морщины поплыли; поползли по его лицу, и он тоже улыбнулся, похлопал Татьяну Андреевну по локтю и сказал:

— А что, разве есть основания?

— Кажется, есть,— с деланным огорчением ответила Татьяна Андреевна.

Она закончила свои обычные измерения, и они не торопясь пошли к дому.

— А когда вы успели так хорошо с ним познакомиться? — спросил Авдюхов.

— Да уж порядочно. На совещании в райкоме. Когда вы ездили в этот ваш отпуск. Сколько вы пробыли в отпуске, десять дней? — Авдюхов неопределенно качнул головой.— Меня вызывали на совещание в райком. Вы не знаете? Я же видный гидролог,— она со значением вздернула подбородок.— Обсуждался проект гидростанции, меня пригласили для консультации.

— При чем тут знакомство с Вараксиным?

— Когда кончилось совещание, он предложил подвезти. И я сделала ошибку.

— Какую? — спросил Авдюхов и остановился.

— По-моему, простительную. Я с успехом выступала на совещании, настроение хорошее, и когда мы вышли из райкома, он предложил сесть в кабину с шофером, я отказалась. Тогда и он сел со мной в кузов. Ну, лезла в грузовик, оперлась о его могучее плечо.— Татьяна Андреевна развела руками.— По-моему, он и вообразил, чего не следует.

— Что ж, бывает.

Они пошли дальше по тропе, и Татьяна Андреевна стала рассказывать, как они сидели с Вараксиным на дне кузова, привалившись к переднему борту, чтобы укрыться от ветра, обстановка располагающая,— и всю дорогу Вараксин говорил о своих бедах, о своей злосчастной судьбе.

— Он такой горемычный, такой одинокий. Семейная жизнь неудачна — жена далека от его интересов, дети как чужие. Понимаете? Драма!

— Знает, собака, подход к женскому сердцу. Бьет на жалость,— сказал Авдюхов.

— Да уж что-то, а подход к женскому сердцу он знает.

— Между прочим, а зачем вы мне все это рассказываете? Человек вам доверился, а вы рады-радешеньки растрезвонить по всему свету?

— Только вам, Николай Степанович, только вам,— примирительно приподнимая руки, сказала Татьяна Андреевна.— Как его лучшему другу.

Авдюхов взял ее под руку.

— Вы жалкая ехидна,— сказал он.

— Кстати, Николай Степанович, а почему все-таки вы так быстро вернулись из отпуска?

Авдюхов пожал плечами, помолчал, потом ответил:

— Соскучился по нашей станции. Странно, но так.

— Все шутите, иронизируете.

Авдюхов качнул головой.

— Лучше шутить, чем грустить. Грусть — худший порок человечества.

— Ну, если хотите знать, я считаю, что равнодушие хуже. И вы также, не прикидывайтесь.

— Подлость лучше? — спросил Авдюхов, усмехаясь по поводу ее горячности.

Она поостыла.

— Я полагала, мы говорим о порядочных людях. О подлецах и лицемерах мы ведь не говорим.

— Все дело в том, если разобраться, что порядочным человеком быть легче, чем мерзавцем.

— Уверены? Не ожидала от вас такого оптимизма. Признаться, я думала, подлецу живется легче.

— Но Вараксин-то, между прочим, хорош. Года два вас знает, если не три, и только теперь сделал открытие!

— Какое открытие?

— Ну, что вы очаровательная женщина.

— Ах, очаровательная! Вы находите?

— Я-то нахожу. Давно.— Авдюхов усмехнулся.— Во мне что толку-то. Татьяна Андреевна искоса взглянула на него и отвела глаза.

— А может, вы правы, все-таки порядочному человеку вольготнее?.. Нет! — тут же сказала она с убеждением.— Подлецу только раз переступить порог подлости, а там пойдет как по маслу.

— А вы не думаете, что он перед каждой подлостью содрогается, колеблется?

— Святая простота! Сегодня вы меня просто поражаете. Может, вы смеетесь, Николай Степанович? Тем более, что все-таки, даже если он и помучится на пять копеек, он совершает потом подлость, а не благодушествует.

— Слушайте, милая женщина, а стоит ли нам так подробно разбирать движущие пружины подлеца? А не черт ли с ним, с подлецом, а?

Когда они вернулись в дом, Вараксин, переодетый в пижаму Сорочкина и выглядевший так, точно он надел одежку для мальчика, сидел уже в своем излюбленном углу, возле него стоял ломберный столик и Гвоздырьков наливал в стакан водку — в данном случае профилактическое средство против простуды. Как водится в подобных обстоятельствах, хотя прибегать к профилактическим средствам нужно было одному Вараксину, за компанию с ним выпил уже и Гвоздырьков. Сорочкин водку не пил. Кроме воды и чая, Сорочкин пил только молоко. Пучков отсыпался после дежурства. Меликидзе дежурил, и Вараксин, явно стремясь задобрить Авдюхова, предложил ему разделить оставшееся в бутылке.

Авдюхов не устоял против соблазна. Он выпил предложенную долю, примирился с окружающей обстановкой и, к удовольствию преферансистов сменив гнев на милость, сел за стол четвертым игроком.

Но, удивительное дело, Вараксин, который ради преферанса сюда только и приезжал, на этот раз сидел, точно на иголках, играл невнимательно, то и дело совершал грубые просчеты, возмущал партнеров и все поглядывал на дверь в ожидании Татьяны Андреевны; она ушла переодеваться к себе наверх.

В кают-компанию Татьяна Андреевна вернулась в превосходном настроении. Она вошла, посмотрела вокруг и вдруг схватила в охапку пачку выкровок, патронок, куски ткани и закружилась с ними по комнате.

— Вот я покажу вам сейчас, как надо рукодельничать!..— дурачась, закричала она.

Посыпались во все стороны клубки ниток, взвились в воздух цветные лоскутки. Валентина Денисовна и Грушецкая кинулись к ней, поднялись крики, смех, гомон.

Вараксин хохотал во весь голос, любуясь Татьяной Андреевной.

Женщины наконец схватили ее, отобрали свое имущество, и в кают-компанию воцарился порядок. Но теперь Вараксин и вовсе стал так играть, будто он впервые взялся за карты.

— Да что с вами такое, честное слово? — возмутился наконец ангельски терпеливый Гвоздырьков.— Может, вам все же нездоровится, Сергей Порфирьевич?

Он еще ни о чем не догадывался.

Вараксин незлобиво отшучивался, на короткое время сосредоточивался, а затем снова как бы терял интерес к игре. В тесной, не по росту пижаме Сорочкина, в его тапочках, едва насунутых на пальцы и при движениях пошлепывающих по полу задниками, он казался еще более съезжившимся в своем углу, чем обычно.

Авдюхову ясно было, что случилось с партнером. Вскоре поняли это и Валентина Денисовна и Сорочкин, потому что взгляды Вараксина были весьма красноречивы. Вероятно, общение с Татьяной Андреевной у водомерного мостика и ее просьбы о геологических материалах усилили интерес Вараксина к ней.

Пулька в этот вечер затянулась. Вараксина уложили на диване в кают-компанию, и Авдюхов, спускавшийся поздно ночью на дежурство, слышал, как Вараксин ворочается на своем ложе, покашливает, чиркает спичкой, закуривая. «Эк его взяло!» — с неприязнью подумал Николай Степанович.

Утром, до того, как стали подниматься сотрудники станции, Вараксин вызвал машину и укатил на рудник.

С этого дня и охота и карточная игра потеряли для него значение и стали средством маскировки нового, главного интереса, а лучше сказать увлечения. Вараксин ездил теперь на станцию из-за Татьяны Андреевны, и все отлично это понимали.

И как раз именно в это самое время в тихую метеорологическую обитель, отгороженную от всего света, ворвался, как метеор, шумный, беспутный Нестор Бетаров, неунывающий мечтатель, полный земных интересов.

8

Татьяна Андреевна сказала Бетарову заехать завтра. Завтра так завтра, и на другой день после своего первого появления старший мастер канатной дороги чуть свет снова прикатил на гидрометеорологическую станцию.

Из рабочего кабинета, который Татьяна Андреевна занимала вместе с синоптиком Грушецкой, она услышала голоса Бетарова и Сорочкина, спорящих в прихожей.

Бетаров просил дать ему прогноз погоды. Сорочкин отказывался.

— Неужели трудно понять: мы исследовательская станция, а не оперативная. В наши задачи не входит обслуживание народнохозяйственных организаций, — говорил он утомленным голосом, точно читал инструкцию.

В этих скучных фразах сказывался весь Сорочкин. Всегда улыбающийся, всегда застенчивый, краснеющий, как девица, от скрытых причин, Сорочкин был воплощением практических добродетелей. Он не только выше всего на свете ценил свою специальность и хорошо работал, — никто на станции не умел жить так разумно и трезво, как он. Он чистил зубы и утром и вечером, он делал физзарядку. Все свои, впрочем немногочисленные, сбережения он вкладывал в трехпроцентный заем, и номера облигаций были выписаны у него в записной книжке. Рубашки его были мечены номерками, чтобы носить их в порядке очереди, — благодаря этой хитрости они изнашивались равномерно.

От деликатности и застенчивости он не только часто краснел, но и слегка заикался, а собираясь сказать что-нибудь значительное, делал долгую паузу и набирал полную грудь воздуха.

И, вероятно, по причине застенчивости он часто высказывал чужие мысли, вычитанные или услышанные от кого-нибудь, а источник или автора не объявлял. Самостоятельные его суждения о предметах, не относящихся к специальности, чаще всего принадлежали к категории общих мест: женщина должна быть интересной, а не красивой; ребенок тогда часто болеет, когда его балуют; иногда приятно утолять жажду малыми глотками, а иногда большими. В этом отношении Сорочкин превосходил даже Вараксина. О людях, которых Сорочкин одобрял, он говорил так: «Грамотный человек». Такой оценки, увы, заслуживали немногие.

Вот какой он был, этот Сорочкин. Но Бетаров его совсем не знал и наседа на него, как на ничем не примечательного человека:

— Обслуживать вас никто не просит. Дайте прогноз на ближайшие дни — вот все, что требуется.

— Вы не понимаете, что говорите, — упорствовал Сорочкин. — Не только прогноза, даже простой информации мы не должны давать. Мы исследовательская станция, а не оперативная. Дашь какие-нибудь сведения, а потом пойдут жалобы. Обращайтесь в районное бюро погоды.

Татьяне Андреевне не хотелось встречаться с нагловатым мастером канатной дороги, но так как она забыла рассказать о его вчерашнем визите, то почуствовала неловкость и вышла в коридор.

— Геннадий Семенович, товарищ приезжает второй раз. Вараксин договорился о сводках с Петром Петровичем, — сказала она Сорочкину, холодно ответив на поклон Бетарова.

Ее неприветливость не смутила Бетарова. Он улыбался ей, как старой знакомой, радостно и непринужденно.

Блюдя свой престиж и досадуя на то, что попал в ложное положение, Сорочкин сдался не сразу. Неужели Сергей Порфирьевич не мог позвонить ему, прежде чем посылать за сводкой мастера канатной дороги?

Поэтому он воскликнул горячо:

— Да хоть в третий, Татьяна Андреевна! — И краска, только что проступившая, отхлынула от его щек. — В наши задачи не входит предупреждение народнохозяйственных организаций. Представим себе даже вероятность опасного метеорологического явления... Все равно и об этом должны сообщать наши оперативные учреждения, а не мы.

— Да, да, по инструкции это не входит в наши обязанности, но, если к нам обращаются товарищи, как же можно отказывать? — прервала его Татьяна Андреевна. — Тем более, это наши соседи, мало они делают для нас?

Сорочкин подумал с досадой: «Вот, пожалуйста, этот тип уже добился того, что Татьяна Андреевна вынуждена уделять ему внимание». Однако ему ничего не оставалось, как сказать:

— Да я не против, Татьяна Андреевна. Тем более, что Сергей Порфирьевич, вы говорите, условился с Гвоздырьковым. Я, так сказать, для порядка... — И Сорочкин бросил неприязненный взгляд на Бетарова.

— Вот и отлично,— сказала Татьяна Андреевна.— Значит, товарищ Сорочкин даст вам прогноз.

Нестор поклонился.

— Очень благодарен... Не знаю имени-отчества.

Он с первого дня отлично запомнил, как зовут Татьяну Андреевну, но хотел услышать ее имя от нее самой, чтобы в некотором роде официально закрепить знакомство.

Татьяна Андреевна сказала:

— Это неважно.

И ушла.

Она до тошноты ненавидела назойливых приставал, донимавших ее чуть ли не со школьных лет, потому что она была хорошенькой девчонкой... И потом ее неудачное замужество... Она была замужем и ушла от мужа. Он тоже был таким, ее бывший супруг, ничего не замечал в ней, кроме того, что она хорошенькая женщина. Впрочем, лучше не вспоминать об этом...

Утром, проснувшись, она увидела на полу возле своей постели охапку рассыпанных веток боярышника; среди его узорчатых, по-осеннему желтых листьев горели кроваво-красные перезрелые ягоды.

9

Комната Татьяны Андреевны находилась на втором этаже, окно упиралось в склон горы, и человеку, поднявшемуся на откос, нетрудно было бросить в форточку ветки боярышника. Татьяна Андреевна всегда оставляла форточку открытой.

Петр Петрович, очень уважающий науку, держался той точки зрения, что вредно спать, когда в комнате слишком много свежего воздуха; организм во время сна должен отдыхать — значит следует уменьшать горение, ограничивать потребление свежего воздуха; всем известно, что избыток кислорода горение усиливает. Он был добрый хозяйственник, и его теория великолепно сочеталась с заботой о том, чтобы тепло из дома не уходило зря. И без открытых форточек дом гидрометеостанции продувало насквозь, как метеорологическую будку с ее стенками в виде жалюзи. Татьяна Андреевна пренебрегала его советом, и вот неожиданный результат.

Кто мог влезть ночью или на рассвете на гору и бросить охапку веток в ее комнату?

Все утро странное происшествие не выходило у нее из головы.

Боярышник у них в ущелье рос теперь в малодоступном месте, высоко над скалами. Легко можно было сломать себе шею во время охоты за ветками. Кто мог на это решиться? Мелькнула мысль: приезжавший вчера мастер канатной дороги, но для чего? По какой причине? Стоит ли рисковать головой, чтобы поволочиться за случайно приглянувшейся женщиной? Хотя от такого типа всего можно ожидать.

Недовольная и недоумевающая, Татьяна Андреевна собрала ветки, налила в кувшин воды и поставила букет у себя в комнате на стол. Она никому не сказала о происшествии.

В середине дня к ней в рабочий кабинет пришел дед Токмаков. По обыкновению не постучавшись, он открыл дверь и остановился, стянув с головы древний малахай. Татьяна Андреевна покосилась в его сторону и продолжала быстро писать, листая рабочие записи в блокноте,— она знала, что старик сам объяснит, зачем пришел.

Но дед Токмаков постоял молча у двери, подошел к столу и, все так же не говоря ни слова, сел на табуретку.

Тогда Татьяна Андреевна спросила:

— Что скажете, Егор Васильевич?

Дед Токмаков расправил ладонью шапку на колене и сказал, вздыхая:

— Получается неудобство в некотором роде, Татьяна Андреевна... Непутевый он парень, вот что я вам доложу. На работе вроде и ничего, а как положил в ящик инструмент, так в голове, это самое, — одна ерунда. — Он произносил это слово через «ю»: юрунда.

Татьяна Андреевна перестала писать, ожидая, что последует дальше.

— У соседей авария — завалилась крыша, — он тут как тут: все божье семейство к себе в хату на постой, а у самого ступить негде! Вроде святой какой или блаженный. А то, смешно сказать: пенчик выпал из гнезда, он сейчас таким манером — со всего села высвистывает босу команду, а сам, как бы сказать, председатель опекунского совета...

Татьяна Андреевна вздохнула.

— Да вы о ком говорите, Егор Васильевич?

— Ну о ком! О Несторе Бетарове, этом самом! Да это бы еще ничего. Докладываю вам про добрые дела. Беда, что сегодня здесь у него — доброе дело, а завтра там или где еще — озорство. Эти гаврики с подвесной дороги все такие малахольные малость. Я ихнюю породу знаю. Сам Нестор как-то рассказывал: нанялся в их компанию новый герой, работник вроде бы ничего, но бахвал — спасу нет! А живет вместе со всеми, как говорится, в общем житии. Решили его проучить. Раздобыли, это самое, старую танковую магнету, как он заснет, — а спать герой тот был здоров, — они поднесут провода ему к уху да и крутанут ручку. Убить током, конечное дело, не убьет, напряжение в ней малое, но сила тока — дай боже! Удар такой, что герой тот кубарем с койки, весь ошалелый. Ну что сказать, бедняга не только брехать бросил, это самое, — спать перестал... А в суть вопроса ежели взглянуть — одно озорство, фулиганство. Одно слово, Татьяна Андреевна, сорванец из сорванцов, пробы на ём ставить некуда! И все семейство ихнее такое, я их всех знаю наскрозь, чать из одного села. Нестор этот, еще вот таким шпиигалетом был, придет, бывало, ко мне в ушелье, я уж тогда здесь жил, обратно не выго- нишь, а мать по селу бегаёт, ищет, волосы на себе рвет.

Татьяна Андреевна поглядела на Токмакова.

— Егор Васильевич, а зачем мне все это знать? — спросила она недо- вольным голосом.

— Да ведь на какую кручу полез! Ну, а сорвись?! Красивая картина! Нужны вам эти ветки...

— Я ничего не понимаю и не хочу понимать, — сказала Татьяна Ан- дреевна сердито, потому что как раз отчетливо понимала, что скрывается за словами старика.

Дед Токмаков сокрушенно развел руками.

— А то уйдет в горы, хучь бы куропатку принес матери. Сядет над кручей, сидит, травинку жуёт, ну ни дать ни взять — кавказский плен- ник!.. Одно слово, непугевый человек, Татьяна Андреевна. Тут это всем известно.

Татьяна Андреевна помолчала, барабанила пальцами по столу.

— Почему вы думаете, что цветы бросил этот парень с канатной доро- ги? — спросила она сурово.

— Цветы — не знаю, а ветки бросил он, точно.

— Ну, ветки. Почему думаете, что он?

— А следы как же? Ночным снежком все вокруг малость припороши- ло, утром гляжу — видать, мотоциклетка прошла. А потом ходу дальше нет, он, это самое, пеший полез. Трудная работенка, ее на сдельной опла- те не провернешь, не по железным столбам лазать... А на горе, над ва-

шим окном, мелкие веточки оброненные. Днем был насчет прогноза, а вечером, работу кончил, опять тут как тут. Экспедиция за ветками! Вопрос ясный, Татьяна Андреевна, сохнет парень по вас, как дважды два. Только, ради Христа, не оказывайте ему доверия. Ненадежный человек, сквозняк в голове.

— Вот что я вам скажу, Егор Васильевич. Меня эта история нисколько не интересует. Приятеля вашего я не знаю, да и знать не хочу. Некогда мне заниматься пустяками. И вас прошу больше о нем не говорить.

— Говорить, что же, можно, это самое, и не говорить. Только он не приятель мне, а так, известная личность. Одного опасаясь, Татьяна Андреевна, парень настырный, блажной, он вам житья не даст. А кругом люди. Неудобство.

— Ладно, Егор Васильевич, как-нибудь сама разберусь. Спасибо, что предупредили,— сказала Татьяна Андреевна и обмакнула ручку в чернила, давая понять, что разговор закончен.

— Мне что? Ох-хо-хо, дела наши тяжкие! Можно и не говорить,— поднимаясь с табуретки, сказал дед Токмаков.

— Какая-то глупая, никчемная история. Точно шла и споткнулась на гладком месте,— с досадой сказала Татьяна Андреевна.— Нужно же придумать такую штуку — ветки бросать в окно! Что я, балерина или певица какая-нибудь?

— Балерина или певица, не знаю, а так оно всегда и бывает. Начинается сущей юрундой, а потом не знаешь, как распутаться. Легко он от вас не отлипнет. Лихой парень, это самое, непутевый!..

— Ничего, как-нибудь да отлипнет. Об одном прошу, Егор Васильевич, пусть этот разговор останется между нами, хорошо?

— Татьяна Андреевна, родная вы наша, расчудесная, да нешто я ба-лаболка какая? А вам надобно было сказать. Для информации.

Так все это и началось.

Дед Токмаков ушел. Продолжался обычный трудовой день. Татьяна Андреевна спускалась к водомерному мостику, производила наблюдения, предусмотренные программой, работала у себя в кабинете, но история с Бетаровым не выходила у нее из головы. Что это, обычное пошлое ухаживание? Может быть, любовь? Любовь с первого взгляда? Вдруг она вспомнила лектора на Урале, приехавшего к ним в поселок, где она проходила практику. Лекция так и называлась: «Что такое любовь?» Он цитировал какие-то литературные произведения, высмеивал каких-то критиков, приводил мысли великих людей, декламировал стихи. Она запомнила его глубокомысленную фразу: «Любовь — это не пережиток капитализма в сознании людей, как полагают некоторые критики...» Ну, слава богу! Но что такое любовь, лектор так и не объяснил. Видно, по-прежнему о ней известно одно: что она не картошка... Все-таки полез человек на какую кручу, другой туда и за десять тысяч не заберется. Она повторила вслух, смешно коверкая слово: «лубовь»!.. Да с этим типом, наверно, и двух слов не скажешь. И вообще, к чему вся эта канитель?

Всякий раз, когда Татьяна Андреевна поднималась к себе наверх, она смотрела на кроваво-красные ягоды боярышника и вспоминала о Бетарове. Кого-то он напоминал ей в своем черном стеганом ватнике, в черных брюках, в сапогах с отогнутым краем голенища, стремительный, с озорным блеском карих глаз. Смутное ощущение какого-то сходства, сходства, которое она не могла определить, все время беспокоило Татьяну Андреевну.

Теперь Бетаров знал, у кого получать прогноз погоды, но, прикатив за очередной метеосводкой, он опять постучался не к Сорочкину, а в кабинет к Татьяне Андреевне.

Она встретила его удивленно, недовольно, настороженно.

— Как насчет метеосводки? — поздоровавшись и не обращая внимания на нелюбезный прием, весело спросил он.

По его виду, по его тону, по его поведению никак нельзя было предположить, что Нестор питает какие-нибудь чувства к Татьяне Андреевне, что это он лазил бог знает куда за красивыми ветками боярышника. И хотя Татьяна Андреевна была уверена, что вовсе не думает о нем, насколько им не интересуется, она задала себе вопрос: в чем причина его невозмутимости — в легкомыслии, в притворстве или в умении владеть собой? Потому что она не сомневалась: душевное равновесие мастера канатной дороги поколеблено.

— Я уже объясняла: за метеосводками нужно обращаться не ко мне, а к товарищу Сорочкину, — сказала она сдержанно, раздумывая, говорить ли о ветках боярышника или делать вид, что она не придала этому никакого значения. — Его комната рядом, ближе к выходу.

— Не допускаете мысли, что я попросту хотел повидать вас?

Он говорил это, улыбаясь, с грубоватой прямоотой и, в сущности, не показывая Татьяне Андреевне развязным.

Она все же поморщилась.

— Об этом нетрудно догадаться, раз вы прошли дверь Сорочкина. Что вам надо от меня?

— Если скажу, что хочу получить сведения о количестве наносов за истекший квартал, вы поверите?

— Послушайте, я занята. Мне некогда с вами шутить.

— Конечно, вы можете подумать, что я влюбился в вас с первого взгляда и потому только сюда и езжу.

— Уважаемый товарищ, об этом я не думаю. Больше того, откровенность за откровенность: меня несколько не интересует, почему и зачем вы сюда ездите, — раздражаясь, сказала она.

— Напрасно, — ответил Бетаров, не переставая улыбаться. — Потому что я влюбился в вас не с первого взгляда, а со второго. Улавливаете разницу? Влюбиться не сразу — гораздо солиднее.

— Поразительная точность, но должна вас огорчить: мне это совершенно безразлично. Увы! — сказала Татьяна Андреевна спокойно, насмешливо, скрывая за вежливостью и спокойствием раздражение.

Теперь она ни минуты не сомневалась в том, что признание Бетарова, его доблестный поход за ветками боярышника — дешевое, пошлое ухаживание, имеющее цель прямую и ясную.

Но мастер канатной дороги еще не выпустил всего своего заряда.

— Чтобы сразу внести полную ясность, должен сказать: если я и влюбился в вас, то ухаживать за вами не собираюсь. И никаких серьезных намерений, что называется, у меня нет.

Татьяне Андреевне надоело это пустословие. Что за нелепость! Она сказала гневно:

— Послушайте, вы понимаете, что я на работе? На каком основании вы устраиваете здесь балаган? Прошу вас уйти. Комната Сорочкина рядом, и вы прекрасно это знаете.

Но Бетарова и взрыв гнева не смутил. Он засмеялся, прошелся по кабинету, оглядывая приборы, книги на полке, диаграммы и графики, развешанные по стенам. Вернувшись к столу, он сказал, посмеиваясь:

— Татьяна Андреевна, не сердитесь. Я горец, человек простодушный. Я родился и детство провел в холодном осетинском хадзаре, доме без печей, со щелями, через которые насквозь продувал ветер, с крышей, которую два раза на моей памяти уносила буря: недостаточно оказалось камней, прижимающих ее к стенам. И вот я должен сказать, со мной действительно приключилась невероятная чертовщина. Никогда не думал, что я способен втрескаться, как мальчишка, — ни

с того ни с сего. Но именно это со мной и случилось. Может быть, в силу контраста? Глухое ушелье, дикие места — и вдруг чудо природы, передо мной явились вы, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты... И сиди вы сейчас не в кабинете гидрометеостанции, а на заседании совета министров, я бы не удержался выложить перед вами все. Пусть мое поведение и нахально и смешно, и вы об этом расскажете своим приятелям, и все будут смеяться. Пусть ваше сердце, что называется, занято и все такое. Не могу молчать и таиться.

Он приложил руку к груди. На этот раз он не улыбался.

— Хорошо, хорошо, все понимаю. Вы высказались, я вас выслушала, теперь можете удалиться. Всего наилучшего,— сказала Татьяна Андреевна, не придавая значения его словам, уверенная, что теперь он повернется и уйдет.

К Бетарову вернулась его насмешливая невозмутимость. Он шлепнул одной перчаткой о другую и сел на табуретку перед столом Татьяны Андреевны.

— Спокойно, Татьяна Андреевна, спокойно. Не будем нервничать,— сказал он.

Татьяна Андреевна возмутилась.

— Послушайте, да, может быть, вы пьяны? Еще раз прошу, оставьте меня в покое. Я не девчонка. Вы отнимаете у меня время и несете несусветный вздор. Оставьте меня, пожалуйста. Довольно этой пошлости.

Она отвернулась, горестно потеряла висок, взяла ручку, делая вид, что собирается работать.

— Ну, а пойдете за меня замуж? — спросил Бетаров и засмеялся снова.

Она не хотела отвечать. Он наклонился к столу, ждал ответа.

— Ну что за наказание! Господи, первый раз встречаюсь с такой комедией! Оставьте меня в покое или позвать на помощь?

— Попробуйте! — Он выпрямился.

Татьяна Андреевна приподнялась, точно в самом деле собиралась закричать. Тогда Нестор взял ее за руку и крепко сжал.

— В самом деле, чего доброго, закричите, — сказал он, не теряя, впрочем, спокойствия. — Ладно, сейчас уйду. Но вы все-таки подумайте хорошенько обо всем, о чем я вам говорил. Только не воображайте, что я схожу по вас с ума. Любовь, ахи, вздохи!.. И насчет замужества я только спросил. Серьезные намерения не в моем характере. Да и какой я вам муж? Вы ученая женщина, а у меня высшее полусреднее образование в объеме семи классов. До свидания, дорогая!..

Он встал. Но так внезапны и резки были переходы в его болтовне, такие нотки искренности и увлеченности звучали порой в его словах и сам он при всей наглости казался временами таким непосредственным и откровенным, что Татьяна Андреевна почувствовала необходимость последнее слово оставить за собой. Не раздумывая больше, говорить или нет, она повернулась к Бетарову, смерила его взглядом и насмешливо произнесла:

— А ветки боярышника зачем вы бросили в форточку? Всегда прилагаете такие героические усилия, когда атакуется очередная жертва?

Бетаров выдержал ее взгляд.

— Ветки боярышника? Первый раз слышу,— с поразительной беспечностью протянул он.

— Ах, не вы? Тогда имейте в виду, у вас существует более решительный соперник.

Бетаров невозмутимо пожал плечами.

— Соперников я не боюсь. Что же касается веток, то я не сумасшедший. Там голову ломаешь, пока долеешь, где они растут.

— Судя по вашей манере разговаривать с малознакомыми людьми,

не такая уж была бы потеря для общества. Впрочем, наверняка преувеличиваете трудности с этими ветками, чтобы набить себе цену.

— О-о, переходите в наступление? Знаете, иногда это первый признак, что готовится сдача укрепленных позиций.

И неожиданно для самой себя Татьяна Андреевна почувствовала, что Нестор прав и что оставить за собой последнее слово ей не удастся.

— В наступление переходить я не собираюсь, не вижу достойного противника. Следовательно, и ваши надежды на сдачу позиций неосновательны. А теперь уходите. Этот разговор мне очень надоел.

Но он не ушел.

— Хотите меня задеть? Не выйдет,— возразил он серьезно.— Заранее прощаю вам всяческую немилость.

Видя, что и холодная учтивость, подчеркнутая и недвусмысленная, не оказывает никакого действия, Татьяна Андреевна взмолилась:

— Послушайте, вы невозможный человек. Поймите простую вещь: ваши притязания меня не интересуют. Нелепо говорить мне «не воображайте» или что-нибудь в таком роде.

Но Бетаров был неуязвим.

— По правде говоря, мне жаль вас,— произнес он с великолепной снисходительностью.— Вы, конечно, думаете, что я езжу сюда только из-за вас. В этом и заключается роковая ошибка, клянусь белой черкеской, которой у меня нет. Во-первых, вам известно, начальство приказало мне интересоваться прогнозом погоды, а во-вторых, человек — общественное животное. До рудничного Дворца культуры сравнительно далеко, в селение на плоскости, где я постоянно живу, ездить приходится не каждый день. Вот я и решил попользоваться приятным обществом гидрометеорологов. Ясно?

— Господи, да мне совершенно все равно!

— Нет, не все равно. И вы отлично это знаете.

— Послушайте, товарищ общественное животное, мне не интересно с вами разговаривать, можете это понять или нет? Тем более, вы животное не только общественное, но, как выяснилось, то ли глупое, то ли назойливое. Простите за откровенность.

На этот раз замечание Татьяны Андреевны задело Бетарова. Все же он не ушел.

— М-да-с,— сказал он и, опершись кулаками на стол Татьяны Андреевны, наклонился над ним.— Грубовато, признаться, чего, по совести говоря, не ждал. Но ничего, пожалуйста. Видно, все-таки я вас допек. Что, если теперь я вас поцелую?

Он сказал это не то с насмешкой, не то с угрозой, не то с просьбой, но не двинулся с места, не переменил позы.

Вот теперь Татьяна Андреевна рассмеялась. А рассмеявшись, она положила ручку, откинулась на спинку стула и сказала с презрением:

— Ну, знаете, всему есть предел!.. Теперь убирайтесь.

В сущности, она храбрилась, потому что не чувствовала уверенности, что Бетаров не осмелится ее поцеловать. «Что же,— подумала она,— пусть попробует, вот тогда я ему покажу!»

Между тем Бетаров не торопился.

— Нет, пожалуй, рановато еще.— Оторвав руки от стола, он выпрямился. Затем голос его дрогнул, и он закончил: — Хотел бы, но, честно скажу, еще не набрался смелости.

Она молча обмакнула перо в чернильницу. Это движение немедленно вызвало ответную реакцию.

— Не притворяйтесь! Пока я здесь, вам работать не придется,— сказал Бетаров, усмехаясь.

И потому, что он угадал, Татьяна Андреевна стряхнула с себя внезапную нерешительность и вспыхнула:

— Да уйдете вы наконец?! Это просто возмутительно!

— Конечно, уйду. Но прежде должен сказать: я не нахал и не глупое животное. Я настойчивый. И вы должны это знать. Впрочем, можете считать меня нахалом.

Татьяна Андреевна положила ручку и с бешенством повернулась к Бетарову.

— Ничего не хочу знать, ничего не хочу считать! Не желаю вообще о вас думать!.. Господи, что за комедия!..

— И между тем думаете обо мне,— вставил он, усмехаясь.

— Да, думаю, думаю, погому что вы назойливы, как осенняя муха. И... и...— Она не нашлась, что сказать.— В сотый раз повторяю: мне не о чем с вами говорить! И мне совершенно безразлично, почему и зачем вы сюда ездите. Не хочу вас знать, можете понять это в конце концов?!

Нестор Бетаров утвердительно качнул головой, обошел вокруг стола, высокий, гибкий, с пружинистой рысьей походкой, и остановился у двери.

— Вот теперь, когда вы окончательно потеряли спокойствие, я могу повторить, что дико, страшно люблю вас. Не знаю, как это случилось. Иногда мне кажется, что всегда вас любил, любил еще до того, как увидел. И с этим ничего нельзя сделать,— закончил он просто, каким-то будничным, прибитым голосом.

Татьяна Андреевна с грохотом отодвинула стул и вскочила.

— Если вы не уйдете, уйду я!

Он стоял у двери и ухмылялся во весь рот.

— Сидите, я ухожу. Но все-таки не забывайте, боярышник наломан для вас с риском для жизни. Это чего-нибудь да стоит.

Она не ответила. Вот теперь, под конец, когда игра закончилась, она рассердилась необычайно. Откуда только берется на свете такая немислимая самоуверенность? Что он представляет собой, этот пошлый человек с его издевательским поведением и нахальными речами? Раздражение ее усиливалось из-за того, что она не сумела сразу дать отпор, прекратить дурацкую игру.

И так сильно было ее раздражение, что она не села снова за работу, а, обогнув с брезгливым выражением лица своего непрошеного собеседника, вышла из кабинета — он не сделал попытки ее остановить,— поднялась к себе в комнату и заперла за собой дверь.

Но и у себя в комнате она не отделалась сразу от напоминаний о Бетарове. Перед ней на ночном столике стояли в кувшине ветки боярышника.

Татьяна Андреевна подошла к ним, вытащила из кувшина и, разбрызгивая воду, с сердцем вышвырнула их в форточку.

А Бетаров, выйдя из ее кабинета, направился к Сорочкину. Он открыл дверь и лицом к лицу столкнулся с метеорологом. Сорочкин стоял посреди кабинета, сжимая кулаки, и что-то неразборчивое шептал посиневшими обкусанными губами. Лицо его было в красных и белых пятнах, над правым глазом прыгало веко.

— Вы!.. Вы!..— едва слышно сказал он, когда Бетаров прикрыл за собой дверь.— Я все слышал... Я не хотел, но здесь слышно каждое слово. Вы хулиган! Убирайтесь отсюда!

Нестор Бетаров спросил спокойно:

— А собственно, вам какое дело?

— Уходите вон, нам не о чем говорить!

— Фу-ты ну-ты, ну напугал, прямо напугал!.. А что, собственно, произошло?

Сорочкин нелепо замотал головой, судорожно задвигал руками, точно ему не хватало воздуха, но не тронулся с места. Он задыхался. На открытой шее его вздулись жилы.

— Как вы смеете!.. Да я!.. Да вы!.. — выкрикивал он бессвязно.

Бетаров присвистнул.

— Ах вот, оказывается, что?! Влюблены?

— Благодарите бога, показал бы, где раки зимуют, не хотел смущать Татьяну Андреевну...— все еще отрывисто, судорожно, едва сдерживая крик, выговорил Сорочкин.

— Ладно, успокойтесь, а то пеной изойдете. Мне нужна метеосводка. Она готова?

Сорочкин сорвался с места, кинулся к столу, схватил листок и, потрясая им в воздухе, ткнул Бетарову.

— Вот ваша паршивая сводка, и убирайтесь сейчас же!

— Подумай, какие страсти! — с оттенком удивления произнес Бетаров и вдруг многозначительно, почти заговорщически подмигнул Сорочкину.— Будем стреляться или предпочитаете на клинках? — Он сделал паузу, оглядел тшедушную фигуру метеоролога.— Драться на кулачках как-то незтично. Я из вас сделаю шашлык, по меньшей мере. Вы не человек, вы сплошная ушная раковина!

Он взял из рук испугленного, не помнящего себя от ярости метеоролога сводку погоды, повернулся и вышел.

Сорочкин шагнул за ним с таким видом, точно сейчас вцепится в него. Захлопнулась за Бетаровым входная дверь, через секунду у крыльца взлетел треск его мотоцикла.

На другой день на полу возле своей кровати Татьяна Андреевна снова увидела ветки боярышника с перезрелыми, кроваво-красными ягодами.

Она стала на ночь плотно закрывать форточку.

11

Прогноз погоды получен, он вполне благоприятен, но к ремонту дороги почему-то не приступали. Все так же безмолвно, точно тени, проплывали над ущельем вагонетки, вероятно, не ладилось выполнение производственного плана, и рудничное начальство медлило с остановкой дороги на ремонт.

И Нестор Бетаров продолжал ездить на станцию за метеосводкой. Его встречали на станции недружелюбно, потому что все сотрудники отлично понимали, чем вызван его повышенный интерес к метеорологической науке. Знаки внимания, оказываемые Татьяне Андреевне главным инженером рудника, как будто никого не удивляли, но притязания мастера канатной дороги сместили и возмущали сослуживцев. Однако Бетарова это нисколько не трогало. Он не обращал внимания ни на холодность самой Татьяны Андреевны, ни на издевки Токмакова, ни на косые взгляды Петра Петровича; его не беспокоила неприязненность Авдюхова.

Сорочкин зеленел от ярости при виде Бетарова. Бесцветные, припухшие глазки его метали молнии, когда Бетаров являлся за метеосводкой. Вынужденный вести с мастером канатной дороги деловые переговоры, Сорочкин сдерживался изо всех сил, старался не показать, какую вызывает в нем ярость Бетаров, на вопросы его отвечал односложно: «да». «нет», но скрыть своей ненависти не мог. Бетаров и на это не обращал внимания.

Иногда он приезжал вечером — очевидно, после работы — и, заставая всех сотрудников гидрометеостанции в кают-компании, заводил какой-нибудь общий, насмешливый, не относящийся к делу разговор, словно был убежден, что его здесь только и ждали.

— Как проживают наши драгоценные кумулонибусы и прочие перистые облака? — здороваясь, спрашивал он, ни к кому в отдельности не

обращаясь.— Почему все такие угрюмые, точно остров святого Ионы в Охотском море?

Он был находчив, не лишен способности к остро словию, то есть умел отпустить какую-нибудь шутку, вспомнить более или менее подходящий к случаю анекдот. Для законченного «высшего полусреднего образования», как он называл постигнутый им предел наук в объеме семи классов средней школы, он был неплохо развит, начитан, кое-что знал, кое о чем подумал на своем веку.

Вот он приехал, и на станции сразу становится шумно, беспокойно, бестолково, как в вагоне скорого поезда после второго звонка. С кем-то он уже перемешивается, потому что, хотя его и холодно встречали, нельзя было не отозваться на его заразительную улыбку, с кем-то он уже спорит, кому-то с деланной угрозой говорит: «Не бери меня на бас, я сам тенор!» То он вдруг предлагает: «Хотите, я песню спою? Застольную». И, не слушая ответа, раскидывает в стороны руки и, чуть приседая, начинает с жаром: «Гингалла, Гингалла, ваш тыр-дыр, джаш тыр-дыр!.. А-а!..»

Он приезжал за прогнозом погоды, но его осеняли внезапные идеи, например о том, что есть на свете вещи, обыкновенные сами по себе, но кажущиеся смешными, когда их сравнивают с чем-нибудь. Например, гитара. Сравните что угодно с гитарой, и эта вещь вам покажется смешной. От него отмахивались, старались отделаться, он настаивал: так это или нет?

Как-то раз он застал в кают-компании спор о том, что такое пессимизм и что такое оптимизм.

Меликидзе утверждал, что все дело в характере: один смотрит на мир с восторгом и ликованием, другой — с печалью и укоризной. Вот вам оптимизм, и вот вам пессимизм. И оба жаждут и верят, что может существовать истинная справедливость, оба надеются, что жизнь на земле может быть прекрасной. И как при этом, враждуя между собой, готовые уничтожить один другого, каждый из них отстаивает свою точку зрения! Дай им волю, они, веря в возможность существования одного и того же прекрасного мира, в ключья разнесли бы его, выясняя, чья точка зрения правильнее.

Сорочкин говорил, что прав всегда пессимист. Он мудрее, прозорливее.

Бетаров слушал, слушал, а потом сказал:

— Оптимизм!.. Пессимизм!.. Мировые проблемы. А разница вся в том: оптимист говорит, что зал был наполовину полон, пессимист утверждает — наполовину пуст.— И он закончил, широко улыбаясь: — Как сказал поэт Расул Гамзатов: «Одной и той же иглой шьют в горах и свадебное платье и саван».

Чаше он приезжал днем и тогда, получив из рук пышущего ненавистью Сорочкина очередной прогноз, долго не уезжал, слонялся по коридору, забредал в кают-компанию, читал приказы Гвоздырькова, впечатанные Валентиной Денисовной на тонкой бумаге, разглядывал непонятные схемы и синоптические карты, вывешиваемые для сведения сотрудников, выходил на крыльцо, возвращался в дом, ждал, не выйдет ли Татьяна Андреевна из своего кабинета.

К ней в комнату он больше не заходил, даже не пытался.

И если ожидание затягивалось, Бетаров спускался с крыльца к мотоциклу и начинал с ним возиться. Он знал, когда Татьяна Андреевна обычно выходит для гидрометрических измерений.

Не спеша к нему подходил дед Токмаков и спрашивал снисходительно:

— Никак спортился мотор?

— Зажигание барахлит,— сдержанно отвечал Нестор.

— Ну как же, как же! Зажигание — дело известное, — с убийственной многозначительностью изрекал Токмаков.

Наконец появлялась Татьяна Андреевна. Бетаров выпрямлялся и, держа на отлете руки, вымазанные в масле, молча кланялся ей. Он весь светился при этом, глаза его сияли. Татьяна Андреевна сухо отвечала на поклон и быстро проходила мимо к тропинке, ведущей на водомерный мостик. Иногда это выглядело так, точно она спасается бегством.

Бетаров не преследовал ее. Оттуда, где он обычно стоял, было видно, как Татьяна Андреевна быстро спускается по крутой тропинке, свободно и ловко пробираясь меж острых камней. И этот молчаливый долгий взгляд мастера канатной дороги, покорное, терпеливое ожидание раздражали, томили, мучили Татьяну Андреевну больше, чем его наглые, назойливые, беспардонные разговоры, с какими он вломился к ней в первый день.

Однажды Бетаров приехал на станцию в холодное, пасмурное утро. В ущелье, где находился дом гидрометеостанции, дул сильный ветер, сметал в реку пыль с дороги, палые листья, сухие ветки с кустов и деревьев. Над рекой поднимался и дышал туман, ветром его все время перемешивало, сносило в сторону, и все вокруг, как обычно, плыло вместе с туманом и рекой — дорога, камни, деревья, кусты; когда в одном месте Бетаров приостановился, у него было ощущение, что земля уходит из-под ног.

Въехав во двор станции, Нестор увидел приоткрытую дверь дровяного сарая, подпертую деревянными вилами, на зубья которых были насажены туры рога, и в ее проеме — деда Токмакова. Старик сидел на низком чурбаке и подшивал валенки.

— Егор Васильевич, привет! Подготовка к зиме? — останавливая мотоцикл, спросил Бетаров.

— Здравствуй, здравствуй, если не шутишь, — ответил дед Токмаков, не отрываясь от дела.

— Ох, и неприветлив ты стал, Егор Васильевич, — сказал Бетаров и слез с мотоцикла.

— А чего тебя привечать? Азиат ты, братец, как есть азиат!.. Наломал дров, чисто медведь какой, и все, это самое, ездит, ездит. Ну, разве так ухаживают за женщиной? Полез на скалы, притащил веник из боярышника. Нужен ей такой букет, как же! А ты бы ей конфет или чего другого и медленно, с подходцем, то да се... А то сапожищами шлеп-шлеп!..

— Ладно! В другой раз приду в лаковых полуботинках, — слушая деда, сказал Бетаров.

— Высоко берешь, Нестор. Не по плечу. Все шуточки, ухмылки. Таким манером не видать тебе нашей Татьяны Андреевны, как своих ушей. К ней подход нужен вдумчивый, специальный.

— Ладно, дед, это мы уже слышали.

— Поимей в виду, братец, чать, неспроста главный инженер сюда следует что ни день-другой. У него, это самое, тоже свой интерес до Татьяны Андреевны. А на чужой каравай пасть не разевай. Так-то, брат.

— Ах, вот какие у тебя соображения! — усмехнулся Бетаров, покачал головой и вышел из сарая.

К реке спускалась Татьяна Андреевна.

— Татьяна Андреевна! — крикнул Бетаров.

Татьяна Андреевна не услышала. Поразмыслив секунду, Бетаров быстро пошел за ней. Она оглянулась и ускорила шаги. Нестор догнал ее в начале тропы и схватил за руку.

— Мне нужно поговорить с вами, — сказал он.

Токмаков забормотал что-то, пошел было за ними, потом остановился, плюнул по-стариковски в кусты и вернулся к сараю.

Но это видел не один Токмаков. То ли Сорочкин постоянно наблюдал из окна, когда приезжал Бетаров, то ли он случайно заметил, что Бетаров преследует Татьяну Андреевну, но только Геннадий Семенович выскочил из дому как был — без шапки и без пальто — и побежал туда, к ним. Он не знал, что будет делать, не думал, что не нужно вмешиваться, не спрашивал себя, как к его вмешательству отнесется Татьяна Андреевна.

— Отпустите руку,— коротко сказала Татьяна Андреевна Бетарову.— Прекратите меня преследовать.

Бетаров отпустил ее руку и медленно пошел за Татьяной Андреевной, начавшей спускаться к водомерному мостику.

— Стойте, вы! — с таким бешенством закричал Сорочкин, что голос его перекрыл шум реки.

Бетаров остановился. Остановилась и Татьяна Андреевна.

Сорочкин подбежал к Бетарову вплотную, схватил его за грудь, затрлс, клокоча от бешенства.

— Послушайте, вы в своем уме? — спросил Нестор спокойно и тяжелым ударом отсек вцепившегося в него Сорочкина.

Не помня себя от ярости, Сорочкин нагнулся за камнем.

Бетаров улыбнулся.

— Смотри, ударишь! — не делая попытки защититься, предостерег он.

— Геннадий Семенович, опомнитесь! — сказала Татьяна Андреевна, с испугом глядя на непрошеного защитника.

Бетаров поклонился Татьяне Андреевне и не спеша направился к мотоциклу.

12

Смушенный, но по-прежнему полный ярости, возвращался Сорочкин к дому.

На крыльце стояла Валентина Денисовна.

— Геннадий Семенович, что там у вас произошло? — спросила она настороженно и подозрительно посмотрела на Бетарова.

Сорочкин ничего не ответил и прошел мимо нее в дом. Валентина Денисовна покосилась в сторону водомерного мостика, на котором теперь в одиночестве стояла Татьяна Андреевна, и сердито пожала плечами.

— Выбегает на улицу раздетый, когда такой ветер и холодина... — пробормотала она, стараясь догадаться, что произошло у Сорочкина с Бетаровым, и думая с беспокойством, нужно ли что-нибудь предпринимать. — Шарик нас ждет, пора пускать! — крикнула она вдогонку Сорочкину.

Бетаров между тем завел мотоцикл и умчался.

Предстоял пуск шара-зонда.

У себя в кабине Сорочкин выпил валерьянки и, немного отдышавшись, оделся и поплелся за Валентиной Денисовной на метеорологическую площадку. Теперь это снова был методичный, пунктуальный человек, знающий, что такое жизнь, и умеющий правильно жить.

Вдвоем они приготовили приборы, наполнили газом оболочку шара. В порывах ветра шар бился в руках Гвоздырьковой, как живой. Она любила ощущать упругость шара, скрытую энергию, его динамизм. Это было самое приятное в ее работе, все остальное — так считала она — канцелярия. Сорочкин работал, как всегда, неторопливо, точно, уверенно.

Он проверил крепление коробки с приборами, установил теодолит и скомандовал:

— Давайте, Валентина Денисовна.

Гвоздырькова отвела от себя шар-зонд на расстояние вытянутой руки

и отпустила его. Шар быстро взмыл вверх, и солнце заиграло на его тусклых резиновых боках.

— Шар в полете! — сообщил Сорочкин дежурящему в аппаратной Авдюхову, а сам припал к теодолиту.

Гвоздырькова приготовилась записывать координаты шара в атмосфере.

Шар уходил в высоту, в бездонное небо без единого облачка. Шар летел сперва плавно, потом его вздернуло воздушное течение, он подскочил и, ускорив движение, быстро стал подниматься вдоль склонов ущелья, склоняясь все больше и больше к гребню хребта. Потом, словно с усилием, он перевалил через какую-то невидимую грань, быстро пошелся вперед и скрылся за горным кряжем.

По движению шара на станции определяли скорость и направление ветра в верхних слоях атмосферы, сигналы с шара, скрывшегося в вышине, принимал в аппаратной Авдюхов, пока шар не лопался; полученные сведения он передавал по телефону в областное бюро, там учитывали данные с других станций, вносили соответствующие поправки, и на свет божий появлялась очередная метеосводка.

Рассказывать Гвоздырьковой о том, зачем мастер канатной дороги повадился ездить на станцию, не было нужды, — она знала это, как знали все сотрудники. Но все время, пока они работали, Сорочкин боролся с желанием рассказать Гвоздырьковой о том, как далеко зашли домогательства Бетарова, о том, как он преследует Татьяну Андреевну.

Когда они закончили операцию, Сорочкин не выдержал. Бледнее и краснее, он сказал Гвоздырьковой:

— Валентина Денисовна, у меня к вам серьезный разговор.

— Так я и думала, — отозвалась Гвоздырькова, догадываясь, о чем будет говорить Сорочкин, и заранее волнуясь.

— Нет, нет, Валентина Денисовна. Это гораздо серьезнее, чем вы могли думать. Я не хотел говорить... Я молчал. Но сейчас, сейчас терпение иссякло.

— Господи, какие слова! — только и сказала Гвоздырькова. — Сколько торжественности, сколько печали!..

Они пошли по тропинке к дому — Гвоздырькова с теодолитом впереди, Сорочкин с треногой за ней, и так как идти приходилось гуськом, а он очень волновался, объясняясь, то в самых патетических местах Геннадий Семенович нагонял ее и с опасностью сбить с ног тяжелым треножником делал попытки заглянуть в ее лицо, чтобы определить, какое впечатление производит его рассказ.

А рассказывал он все — и то, что открылось ему, когда к Татьяне Андреевне приходил дед Токмаков, и то, что слышал, когда вел любовное наступление Нестор Бетаров.

Валентина Денисовна шла по тропинке впереди него, не задавая вопросов, не переспрашивая. Неожиданно она остановилась. Сорочкин чуть не пронзил ее треногой от теодолита.

— Не знала я, что вы такой ревнивый, — сказала Гвоздырькова, оборачиваясь к нему, и в голосе ее Сорочкину послышалось непонятное раздражение.

— Ваши шутки неуместны, — огрызнулся он, стараясь понять, чем вызвано раздражение Гвоздырьковой.

— А вы не принимайте всякую чепуху так близко к сердцу. И не прислушивайтесь к чужим разговорам!

— Что значит «не прислушивайтесь»? Может быть, хотите сказать: не подслушивайте? — взорвался Сорочкин.

— Я ничего не хочу сказать, — резко ответила Валентина Денисовна.

Она и сама не смогла бы сейчас объяснить, почему так раздражает ее история с домогательствами Бетарова.

— Вы не знаете, какие на станции стены? Не хочешь, а все равно услышишь. Я сперва даже уши затыкал, но такое возмущение!.. Я не выдержал. Никогда не сталкивался с таким нахальством! Татьяна Андреевна просит по-человечески: уйдите, оставьте меня в покое, а он продолжает безобразие. Кинуться на помощь, вытолкать взащей? Сконфузишь Татьяну Андреевну. Дурацкое положение. Сегодня я не выдержал, и что получилось? Вы видели — скандал, просто скандал.

— Вы мне вот что объясните, Геннадий Семенович,— сказала Гвоздырькова.— Человек интересуется молодой женщиной, вы ревнуете, что, по-вашему, должна делать я?

— Ревную? При чем тут ревность? Вы что думаете, я влюблен в Татьяну Андреевну? И в мыслях не было. Женщина умная, красивая, но я влюблен в нее не больше, чем ваш Петр Петрович. Любовь!..— с презрением добавил Сорочкин.— Любовь — это биология. Чувства, сердечная истома... Чепуха! Скрытое стремление человека к продолжению рода. Условный рефлекс. А то, что вытворяет этот Бетаров,— хулиганство, вот что это такое. И меня это возмущает до глубины души. Разве можно так преследовать женщину? Безобразие! И вам, как жене начальника, нужно вмешаться...

Вот наконец ответ на вопрос, почему Бетаров и его притязания так бурдожат и тревожат ее. Конечно, как жена начальника, она не может допустить на станции никакой распушенности. Но попробуй вмешаться! А вдруг Татьяна Андреевна обидится? Она ведь тихая, тихая, а не терпит, когда суются в ее дела. И что сейчас ответить Сорочкину? Пожалуй, это правда, ревность тут ни при чем. Геннадий Семенович... и любовь! Смешно. Совершенно ясно, нужно отделяться шутками. И Валентина Денисовна спросила Сорочкина:

— Что же, по-вашему, я должна делать?

— Рассказать все Петру Петровичу. Принять какие-то меры. Нужно оградить Татьяну Андреевну от этого субъекта. Это же черт знает что, какой-то шалопаи, никому не известный тип является чуть ли не каждый день на станцию, отвлекает сотрудников пустыми разговорами, мешает работать. Меня это просто оскорбляет!

Но Валентина Денисовна не столько сознавала, сколько чувствовала, что она не вправе вмешиваться в то, что происходит между Бетаровым и Татьяной Андреевной.

— Послушайте, Геннадий Семенович, наша Татьяна Андреевна в конце концов не девочка. Что она, не может сама постоять за себя?

— Но это хулиганство, Валентина Денисовна! Он просто преследует Татьяну Андреевну, вот ведь в чем дело. Вы совершенно не представляете себе, какова наглость этого прохвоста. Послушать, что он там говорил...

— А вы бы не слушали, я уж вам сказала.

— Да поймите, мы тесный коллектив исследователей. Мы ведем важную научную работу. А тут бог знает какая чепуха!.. Петр Петрович в качестве администратора должен оградить нас от вторжения посторонних.

Да, все правильно. Но почему с таким раздражением выслушивала она сообщения о притязаниях Бетарова? Стараясь превратить все в шутку и разуверить Сорочкина в его подозрениях, Валентина Денисовна сказала:

— Я все отлично понимаю. Визиты канатного мастера производят на вас такое впечатление потому, что вы ревнуете. Это ясно. А ревность ослепляет рассудок.

— Да не ревную я вовсе! Что вы напраслину на меня возводите?

— Неужели, по-вашему, Татьяна Андреевна станет интересоваться каким-то пустым, ничтожным парнем? Хорошего вы мнения о нашей

Татьяне Андреевне, нечего сказать! Послушайте, Геннадий Семенович, право, вы поднимаете кутерьму на пустом месте.

На минуту доводы Валентины Денисовны показали Сорочкину убедительными. Но сразу же его возмущение вспыхнуло с новой силой.

— Валентина Денисовна, вы хоть поговорите с Токмаковым,— попросил он.— Тогда вы поверите. Это же неприличие сплошное — ночью подкрадываться к окну, бросать в комнату какие-то дурацкие ветки. У нас гидрометеостанция, а не дом отдыха! Завтра он романсы начнет петь под окном.— В это время Сорочкин увидел Токмакова; с топором в руке тот вышел колоть дрова.— Вон дед Токмаков, позовите его.

Чтобы успокоить Сорочкина, Валентина Денисовна крикнула:

— Егор Васильевич, на минутку!

Дед Токмаков воткнул топор в колоду и подошел.

— Честь имею явиться! — отрапортовал он с готовностью.

— Что это у нас происходит, Егор Васильевич? Этот парень с канатной дороги, он себе что позволяет?

— О чем изволите говорить, Валентина Денисовна?

— Вот, говорят, подбирается ночью к дому, ветки какие-то бросает в окно. Что это значит, хотела бы я знать?

— Ничего такого не ведаю,— сказал дед Токмаков.

— Как «не ведаю»? Давеча Татьяне Андреевне вы говорили,— вмешался Сорочкин.

— Юрунда какая! Ничего такого я не говорил. Это которые ветки боярышника? Да, может, сам ты их и бросил,— сердито сказал Токмаков.

— Да вы что, с ума сошли? Да туда, на скалу, я и не залезу!

— Вот разве что не залезешь.

И Токмаков отошел к своей колоде.

— Эх вы, ревнивец,— с осуждением сказала Гвоздырькова.

Раздражение ее не проходило. Осталось недовольство историей с Бетаровым, собой. В голову лезли мысли о сыне. Может быть, они-то и не давали ей успокоиться. Что у него слышно? Почему он не пишет? Неужели решил действовать по-своему: держать в театральный институт?

И Валентина Денисовна снова с насмешкой накинулась на Сорочкина.

— Чего только слепая страсть не сделает с человеком!

В те короткие часы, когда солнце освещало дом гидрометеостанции, на крыльце и в саду становилось тепло, можно было ходить без пальто, быстро таял, даже, пожалуй, не таял, а испарялся, снег, подсыхали дорожки. Но едва солнце переваливало через хребет, как возвращался холод, на земле и на деревьях, еще не сбросивших листьев, проступал иней, снова ущелье насквозь прохватывал колючий ветер. Ночью на землю ложился снег.

Татьяна Андреевна давно не выбиралась со станции, и однажды, когда выдался хороший ясный день, она решила после обеда пройтись пешком в рудничный поселок, побывать в геологическом бюро, взять материалы, необходимые для работы над диссертацией. В этой работе Татьяну Андреевну интересовала динамика руслового потока и, в частности, вопрос о том, какова причина горного обвала и в какой степени он повлиял на направление главного стока реки. Вечерние измерения и всю гидрологическую канцелярию она поручила дежурившему в этот день Меликидзе.

Меликидзе работал на станции преданно и самозабвенно и, когда говорил о гидрологии, всегда делал большие глаза в бессознательном

стремлении внушить собеседнику почтение к тайнствам науки. Ему можно было доверить любое исследование.

Чтобы удобнее было карабкаться по горам, Татьяна Андреевна наде- ла широкую шерстяную юбку, тяжелые горные башмаки, уцелевшие со студенческих туристских походов, заслуженные башмаки, потертые и стоп- танные; на плечи поверх оранжевой вязаной кофты она накинула не- изменную куртку с меховым воротником.

Час был ранний. Солнце еще не поднялось над хребтом, глубокие тени лежали в ущелье, было очень холодно. Она быстро прошла к тому месту, откуда на широком повороте дороги начиналась тропа, ведущая к перева- лу. Тропа скрывалась за густым кустарником, и нужно было нырнуть в кусты, точно в морской прибой, чтобы выбраться на тропу, круто, почти отвесно вздымающуюся вверх под сплошным шатром переплетаю- щихся над головой осенних ветвей. Хватаясь за ветки кустарника, рас- четливо ставя ноги в выбоины и на камни, чтобы не поскользнуться, Татьяна Андреевна полезла вверх. Здесь, на тропе, скрытой от внешнего мира, шума реки почти не было слышно, и, так как певчие птицы улетели в теплые края, стояла удивительная, неожиданная тишина, такая тишина, когда кажется, что ты внезапно оглох.

Татьяна Андреевна быстро поднималась по тропе, и ни один камень не срывался из-под ее ног, точно она родилась в горах.

Всего какой-нибудь месяц она не была здесь, но за это ничтожное время что-то неуловимо изменилось вокруг: то ли с кустарника начала облетать листва и он поредел, то ли другим стал цвет кустов, то ли под- сохли, помертвели лишайники, густо облепившие ветви деревьев и све- шивающиеся с них бурыми, неопрятными космами,— тропа стала как бы шире и неприятнее. И, как всегда, пока Татьяна Андреевна карабкалась по тропе среди кустарника и мелкоколосья, ее не покидало ощущение, что стоит подняться на седловину — и перед тобой откроется широкая pano- рама, обширные дали, горизонт.

Вскоре на тропе стало светлее, над головой сквозь пожелтевшие вет- ви замелькало солнце, впереди блеснул и скрылся кусок чистого неба. Последнее усилие — она почти взбежала наверх, — и перед ней распростерлась седловина, нагретая солнцем, неправдоподобно яркая, точно из другого мира. А дальше оказался не великий простор, как дума- лось каждый раз Татьяне Андреевне; там высились новые черные хребты, новые угрюмые, синеватые в тумане незнакомые кряжи.

С двух сторон над седловиной, точно устои исполинских ворот, подни- мались могучие вершины, покрытые хвойным лесом и утыканые дикими каменными мордами, выглядывающими среди деревьев.

В ясные дни плоскую седловину, местами поросшую низким кустар- ником, нагревало солнце, как сковородку, а в пасмурные дни здесь все- гда ревел и метался ветер.

Весной тут цвели необычайно крупные и яркие примулы, генцианы, а кусты рододендрона были усыпаны красивыми белыми цветами. Летом на седловине буйно росли луговые травы, цвели желтые мальвы, тянуло душистым запахом шалфея; камнеломки гирляндами расплзались по отвесным скалам. В конце лета расцвели высокие лилии с лимонно- желтыми пахучими цветами. Осенью все пламенело, полыхало вокруг красновато-оранжевыми тонами. Сейчас все пожухло, поблекло, посерело. Зима у порога — цветов на седловине не осталось, трава выгорела. Только на вечнозеленых кустах остролиста еще горели пунцовые ягоды. Над су- хой нагретой землей плыли разнообразные и сильные запахи. На солнеч- ных каменистых местах одуряюще несло запахом сена, но стояло тропин- ке свернуть вбок, как из-под камней из укромных уголков ударял в нос сладковатый аромат сырости и гнили. А подует ветерок, и в его прохладе

чудится запах вечных снегов, фирновых полей. Впрочем, имеют ли они запах?

Татьяна Андреевна остановилась и поглядела назад поверх сплошного ковра кустарника, в ту сторону, где виднелись дорога и прилепившийся к склону горы дом гидрометеостанции. Отсюда, с высоты, он казался плоским, как кизяковая лепешка, двор — как бы вывернутым наизнанку. Отсюда было видно, как там, далеко-далеко внизу, бродит по двору дед Токмаков, а за ним неотступно — овчарка Гвоздырькова, Альма.

Седловина кончалась скалистыми выступами, нависающими над главным ущельем. Оно также было отлично видно отсюда, с высоты, — узкое, глубокое, извилистое, с дорогой, вьющейся над самой рекой. Перегороженное каким-то древним обвалом, оно казалось обрубленным как раз под тем местом, над которым сейчас стояла Татьяна Андреевна. Река в большом ущелье была теперь маленькая, слабая, она не представляла гидрологического интереса; в сущности, не река, а ручей.

Но обвал обвалом, а режим реки изменился недавно. Почему на памяти одного поколения случились такие перемены? И может ли это произойти еще раз? Есть ли в этом явлении закономерность? Проблема относилась скорее к геологии, во всяком случае к гидрогеологии, и непосредственного практического значения не имела, так как оба потока сливались на развилке ущелья и водный баланс реки при выходе «на плоскость» не менялся. Но теоретические выводы, касающиеся физики речного стока, могли представлять большой интерес.

Гидрология и метеорология — какие вездесущие науки! Печь дымит в вашей комнате — это метеорология: над крышей дома стелются воздушные массы и в печке плохая тяга. Вода пожелтела в вашем водопроводе — это гидрология: где-то высокого уровня достигли ливневые воды. Гидрология и метеорология — это и авиация, и водный транспорт, и строительство электростанций и городов, это сельское хозяйство и возможность объявить в назначенный день карнавал в парке культуры и отдыха, это меры против паводка и способы проходки туннелей для метро. Это лыжные состязания и решение вопроса, надевать дочке калоши в школу или нет. Гидрология и метеорология — это и народное хозяйство и быт частных людей, это вопросы обороноспособности государства и условия для встречи с возлюбленным. Это тысячи научных станций, измерительных постов, это специальные самолеты, пароходы, радиостанции, книгоиздательства, периодическая печать. Наконец, это запуск искусственных спутников Земли и проблемы межпланетных путешествий.

Противоположный склон ущелья поднимался к небу ровной и пологой плоскостью, образуя широкую гигантскую чашу. Огромная стена из розового туфа венчала ее в поднебесье массивным гребнем. Обращенные к югу зубья гребня все светлое время дня ярко горели на солнце. По ним, сверкая тысячами струй, скатывались талые ледниковые ручьи.

Все вокруг было просторно, воздушно, масштабно, и, стоя сейчас перед этой обширной красочной панорамой, потрясающе могучей, почти планетарной красотой, Татьяна Андреевна подумала о том, что, должно быть, здесь самый надутый, самодовольный, тщеславный человек перестанет пыжиться, осознает свое ничтожество.

Рудничный поселок лежал на покато́й площадке у подножия розовых скал. Игрушечные крыши каменных домов, прижавшихся к горному склону, ступенями громоздились одна над другой. Посреди поселка поднялся шахтный копер, словно сложенный из спичек, два других прятались в стороне, в расселинах розовой стены. Отсюда, где стояла Татьяна Андреевна, можно было разглядеть и футбольное поле на краю поселка. На глаз был заметен уклон в сторону реки. А вон, чуть выше Дворца культуры, — серое от рудничной пыли здание дробилки и погрузочная станция подвесной дороги. Плыли по канату вагонетки, напол-

ненные рудой, чтобы через горы и ущелья пройти свой путь к обогачительной фабрике.

Татьяна Андреевна начала спускаться, съезжая подчас на ногах по каменной осыпи. Но вот и верхний предел леса. Опять пошли заросли дубняка, папоротники, стелющийся вдоль тропы можжевельник. Вот рощица березового криволеся, причудливые деревца, карлики и уроды лесного царства. Чуть ниже стояли лесные великаны — дубы и грабы, оплетенные лианами. И вдруг где-то над самой рекой, точно в пору весеннего цветения, ударил пряный, раздражающий, назойливый аромат лавровишни.

По бревну, переброшенному через речку, Татьяна Андреевна перешла на ту сторону и не торопясь стала подниматься к рудничному поселку. Шоссейная дорога пологими и аккуратными петлями крутила по вздыбленной плоскости и постепенно поднималась к поселку. Между петлями вилась пешеходная тропа, и Татьяна Андреевна с завидной легкостью пошла напрямик, срезая петли шоссе, лишь изредка приостанавливаясь, чтобы отдышаться.

Она побывала в парикмахерской, уложила волосы, сделала маникюр и пошла в геологическое бюро по смешной улице поселка, где тротуар на одной стороне был выше, чем на другой, и проходил чуть ли не на уровне крыш противоположной стороны улицы.

Татьяна Андреевна могла не объяснять, кто она такая, — инженерно-технические работники далекого горного района знали друг друга в лицо, даже если и не были знакомы.

— Так, так, так, — твердил заведующий геологическим бюро, когда она сказала, какие материалы ей нужны. — Слышал я о ваших запросах, да дело в том, у нас имеется строгий приказ: никаких материалов посторонним лицам.

Разговор принимал неожиданный оборот. Может быть, Вараксин не успел распорядиться?

— Чей приказ? — спросила Татьяна Андреевна.

— Общее положение.

— Но я не посторонний человек, вы меня знаете. Кроме того, товарищ Вараксин обещал...

— Вот именно, товарищ Вараксин как раз на днях дал строгое указание: никаких сведений из геологического бюро.

— Странно. Неделю назад он обещал... Можно ему позвонить?

— Пожалуйста.

Она сняла трубку, секретарша ответила, что Вараксин на совещании.

Обескураженная Татьяна Андреевна вышла из рудоуправления и вспомнила, что хотела раздобыть последний номер «Роман-газеты», который все время был на руках. Она решила зайти в библиотеку.

Топить во Дворце культуры еще не начали, в помещении было холодно и сыро. Работники библиотеки и посетители читального зала не снимали пальто, кепок, платков. И, вероятно, от этого у библиотеки был тревожно-деловой, вокзальный вид.

Татьяна Андреевна любила свое дело, была всегда очень занята и никогда не унывала, думая о том, что живет и работает в горах, в холодном, неуютном доме из дикого камня, вдали от людей, больших городов, ярко освещенных улиц с хорошими тротуарами, магазинов, театров, кино.

Но всякий раз, когда она попадала в рудничный поселок, во Дворец культуры, в его просторные комнаты, видела сразу много людей, в большинстве незнакомых, что было непривычно, проходила по улицам хотя и горбатым, но с тротуарами, — от одного этого она испытывала удовольствие, становилась оживленнее, чувствовала потребность с кем-нибудь поговорить, даже посудачить.

Отказ дать ей геологические материалы удивил и озадачил Татьяну Андреевну, но настроение досадный случай не смог испортить.

Когда Татьяна Андреевна выбирала книги, ее увидел из коридора Вараксин. Он проводил во Дворце культуры совещание по жилищно-бытовым вопросам, и оно только что закончилось. Он подошел сейчас же к Татьяне Андреевне и сказал трагическим тоном:

— Книги, книги! Они много говорят, но, увы, ничего не выслушивают!

В ответ на эту сентенцию Татьяна Андреевна поздоровалась с Вараксиным и спросила:

— Из Анатоля Франса?

— Нет, собственного сочинения, — не желая замечать иронию, горделиво сообщил Вараксин. — Как живете-можете, Татьяна Андреевна? Век не виделись. Как ваша многоуважаемая река? Не потекла вспять? — сострил он. — Ну, слава богу, слава богу.

— Сергей Порфирьевич, а кто обещал забетонировать опору у водомерного мостика? — спросила Татьяна Андреевна.

Вараксина не смутило напоминание.

— Разве я обещал? Вы подумайте! Совершенно упустил из виду. Черт возьми, это от старости. Совершенно никакой памяти, наверно, склероз. — Он явно напрашивался на комплимент, но Татьяна Андреевна не поддалась на эту удочку. — Ладно, завтра будет сделано.

— Ну, хорошо. А как насчет геологических материалов?

— То есть?

— Была сейчас в геологическом бюро. Распоряжение — ничего не давать.

— Зачем ходить в геологическое бюро! Там у меня сидят зубры, бюрократы, зря беспокоились. Раз обещал, достану сам все, что требуется.

— Обещали дать команду, а вместо этого приказ: ничего не выдавайте.

Вараксин возмутился.

— Я приказал не выдавать? Да они что, слурели? Сейчас пойдем, я им покажу! Они не так меня поняли. Сейчас пойдем и все сделаем.

— Нет, Сергей Порфирьевич, спасибо. Не буду вас затруднять. Достану, что нужно, в промышленном отделе обкома партии. Мне не к спеху. Благодарю.

— Ну, вот уже обиделись, уже и рассердились.

— Я не обиделась и не рассердилась, но мне показалось странным такое отношение.

Вараксин засмеялся.

— Неужели, Татьяна Андреевна, вы не понимаете? Это сделано нарочно, чтобы лишний раз повидаться с вами.

— Знаете, мне что-то не нравится такой предлог для лишней встречи.

— Вот нынешняя молодежь! Чуть что, сразу в амбицию. Ей-богу, зря сердитесь. Давайте сядем где-нибудь, я все объясню. Вы взяли книги?

— Не нужно никаких объяснений.

Но Вараксин не отступал.

— Перестаньте, Татьяна Андреевна! — сказал он. — Это шутка, может быть, не очень ловкая. Ну, улыбнитесь мне. Хорошо? Давайте по рукам! — Он широко размахнулся, и Татьяна Андреевне ничего не оставалось, как подать ему руку. — Книги взяли?

— Библиотекарша пошла искать.

— А что берете?

— Хочу взять последний номер «Роман-газеты». Если дадут. На него очередь.

Вараксин пожал плечами.

— По глубочайшему моему убеждению, не каждое явление действительности может служить сюжетом для литературного произведения. А на-

ши нынешние писатели с этим совершенно не считаются. Дуют и в хвост и в гриву, лишь бы что-нибудь актуальное.

Желая избежать спора с Варакиным, Татьяна Андреевна сказала:

— Признаться, я на эту тему не думала.

— А вы подумайте! Нет интересных книг, уверяю вас. А почему? Потому что пишут о таких, как мы. А о нас с вами писать ни к чему, в нашей жизни нет ничего достопримечательного — живем, хлеб жуем.

— Очень вы все упрощаете.

— Нет, почему же, конечно, и у нас с вами встречаются кое-какие сложности в работе, служебные затруднения. У меня, например, с планом запарка, как говаривал Хенкин. Но от этого ни в чьей судьбе не произойдет никаких потрясений. А те, кто утверждает, что произойдет, малость привирают. У меня всегда с планом запарка. Если говорить о вас, то тут какие-то тайны в режиме паршивой речки. С точки зрения чисто технической, для нас, участников, в этих сложностях и передрыгах имеется драматизм, но это драматизм только для нас, это драматизм, если так можно выразиться, чисто ведомственный. Для широкой публики — чепуха на постном масле. Ни жизнь, ни смерть наша не зависят от того, дадим мы программу или закончим год в прорыве.

— По-моему, все зависит от того, как об этом написать.

— До чего вы безумно правильный человек, Татьяна Андреевна! Вы всегда такая? — с вызовом и открытым чувством собственного превосходства сказал Варакин.

— Всегда, — с усмешкой ответила Татьяна Андреевна.

— Ну, мы тоже не лыком шиты. Думаем, читаем, отплевываемся... Она засмеялась.

— Уж будто бы!.. Сергей Порфирьевич, по глазам видно, ни одной-то книги вы не читали. А беретесь судить. Не солидно.

— Как это я не читал? Массу книг читал.

Но не назвал ни одной.

Татьяна Андреевна с осуждением качнула головой.

Варакин почувствовал, что настало время отступить.

— А чего мы стоим здесь? — спохватился он. — Пойдемте, посидим где-нибудь.

— Неудобно, Сергей Порфирьевич, и так, видите, все на нас смотрят.

— Смотрят, потому что народ невоспитанный, бестактный. Уж раз я вырвался из кабинета, могу я немного поговорить с человеком?

— Наверно, можете, но я очень тороплюсь.

Они вышли из библиотеки, и Татьяне Андреевне показалось неудобным сразу уйти. Она села с Варакиным на диване в фойе перед зрительным залом. Едва они укрылись от посторонних глаз, как словно регистр какой-то переключили в Варакине — он стал проще, натуральнее, даже голос его перестал раскатываться бархатными руладами. Татьяна Андреевна с удивлением обнаружила, что чувствует себя с Варакиным гораздо проще и непринужденнее, чем ожидала. Он смешил ее. В конце концов он совсем не такой надменный и в нем совсем не так сильно развито чувство собственного превосходства, как думалось ей раньше. И даже проделка Варакина в отношении материалов геологического бюро — всего лишь маленькая мужская хитрость.

Варакин осторожно взял ее за руку и сказал:

— Нет, знаете, вы просто замечательная женщина. И когда вы говорите, у вас вздрагивает кончик носа. Это так волнует!..

Татьяна Андреевна убрала руку.

— Между прочим, мне нельзя засиживаться. Хочу вернуться домой до темноты.

— Все равно уже не успеете, — сказал Варакин, посмотрев на часы. — Не торопитесь, посидим немного. — Он опять тронул ее за руку, и

голос его был непривычно мягок и ласков. — Вы молодая женщина, жизни не знаете... — Голос его зазвучал проникновенно, от привычного шутовства не осталось и следа. — Не водило вас на крутых поворотах, не кидало из огня да в полымя. А у меня, знаете ли, часто бывает такое ощущение, что я живу как бы начерно. — Он вздохнул. — Что у меня еще будет время все передумать, перебелить и выбрать самое правильное, самое хорошее.

— Сегодня у вас элегическое настроение, — заметила Татьяна Андреевна.

В раздумье он погладил себя по колену.

— Может быть, — согласился он затем бесстрастно. — Знаете ли, едешь на новое место, думаешь по-другому начать жизнь. С первого шага думаешь взяться по-настоящему за дела, проникать во все сложности, переиначивать все негодное... Ведь я хороший инженер. И такая вдруг лень тебя охватывает. Наверно, это не характерно с точки зрения общественной, но меня вдруг охватывает непроходимая маниловщина. С чего бы это? Не знаю... И один интерес — газета, музыка по радио, преферанс. Может быть, старость подошла? Или просто усталость? До того вдруг, кажется, все обрыдло. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. — Он усмехнулся. — Застрелиться, что ли? Из охотничьего ружья!.. А вот есть у меня на руднике тип один. И птичка с ноготок, старший мастер, экая величина, а смотришь на него и диву даешься: какая энергия, подвижность, инициатива! И хоть его энергия и инициатива вот где у меня сидят, — Вараксин неторопливо похлопал себя по шее, — потому что покоя от него нет, вечные выдумки, рацпредложения, всяческая кутерьма, а смотришь на него и, знаете ли, завидуешь. Да он и не один такой. — Вараксин помолчал и закончил, продолжая запавшую в голову мысль: — А дай действительно возможность еще срок прожить набело — и, наверно, заново повторишь прежние свои «черновые» ошибки.

— Этот человек, от которого кутерьма, это вы Бетарова имели в виду? — спросила Татьяна Андреевна.

— Знаете его?

— Немного.

— Раньше, в молодости, я постоянно ощущал свой рост, может быть, правильное сказать, преуспевание. Из года в год. Уж так было заведено. Выражаясь многозначительно, я могу сказать, что время для меня было упругим и стремительным. И как приятно было ощущать непрерывное движение. Как я любил это чувство успеха! Не какого-нибудь феерического, нервирующего, а спокойного, постепенного, неизменного. А потом — теперь и не вспомню когда — стало казаться, что где-то поуменился, утратился, порастерялся твой общественный вес, твое значение. И теперь чувство, что я деградирую, меня не покидает. Вот ведь ужасно, не правда ли? И еще как будто не стар. Даже странно.

— Послушайте, Сергей Порфирьевич, почему вы так меланхолично настроены? — прервала поток его излияний Татьяна Андреевна.

Вараксин сокрушенно развел руками и снова задумчиво погладил себя по колену.

— Когда-то, много лет назад, я придумал формулу о том, что у каждого человека есть свой потолок. Так же, как у самолета. Когда человек его достигает, некоторое время он старается преодолеть преграду. Он бьется о потолок, но усилия его ни к чему не приводят. Он только сбивает крылья. И после этого уже и потолка не может достать...

Голос Вараксина задрожал.

Это было так неожиданно и так не шло к Вараксину, что Татьяна Андреевна чуть не рассмеялась.

— Да что с вами, Сергей Порфирьевич? Может быть, вы больны? — спросила она, с трудом сдерживая смех.

— Знаете, почему я так часто ездил к вам?

— Играть в преферанс.

— А почему перестал ездить?

— Ну, повздрыли с Валентиной Денисовной и Авдюховым. Или дел много.

Вараксин вздохнул.

— Так, так. Значит, ничего-то вы не знаете.

И опять вздохнул. И посмотрел на Татьяну Андреевну грустными-прегрустными глазами.

А ей вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль: «А такой, как Вараксин, за ветками боярышника в гору не полезет...» Она даже покраснела. С каких это пор она оценивает человека с точки зрения способности ухаживать за женщинами? Как девчонка какая-нибудь.

Между тем в облике Вараксина продолжали происходить странные перемены. Дородное, надменное лицо его побледнело, осунулось у Татьяны Андреевны на глазах, что-то жалкое и беспомощное проступило во всем его облике. Повернувшись всем телом к Татьяне Андреевне и хватая ее руку своей мясистой, мягкой, как у женщины, огромной лапищей, он заговорил отрывисто и сбиваясь от волнения:

— Вы нужны мне, ваша любовь... Чувствовать, что вы рядом... С вашей помощью я бы изменил все, все. Мне на руднике душно!.. Идти вперед, ломиться, сокрушать все преграды!.. Как много вы значили бы для меня. Дайте мне счастье, помогите, милая, милая, помогите мне, помогите!..

Он был жалок, неприятен, смешон. И как все это неожиданно! И этот его глупый мужской эгоизм! «Как много бы вы значили для меня... Помогите мне!..» Нашел буксир! Только о себе. Хорошенькое объяснение в любви! Душно ему, видите ли, на руднике. Но она сказала только:

— Сергей Порфирьевич, перестаньте! У вас жена, дети...

Он сразу обмяк, постарел, точно она выпустила из него воздух. Он отпустил руку Татьяны Андреевны, выпрямился, и краска медленно стала возвращаться к его лицу. Слова «у вас жена, дети...» подействовали на Вараксина так, точно ему поднесли к носу пузырек с нашатырным спиртом. Он сразу отрезвел.

И в эту минуту в фойе появился Нестор Бетаров.

15

— Сергей Порфирьевич, а я вас ищу,— сказал Бетаров и сдержанно поклонился Татьяне Андреевне. Он и вида не показал, что удивлен или заинтересован тем, что застал ее наедине с главным инженером.— Я опять насчет пульпопровода. Давайте решать, ребята торопят.

Вараксин качнул в его сторону головой.

— Вот этот самый Бетаров, легок на помине,— не глядя на Бетарова, недружелюбно сказал он.— Не здесь же, голубчик, решать, не в фойе.

— У себя в кабинете не решаете, может, здесь скорее?

— Видали? — произнес Вараксин.— Ничего не скажешь, бойкий молодой человек, а?

У него был такой вид, точно он обрадовался, что грубоватостью своей и непочтительностью мастер канатной дороги дает возможность избежать серьезного разговора.

Бетаров посмотрел на Татьяну Андреевну с вызовом.

— Татьяну Андреевну мной не удивишь. Был как-то на станции по поводу прогноза погоды, и товарищ гидролог очень интересовалась канатной дорогой, пришлось давать пояснения,— сказал он, ни на секунду не задумываясь.

— Вы, оказывается, творческая личность — басни сочиняете на ходу, — отплатила Татьяна Андреевна.

— Если бы только басни, — с готовностью подхватил Вараксин. — Наш Эдисон уездного масштаба. Сперва предложил переиначить ролики, на которых движутся вагонетки канатной дороги, это хоть по специальности. Потом — коронки для бурильных станков. А теперь не знаем покоя с этим пульпопроводом... А пробивная сила!.. — Вараксин зажмурился и покрутил головой. — Подвесную дорогу строили инженеры. Сложная механика, расчеты, чертежи. А ему втемяшилось: опустим ролики ниже, повысим скорость движения. И хоть ты что! Через трест, через главк добился своего. Сколько мы воевали из-за этих роликов? — спросил он Бетарова.

Не глядя на главного инженера, Нестор уклончиво ответил:

— Было дело.

— До министра дошли.

Бетаров коротко взглянул на Вараксина, и Татьяна Андреевна поняла: особенного удовольствия Вараксин не получил от того, что пришлось доходить до министра.

— Значит, не даете ответа?

— Слушайте, Бетаров, сколько можно толковать? Нереален ваш проект. Самый трудоемкий процесс у нас — дробление. А для транспортировки руды в виде пульпы ее нужно дробить в порошок. Таким образом, проект несостоятелен — дробилки на шахтах ставить негде, — на этот раз с раздражением сказал Вараксин.

Но Бетаров и не подумал уступить.

— Я почему вас искал? Было обещание разобраться. А вы разобрались? Ничего подобного! — сказал он с досадой.

— Ты, братец, полегче на поворотах. Не забывайся! Тем более, мы здесь не одни.

С внутренней усмешкой Татьяна Андреевна следила за их спором. Она подумала о Несторе с иронией: экий выискался положительный герой!

В эту минуту Бетаров посмотрел на Татьяну Андреевну, а посмотрев, добродушно и привычно улыбнулся.

— Производственное совещание, так сказать, а-ля фуршетт. — Но тут же он снова стал серьезен. — Транспортировка от шахт обычная, вагонетками. Дробилка одна, общая, место для нее найти — суший пустяк. И все ваши возражения биты. — Он повернул к Татьяне Андреевне веселое лицо. — Можно сказать, я под собой сук пилю. Будет пульпопровод — отставка канатной дороге на всем пути. Изменения в пейзаже и в моей биографии. Первый раз в жизни стану безработным.

Вараксин похлопал ладонью по колену, как бы укрепляясь в каком-то невысказанном мнении, и произнес со злостью и презрением:

— Ты бы заботился лучше о собственных делах, братец, а не совал нос, куда не надо. — Он взглянул на Татьяну Андреевну и сказал: — Он, когда придумал новый метод бурения с помощью чугунной дробы, очень эффективный и выгодный, послал проект на утверждение, а там, в тресте, один деятель науки и техники — цоп его идею и заявляет: сие нуждается в основательной доработке! И присвоил. Что же, вы думаете, наш Эдисон? Бороться надо, скандалить, наконец судиться, права и честь отстаивать, а он, представьте себе: «Судиться? Целая волянка. Черт с ним, я молодой, здоровый, еще что-нибудь изобрету!»

— Ну, и что с того? Тому, видать, надо было позарез. Сам небось не способен. Он же мой метод не замариновал, пустил в ход. А личной славы мне хватает.

— Видали рыцаря? — с неприязненной интонацией произнес Вараксин. — Покоя от него не знаем.

— Подождите, товарищ Вараксин, но движение вагонеток удалось ускорить?

Вараксин помолчал.

— Прожектер ты, братец, прожектер. Подвесная дорога — это хоть по специальности. А пульпопровод, что ты в нем понимаешь? Славы тебе не надо, а пошуметь о гениальных открытиях любишь.

Нестор ухмыльнулся.

— Зубы заговариваете, Сергей Порфирьевич. Однако плохо меня знаете,— добавил он многозначительно.— Очень плохо. Теперь до министра доходить не понадобится. Свой совнархоз под боком...

— Ничего, дам задание главному механику, он сделает расчеты, увидишь, что это за штука, твой пульпопровод.

Бетаров повернулся и ушел, не прощаясь.

Помолчали, и Татьяна Андреевна заговорила первая.

— Ну, а теперь и я пойду,— сказала она.

Вараксин встрепенулся.

— Опять пешком через перевал? Это немыслимо, Татьяна Андреевна, скоро совсем стемнеет!

— Найду попутную машину до развилки, а там дойти пешком два часа.

— В ущелье будет совсем темно.

— Ничего, доберусь.

— Но подождите, я помогу вам с машиной...

Она уже шла к выходу.

— Пустяки, сама найду, не беспокойтесь.

Вараксин встал, поклонился и развел руками.

16

У поворота в боковое ущелье Татьяна Андреевна слезла с попутного грузовика и пошла к метеостанции. Здесь, на развилке, где горы широко раздавались в стороны, было совсем светло — восточные склоны горели в заходившем солнце. А в боковом ущелье, тянувшемся с севера на юг, сгущались сумерки, и из него несло могильным холодом — камни и скалы, нагретые недолгим солнцем, успели остыть, и климатом здесь снова правила река с ее буйной ледяной яростью.

Не прошла Татьяна Андреевна и ста метров, как впереди увидела Авдюхова. С ружьем и, как обычно, пустым ягдташем Николай Степанович сидел на камне и курил короткими затяжками, то и дело вынимая изо рта сигарету и разглядывая пепел. Значит, думал. Он курил сигареты без мундштука и, когда над чем-нибудь задумывался, всегда разглядывал пепел.

Объяснений не требовалось — конечно, Авдюхов проведаль о ее экскурсии в рудничный поселок и знал, что, если она будет возвращаться пешком, это единственный путь, которым она пойдет; никто в темноте не полезет через седловину. И Авдюхов встречал ее, беспокоясь, что она будет поздно возвращаться одна.

Он встал, не дожидаясь приближения Татьяны Андреевны.

— Поздно вато прогуливаетесь,— сказал он, видимо, заранее приготовленную общую фразу.

— Нагуливаю аппетит.

— А я тоже, знаете, вышел пройтись,— дополнил Авдюхов голосом не очень уверенным.

— Николай Степанович, не хитрите. Я тронута вашим вниманием, но, ей-богу, зря беспокоились, с успехом добралась бы одна. Не первый раз.

Она положила руку на плечо Авдюхова.

— Знаете ли, поздняя осень, в сущности, зима. Появились волки, видел следы.

— Да ну, пустяки, какие сейчас волки! Была на руднике, совершила массу полезных вещей: уложила волосы, сделала маникюр, достала «Роман-газету». Здорово? Будем теперь читать.

— Вот вы говорите: будем читать. И это так просто,— заметил Авдюхов.— А помните у Горького страшный рассказ о том, как он жил на крошечной железнодорожной станции где-то на Дону и какие муки книжного голода испытывали там молодые люди. А мы живем в горах, в забытом богом ущелье, и чем-чем, а книжным голодом не страдаем.

— Советской власти, слава богу, не первый десяток лет, другие времена, другие нравы. Чему тут удивляться? — сказала Татьяна Андреевна.

— Да, это верно. Там у Горького был горбун телеграфист. Он все спрашивал: «что можно делать в этой рыбьей жизни?!» В рыбьей, слышите?

Они шли не торопясь под равномерный, неотступный шум реки и говорили о всякой всячине, как люди, которым нечего делить между собой и которым ни в чем не надо друг друга ни убеждать, ни уговаривать.

— Сегодня, смешно сказать, поймал себя на том, что я никогда не пою,— сказал Авдюхов.— Знаете, как многие, если не большинство, не мурлычу что-нибудь себе под нос. Что я, в самом деле такой уж угрюмый тип? Как вы считаете?

— А вы как считаете?

— Ну, в уме-то я напеваю иногда что-нибудь. Иногда какой-нибудь мотив даже так привяжется — сил нет. Но вслух, кажется, никогда. Может, не из-за мрачности, а потому, что полное отсутствие вокальных способностей, а?

— Собственно говоря, причин для мрачности у вас достаточно.

— Да, хватает, но вы не все знаете.— Авдюхов приостановился и, пряча спичку в ладонях, закурил.— В наших судьбах есть кое-что общее. С той лишь разницей, что вы разошлись с мужем — и вам хорошо. А меня выпустили на волю — жена замужем за другим, а сын погиб в сорок третьем году под Старой Руссой...

— Господи, Николай Степанович, я ничего не знала!

— Не очень привык об этом говорить.

— Представить невозможно, господи!

— Почему? Представить можно. Самое смешное, знаете ли: жизнь берет свое. Думал, никогда не забыть того, что случилось, но прошло время, и я свякся со всем, как свыкаются с ампутированной рукой. Время идет, дела свержаются, и прошлое осело, слежалось, потеряло остроту и боль. Хотел я того или нет, я почти забыл обо всем.— Но тут Авдюхов словно очнулся.— Забыл?.. Ох, нет!..

Татьяна Андреевна взяла его под руку.

— Не надо, не думайте, не вспоминайте!

Шумела река, с утомительным буйством кидала на камни белые буруны. Вершина хребта на той стороне ущелья догорала в закатном солнце. Сильно пахло хвоей и прелым листом.

— Да, конечно, что было, то прошло. Но со стороны действительно можно подумать: забился сюда человек, как в щель, чтобы подальше от людей, от шума городского... Нет, человек так не может. Видите, не сумел отсидеться в покое. То схлестываешься с Вараксиным, то вообще... Ладно, поговорим о чем-нибудь веселом,— сказал Авдюхов, подозрительно быстро успокаиваясь.

Татьяна Андреевна поежилась, словно от холода.

— С удовольствием, если удастся,— без особого энтузиазма сказала она.

— На свете, в общем, много смешного. Например, вопрос с открытием Америки. Открыл Христофор Колумб, а запатентовал, так сказать, Америго Веспуччи. В садах растет крупноплодная земляника, а мы называем ее клубникой. У клубники цветы однополые, а у земляники — обоеполые. Вот какая штука. Или китовый ус. В прежние времена китобой шли на промысел главным образом из-за китового уса. Что такое китовый ус? Роговые пластины, через которые кит нацеживает пищу. Таких пластин у кита до восьмисот штук. А сейчас китовый ус вытеснила пластмасса. За китами охотятся ради жира и печени, а знаменитые пластины выбрасывают за борт: слишком неудобный по габаритам, громоздкий товар, и притом дешевый.

Татьяна Андреевна слушала Авдюхова, понимая, что он рассказывает о таких далеких вещах, как китовый ус или открытие Америки, для того, чтобы заглушить мысли о другом, навязчивом и упорном. Но ей был неприятен этот нехитрый прием.

— Зачем вы это рассказываете? — спросила она с оттенком раздражения.

— Я про что-нибудь веселое... Вот про китовый ус. А то еще... — Но тут Авдюхов сам усмехнулся и сказал: — Вы как-то интересовались, почему я так быстро вернулся из отпуска. Хотите, отвечу? Из-за вас, Татьяна Андреевна. Не выдержал больше десяти дней. Света без вас не видел, с ума сходил. Такая дикая душевная пустота!.. Это, может быть, самое смешное из того, что я вам рассказывал.

Понимая, о чем пойдет речь, Татьяна Андреевна быстро сказала:

— Николай Степанович, не надо!

Но она поздно спохватилась.

— Жизни без вас нет, мира нет без вас. Сам не знал, не догадывался. И вдруг, как светопреставление! Все понеслось, закружилось...

Он остановился посреди дороги и напряженно смотрел куда-то в сторону, не то под ноги себе, не то на мчащуюся в полутьме угрюмую реку. Татьяна Андреевна знала, что сейчас произойдет нечто неизбежное, непоправимое. Но она знала также и то, что сейчас невозможно уже остановить Авдюхова. Жалость к Авдюхову, к самой себе поднялась в ее сердце. Не зная, что делать, она также остановилась, чувствуя и муку, и растерянность, и собственное бессилие. Конечно, она знала, что Авдюхов к ней равнодушен, но она не ждала, что он так просто, можно сказать, на ходу ринется в объяснения. Она сделала попытку взять себя в руки, смягчить создавшееся положение.

— Ну, и денек выдался сегодня! — воскликнула она.

Тут же Татьяна Андреевна почувствовала, что напрасно смеется.

— Не знаю, какой у вас выдался денек. Я старался сдержаться. И сейчас разве для этого ждал вас? Сорвался, не хватило выдержки. Вспомнил вдруг, какой страх меня охватил в этих чертовых Сочах с их конфетными кипарисами и пальмами, когда подумал, что меня нет, а вы, чего доброго, сниметесь неожиданно с якоря, и я больше вас не увижу. Ах, пропади все пропадом!..

Авдюхов сказал это с отчаянием, с безнадежностью, и она подумала с внезапным страхом: он сейчас заплачет.

Но заплакал не он. Заплакала она сама. Татьяна Андреевна всей душой тянулась к нему, жалела его и сейчас думала о том, что он чувствует ее жалость и это может его обидеть. Подняв руки, она закрыла лицо.

— Зачем, зачем вы это сказали? Теперь все испорчено, — плача, сказала она.

— Милая моя, родная, я понимаю. Я старик, мне ничего не надо. Но с сердцем, ничего с ним не могу поделать. Ноет, ноет, болит... Вы молодая женщина, у вас все впереди, зачем вы здесь сидите, в этой глуши, две тысячи метров над уровнем моря?.. Я задыхаюсь здесь иногда.

Проснешься ночью — и нечем дышать. Такой страх, хоть зови на помощь. Но кого звать? Сорочкина? Он скажет, надо принять аспирин или что-нибудь в таком роде. Тем только и утешаешься, что для меня разницы никакой не будет, где бы я ни жил.

— Но здесь Гвоздырьковы. Цапаются иногда с Валентиной Денисовной, но она к вам всегда с такой нежностью... Да и Петр Петрович. Где вы найдете лучших друзей?

— Да, это верно, конечно, люди здесь хорошие.

— И когда плохо себя чувствуете, ну, во время этих ваших приступов...

— Вы знаете о моих приступах?

— Знаю.

Авдюхов покачал головой.

— Вот ханжа старая! Ведь обещала молчать.

— Она ничего и не говорила. Я как-то сама узнала.

— Ладно, сейчас мы не об этом говорим. Сейчас мы говорим о вас.

Почему вы сидите здесь?

— Николай Степанович, вы забываете, я гидролог. Мне здесь интересно. Любой человек, мало-мальски увлекающийся делом, ни за что не применяет здешние возможности, — сказала она в надежде, что удалось уйти от щекотливой темы.

— Я забыл, вы увлекаетесь делом, — с горечью произнес Авдюхов.

— И вы тоже. Вы сами только что сказали, что не для того сюда забились, чтобы подальше от людей, не как потерпевший кораблекрушение. Быть радистом на судне, разные страны, далекие порты... Конечно, это заманчиво, привлекательно. Но здесь со своими людьми вести нужную, живую работу... Да вам с вашим характером и на судне, наверно, бывало не сладко...

— Ах вы, милая, милая женщина! Но что говорить обо мне? Я старик. Не годами, нет, даже не хворобами. Вы правы, душой я стар, ужасно стар. А вы молодая, у вас все впереди. Какая нелепая история! Смешная и нелепая. Мужем вашим, тем более возлюбленным, быть мне по меньшей мере смешно. Я все отлично понимаю. И вашей любви я не жду... Нелепая, смешная история. Но мне было бы очень больно, если бы она вас только смешила...

— Господи, Николай Степанович, видите, я плачу... — едва слышно сказала Татьяна Андреевна.

— Плакать не надо. Не надо смеяться и не надо плакать. Любви вашей я не прошу, не жду, просто я не мог больше молчать. Не хватило пороха, — сказал он печально, не глядя на Татьяну Андреевну.

— Зачем, зачем вы это сказали?.. — едва слышно продолжала твердить она. — Вы такой хороший. Мне так всегда с вами спокойно... — Она опустила руки и стояла перед ним несчастная, поблекшая. — А теперь все кончено. Теперь то, что вы сказали, будет мешать всему. Я никого, никого не люблю. Не могу сейчас любить. После неудачного замужества такой осадок... — Она замолчала, провела рукой по лбу и сказала снова: — А если бы была способна полюбить сейчас кого-нибудь, это были бы вы, только вы или такой человек, как вы. И ваше душевное состояние ни при чем, поверьте мне... Зачем, зачем вы это сказали?.. — все твердила и твердила она.

Он понимал, что значат ее слова. Он понимал это с какой-то предельно напряженной ясностью. Ее слова, ее отношение к нему, которое она только что выказала, означало одно — жалость. Ну и сострадание — у самой тоже дни были не сладкие. Да, жалость или сострадание, ничего другого, — большое, но бездейственное чувство; сейчас оно показалось ему обидным.

Погасло солнце на вершине хребта. В ущелье было теперь совсем темно. Вскоре потемнело и небо. Не стало видно ни реки, ни деревьев,

ни лиц друг друга, и лишь когда Авдюхов затягивался сигаретой, можно было разглядеть его губы, нос, часть щеки, да еще звезды светили над головой; точно они шли с Авдюховым между двумя глухими высокими стенами; да река была тут, рядом, напоминая о себе однообразным шумом и холодным дыханием, вдруг обдававшим их на повороте дороги.

Авдюхов шел рядом, не касаясь Татьяны Андреевны, и говорил с безнадёжным отчаянием:

— Вы такая милая, прелестная. Если бы вы знали, как меня мучит ваше присутствие! Я забрался сюда в горы, забился в угол, чтобы ничто меня не трогало, не касалось, чтобы забыть о Большой земле. А вы такая земная и такая необыкновенная... Люблю вас, люблю вас, люблю вас...

Она засмеялась сквозь слезы.

— Перестаньте, Николай Степанович, вы противоречите самому себе. И эти слова говорят или подразумевают почти все. Неужели и вы как все?

— Да, и я как все. А почему мне не быть как все? — сказал Авдюхов со страшным волнением.

Он не жалел, что вернулся из отпуска досрочно, потому что снова видел Татьяну Андреевну каждый день, снова жил с ней под одной крышей. И вместе с тем сейчас он понял, узнал, почувствовал, что должен отсюда уехать, уехать совсем, оборвать все, чтобы не мучить ни ее, ни себя. Теперь он должен был это сделать во что бы то ни стало, теперь, когда все было сказано.

17

Легко было Гвоздырьковой рассуждать о других, но как близко к сердцу принимала она все, что касалось ее сына...

Она ходила по дому, покрикивала:

— Марья, убери ведро!.. Товарищ Авдюхов, вы опять насвинячили в умывальной!..

Ее взгляды на жизнь были прямолинейны и категоричны. Она не знала сомнений, как не знала и лукавства. Все в жизни просто, ясно, определено. Она учила уму-разуму Петра Петровича, посмеивалась над горячностью Сорочкина, иронизировала над затруднениями Татьяны Андреевны, возникавшими из-за ее женской привлекательности. Но стоило получить очередное письмо от сына, и Валентина Денисовна плакала над ним горячими слезами, баба-бабой, не знающая, где правда и где ложь, бежала к Грушецкой «раскинуть» на картах.

Почту на гидрометеорологическую станцию доставлял обшарпанный, по-стариковски покхекивающий грузовик, привозивший продукты из райторга. Он прибывал по утрам три раза в неделю, и его прибытие, точно остановка поезда на полустанке или заход пассажирского корабля в заштатный порт, служило небольшим развлечением для работников станции в их однообразной жизни. Мужчины просматривали газеты, женщины читали письма, и каждый расходился по своим кабинетам, пообщавшись в течение двух десятков минут с далеким внешним миром.

Две или три недели от Володи не было никаких известий. Валентина Денисовна просто извелась в ожидании письма. В одну из суббот, когда ее нетерпение достигло предела, райторговская полуторка не пришла в обычный час. Не прибыла на станцию почта, не был доставлен свежий хлеб. Случилось что-нибудь с дорогой? Авдюхов позвонил на базу райторга. Там сказали, что полетела задняя рессора, сменят — грузовик пойдет в рейс. Между тем близился к концу рабочий день, в ущелье стемнело, а райторговского грузовика все не было и не было.

В ожидании продуктов, почты и газет сотрудники станции собрались в кают-компанию. Гвоздырьков, Сорочкин, Меликидзе и Пучков уселись «забывать» козла, Авдюхов пристроился терзать пианино, Валентина Де-

нисовна и Грушецкая занялись рукоделием, Татьяна Андреевна с ногами забралась в глубокое кресло и читала роман, принесенный из библиотеки.

Пришла Марья, еще более недовольная, чем всегда.

— Чего будем делать, Валентина Денисовна? Масло все вышедши, хлеба нема, сахара тоже на всех небось не хватит. Будем вскрывать аварийный запас? — спросила она, хотя и знала, что встретит отказ.

Марья очень любила вскрывать аварийный запас. То обстоятельство, что в кладовке лежит провизия, которой запрещено касаться, вызывало в ее душе протест, и она всегда в случае каких-нибудь затруднений с подвозом продуктов торопилась извлечь на свет божий неприкосновенные консервы и концентраты.

Гвоздырькова, с вечера ожидавшая, что сегодня непременно будет для нее письмо, и потому находившаяся в чрезвычайно взвинченном состоянии, отозвалась с раздражением и гневом:

— Ничего, привезут!

— Что ж, подождем, чай, нам не к спеху, — сказала Марья и, пригрюбившись, встала у дверей кают-компания с таким видом, точно собиралась в этой позе дожидаться прибытия грузовика или той минуты, когда последует приказ вскрывать аварийный запас.

Вчера вечером Валентина Денисовна заходила к Грушецкой, по картам вышло, что никаких известий не предвидится, а утром она встала с ощущением надвигающейся беды. С этим мучительным ощущением, то исчезающим, то появлявшимся вновь, она прожила весь день, а теперь с проклятым грузовиком как назло случилось какое-то несчастье. И сейчас ее раздражали и стук домино и сокрушительное музицирование Авдюхова.

— Прекратится когда-нибудь эта пытка? Слышите, Николай Степанович? До каких пор можно терпеть! — не выдержала она и с грохотом положила на стол ножницы.

Авдюхов покорно опустил крышку пианино и перешел к радиоле.

Среди сотрудников станции Авдюхов был единственным, кто относился безразлично к прибытию райторговской полуторки.

Беспокоился Гвоздырьков: как обеспечить питание работников станции, если не будет свежих продуктов? Сорочкин с нетерпением ждал газет — было известно, что в центральной прессе опубликована таблица трехпроцентного выигрышного займа. Ждала писем Татьяна Андреевна. С нетерпением прислушивалась, не зашумит ли за окном райторговская полуторка, Грушецкая, ведущая деятельную переписку. А Авдюхов писем ни от кого не ждал, газетными новостями не интересовался, так как слушал по радио последние известия, в еде был непритязателен, поэтому перспектива остаться на сухарях да на пищеконцентратах его не страшила.

Рукоделие не ладилось у Гвоздырьковой. И на месте ей не сиделось. Она бросила свое шитье и встала. В стремлении чем-нибудь занять себя, она принялась исследовать, хорошо ли убирает Марья. Марья убирала плохо. Достаточно было провести ладонью по крышке пианино, чтобы обнаружить пыль. Достаточно было чуть отодвинуть пианино от стены, а Валентина Денисовна это сделала, не прибегая к посторонней помощи, чтобы обнаружить за ним мусор. Она грозно поглядела на Марью. Та насторожилась, предвидя атаку, но случилась неожиданная вещь: Валентина Денисовна не стала отчитывать Марью и молча, точно хотела лишь обнаружить нерадение уборщицы, вернулась на свое место к большому столу.

Гвоздырьков оторвался от игры, внимательно посмотрел на жену и сказал успокоительно:

— Что ты волнуешься, Валюша? Рессору сменить — не пустяшная вещь.

Валентина Денисовна не ответила мужу. Она сурово поглядела на него, вооружилась ножницами и прикрикнула на Авдюхова:

— Теперь прилипли к радиоле? Позвоните еще раз на базу!

Авдюхов послушно выключил радиолу и пошел в аппаратную.

— Грузовик давно вышел, — сообщил он, вернувшись. — Что-нибудь стряслось с ним, наверное, в дороге.

— Наказание господне с этим грузовиком, — вздыхая, сказала Валентина Денисовна.

У игроков в домино разгорелся спор.

— А мое мнение такое, — говорил Пучков, — может, это и хорошо, если человек не любит своего дела. — Он поглядел на товарищей непорочными, небесными глазами. — Моя мысль к чему сводится? К тому, что, если человек не любит своего дела, он стремится к чему-то другому. Он всегда чего-то хочет, чего-то ищет, не стоит на месте. Может, в том и скрыт творческий момент, когда человеку тошно от собственных занятий?

— Но ведь это чушь гороховая, — сказал Сорочкин.

— Почему чушь? Так назвать можно любую идею. Ты докажи!..

— В теоретических вопросах Пучков просто не смыслит ни грамма, — сказал Меликидзе. — Человек, говорит, тогда не стоит на месте, когда он стремится к чему-то...

— Я высказываю идею!

— Хороша идея! А может, человек к тому стремится, чтобы лесоматериалы, полученные по фондовой разверстке, пустить налево, по базарной цене, а деньги — ан поше, как сказано у классика литературы? — предположил Меликидзе и похлопал себя по карману.

— Или увильнуть от уплаты алиментов, — добавил Гвоздырьков. — Нашел парень творческий момент!

— О чем вы спорите, хотела бы я знать? — прервала их Валентина Денисовна. Не только звуки музыкальных инструментов, но и человеческие голоса, спокойные и нормальные, доводили ее сейчас до белого каления. — Лишь бы спорить!..

Прошел еще десяток томительных минут, и наконец за окном послышался сигнал автомобиля. Все повалили к выходу.

Долгожданный грузовик разворачивался во дворе, подавая задом к кухонному крыльцу. Альма носилась вокруг с восторженным лаем. Захлопотала Марья, принимая продукты, к ней на подмогу засеменял дед Токмаков. Авдюхов получил почту и роздал газеты и письма.

Ожидания не обманули Гвоздырькову, она действительно получила письмо, и это было письмо от сына. Тут же, в кают-компании, она разорвала конверт и, не присаживаясь, быстро пробежала скупой листок сыновнего послания. Все, кто был в комнате в эту минуту, старались не глядеть в ее сторону. Только молчаливый и обеспокоенный Петр Петрович украдкой поглядывал на жену.

Валентина Денисовна еще раз, медленнее, перечитала письмо, и слезы побежали, побежали по ее рыхлому мясистому лицу, по ее поблекшим щекам.

Она всегда плакала, читая письма от Володи, но Гвоздырьков никак не мог к этому привыкнуть, и каждый раз слезы жены раздирали ему сердце. Все же сейчас он сидел за столом, на котором были разбросаны костяшки домино, не двигаясь, подавая сострадательные движения души, потому что знал, что любое слово участия вызовет еще более бурные слезы.

Дочитал полученное письмо Меликидзе; сверившись по записной книжке, убедился, что ничего не выиграл, Сорочкин; вернулся Пучков, выходящий на метеорологическую площадку, и мужчины возобновили игру.

Валентина Денисовна отложила письмо и занялась шитьем. Никто ни о чем не спрашивал ее. Все делали вид, будто ничего не произошло, и только игроки в домино выкладывали теперь кости совершенно беззвучно.

Когда все успокоилось, когда послышался шум отъезжающего грузовика, звякнули ножницы в руках Гвоздырьковой, она вдруг всхлипнула, уронила голову на руки и разрыдалась во весь голос.

Вот тогда Гвоздырьков встал, точно только и ждал этой минуты, и пошел к жене.

— Валюша, что случилось? — склоняясь к ней, робко спросил он.

Она всхлипнула, размазывая слезы по лицу.

— Подожди, подожди, дай я сам прочту, — сказал Петр Петрович, беря из ее рук письмо.

— Он все-таки держал в театральном институте, и его не приняли, — рыдала Валентина Денисовна. — Я испортила ему жизнь... Все было бы иначе, если бы я не возражала. У него не было уверенности, когда он шел на экзамены. Я по себе знаю... Теперь он несчастен на всю жизнь!..

— Валентина Денисовна, но вы же сами не хотели, чтобы он поступал в театральное училище, — заметил Сорочкин.

— Что вы понимаете! — вспыхнула Валентина Денисовна. — Вы бесчувственные, черствые люди!.. Да, я была против. Но я не хотела портить ему жизнь. А теперь его мечта разбита!

— Зачем такие громкие слова? Мечта! Разбита!.. Говорите, сами не зная что. Он упрекает вас в письме? — рассудительно спросил Авдюхов.

— Не упрекает ни словом. Пишет: «не приняли» — и все, — сказал Гвоздырьков.

— И Вараксин! — вспомнила вдруг Валентина Денисовна. — Если бы он не обманул со своим обещанием, было бы совсем иначе.

— К чему вспоминать, что было и давно прошло? Да и где гарантия, что он бы помог? Много проку от его вмешательства! — сказал Авдюхов. — Ничего, Валентина Денисовна, теперь ваш Володя вынужден будет пойти в другой институт.

Но логические рассуждения и даже практические соображения сейчас не могли успокоить Гвоздырькову.

— Спасибо за утешение! — вспыхнула она. — Вы у нас единственный, кто все знает, все предвидит... Слышать не хочу ваши глупые утешения.

— Валюша, но Володя тебя ни в чем не упрекает, — сказал Гвоздырьков.

— Не хватало еще, чтобы упрекал! Он не упрекает, но я чувствую, чувствую — я виновата. Его не приняли потому, что я была против. Он шел на экзамен, не чувствуя поддержки. Да, мне не хотелось, чтобы он был актером. Для серьезного человека это не профессия. Но лучше быть непутевым, чем несчастным. Только сейчас я как следует это поняла.

— Ну, что ты выдумываешь! Ты сейчас опечалена, раздражена, нужно успокоиться, — с мольбой в голосе произнес Гвоздырьков.

— Под конец я примирилась с его планами, иногда даже подумывала: а может, он прав? Если у него призвание, талант... Это хорошо, что он с таким упорством... — Она недоговорила. — И теперь такой удар! А вы ничего, ничего не понимаете, не хотите понимать! Я не была против, совсем нет. Просто я немного сомневалась... И вот все пошло прахом!

— Голубчик, Валентина Денисовна, в самом деле, ну при чем тут вы? — снова вмешался Сорочкин. — Может быть, у него не оказалось артистических данных? Конечно, он с горечью написал о неудаче. А как же иначе? Это вас и расстроило. Но он человек молодой, еще столько будет других желаний!

— Да что вы меня успокаиваете?! — грозно закричала Валентина Денисовна. Приступ печали и отчаяния, боль за неудачу сына сменились яростью. Ущемленные чувства этой шумной, властной женщины требовали выхода. В смятении она бессознательно искала повода, чтобы наброситься на кого-нибудь и выместить свое раздражение. Сорочкин для

этого оказался самым подходящим человеком. Гвоздырькова напустилась на него с гневом и яростью:— Вы бы лучше молчали! Ничего себе, хорош! Поднимает панику, что кто-то преследует Татьяну Андреевну, мешает работать, а это просто ревность, ревность, ничего более.

— Валентина Денисовна, что вы говорите?! — растерянно пролепетал Сорочкин, и его маленькие глазки в страхе забегали в поисках сочувствия по лицам товарищей.

Молчавшая все время Татьяна Андреевна удивленно взглянула на Гвоздырькову и закрыла книжку.

— Бог с вами, Валентина Денисовна, как можно!.. Вы расстроены, понятно, но нельзя же до такой степени, так грубо и мелко... — сказала она гневно.

— Говорю то, что думаю! — продолжала бушевать Гвоздырькова.— Сорочкин жаловался мне одной, теперь пусть расскажет при всех, да, да, пусть расскажет, что делается в доме!..

— Это вовсе не относится ни к Володе, ни к его письму, — с досадой сказал Авдюхов.

— Нет, относится, и вы не заминайте, не заминайте! — закричала она, уже кипящая, не знающая удержу.

Авдюхов отвернулся и отошел к радиоле.

— Оставь ты эту философию, Валюша, — без надежды урезонить жену и скорее от смущения пробормотал Петр Петрович.

— Ты ничего не знаешь. Под видом, что нужен метеорологический прогноз, мастер с канатной дороги повадился сюда ездить чуть ли не каждый день, проходу не дает Татьяне Андреевне! Что я, должна молчать?

— Валентина Денисовна, это совсем другой вопрос, — холодея, пролепетал Сорочкин.

Пучков и Меликидзе сидели молча, опустив головы; им было неловко, стыдно, а уйти нельзя. Грушецкая, блестя глазами, ждала, что будет дальше. Она то склонялась к Татьяне Андреевне, то тянулась к Меликидзе, то останавливалась и замирала в неудобной позе, не успев ничего сказать.

— Все такие умные, понимают все с полуслова. Но то, что какой-то тип повадился ездить к нам чуть ли не каждый день, об этом вы не задумываетесь! — гремела жена начальника станции.

Татьяна Андреевна встала, бледная и взволнованная.

— Я не нуждаюсь в защитниках, и поднимать дразги и сплетни... и ваши нелепые рассуждения... Это отвратительно, — тихо сказала она.

18

Конечно, нужно было сразу встать и уйти, не пытаясь остановить Валентину Денисовну, и потом посмеяться над всем, что произошло в тот несчастный вечер. Но, странное дело, в тот несчастный вечер вмешательство Гвоздырьковой было так неожиданно и несуразно, что Татьяна Андреевна растерялась.

Нужно было встать и уйти, а она замешкалась, и, пока собиралась с мыслями, хлопнула наружная дверь, в прихожей послышались грузные шаги, и в кают-компанию вошел Вараксин. Отвесив общий поклон, он крепко взял Татьяну Андреевну за руку и сказал безапелляционно:

— Вы куда, Татьяна Андреевна? Не пушу!

Никого не удивило позднее появление главного инженера, все были расстроены неприятной сценой, и Вараксин сразу почувствовал, что в кают-компании происходит нечто необычное. С деланной серьезностью он спросил:

— Что у вас тут случилось?

Никто не ответил. Все старались не смотреть на него, одна Грушецкая подняла на Вараксина глаза в надежде, что сейчас произойдут еще более важные события.

— Володю не приняли,— нехотя ответил Гвоздырьков.

— Ну, это еще не трагедия,— сказал Вараксин.

Татьяна Андреевна сделала попытку высвободить руку, но Вараксин не отпустил.

— Нет, не пушу!

Валентина Денисовна не склонна была уговориться.

— Удивляюсь я вашему равнодушию, Сергей Порфирьевич,— без обиняков бухнула она. Вараксин даже несколько опешил.— У людей переживания, а вам все нипочем.

— Ну, зачем так, Валюша?..— начал было Петр Петрович.

— А ты не смягчай, не смягчай! — перебила его Валентина Денисовна.

— Голубчик мой, о каких переживаниях речь? — спросил Вараксин.— Я ведь только вошел, ничего не знаю. А что Володю не приняли, так вы этого именно и хотели, насколько помнится.

Он отпустил руку Татьяны Андреевны, но так как по-прежнему загромождал выход, она отошла от него и села на стул у стены.

— Вы бы лучше молчали! — не сбавляя тона, сказала Валентина Денисовна. — Обещали помочь, хороша помощь! Вы только усыпили мою бдительность!..

— Опять старые споры, Валентина Денисовна! Сколько можно говорить об одном и том же? Я обещал отговорить, усостыдить, но мне не удалось. Теперь цель достигнута без моего вмешательства. Разве это плохо?

Теперь весь гнев Валентины Денисовны обернулся в сторону Вараксина.

— Какой ценой?! — закричала она.— Ценой жестокого разочарования, крушения надежд!.. Нужно было, чтобы он сам отказался, сам, а не то, чтобы его не приняли! Если бы не ваши обещания, я нашла бы способ, как его переубедить, а так все было брошено на произвол судьбы!

Она залилась слезами и отвернулась.

Вараксин пожал плечами.

— Сами от моей помощи отказались. Поступлению в театральный институт я бы мог поспособствовать.

— Нужно было хотя бы зайти к молодому человеку,— сказал Авдюхов.

Этого Вараксин не выдержал.

— Освободите меня от ваших постоянных нападков! — неожиданно окрысился он. — С вами я не хочу говорить!

— Товарищи, перестаньте, ну что вы, ей-богу, ну ведь пустяки,— тотчас заторопился Гвоздырьков, преисполненный единственной заботой, чтобы в доме царили мир и благодать.

Авдюхов включил и сейчас же выключил радиолу, не дав даже нагреться лампам. Он охотно ушел бы из кают-компании, но не хотел оставлять здесь Татьяну Андреевну.

Вараксин присел к большому столу, стараясь сохранить невозмутимость.

— Проблема выбора профессии! — пытаюсь сказать что-нибудь нейтральное и вместе с тем многозначительное, произнес он и фыркнул.

Перед ним самим никогда не стоял вопрос о выборе профессии. И совсем не потому, что с юности определилось его призвание. Наоборот, оно долго никак не определялось, но в этом, как ни странно, имелась и положительная сторона — Вараксин готов был стать кем угодно, лишь бы быть кем-нибудь. И поэтому он пошел в тот институт, в который

легче было попасть и который находился ближе к дому. Удобное и простое решение.

— Напрасно фыркаете, Сергей Порфирьевич! Выбор профессии — важнейшая проблема для молодого человека, — вскричала Валентина Денисовна.

— Я не спорю. Я хочу только сказать, что этому часто придают чрезмерное значение. Если нет определенного призвания, не все ли равно кем быть?

— Но у Володи есть, есть призвание!

— Возможно, ему только кажется.

Гвоздырькова задрожала от негодования.

— Легко теперь так говорить, потому что его не приняли! — Она остановилась, осененная догадкой. — Да вы просто смеетесь! Видите, как меня это мучает, и смеетесь надо мной!

— Ну что вы, Валентина Денисовна! Как же я смеюсь?! Да упаси бог, придет же такое в голову! — запротестовал Вараксин.

Авдюхов снова включил и тотчас выключил радиолу.

Валентина Денисовна с грохотом отодвинула стул и встала из-за стола.

— При чем тут разговоры о выборе профессии, не понимаю?! — неожиданно тихим голосом сказала она. — О чем вы говорите?! В жизни человека произошло крушение! А вы рассуждаете бог знает о чем.

Все смугнулись, замолчали. Татьяна Андреевна молча встала и вышла из комнаты. Вараксин с досадой поглядел ей вслед.

— Слушаешь вас и диву даешься, — с осуждением и брезгливой миной на лице выступила в поддержку Гвоздырьковой Грушецкая.

— Да ведь не к чему усложнять личные проблемы, — начал было Гвоздырьков.

Валентина Денисовна его перебила:

— Что же, все думают, я хоть на минуту допустила, что Володю не приняли, потому что блата не нашлось? Этого я все время и боялась. Он рвался в театральный институт, а есть ли у него драматическое дарование, актерский талант или нет — никто не знает. Вот что все время меня волновало. А вы «выбор профессии» и тому подобное.

— Любите вы здесь, у себя на станции, драматизировать отношения. Каждый пустяк у вас имеет во-от такое значение, — сказал Вараксин и руками показал, какое значение придают на станции каждому пустяку.

Авдюхов, все это время стоявший возле радиолы, подошел к большому столу.

— Так вы ничего и не поняли, — сказал он очень спокойно. — Вы не совершали преступления. Никого не убивали, не крали. Ничего исключительного, чрезвычайного, просто небольшое свинство. Но не преступления и всякие из ряда выходящие обстоятельства мешают человеку жить, а чаще всего именно такое невинное житейское безобразие.

Этого Вараксин не выдержал.

— Да вы в своем ли уме?! — завопил он, прерывая Авдюхова и вскакивая с места.

Авдюхов усмехнулся, закурил. Ему пришла в голову мысль: в самом деле, а чего ради он должен уклоняться от боя? Казалось бы, давно остывший, сейчас он рвался в сражение.

И он продолжал, не обращая внимания на бешенство главного инженера:

— За это и наказать человека, в сущности, нельзя. Не сдержал слова, забыл о своем обещании, выказал лицемерную заботу, а в результате у ближних — беды и огорчения. Равнодушие — разве это не преступление?

Огромный, грузный, покрасневший от гнева, Вараксин стоял посреди комнаты, тяжело дыша и сжимая кулаки, словно готов был броситься на Авдюхова. Но он не бросился и ничего не успел ответить. За окном послышался треск мотоцикла, и в кают-компанию быстро вошел Нестор Бетаров.

19

Вараксин озадаченно уставился на Бетарова, — а этот откуда взялся? Его растерянный взгляд был полон недоумения. Авдюхов повернулся и отошел к радиоле. Гвоздырьков, вскочивший было, чтобы удержать Вараксина, сел на первый попавшийся стул. Бетаров поздоровался, быстро оглядывая присутствующих и убеждаясь, что Татьяны Андреевны здесь нет.

За плечами у него висела двустволка. Так как было известно, что Бетаров не охотник, то этот маскарад означал, что после работы он заезжал к кому-то, может быть даже «на плоскость», раздобыл ружье и специально для визита на станцию снова прикатил в горы.

Валентина Денисовна, до которой все эти тонкости еще не дошли, просто душно вскричала:

— Ну, как вам это нравится?!

И точно ветер прошелестел по кают-компанию.

Встрепенулась Грушецкая, будучи не в силах справиться с охватившим ее волнением, и глаза ее засверкали жадным блеском.

— Вас тут только и ждали, — пробормотал с досадой Гвоздырьков.

Вараксин первый преодолел замешательство, разжал кулаки и, уперев руки в бока, официальным голосом спросил:

— Зачем изволили пожаловать?

— Заехал на огонек, — добродушно усмехаясь, сообщил Бетаров.

— Надо же! — сказала Валентина Денисовна. — Позавчера или третьего дня вы как будто получили долгосрочный прогноз, что вам теперь нужно?

— Я же говорю: ничего. Людей посмотреть, себя показать.

Обычное выражение надменного превосходства вернулось к Вараксину.

— Вот что, голубчик, чтобы это больше не повторялось, — сказал он, повышая голос. — Больше вы не будете получать здесь сводку погоды. Отменяется мое распоряжение. Можете идти.

Но Бетаров не пошевелился.

— Я приехал не за сводкой. Мой рабочий день кончился. Я приехал для собственного удовольствия. Видите, собрался на охоту.

Вараксин побагровел. И этот тоже смеет издеваться над ним! Туда же суется, куда Авдюхов!.. Это он, Вараксин, собираясь на охоту, забредает сюда. Но, взяв себя в руки, Вараксин сдержался и промолчал.

— Ну, знаете, я просто не нахожу слов! — воскликнула Валентина Денисовна.

— А почему, собственно, я не могу сюда приехать? Это секретное учреждение? Запретная зона? — спросил Бетаров.

— Для вас, я знаю, нет запретных зон! У таких, как вы, одно на уме: волокаться за женщинами да нахальничать! — закричала Валентина Денисовна.

— Валюша, ну успокойся же, — чуть не плача, сказал Петр Петрович.

Его до того расстроило все происходящее, что он снова встал и топтался на одном месте, не зная, что предпринять, что сделать. Он не терпел ссор, боялся дурных отношений.

— Не могу понять, — откликнулся Бетаров, ни к кому в отдельности не обращаясь, — почему вас так волнует мой приезд? Рангом не вышел?

— При чем тут ранги? Хватает наглости молоть вздор! — не выдержал Сорочкин.

Вараксин продолжал молчать, чувствуя, что любое его слово еще больше накалит обстановку.

— Волнуетесь, что лишний раз захотел повидать Татьяну Андреевну? — не обращая внимания на Сорочкина, продолжал Бетаров. — Очевидно, служебное положение не то. Но позвольте заметить, это по меньшей мере несправедливо и — как бы вам сказать? — недемократично.

— Вы говорите возмутительные вещи! Прошу вас удалиться! — сказала Валентина Денисовна.

Бетаров спокойно стоял у журнального столика и молча листал потрепанный комплект журнала «Солнце России». На странице, где были изображены чьи-то царственные похороны — величественный катафалк с гробом, усыпанным цветами, восьмерка лошадей в черных пополах, факельщики в цилиндрах, толпа провожающих, — он задержался и, сочувственно качнув головой, показал на фотографию:

— Народ в таких случаях говорит: чем так ездить, лучше ходить!.. Тут Вараксина прорвало.

— Нет, это черт знает что! — завопил он. — Убирайтесь отсюда вон, я вам приказываю!

Как ни в чем не бывало Бетаров перевернул страницу, секунду помедлил и ткнул пальцем в широковещательное объявление, обведенное фигурной рамкой и снабженное портретом идистически улыбающегося мужчины.

— «Страдаете глухотой? — прочитал он медленно. — Если так, то здесь имеется приятная для вас новость...» — Затем он закрыл журнальный комплект и сказал: — Вот что, уважаемый Сергей Порфирьевич и вы, все прочие ревнители метеорологического целомудрия. Да, не скрываю, мне нравится Татьяна Андреевна. Если хотите знать, люблю ее. Об этом не говорится во всеуслышание, как на общем собрании, но вы поставили меня в такие условия, что я вынужден сказать. Люблю, да, нравится это вам или нет. И, заметьте, прошу вас, — он поклонился в сторону Валентины Денисовны. — И вас, — он поклонился в сторону Вараксина. — Это обстоятельство никого, абсолютно никого не касается. Это касается только меня лично и Татьяны Андреевны. Желаю здравствовать!

Он хлопнул по ладони перчатками и двинулся к выходу.

— Одну минуту, — вдогонку ему сказал Авдюхов.

Он был бледен, взволнован. Остальные молчали.

— Вас что, уполномочили спустить меня с крыльца? — с грубоватым юмором спросил Бетаров догнавшего его в коридоре Авдюхова. — Имейте в виду, мой вес — шестьдесят восемь килограммов, и я умею давать сдачу.

— Не болтайте ерунды, — ответил Авдюхов. — Мне нужно вам сказать... Вот какая штука. Я смотрел на вас, слушал. Знаете, это, может быть, смешно... Я очень хочу, чтобы Татьяна Андреевна была счастлива.

— Она будет счастлива. Что еще?

Авдюхов ответил не сразу.

— Наверно, это очень странно звучит, но я хотел вам это сказать.

Бетаров слушал, не удивляясь неожиданной откровенности. Он спросил:

— Вы мне вот что скажите, разве не по-дурацки получается: вокруг Татьяны Андреевны крутится Вараксин, и все принимают это как должное. Благосклонно. Миролюбиво. Даже товарищ Сорочкин. А против меня — громы и молнии. Почему?

— Не знаю. Я к вам отношусь иначе.

Больше Бетаров ни о чем не спрашивал. Молча поклонился Авдюхову и вышел.

Хлопнула наружная дверь, тотчас взвыл у крыльца и сгинул его мотоцикл.

Авдюхов помедлил в коридоре минуты две и прошел в аппаратную. Зачем он вышел из кают-компании за Бетаровым? Но он не мог не выйти за ним. Вдруг точно духота какая-то стеснила его. Странно иной раз ошибается человек. Он жил с уверенностью, что давно погасла его топка, что не осталось в его душе ни желаний, ни страстей. И как повернулось дело!

Гвоздырьковой он дал когда-то совет — не делать из Володи раба обстоятельств. Но что такое он сам, как не раб обстоятельств? В том-то и беда! Все мы рабы обстоятельств. И Вараксин, и Гвоздырьков, и сын Валентины Денисовны. Все существа на земле. Его возмутил Вараксин, пообещавший и ничего не сделавший для Гвоздырьковой. А что он сам сделал для нее?.. Рабы обстоятельств... А вот Бетарова можно как угодно назвать, как угодно к нему относиться, но меньше всего его назовешь рабом обстоятельств!.. И Татьяна Андреевна! Нужно порвать эту мучительную канитель. Господи, до чего несуразно все получилось! Он и Татьяна Андреевна! Нелепость. Любовь на старости лет. Ничего себе, нашелся кавалер с бронхиальной астмой и припадками эпилепсии... Преодолеть чувство необходимости видеть ее каждый день. Мир велик. Он обязан уехать. Чего проще, взять и продолжить отпуск, поехать в Москву, организовать перевод в другое место. В Арктику, на Дальний Восток. Мало ли места на земле?..

Так думал Авдюхов, сидя в аппаратной возле рации.

Немного погодя он вернулся в кают-компанию. Вараксина уже не было. Видно, все происшедшее отбило у него охоту играть в преферанс. Неплохо было бы, если бы все, что сегодня здесь случилось, отбило у Вараксина желание вообще посещать станцию. Впрочем, теперь это не имеет значения.

Ушла из кают-компании и Валентина Денисовна.

— Ну и ну, дела твои, о господи! — сказал Меликидзе, когда Авдюхов вернулся.

— Как это все неприятно получилось с Вараксиним. Глупо и неприятно, — огорченно вздохнул Гвоздырьков.

— Так всегда бывает, Петр Петрович, когда приходится делать переоценку ценностей, — сказал Авдюхов.

— О какой переоценке вы говорите?

— Вам приходится переоценивать Вараксина. Это не легко. Плохого человека видно невооруженным глазом, его легче оценить раз и навсегда. А Вараксин — просто равнодушный субъект. Пономари близ святости трусят, а во святых нет их. А вы считали его ангелом.

— Интересны мне ваши эти теории, — раздраженно сказал Гвоздырьков. — Пора спать.

— Между прочим, хотел вам сказать. У меня имеются неиспользованные отпускные дни. Я все-таки решил продолжить отпуск. Поеду в Москву. Кстати, побываю у вашего Володи, посмотрим, что там и как.

Гвоздырьков сдержанно поблагодарил Авдюхова. Валентина Денисовна будет рада. Он старался угадать, что еще скрывается за неожиданным решением Николая Степановича.

О том, что на станцию приезжал Нестор Бетаров и уехал через десять минут, Татьяна Андреевна знала, потому что слышала шум его мотоцикла, слышала возбужденные голоса внизу.

Почему он уехал, не попытавшись ее повидать? Что-то непохоже на него, чтобы он отступал перед ничтожными препятствиями. Неужели он

отказался от нее? Тогда всем его притязаниям, волнениям, всем его словам грош цена. Вот не думала она, что человек, подобный Бетарову, займет какое-нибудь место в ее жизни.

Нет, не может быть, чтобы она так легко обманулась в человеке. Да, нагловатый парень, но она не могла не верить, что он действительно почувствовал к ней что-то серьезное.

Ну, ладно, бог с ним. Она решила, что будет работать. Она села к столу, разложила перед собой страницы с записями, таблицы и графики, фотографии речного русла.

Как ответить на вопрос, почему изменился режим реки? Что, если начать с понятия о влекущей силе потока? Если мы составим формулу речного стока, определим модули инфильтрации...

Она углубилась в работу. То, что день за днем находила она на берегу реки, в ежедневных исследованиях, что приносили изменения климата, что учитывалось при определении окружающей растительности, особенностей речного рельефа, нужно было теперь превратить в сложные формулы, в уравнения со многими неизвестными, изложить в виде алгебраических знаков, в виде цифр и интегралов; то, что было движением воды, дуновением ветра, что имело запах и цвет, что можно было видеть и ощущать, что было жизнью и поэзией жизни, должно было стать математической строкой, превратиться в диаграмму, лечь в график, в расчетную таблицу.

Абстрактные математические формулы и кривые, все эти коэффициенты пропорциональности и редукции, переменные величины, свойства ламинарного и турбулентного движения воды, данные отклоняющей силы вращения Земли, вызывающей кориолисово ускорение, — все это, отражающее реальные процессы в природе, обычно казалось Татьяне Андреевне не менее увлекательным, чем практические исследования на водомерном мостике или разведочные экспедиции вдоль ущелья, романтические восхождения к подножию ледника.

Обычно, но не сейчас. Сейчас замерла в ее руках логарифмическая линейка, застыла визирная рамка, отложена ручка, осталась незаполненной страница тетради. Всего каких-нибудь тридцать минут назад, уходя из кают-компании рассерженная, расстроенная, она и мысли не имела, что происшедшее как-то отзовется в ней помимо досады и раздражения, помешает ей работать. Сейчас она с недоумением почувствовала странный душевный трепет, невозможность сосредоточиться, и это встревожило ее.

Все, что сейчас звучало в ее душе, казалось ей диким и странным. Она не хотела думать о Бетарове, он совершенно не интересовал ее. И думала не об особенностях речного стока, а о нем, мучительно и беспокойно думала о нем и ничего не могла с собой поделать.

Она вспоминала его лицо, его стремительные движения, его голос. Сердце подсказывало ей, что непутевый малый влюбился в нее чисто и страстно. Она старалась не думать об этом и думала, только об этом и думала теперь.

Почему только — вот что непонятно! — он не страдает от того, что любовь его не разделена? Почему он по-прежнему весел? Ведь вот и сегодня она слышала его голос, неунывающий громкий голос балагура и вертопраха. И что за беззаботность! Как он мог уйти, не повидав ее?

Простая мысль не приходила в голову Татьяне Андреевне: она потому все время раздумывает о Бетарове, о странностях его поведения, что все больше и больше увлекается им. Не думала она и о том, что вмешательство Валентины Денисовны и Сорочкина в ее отношения с Бетаровым заставило ее больше заинтересоваться мастером канатной дороги. Может быть, их вмешательство так возмутило Татьяну Андреевну, что она по-новому увидела все, что происходит вокруг нее? Может быть, из духа протеста теперь она по-настоящему заинтересовалась Бетаровым? Но не

об этом сейчас думала Татьяна Андреевна. У нее вдруг возникло отчетливое ощущение, что ей, в сущности, не только приятно настойчивое и даже назойливое внимание Бетарова, но что он стал ей чем-то дорог.

Раздумье Татьяны Андреевны прервал Авдюхов.

Он редко заходил к ней наверх, но сейчас она несколько не удивилась приходу Авдюхова. Она обрадовалась ему. Она поймала себя на мысли: Авдюхов расскажет, что произошло с Бетаровым, и покраснела.

— Знаете, Татьяна Андреевна, — сказал Авдюхов, — когда все разошлись, я подумал малость и пришел к некоторым выводам. — Он сел на стул возле ее столика. — Первый вывод касается вас: плюньте на все эти разговоры, не обращайтесь на них внимания, живите, работайте и обходитесь со своими кавалерами, как хотите: одних милуйте, других казните. Конечно, я понимаю, он ворвался в нашу застывшую жизнь, как вихрь на своей мотоциклетке...

— Ну что вы говорите, Николай Степанович!

— Да, да, и не отнекивайтесь, пожалуйста.

— Хорошо, а второй вывод?

— Второй вывод касается меня. Решил продолжить отпуск. Для укрепления воли и нервной системы. Пожалуй, так будет лучше. И дело есть — поеду в Москву, повидать сына Валентины Денисовны. Опять же, в пику моему другу — Вараксину.

Глядя на Авдюхова, Татьяна Андреевна кивнула.

— Да, так будет лучше. Хотя, наверно, это только предлог.

Авдюхов нахмурился.

— Какой предлог?

— Тот, чтобы уехать отсюда навсегда.

— Татьяна Андреевна!..

Она покачала головой.

— Может, вы и правы, так будет лучше, — сказала она, не слушая Авдюхова и напряженно продолжая думать о чем-то своем. Теперь она снова взглянула на Авдюхова. — Мне будет очень не хватать вас, Николай Степанович.

Она протянула ему руку. Авдюхов схватил ее обеими руками и поцеловал нежно и осторожно. Не говоря ни слова больше, он вышел из комнаты.

И когда Авдюхов ушел, Татьяна Андреевна вздохнула с облегчением. Ей было мучительно жаль Авдюхова и было стыдно, что она не может думать о нем, входить в его печали, причем сейчас меньше, чем когда бы то ни было.

Да, как бы хотела она сейчас думать только об Авдюхове, и ничего не получалось. Как ни пыталась она сейчас оттолкнуть от себя мысли о Бетарове, они снова и снова, и все настойчивее, возвращались к ней.

Она легла на кровать, уткнулась в подушку. Она представила себе некую пару, абстрактную любящую пару. Случайность ли это или закономерность — существование такой пары? Встретился бы другой, лучше этого, или другая, лучше этой, изменилось бы что-нибудь? Полюбила бы женщина этой абстрактной пары другого или нет?

И она поймала себя на том, что в мыслях объекты этой пары материализовались в виде ее самой и Нестора.

Он и она, и никто другой.

Да, но как быть с тем, что Бетаров вовсе ей не интересен? Подумаешь, смазливый парень с веселой улыбкой, не привыкший лазить за словом в карман. А что кроме этого? Смешно и предположить, что он может быть лучше всех, кого она знала или могла узнать!

Она и думать о нем не хочет!

И не могла думать ни о чем другом.

А может быть, именно так и бывает, им нужно было найти друг друга? Золотоискатели чаще всего довольствуются россыпью. Они даже мусор никогда не выметают из избы, из артельного барака — все собирается, сжигается в печи, а зола потом промывается как золотиносный песок, чтобы собрать случайно оброненные, слутые золотые крупинки. Но ведь попадаются иногда и самородки. Найди свой самородок и думай, что он исключение, твой единственный, твоё счастье.

«Не ошибись! — тут же зазвучал предостерегающий голос. — Ты уже однажды думала, что нашла своё счастье. И как обожглась! До сих пор забыть не можешь. Девчонкой была, студенткой. А он взрослый человек, солидный и такой интересный... Чего только на свете он не знал! Где только не был!.. Директор научно-исследовательского института. Ну, и влюбилась, ох, влюбилась!.. И только потом разобралась, что он, как вещь, взял её к себе в дом. Кончила институт, распределение. Он говорит: «Имей в виду, ты никуда не поедешь. Позвоню Льву Викторовичу, останешься при кафедре». Ну, а как же «жена да прилепится к мужу своему»? А он из Москвы выезжать не собирался. Конечно, это естественно. У него высокий пост, положение. И вот осталась при кафедре. А потом он извел ревностью. Она осталась в Москве. Ради него. Но летняя практика со студентами? Один раз поехала, что было! Письма, телеграммы, по ночам вызовы к телефону, наконец, примчался туда, к ней. Стыд и позор! Институт для чего кончила? А он, этот солидный, представительный человек, с докторским званием, хоть бы книгу когда-нибудь взял, прочел. Научная работа? Он забыл о ней. Одно осталось — на заседаниях ораторское творчество на пустом месте. Научные статьи составляют сотрудники, а он подписывает... Как баба, шнырял по комиссиям, тащил в дом фарфор, хрусталь. Ценил, что подороже. «Материальная база на старость». Придет домой, клеит какие-то коробочки из разноцветной бумаги. Для отдыха. А от чего ему отдыхать?.. Она у него четвертая жена была. И до нее все уходило. Духота, как в шкафу, который давно не проветривали. Может быть, и этот такой же ничтожный, декоративный субъект?»

Да, но почему он заставляет думать о себе, думать, думать?.. Чем он заворожил её? Чем привлек? Что она нашла в нем?

И вдруг тревожная мысль: неужели теперь все кончено? Ведь он даже не попытался увидеть её! Как просто и банально все решилось! Как у маленькой девочки — мама и папа запретили. Но даже у маленькой девочки разве так просто все решается?

Она вскочила с постели, прошлась по комнате от окна к двери, от двери к окну. Она чувствовала во всем теле необычайное напряжение. Она остановилась, нахмурилась. Нужно найти какой-то выход!..

Татьяна Андреевна поглядела на стол с разложенными бумагами, на измятую постель и остановилась в раздумье, похлопывая кулаком по открытой ладони. И затем занялась перестановкой в комнате — так делала она всегда в минуты сильного душевного волнения. Письменный стол — на место кровати, кровать — на место стола. Платяной шкаф — от двери к окну.

Она двигала мебель сама, с напряжением всех сил, и от этого отходило от души, отлегалось от сердца.

На шум пришла Грушецкая. Она поглядела, что происходит, и спросила многозначительно:

— Перемена декораций?

Татьяна Андреевна кивнула в ответ, продолжая толкать к окну платяной шкаф.

— Может, позвать Меликидзе или Пучкова?

— Не надо.

Все ясно — посторонней помощи не требуется. Но Грушецкая не могла остаться безучастной свидетельницей. Она ухватилась за шкаф с другой

стороны, и вскоре молчаливые усилия двух женщин увенчались успехом—перестановка была закончена.

— Надоело старое расположение, — сказала Татьяна Андреевна, чтобы как-то оправдаться.

У нее расстегнулся чулок. Не сгибая ноги в колене, она пристегнула подвязку.

— Какая вы изящная, красивая! — вздохнув, сказала Грушецкая. — Ну, я пойду. Спокойной ночи, милая!

Татьяна Андреевна заперла за Грушецкой дверь, оглядела комнату, но даже не оценила, лучше стало после перестановки или нет. Она потянулась, зевнула, быстро разделась.

Нет, перестановка в комнате не помогла. Она легла в постель, погасила свет и тотчас снова стала думать о Бетарове.

Мысли ее смешались, и только какие-то бессмысленные, «цветочные», как она их называла, слова толклись в ее уме. И лицо Нестора Бетарова, смуглое, улыбающееся, точно раскаленное на солнце, его глаза и весь он, ладный, пружинистый, в черном рабочем костюме..

С этим она заснула.

Об Авдюхове, к которому она так хорошо относилась, так жалела, судьба которого так бесконечно ее трогала, тревожила и который уезжал, и, может быть, навсегда, она не успела вспомнить.

21

На открытой горной поляне, кое-где поросшей кустарником, среди отрогов хребта находилась угловая станция, на которой подвесная канатная дорога поворачивала к обогатительной фабрике. Вагонетки проходили угловую станцию, не останавливаясь и не расцепляясь с тяговым канатом. Это была автоматическая станция; она работала без обслуживающего персонала.

Тихим ранним утром на шоссе возле тропы, которая вела к угловой станции, остановилась грузовая машина. Вздрагивая от утренней сырости, рабочие подвесной дороги выгрузили из кузова цепные ключи, молотки, кувалды, старый коллективный вешевой мешок с провизией. Дальше в горы машина идти не могла.

— Инструмент давайте ко мне, на багажник, — сказал Бетаров, останавливая мотоцикл возле грузовика.

Пожилой рабочий Мергнев и помощник старшего мастера Савельев увязали на багажнике нехитрый свой инвентарь; рабочий Тарасов, бывший сельский кузнец, медлительный и могучий, вскинул на плечи вешевой мешок.

Не спеша рабочие двинулись по едва заметной тропе в горы. Шаркая по траве то одной ногой, то другой, Нестор Бетаров обогнал их на виляющем мотоцикле. Промерзшая за ночь трава хрустела под его шинами, как станиоль.

По ложбине, полого поднимающейся в гору, Нестор объехал крутой склон, миновал одну возвышенность, другую. Вокруг синели отроги хребта, в ложбинах лежал ночной туман, на дальних вершинах нестерпимо сверкал снег, розоватый от утреннего солнца; снеговая линия была низка, с каждым днем она опускалась все ниже и ниже.

Нестор Бетаров приостановился и поглядел вокруг. Здесь, в горах, глубокая осень, скоро придет зима, а где-то совсем близко, если считать по прямой, лето в разгаре, зеленеют на берегу моря курортные города, люди купаются, загорают на пляже. Что ж, зато какая здесь красота! Все ближние склоны в рыжем и красном цвете, точно огнем горят. «Эх, был бы я художник, каких бы картин не нарисовал! — подумал он, взды-

хая.— А дышится как легко! Нигде здоровому человеку так хорошо не дышится, как в горах...»

Поблекшая, увядшая, схваченная ночными заморозками трава быстро отходила на утреннем солнце, и когда Бетаров подъехал к угловой станции, она уже не хрустела, а стегала мокрыми прядями по его ногам, по колесам мотоцикла.

На шум мотоцикла из дверей угловой станции, расположенной на металлических опорах на уровне канатов подвесной дороги, выглянул Андрюшка Кондратьев, тот самый парень, которого отучали от бахвальства и брехни с помощью талкового магнето. Он приехал сюда по воздуху на служебной вагонетке и привез новый подшипник для поворотного блока, масленку и жестяную банку с солидолом.

— Товариш Бетаров, здорово! Хлеб вам да соль! Прибыли, значит-ся? — закричал Кондратьев веселым свойским голосом, но его сонное, унылсе лицо при этом несколько не оживилось.

Он стоял в дверях будки, держась руками за поручни отвесной металлической лестницы, и смотрел, как Нестор ставит у подножия эстакады мотоцикл.

— Ну как, Кондратьев, стучит? — спросил снизу Бетаров.

— Стучит, будь он неладен. И греется. Рукой не дотронешься до контргайки.

Бетаров быстро влез наверх.

Вагонетки входили на станцию с одной стороны пустые, с другой — груженные, постукивали на стыках ведущих канатов с рельсовыми путями станции и расходились в разные стороны с каким-то деловым, важным видом.

Бетаров прислушался к стуку подшипника поворотного блока.

— Полетел подшипник, ясное дело, придется менять.

Он сделал попытку на ходу отвернуть длинным ключом контргайку поворотного блока. Это ему не удалось. Он бросил ключ и, зачерпнув пригоршню руды из проходящей вагонетки, подкинул ее на ладони.

— Вот она, чертяка, наша ценность! — сказал он.

Тем временем подтянулись остальные рабочие.

— А ты уже тут, Кондратьев? Как доехал в служебном вагоне? Остановку не проспал? — спросил снизу Савельев.

— Он теперь у нас отученный спать, — сбрасывая на траву вещевого мешок, заметил Тарасов. — Верно, Андрюшка? Ты где там?

Кондратьев подошел к дверям будки.

— Отученный, верно, — подтвердил он своим унылым голосом. — Отучали от брехни, а лишили сна, черти немытые!

— Обратно брешешь. Спать ты здоров, как сурок зимой, — сказал Тарасов.

— Ну, и брешу! И буду! Вы отучали, а я зарок не давал бросить брехать. Понял? — огрызнулся вдруг Кондратьев. — Не обязывался балакать одну правду! Скукота, понял?

— Видали? Вот змей! — удивился Тарасов.

— Артист, — сказал Савельев.

В брезентовом, парусящем на ветру плаще, быстрый и ловкий в движениях, как Бетаров, он поднялся к нему на эстакаду, и они вместе стали осматривать поворотный блок.

На канатной дороге, как в каждом деле, требующем выносливости и мужества, работали в большинстве красивые могучие люди, люди, похожие на моряков, на буровых мастеров, на доменщиков; таким был и атлетически сложенный Савельев, лучший игрок поселковой футбольной команды; и богатырь Тарасов; таким был и Бетаров. И только Мергиев, самый старый в бригаде Нестора, не отличался красотой и складностью — широкоплечий, коротконогий, с красным бугристым лицом,

толстыми, словно обкусанными ушами, низким покатым лбом, красным, точно из сырого мяса, морщинистым затылком. В молодости Мергиев был цирковым борцом. Звали его Ваграмом Мартиросовичем, но товарищи величали его Маркелычем — так им было удобнее, а он не возражал.

Пока Бетаров и Савельев осматривали поворотный блок и прикидывали, какая предстоит работа, Мергиев и Тарасов сняли с мотоцикла инструмент и сложили его у подножия лестницы. Вокруг металлических ног эстакады в густой траве валялись ржавые обрывки каната, пробитая железная бочка из-под горючего, обрезки досок, брошенные плотниками, обшивавшими будку станции, лежала на боку старая вагонетка. Все это, смоченное дождями, зимовавшее под снегом, обдудое ветрами, не раз по весне заново обраставшее луговыми травами, приобрело привычный вид, вписалось в окружающий пейзаж наподобие скал или кустарника. Чуть в стороне чернело пятно на том месте, где рабочие канатной дороги постоянно разводили костер.

Мергиев собрал досок, щепы, Тарасов сходил за водой к маленькому ключу, бившему в каменном распадке, и они принялись разжигать огонь.

— Затянули с этим ремонтом, и вот дожили, — ворчливо сказал в будке станции Савельев.

Он вытащил из кармана пачку «Севера» и протянул Бетарову. Не дожидаясь приглашения, Кондратьев тоже потянулся за папиросой.

— Весь блок пора менять. Ты смотри, как его стерло канатом. Смеешься, все сроки прошли, — ответил Бетаров, разминая папиросу. — Ладно, раз такой переплет, сменим подшипник, только и всего. Хорошо хоть убедил главного инженера остановить дорогу на два часа. Управимся?

— Надо управиться, какой может быть разговор.

Они закурили.

— А то ведь ночью придется работать. В потемках.

— А чего, можно поработать и ночью, наше дело ремонтерское.

— Я еще дня три назад здесь был, хотя по графику и не полагалось. Чуюло мое сердце, — снова сказал Бетаров.

— Не люблю работать ночью, — сладко затягиваясь, сообщил Кондратьев. — Тут у нас что хорошо — природа. Пичужки разные, которые зимние, лафа!.. Я вон там на скале, когда приехал, тура видел. Ну, может, не тура, козла. Кто их разберет. А ночью что, ничего не видеть. Унылость.

Голос Кондратьева звучал молодецки, бойко, а лицо оставалось постным и хмурым.

— Кондратьеву интерес до природы, — усмехнулся Савельев. — Будет брехать.

— А то вот смотришь, и чего тут только не растет! Вон, к примеру, глянь-ка, по-нашему, вроде лопух, а по-здешнему какой-нибудь фикус, что ли. Я-то ведь сам орловский.

Кондратьев ткнул рукой в оконце. Ни Бетаров, ни Савельев и не взглянули, на что он показывает.

— Фикус — растение домашнее, тут ему делать нечего, — назидательно заметил Савельев.

— А что, я природу уважаю, — упрямо повторил Кондратьев, будто с ним спорили.

— Не смей людей, дай-ка лучше масленку, — сказал Бетаров. — О природе мы дома поговорим.

Он смазал подшипник поворотного блока, однако постукивание не прекратилось. Запахло горелым маслом.

— Как припарки мертвяку. Полетел подшипник,— заметил Савельев и сплюнул в оконце.

Бетаров посмотрел на часы.

— Рано прибыли. До остановки уйма времени.

— Ничего не рано. Пока пообедаем,— сказал Савельев.

Один за другим они спустились с эстакады и подошли к костру.

Нестор снял ватник, бросил на увядшую траву и разлегся шагах в пяти от костра. Небо над ним было далекое, бездонное и пустое. Ни облачка, ни птицы на всем протяжении от горы до горы. Легкий ветерок тянул в его сторону запахом сухой травы. Временами этот запах забивало горьким дымом костра.

Лежа на спине и глядя в небо, Бетаров подумал о том, что ведь это, если честно признаться, беда с ним приключилась, и ничего больше. Нужно же было потерять голову, втрескаться по уши, и в кого!.. Да на черта он сдался ей, пентюх неотесанный! Да еще сдуру вел себя так, что хуже нельзя. Наверно, она теперь и слышать о нем не может...

И мысль эта была такой нестерпимой, обжигающей, что он покосился на товарищей, точно они могли догадаться, о чем он думает.

«А все-таки я ее переломлю. Пусть что хочет делает, не отстану, не смирюсь!»

Тарасов, сидевший на корточках у костра, пригнулся еще больше и глянул вдруг на Кондратьева с одной стороны, потом с другой, будто что-то увидел в его лице.

— Чего тебе? — спросил Кондратьев обеспокоенно и провел ладонью по щеке.

— А ты не больной, Андрюшка? — участливо спросил Тарасов.

— Почему больной?

— А посмотри, до чего все у нас здоровые, загорелые, веселые. А ты блеклый какой, будто застиранный.

— Иди ты, знаешь! — сказал Кондратьев, поняв, что его опять разыгрывают.

Рабочие засмеялись.

Нестор перекатился на живот, приподнялся, вытащил из кармана ватника книжку и стал читать.

Конечно, потому он и голову потерял... Она не такая, как другие, тотчас снова подумал он о Татьяне Андреевне, вспоминая, как последний раз, кончив работу, помчался на станцию и все, что там произошло. Набраться бы силы и чтобы туда больше ни ногой. Не пара она такому человеку, как он. Да как же наберешься силы, когда день и ночь о ней только и думаешь! Потому его так и потянуло к ней, что она не такая, как другие. А дотянешься ли, кто знает? Какую чертову пропасть книг он прочитал, сколько всего запомнил, ни дать ни взять в башке целая энциклопедия, а есть ли настоящие знания, пойдй разберись!..

Тарасов выкатил из золы костра испекшуюся картошку, Мергиев развернул тряпицу с солью, вынул из вещевого мешка литровую бутылку молока, развернул запасенные каждым рабочим съестные припасы — хлеб, печеные яйца, помидоры, козий сыр.

— Нестор, будет тебе читать, и так чересчур вумный, — сказал Тарасов.

Бетаров закрыл книгу.

И только он пошевелился, чтобы подсесть к костру, как в дальних зарослях шиповника послышался громкий птичий крик.

— А ну, тихо! — скомандовал Нестор и застыл, вытянув шею.

Все замолчали, насторожились. Тарасов замер на корточках у костра. У Кондратьева от любопытства и ожидания открылся рот и отвисла челюсть. Едва заметным движением головы Бетаров показал в сторону дальней опоры.

Там, на краю поляны, у самого леса, зеленовато-рыжей волной поднимавшегося к гребню горы, можно было разглядеть в траве двух больших серых птиц. Они были похожи на куропаток, с такими же палевыми разводами, только покрупнее. Над ними у самой опоры, на голой скале, стоял красавец тур, могучий, круторогий, с царственной осанкой. Секунду или две нельзя было заметить в нем никаких признаков жизни. Он был как бы продолжением скалы. Потом он потянулся к бетонному башмаку опоры и то ли лизнул его, то ли понюхал.

— Гей! — заорал вдруг дурным голосом Кондратьев.

Тур исчез мгновенно, одним невероятным прыжком, точно в нем сработала тайная пружина. Исчезли и улары — горные индейки, всегда обитающие вблизи стоянки туров.

— Эх ты, микроб поганый! — с укором сказал Кондратьеву Мергиев. — Тур не боится ни бетона, ни металла, привычный, видать, к нашей дороге, будто она сделанная от природы, а ты на его кричишь! Блажной ты парень, Андрюшка, придется тебя опять просвещать магнетой.

— Эх, ружье бы! — сказал Кондратьев, не слушая Мергиева. Он весь преобразился, слетело уныние с его длинного тусклого лица, блеклые щеки порозовели. — Так бы и врезал промежду глаз.

Бетаров ласково тронул его за коленку и показал кулак.

— А это видел?

— А что? Зверь ведь — значит, давай бей!

— У нас в селении нашелся такой пряткий. Ты хоть, Кондратьев, дурной, а тот — охотник, закон знал. Говорит, тур, видишь ли, вышел прямо на него. Он и жажнул сразу из двух стволов. Вопрос, конечно, зачем у него ружье заряжено пулями. Приволок он тура в селение, закатил пир на весь мир. Кто-то из гостей на охотника и донес. Пришли из охотничьего надзора — плати штраф десять тысяч...

— Иди ты! — сказал Кондратьев, все еще оживленный.

— А что? Небось не меньше, — заметил Тарасов.

— В точности не знаю. Одно известно — большой штраф. Охотник туда-сюда, а это, говорит, глупость для детей и клевета. Не убивал я тура, убил дикого козла, а приятелей обманул, чтобы больше чести. «А какие у тебя доказательства?» Пожалуйста, завтра принесу голову. Проходил весь день в горах — нет козла. Тогда он в город поехал, упротил на бойне продать голову домашнего рогача и принес. А ты: «Эх бы ружье!..»

Вода в котелке закипела, заварили чай, и рабочие принялись за еду.

— Нестор, а как насчет пульпопровода? — поедая горячую картошку с помидорами, спросил Мергиев.

— Затерло пульпопровод.

— Верно. Вараксин — бюрократ, чтоб ему треснуть не по шву! Вот сквалыга, свет таких не видал! — сердито отозвался Тарасов.

— Да уж что говорить, — сказал Савельев. — Как Нестор воевал насчет роликов на вагонетках? А плохой получился результат? — Он стал загигать толстые, привычные к грубому металлу пальцы. — Переиначили ролики по-нашему — стали меньше греться подшипники, снизился расход смазочных материалов, вагонетки стали устойчивее. Значит, давай пускай их быстрее. Плохо? Новое предложение — комбинированные коронки для станков Крелиуса. Опять есть эффект!

— Про это мы знаем, — сказал Тарасов.

— Мы знаем, а он не знает? Чего он с пульпопроводом тянет? Время идет, люди смеются.

— А чего смеются? Нечего смеяться. Осточертели эти новшества, — сказал Кондратьев, и лицо у него снова было унылое, постное, скорбное. Тарасов рассмеялся.

— Вот-вот! Так, наверно, и Вараксин кумекает. Новшества человеку спать не дают. А человек спать любит.

— Нет, братцы, — сказал Бетаров. — С пульпопроводом я сам малость сплеховал. О Вараксине, ежели говорить, он что же, инженер неплохой, знающий. И не в том вопрос, что бюрократ. Кстати, он и не бюрократ вовсе. Хитрый мужик и ленивый, как черт. Вот в чем секрет. К тому же, может, и обиженный.

— На кого он обиженный? — с вызовом спросил Тарасов.

— На бога, на людей, на самого себя... Где-то его малость, может, тюкнули, вот он теперь не мычит, не телится. На производстве хуже нет обиженного человека. Бюрократ — это всегда карьерист. А Вараксин сидит на руднике, о карьере не помышляет, одного хочет — поменьше хлопот, поменьше затруднений. Ни до чего ему дела нет. Вот в чем его беда.

— Кому молока налить? — спросил Мергиев.

Кондратьев подставил кружку.

— Ну, хорошо, Вараксин, Вараксин, а с пульпопроводом что? — напомнил Савельев.

— С пульпопроводом у меня осечка. Знаний не хватило. С виду будто эффектная вещь, а если разобраться, экономически — пшик, и все!.. Я посидел с механиком, он все расчеты выложил. Если бы трасса шла с постоянным уклоном, тогда ничего. А тут горы. В одном месте один уклон, в другом — иной, в третьем — обратно подъем, да немалый. Расчеты приказал сделать Вараксин. Взяли разрез местности, высотные точки. Своим ходом пульпа не пойдет, Вараксин это сразу еще без расчетов понял, инженерская башка все-таки. Нужно строить насосные станции для подкачки. Нет выгоды, вот какая вещь... Ничего, придумаем что-нибудь другое. Неудача, что говорить, я сперва сильно расстраивался.

— Чего расстраиваться? Не каждое предложение обязательно идет в дело, — сказал Савельев.

— А говорил, дробилки ставить некуда, — заметил Мергиев.

— Это он с ходу, чтобы поскорее отделаться. А когда я нажал, он вызвал механика. Ничего, что-нибудь предложим другое. На пульпопроводе свет клином не сошелся.

— Заладили: «Вараксин, Вараксин!» А он какой человек? Да так, одно слово — гильза, — сказал Тарасов.

— То есть как — гильза? — не понял Мергиев.

— Ну, гильза. Стреляный патрон. Приедет новый директор, он ему даст жизни!

— И кому они нужны, эти новшества? — уныло повторил Кондратьев.

Бетаров вытер о траву руки и взглянул на часы.

— Двенадцать без двадцати! Давайте, братцы, на станцию. Сейчас остановят дорогу.

Все поднялись, сложили остатки провизии в вещевой мешок. Мергиев затоптал костер и выплеснул в него остатки из чайника.

— Ну и черт с ним, с пульпопроводом! Лучше нашей подвесной, кудахощьшагающей, ничего в горах не придумаешь. Ни оползни ей не страшны, ни снежные заносы, ни мостов не нужно, ни туннелей. Топает с горы на гору, чисто великан какой, — сказал Тарасов.

Дни становились короче, пасмурнее, все чаще крутили жестокие вьюги. При сумеречном зимнем свете склоны ущелья выглядели призрачными. Очертания гор, запорошенных снегом, задолго до наступления темноты сливались с небом, и склоны ущелья, отдельные вершины

хребта казались теперь не горами, а лишь тенями гор. И от этого еще угрюмее, еще злее выглядели скалы, нависшие над рекой.

Шло время. Бетаров на станции не появлялся. Не подавал о себе вестей и Вараксин. Авдюхов уехал перед Октябрьскими праздниками, и жизнь на станции стала еще однообразнее. По вечерам, собираясь в кают-компанию, сотрудники станции с сожалением поглядывали на пианино — некому теперь было его терзать, и иногда им казалось, что пытка звуками, которой подвергал их суровый аэролог, не такая уж неприятная вещь. Вернется ли Авдюхов из отпуска? Никто из сотрудников гидрометеостанции не взялся бы на это ответить.

В одно из воскресений на станцию вдруг позвонил Вараксин и как ни в чем не бывало пригласил всех сотрудников во Дворец культуры на большой концерт самодеятельности, машину он пришлет. Вот человек без самолюбия! Даже если чувствует себя виноватым, не рано ли он старается помириться с работниками метеостанции?

Дежурным наблюдателем в тот день был Пучков, но Татьяна Андреевна колебалась, не остаться ли ей вместо Пучкова, — уж очень не хотелось видиться с Вараксиным и страшно было встретиться с Бетаровым. Все стали уговаривать ее, а Пучков заявил, что так или иначе, а он на концерт не поедет, — как молодой пес, он не переносит вокала, а пение на вечерах самодеятельности — основной вид художественного творчества; он лучше почитает учебник климатологии.

Боязнь Татьяны Андреевны встретиться с Бетаровым была лишь одной стороной вопроса, ехать или не ехать. Другой стороной вопроса, и настолько значительной, что она пересилила нежелание столкнуться с Вараксиным, было желание увидеть Бетарова. Почему столько дней не появляется он на станции?

Были веселое оживление, суматоха, суета, как обычно при коллективных выездах. Валентина Денисовна переругивалась с Марьей, давая ей наставления на утро, Грушецкая носилась из комнаты в кухню разглаживать платье, Сорочкин и Меликидзе бегали бриться в умывальную, Гвоздырьков, собравшийся раньше всех, как неприкаянный бродил по коридору, опасаясь, что кто-нибудь задержится и заставит ждать рудничный грузовик.

Было уже совсем темно, когда машина засигналила во дворе, оповещая о своем прибытии. Все высыпали наружу. Прыгала и лаяла Альма, Пучков, волосатый, взъерошенный, без шапки, в распахнутой брезентовой куртке с большим капюшоном, в неуклюжих авиационных унтах, дудел на крыльце веселые марши. Валентину Денисовну посадили к шоферу в кабину, остальные устроились на скамейках в кузове, и машина тронулась.

Не проехали они и десяти минут, как далеко впереди на шоссе вынырнул мотоцикл. Он мчался к ним навстречу, и его одинокий глаз то появлялся на излучинах дороги, то пропадал за выступами скал.

Первым его заметил Меликидзе.

— А вот и наш механизированный джигит, — сказал он заинтересованно.

Все посмотрели вперед, только Татьяна Андреевна привалилась к стенке шоферской кабины и не повернула головы.

На ближайшем повороте дороги Бетаров остановился, и фары автомашины выхватили его из темноты. Шофер, не притормаживая, пронесся мимо. Татьяна Андреевна поняла, что Бетаров высматривал ее среди пассажиров грузовика. Вряд ли в темноте он мог ее увидеть. Как бы то ни было, но Бетаров немедленно повернул мотоцикл и поехал вслед за машиной. Он быстро нагнал грузовик, сбавил скорость и, ухватившись левой рукой за нижний брус кузова, поехал у обочины с той стороны

борта, у которой сидела Татьяна Андреевна. Неужели он все же разглядел ее?

— На концерт? — спросил он, и она поняла, что он улыбается. Она молча кивнула в темноте, продолжая сидеть, прислонившись к стенке шоферской кабины. — Собрался за вами, а вы, оказывается, вон какие прятки,— снова сказал Бетаров.

— Небось хотели подвезти Татьяну Андреевну на мотоциклетке? — спросил Меликидзе, готовый расхохотаться.

— А почему бы и нет? И быстрее и интереснее,— невозмутимо ответил Бетаров.

Гвоздырьков, сидевший рядом с Татьяной Андреевной, неодобрительно покосился в сторону Нестора.

— Прекратите ухарство, расшибетесь! — сердито сказал он.

— Это кто там еще? А-а, товарищ Гвоздырьков! Весьма возможно, но я живуч, как кошка.

Татьяна Андреевна ни одного слова еще не сказала Нестору. Она ехала, не шевелясь, с удивлением прислушиваясь к радости, заполнившей ее сердце.

Машина шла быстро. Мелькали в свете фар срезанные дорогой желтые склоны, мордастые призрачные скалы, каменные осыпи, оранжевые деревья и кусты. Ничего больше не было видно, точно машина шла в туннеле.

Перегнувшись через борт грузовика, Гвоздырьков заглянул в окно шоферской кабины и спросил заботливо:

— Ну как, Валюша? Не холодно?

— В кабине, ясно, не холодно. А вот Татьяна Андреевна наверняка продрогла,— тотчас заметил Бетаров.

— Даже когда не к нему обращаются, он тут как тут,— не удержавшись, высказался Сорочкин.

Бетаров, возможно, и не расслышал слов Сорочкина, но узнал Геннадия Семеновича и почувствовал, что тот говорит о нем.

— А-а, и вы здесь?! — сейчас же с вызовом выкрикнул он.— Ну как, все цветете, все пылаете?

Сорочкин не ответил. Делая вид, что присутствие Бетарова за бортом грузовика его не касается, он обратился с каким-то деловым вопросом к Гвоздырькову. Они негромко заговорили между собой. Речь шла о том, что Вараксина нужно попросить о какой-то хозяйственной услуге. Откажет или не откажет?

— Во всяком случае, финтить не будет. Скажет правду-матку, как есть,— сказал Сорочкин.

Бетаров, задетый тем, что они прикидываются, будто не замечают его, минуту-другую молчал, но, как только они заговорили о Вараксине, сейчас же вмешался в разговор.

— Правду-матку! — проворчал он.— Во всяком случае, правду-матку Вараксин режет не от большого ума, как вы думаете, а от дурного характера!

Он вмешался в разговор так, точно ехал не на мотоцикле, а вместе со всеми в грузовике. Как только он ухитрился держаться в седле? Дорога, правда, еще не начала петлять, но все же, следуя за профилем ущелья, она змеилась, бросаясь из стороны в сторону, а он мчался по самой обочине, освещенной единственной фарой его мотоцикла. И то обстоятельство, что в действительности он все же находился не рядом со всеми в грузовике, а ехал отдельно, сам по себе, давало ему какое-то повышенное право на независимость, хотя в робости его никогда нельзя было упрекнуть,— и Гвоздырьков с Сорочкиным как бы вынуждены были считаться с его нахальной и вызывающей автономностью.

Татьяна Андреевна про себя оценила комизм положения, но не пошевелилась.

— Ну, а как насчет прогноза погоды? — задирая их, снова проговорил Бетаров.

— Прогнозы есть, да не про вашу честь. Делаете вид, что забыли о распоряжении Вараксина? — огрызнулся Сорочкин.

— Распоряжение Вараксина! Сводка нужна мне лично. На канате будет работать не Вараксин. Я с ребятами.

Теперь вмешался Меликидзе. Он перегнулся через борт грузовика и сказал:

— В самом деле, дружище, сломаете шею.

— Вам-то что до этого?

— Да просто из хорошего отношения к человеку, — отрезал Меликидзе.

— Ах, вот как? — отозвался Бетаров, не найдя, что ответить.

Уже миновали развилку, дорога стала шире и прямее. Грузовик прибавил ходу. Бетаров не отставал.

— Горец, темный человек, чего доброго, схватит нашу Татьяну Андреевну, и поминай как звали, — снова сказал Меликидзе.

— У них кони, как ветер, — подхватила Грушецкая.

— У него кони? Мотоциклетка! — презрительно сказал Сорочкин. Сидя в грузовике, он отчетливо ощущал свое преимущество.

— А что думаете? Умчу на мотоциклетке. Модернизированное умыкание, — невозмутимо подтвердил Бетаров.

— Ну, перестаньте, наконец! — сказала Татьяна Андреевна.

У нее было такое превосходное настроение, что она не почувствовала раздражения, а просто из приличия решила вмешаться.

— Хорошо, если бы только глупость, — не унимался Меликидзе. — А то ведь кинет поперек седла, как древний скиф на южнорусских равнинах.

— Тем более, что скифы — это предки осетин. Во всяком случае, имеется такая теория, — сказал Бетаров.

— Вот чепуха какая, просто уши вянут, — сказал Сорочкин.

Грузовик резко притормозил перед поворотом, мотнулся в сторону, и Бетарова с его мотоциклом прижало к обочине.

— Осторожнее! — закричала Татьяна Андреевна в испуге и даже привстала с места.

Бетаров отпустил брус кузова, притормозил и отстал от грузовика. Но едва машина миновала поворот и вышла на прямую, как он прибавил газу, снова нагнал полуторку и ухватился за нижний брус.

Татьяна Андреевна заволновалась.

— Господи! — сказала она. — Хватит фокусничать! Ну, пожалуйста, поезжайте нормально, уже все оценили вашу доблесть.

— От меня не легко отделаться, — сказал Бетаров.

— И в этом мы давно убедились. Так что, прошу вас, не надо доказательств.

Бетаров снова отстал от грузовика, посигналил шоферу, предупреждая, что идет на обгон, прибавил газу, снова поравнялся с тем местом, где сидела Татьяна Андреевна, и сказал негромко:

— Я вас так давно не видел!

Татьяна Андреевна не ответила. И в ее молчании Бетаров отчетливо и остро почувствовал: что-то шевельнулось в строгой и замкнутой душе молодой женщины. И это чувство было так неожиданно для него, что он разволновался, замешкался, не сумел обойти грузовик и снова отстал. Силы в нем сейчас было столько, что он готов был, как в цирке, оторвать от земли переднее колесо и промчатся мимо автомобиля на вздыбленном мотоцикле.

Он еще раз посигналил, предупреждая, что идет на обгон, шофер ответил сигналом: ну, где же ты? Давай, пошевеливайся! Бетаров прибавил газу и, обходя грузовик, закричал победным голосом:

— Товарищу Сорочкину пионерский привет!

23

Сотрудники гидрометеостанции присхали во Дворец культуры задолго до начала концерта. Меликидзе и Валентина Денисовна, не теряя времени, поспешили в буфет, где продавали апельсины, остальные прошли в еще пустое фойе и расположились кому как было удобнее.

Татьяна Андреевна старалась не глядеть на входные двери фойе и, досадуя, ловила себя на том, что ждет Бетарова.

Он почему-то задерживался. Вместо него вскоре в фойе вошел Вараксин — очевидно, заметил из окна кабинета в рудоуправлении, как они подъехали.

— Рад вас видеть, Татьяна Андреевна. Как самочувствие? Настроение? Уважаемому Петру Петровичу, Геннадию Семеновичу нижайший привет и наилучшие пожелания. Доехали благополучно?

— Вы нас совсем забыли, Сергей Порфирьевич,— сказал Сорочкин.

— Дела, дорогие товарищи, дела. А где же остальные? Где Валентина Денисовна?

— Валентина Денисовна и Меликидзе пошли в буфет. Авдюхов уехал в отпуск,— сказал Гвоздырьков.

— Авдюхов в отпуск уехал? Ну, и слава богу! Может, после отпуска будет в лучшем настроении. Очень рад видеть вас всех здоровыми и невредимыми. — Он взял под фуку Татьяну Андреевну. — На два слова, Татьяна Андреевна.

Гвоздырьков деликатно потупился и отвернулся. Сорочкин отошел к окну.

В фойе было пусто, публика еще не начала собираться, и слышно было, как за окном с открытой форточкой плачет навзрыд циркулярная пила.

— Мы давно не виделись, Татьяна Андреевна. Вы похудели,— сказал Вараксин, и бархатный, раскатистый бас его потускнел.

— Вам кажется. Мы действительно давно не виделись, и вы просто забыли, какая я.

— Забыл? — Он энергично покачал головой и даже зажмурился. И на этот раз это не походило на кокетство, а выглядело искренне. — Думаю, дело не в забывчивости.

Он помолчал, и опять без обычного кокетства, без обычной для него ложной многозначительности.

Татьяна Андреевна еще не догадывалась, что ей грозит второй накат любовных объяснений, тем более, что здесь, на глазах у начинающей собираться публики, они по меньшей мере были неуместны.

Впрочем, Вараксин отдавал себе отчет, что место для объяснений выбрал неудачное.

— Сейчас, конечно, не время, но я просто потерял голову,— тихо и необычно сокрушенным тоном сказал он.— Татьяна Андреевна, жизни без вас нет.

Вот теперь она сообразила, к чему идет дело, и подумала с содроганием: «Господи, чего доброго, он еще станет на колени!..»

— Тише, Сергей Порфирьевич, мы не одни, кругом люди,— сказала она, чувствуя, как в ее душе нарастает не ощущавшееся прежде отвращение к Вараксину.

Но остановить его она не сумела.

— Мне так много нужно вам сказать,— громким шепотом, с придыха-

нием, с паузами, забормотал Вараксин, отводя Татьяну Андреевну к нише. — На свете нет любви, нет счастья... Ничего не осталось. Нет дружбы, искренности, верности. Только двуличие, ненависть, лицемерие, злорадство. И я никого не люблю, не любил. Ни с кем не дружу. Живу среди людей, а одиночество, как в пустыне. Только вы, одна-единственная...

Голос его звучал трагически. За окном снова заняла циркулярная пила, надоедливо и безотрадно.

— Сергей Порфирьевич, на нас смотрят. Господи, зачем давать повод для сплетен!

Вараксин рассеянно и с досадой поклонился в ответ, не видя, кому кланяется, и продолжал, как в беспамятстве:

— Проклятая жизнь! Живем в местности, где на квадратный километр приходится две десятых человека, а негде даже на полчаса остаться вдвоем. Вы одна, одна-единственная, милая Татьяна Андреевна, и больше никого нет. Если бы вы знали, как трудно найти человека. Женщин красивых, даже умных, тем более соблазнительных — много. Но душевных, отзывчивых... Никого не знаю, кроме вас. Женщина должна быть одновременно любовницей, матерью, другом, сестрой...

Ей было и противно, и смешно, и стыдно.

— Откуда у вас уверенность, что я именно такая женщина?

Краем глаза она увидела: в фойе вошел Бетаров. Он вошел, он летел по фойе, он скользил. Он искал ее, это было ясно сразу.

И видно, — впрочем, так и следовало ожидать, — он неплохо чувствовал себя среди публики, принарядившейся по случаю концерта.

— Вы не слушаете меня...— вдруг дошел до сознания Татьяны Андреевны жалкий, взволнованный, неправдоподобно робкий голос Вараксина.

— Да, да, я вас слушаю, Сергей Порфирьевич, слушаю... Но только не сейчас, не здесь!..

— Уедем отсюда, бросим все, начнем новую жизнь, милая, хорошая.

Она отчетливо слышала, о чем он говорит, отлично понимала каждое его слово.

— Сергей Порфирьевич, да бог с вами, перестаньте. Подумайте, что вы говорите!

Фойе наполнялось людьми. Шагали по залу горняки в тесных пиджаках, геологи, которых легко было узнать по обветренным лицам, работники автобазы и обогатительной фабрики. Но среди этой толпы она все время видела Нестора Бетарова. Он поминутно здоровался со знакомыми, останавливался то с одним, то с другим, но она видела: он ищет ее. Наконец и он ее заметил, а все же не ускорил шага, чтобы побыстрее подойти к ней. Из деликатности? Или потому, что был уверен: Вараксин не конкурент ему? Может быть, чувствовал, что время работает на него, что каждая минута промедления означает все большее и большее саморазоблачение Вараксина?

Появились в фойе Валентина Денисовна и Меликидзе. Вместе с Гвоздырьковым, Сорочкиным, Грушецкой они остановились недалеко от ниши, где сидели Татьяна Андреевна и Вараксин, и, как видно, ждали их. А Вараксин словно ничего не замечал. Татьяна Андреевна тронула его за рукав пиджака.

— Пойдемте, Сергей Порфирьевич, нас ждут.

Вараксин вздохнул, очнулся, погладил себя по щеке и точно стер похмурое выражение. Встав покорно, он сразу приосанился, подобрался, и когда они вышли из ниши на свет большого зала и сошлись с остальной компанией, он уже был такой, как всегда, — надменный, добродушно-насмешливый, и вот уже слышатся басовые раскаты его барственного голоса:

— У нас здесь острят: не концерт самодеятельности, а концерт само-надежности. Может, так оно будет верней?..

И он уже похохатывает снисходительно, этакий всеильный радушный хозяин.

Тут же подошел и Нестор Бетаров. Он сухо кивнул Вараксину и сказал без предисловий Татьяне Андреевне:

— На последнем вираже — прокол колеса. Нужно было случиться такой напасти! В общем, пришлось припухать, менять камеру, хорошо хоть, была запасная. Между прочим, Татьяна Андреевна, хотел показать вам одну штуковину, — сообщил он весело и взял ее под руку.

Он подвел Татьяну Андреевну к газетной витрине. Первую страницу областной газеты украшала фотография: на фоне металлической опоры подвесной дороги красовался он сам в неизменном стеганом ватнике и резиновых сапогах. Подпись под снимком сообщала, что здесь изображен лучший мастер канатной дороги.

Татьяну Андреевну удивило неуместное хвастовство Нестора. Даже на душе стало спокойнее: да, он еще, ко всему, любит бахвалиться! Она облегченно вздохнула и сказала насмешливо:

— Вы не мастер канатной дороги. Вы канатный плясун.

Он не обиделся. Он засмеялся.

— Тоже неплохо, — как ни в чем не бывало ответил он.

24

Сколько было таких случаев, когда низкопробное остроумие Нестора, его прописная житейская мудрость смешили, неприятно удивляли и отталкивали Татьяну Андреевну! Сколько раз Бетаров казался ей легковесным и пустым! Никаких проблем перед ним, никаких противоречий. Все кажется ясным, доступным. По-настоящему ничто его не беспокоит. Подвесная дорога, мотоцикл — вот весь круг интересов. Ну, и еще желание поволочиться за женщиной. Перед таким человеком мир должен представлять плоскостным, одноцветным — серым или розовым, в зависимости от настроения.

Не слишком ли легко и беззаботно живется ему на белом свете?

Думая о Бетарове, Татьяна Андреевна иногда ловила себя на том, что хотела бы видеть его хотя бы однажды озабоченным, обеспокоенным, задумавшимся над неразрешимой проблемой, остановившимся перед препятствием. Ничего такого не бывало. И при всем том этот никчемный и пустой человек занял прочное место в ее сердце.

Вот и сейчас, хотя Татьяна Андреевна только что посмеялась над его бахвальством, она позволила взять себя под руку на глазах у негодующих сослуживцев, дала увести себя через все фойе на лестничную площадку перед курительной комнатой. И — удивительная вещь — он предложил ей папиросу, и она взяла, хотя никогда не курила.

— Знаю отлично, что веду себя глупо, но почему-то не могу остановиться. Точно мне доставляет удовольствие вас дразнить, — сказал он, отпуская ее руку.

Она улыбнулась.

— Может быть, не хотите?

— Ради оригинальности, что ли? А вам не приходило в голову, что это верный признак непосредственности? Знаете, ребята всегда изводят девочек, которые им нравятся.

— Что-то не пойму, демонстрируете вы самоуничтожение или опять бахвалитесь?

Он сокрушенно покачал головой.

— Вечно со своими чувствами попадаю впросак.

— Ах, вечно?

— Не придирайтесь к слову. Конечно, зря я с вами откровенничал. Да еще в первый день знакомства.

— Во второй, — сказала она, смеясь.

— Ваша точность убийственна, но не для меня, знаете ли. Меня иронией не проймешь.

— А я не собираюсь иронизировать. Чего там, у вас настолько своеобразная манера ухаживать за женщинами!..

Он покрутил головой.

— Что поделаешь, какой есть, такой есть.

— И поэтому извольте кушать вас нежареным?

Он засмеялся.

— А вам не кажется, что вы заговорили в моем стиле?

— С кем поведешься, от того и наберешься. Впрочем, это как будто говорил Свифт: «Если есть детей, так нужно есть их жареными».

— Перестаньте зубоскалить, — сказал он вдруг и стал серьезен. — Вот что хотелось вам сообщить. Я простой человек, звезд с неба не хватаю. И не умею притворяться. Да что там притворяться! Бороться с самим собой. Это ведь и ни к чему. От кого я должен прятаться? Отлично понимаю и полностью отдаю себе отчет — у вас высокие понятия о жизни и высокие требования. Но чувство одинаково у всех. И я люблю вас! Ведь вы это понимаете? Ни одной женщине никогда этого не говорил. Люблю вас с этими веснушками на переносице. С этой садиной на руке — наверно, поскользнулись на водомерном мостике... С вашим высокомерным характером...

Она стояла потупившись и теребила обшлаг кофты. Ирония — верная система защиты — больше не действовала. Она слушала Нестора смятенная, и страх поднимался в ее душе. Господи, почему, когда другие говорили о любви, их слова оставляли ее спокойной, не лишали рассудка? Почему теперь она растерялась, как девочка?

— Эй, Нестор! Ты о чем с таким жаром? Опять предложение? — окликнул его какой-то мужчина, с любопытством оглядывая Татьяну Андреевну.

Бетаров только отмахнулся. Не смущаясь, точно они были одни на всем свете, он продолжал с прежним неистовством:

— Влюбился, как суслик. А ведь и в мыслях не было. И, поверьте наконец, ничего, слышите вы, ничего мне от вас не надо. Конечно, я мужчина, и сколько было всякого такого — что притворяться, я отказа не знал. А сейчас, как перед омутом, перед обрывом, гляжу — и не знаю, что будет...

Прогремел звонок к началу концерта. Из курительной шли люди и поглядывали на них с любопытством и усмешками. Нестор Бетаров не обращал внимания. Но вот второй звонок, и вскоре третий, а он говорил, говорил. Он говорил уже о том, как они будут жить вместе, что он будет учиться, чтобы стать равным ей, она ему поможет. Что без нее он жить не будет. И ей не даст жить. Он дикий человек — любовь или смерть! Откуда только слова брались? Мольбы и угрозы. Сарказм и любовное воркование. Житейские мелочи, воздушные замки.

— Перестаньте, перестаньте, перестаньте! — сказала она наконец.

В антракте к ним бросилась Валентина Денисовна. Бетарова она не замечала.

— Татьяна Андреевна, милая, ну что же вы? Вы даже не заходили в зрительный зал!

И вот он опять смеется как ни в чем не бывало, закуривает, острит, точно не он только что говорил все эти страстные, торопливые, безумные слова.

Татьяна Андреевна молча поклонилась Бетарову и пошла с Гвоздырьковой в фойе.

— Плохо себя чувствую,— сказала она Валентине Денисовне.— Дико разболелась голова.

— Потому что все отделение стояли у дверей курилки.

Они подошли к товарищам, и Татьяна Андреевна сказала, что хочет уехать. Ее наперебой стали отговаривать.

— Нет, прошу вас, надо разыскать Вараксина,— сказала она, морщась от боли.

Сорочкин привел Вараксина. Огорченный ее недомоганием, но не подозревавший об истинных причинах, Вараксин предложил отвезти ее домой. И видно было, что он предлагает это со вспыхнувшей надеждой.

— Нет, нет,— твердо сказала Татьяна Андреевна.— Тогда я не поеду. Если можно, распорядитесь, чтобы ваш шофер отвез меня одну.

Все плыло у нее перед глазами.

25

В тот день, когда канатная дорога остановилась на ремонт, из Москвы возвратился Авдюхов.

Он соскочил с райторговского грузовика в начале подъема к гидрометеостанции и пошел пешком. Уже не проплывали над ущельем вагонетки. Непривычно гудели вблизи метеорологической площадки канаты подвешенной дороги, освобожденные от нагрузки. За то время, которое Авдюхов отсутствовал, в ущелье вступила в безраздельную власть зима. Ревели бури в ущелье, разноголосые, яростные, слепые, наметало на склонах сугробы, и снег теперь и днем не таял. Далекие, вечно снежные вершины слились с ближними горными отрогами в одно сверкающее снежное пространство.

Он подошел к кухонному крыльцу, когда Марья и Токмаков под прищотом Валентины Денисовны заканчивали разгрузку продуктов.

— Так и есть, вот он! — закричала Валентина Денисовна и сбежала с крыльца навстречу Авдюхову.— Шофер говорит: тут я вашего одного привез, только он прыгнул у подъема. Я сразу поняла: это вы!

— Успел проскочить,— сказал Авдюхов, здороваясь с Валентиной Денисовной, с Токмаковым, с Марьей. — Ехал, боялся: вдруг у нас тут заносы.

— Для заносов рановато,— сказал дед Токмаков.

— Все-таки вернулись? Ну, рассказывайте, рассказывайте! — заторопилась Валентина Денисовна.

— А разве я собирался сбежать?

— Ну, знаете ли, мы всякое предполагали,— уклончиво ответила она. — Ну, так что там, в Москве?

Авдюхов успокаивающе приподнял руки.

— Рассказывать нужно по порядку. Сейчас скажу только: у Володи был, даже жил у него несколько дней. Володя поступил в техникум связи. Подробности потом. Что у вас, как у вас? — Он с ожиданием и беспокойством вглядывался в лицо Гвоздырьковой, стараясь прочесть по нему, как Татьяна Андреевна, где она.— Все здоровы? Все расскажу по порядку, но не сразу, не сразу, это ведь долгий разговор,— приговаривал он.

Валентина Денисовна не протестовала. Она сдерживала нетерпение. Ее радовало уже то, что Авдюхов видел Володю, что у Володи все благополучно. Теперь она не спешила услышать скомканный рассказ, предпочитая подождать, чтобы потом выслушать все с чувством, с толком, с расстановкой.

Поднимаясь вместе с Николаем Степановичем на крыльцо, довольная, счастливая, что скоро все узнает о Володе, она говорила Авдюхову:

— У нас все в порядке, все здоровы. Татьяна Андреевна у себя. Много

работает, хорошеет. — Она догадывалась, что больше всего интересуется Николая Степановича.

Искать Татьяну Андреевну Авдюхову не пришлось. Едва он поднялся на кухонное крыльцо, как она вышла из дому.

— Как хорошо, что вы вернулись! — сказала она, пожимая его грубую, шершавую руку. — Я ведь понимала, вы собирались уехать совсем.

На этот раз он не стал отнекиваться.

— Да, — сказал он негромко. — Был такой соблазн. Даже вел переговоры в управлении, чтобы перевестись куда-нибудь на «ща». Не выдержал характера, вернулся.

— Вот и отлично! Здесь у нас все-таки как дом родной, — сказала она и вдруг со смешанным чувством страха и волнения подумала о Бетарове, о том, что у нее есть такой.

И оттого, что он есть, ощущение, что здесь «дом родной», стало острее и больше.

А Бетаров снова долго не появлялся на станции. Татьяна Андреевна беспокоилась: почему он не приезжает? Она понимала, что Нестор, возможно, занят подготовкой к ремонту дороги и не может вырваться ни на час. Но почему-то раньше он находил время. Если бы не то, что Сорочкин ежедневно составлял краткосрочный прогноз и сам передавал его по телефону в рудоуправление, можно было бы подумать: на гидрометеорологической станции забыли о неугомонном Несторе Бетарове.

На шум голосов вышли Гвоздырьков, Сорочкин, Меликидзе. Спустилась отдохавшая после ночного дежурства Грушецкая, и вскоре все сотрудники станции собрались в кают-компанию.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — сказал Гвоздырьков, усаживаясь за стол.

Авдюхов рассказал о том, как он убеждал Володю, что ничего худого не произошло: его не приняли в театральный институт, нужно подавать в технический вуз или техникум, кончить его, а там будет видно. Есть очень почетный путь к театральному искусству — через самодеятельность. Он убедил Володю, что нужно менять житейский курс, в течение двух недель натаскивал его по физике и математике, и сын Гвоздырьковой поступил в техникум связи, отлично выдержав экзамен. Будет радистом — великолепная специальность.

Гвоздырькова с волнением и благодарностью слушала Авдюхова. Никогда до этой поры Авдюхов не видел Володю. Много ли он мог сделать по сравнению с Вараксиним? Ни связей, ни знакомств. И подумать только, как этот замкнутый, угрюмый человек сумел подействовать на Володю, сумел не только успокоить его, но и помочь ему! А у самого, разве у самого мало горя?

— Признаться, к вашему Володе отношение у меня было несколько противоречивое. С одной стороны, мне нравились его упорство и одержимость, с другой — он казался мне человеком легкомысленным, — говорил Авдюхов. — Вы, Валентина Денисовна, может быть сами того не желая, способствовали такому отношению.

— Почему? — насторожилась Гвоздырькова.

— А очень просто. Уж очень вы болезненно воспринимали все, касающееся Володи. В общем, приехал я в Москву, прихожу к нему — что за чертовщина? Комнатка маленькая, а почти пустая — детский столик, крошечные детские креслица, взрослый едва в них втиснется. Настольная лампа стоит на полу. На окне и на дверях — крюки: вешать гамак. Застал его за английским учебником. Сидит в детском креслице и зубрит английский язык. Для чего? А в какой-то пьесе выбрал он себе роль, и там персонаж говорит английскую фразу. Одну-единственную! Так для того, чтобы произнести ее со смыслом, он решил в полгода

изучить основы языка. Серьезный подход, по Станиславскому. А для чего детская мебель и лампа на полу? Говорит, «для юмора». Одно мне, признаться, не понравилось: хорошее простое имя Володя он переменял на Германа.

— Как переменял? — закричала Гвоздырькова в ужасе.

— Сценический псевдоним. Очевидно, романтичнее. Но это юношеская дурь, вроде кори. Сейчас он уже опять Володя. В общем, слово за слово, распили мы с ним бутылку вина, остался я у него ночевать на раскладушке, а там и жить. Все две недели жил у него. Жена его уехала к матери, чтобы не мешать. Ну и вот, результаты вам известны. Отличный парень. Строгий, одержимый. Немного сумасшедший, впрочем, как и его мамаша.

— Я вам дам, «как и его мамаша!» — сказала Валентина Денисовна и замахнулась на Авдюхова мокрым от слез носовым платком.

Авдюхов приподнял руки в знак сдачи и сказал:

— Ничего, Валентина Денисовна, я так думаю: побольше бы таких сумасшедших, меньше было бы на свете всякой швали. Но, в общем, что говорить, есть еще люди на нашей грешной земле. Мне даже как-то самому стало досадно, что такого парня не приняли в театральный институт. Точно меня это лично касалось. Кого же тогда принимать, если не таких сумасшедших парней? Ну, и начали мы с ним заниматься...

— Но вы же сперва переубеждали его? — желая услышать что-нибудь драматическое, спросила Валентина Денисовна.

— Сначала, конечно, переубеждал, — не желая вдаваться в подробности, согласился Авдюхов.

— Вот ваш Вараксин! И он мог бы, если бы захотел, — сказал Меликидзе.

— Он бы не смог, даже если бы и захотел, — убежденно заявила Валентина Денисовна. — Чтобы переубеждать кого-нибудь, нужно сочувствие, душевность. Ваш Вараксин — холодная канцелярская крыса, вот он кто!

— Он скорее ваш, чем мой.

— Совершенно зря вы третируете Сергея Порфирьевича. Человек как человек, — сказал Гвоздырьков. — Занятой человек.

— Грамотный человек, — сказал Сорочкин.

Утром по пути к водомерному мостику Татьяна Андреевна услышала у подножия опоры частый металлический звон — где-то за перевалом на линию вышла ремонтная бригада, и шум ее работы отдавался по канатам подвесной дороги, как по струнам. Звон металла то возрастал, то затихал, и Татьяна Андреевна воспринимала эти звуки как позывные Нестора Бетарова.

С каждым днем ремонтная бригада продвигалась все ближе к ущелью гидрометеорологической станции; удары по металлу становились резче, звонче; казалось, звенит и вибрирует каждая полоса железа на опоре.

Прошло несколько дней, и однажды, взглянув в окно рабочего кабинета, Татьяна Андреевна высоко над скалами, над склоном ущелья увидела человека, подпоясанного широким монтерским поясом. Он легко и быстро взобрался по скобам, укрепленным внутри металлической опоры, и на самом ее верху вышел на открытую решетчатую площадку.

Татьяна Андреевна оглянулась. Грушечкой не было в кабинете. Сдерживая волнение, Татьяна Андреевна взяла бинокль и подошла к окну. В человеке на металлической опоре она узнала Нестора. Помедлив секунду, он перемахнул через поручни площадки, взялся за тонкий

тяговый канат и ступил на толстый ведущий, упруго провисающий над пропастью. Татьяна Андреевна так сжала бинокль, что у нее заболели пальцы.

Бетаров медленно пошел по ведущему канату, покачиваясь в воздухе и приседая, точно канатоходец.

Только сейчас, увидев Нестора на канате, Татьяна Андреевна поняла, кого он все время ей напоминал. Стремительный, гибкий, в черном костюме, он походил на птицу, сидящую на проводе. Можно было представить себе, что сейчас он отпустит канат, вспорхнет и полетит, как стриж, на этой страшной высоте.

Бетаров прошел по канату к сигарообразной соединительной муфте, перекинул цепь монтерского пояса через тяговый канат и застегнул карабин. Теперь он был в безопасности, но Татьяна Андреевна по-прежнему со страхом следила за ним. Она видела, как Нестор присел на канате и, держась за тяговый одной рукой, балансируя, стал осматривать соединительную муфту. Вот он нагнул голову, посмотрел вниз, помахал кому-то рукой и, видимо, что-то прокричал. Затем он снова занялся муфтой и начал то ли отвертывать, то ли заворачивать ее большим ключом.

Ни одно живое существо, если оно не птица и не цирковой акробат, не смогло бы пристроиться в этом положении! А Бетаров пристроился на канате и чувствовал себя, как видно, в привычной обстановке.

В ущелье начало темнеть, пошел снег, и скоро не стало видно ни опоры, ни Бетарова, ни скал под ним. Но еще долго, до позднего вечера, сквозь снежную пелену светился возле опоры костер, слышались звонкие удары по металлу и громкие голоса людей. Голоса Нестора среди них она не различала.

На следующий день, когда Татьяна Андреевна вышла к водомерному мостику, она почувствовала, что вокруг нее что-то изменилось. Она не сразу определила, что именно, и все с недоумением поглядывала по сторонам.

Она опустила в воду вертушку, замерила скорость течения, записала температуру, отметила уровень воды, провела весь цикл обычных измерений. Лишь после этого, собираясь уходить, она сообразила, что над ущельем исчез один из ведущих канатов подвесной дороги. Его сняли вчера уже в темноте, и небо над ущельем теперь было непривычно оголено.

К ремонту канатной дороги приступили слишком поздно. Наступила зима, погода портилась. Утром поднялся ветер, полетели с деревьев последние листья. Скорость ветра превысила пятнадцать метров в секунду. Дежурившая Грушецкая разбудила Сорочкина, они составили и послали в область в соответствии с инструкцией штормовую телеграмму.

К полудню упало барометрическое давление, резко пошла на снижение температура воздуха. Это были угрожающие симптомы, свидетельствующие о приближении области низкого давления. Данные соседних станций подтверждали местные наблюдения.

Сотрудники станции поглядывали друг на друга обеспокоенно, но никто ничего не говорил.

Когда барометры станции отметили катастрофическое падение атмосферного давления и по синоптическим данным Грушецкая определила направление циклона, Сорочкин зашел к Авдюхову.

— Николай Степанович, что скажете о перспективах? — спросил он, не высказывая своего мнения.

— Что скажу? Не нравятся мне перспективы, — уклончиво ответил Авдюхов.

— Снимаем показания каждые полчаса. Грушецкая непрерывно рассчитывает скорость смещения воздушных масс, — сообщил Сорочкин.

— Хорошо было в старинные времена, — сказал Авдюхов. — Никаких смещений воздушных масс, никаких барометрических давлений. Если молоко при дойке пенится или соски у коровы холодные — быть завтра дурной погоде, вот и весь прогноз.

Они склонились над сводками аэрологических исследований, над синоптическими картами, усеянными метеорологическими значками, испещренными цветными линиями одинаковых давлений и температур. Они говорили о миллибарах, адиабатических процессах, фронте окклюзии, барических полях, ведущих потоках и прочих профессиональных вещах, непонятных непосвященным людям.

— Слушал передачи Баку, Тбилиси, Орджоникидзе, Сухуми — всюду угрожающие симптомы. Взбунтовался подлунный мир, — закончил обсуждение Авдюхов.

Сорочкин подошел к окну. В ущелье метался ветер. Было видно, как гнутся среди скал деревья, как взвивается и кружит в воздухе снег. На опорах с той и с другой стороны ущелья можно было разглядеть людей, и видно было, что им становится все труднее работать. Они поднимали новый ведущий канат, обильно смазанный солидолом, подтягивая его на блоках такелажными тросами. Тяжелый канат раскачивало, рвало из рук, рабочих чуть ли не сдувало с опор, а тех, кто стоял на земле у лебедек, порывами ветра шатало, как пьяных.

— Слушайте, Николай Степанович, нужно снимать людей с линии, — сказал Сорочкин. — Звоните в рудоуправление, пусть прекратят ремонт. А я пойду к этому типу, к мастеру канатной дороги, и предупрежу его.

— Какое благородство! — сказал Авдюхов.

Он был удивлен: первое, о чем подумал этот педантичный человек, — о своем лютом недруге.

Сорочкин не понял иронии.

— При чем тут благородство? Это наша обязанность, наш долг. Думаю, Татьяна Андреевна пока ничего не надо говорить.

— Торжество порядка, апофеоз законности, — сказал Авдюхов.

— Да, уважаемый Николай Степанович, долг для меня превыше всего, — с достоинством произнес Сорочкин.

В аппаратную вошли Гвоздырьков и Грушецкая.

— Что новенького, товарищи? Ничего себе ситуация. Что будем делать? Сводку в рудоуправление передавали? — закидал Петр Петрович вопросами.

Авдюхов ответил, что сейчас он составит сводку и позвонит в рудоуправление.

Обычно, зайдя в аппаратную и справившись о делах, Гвоздырьков удалялся, ни во что не вмешиваясь. На этот раз он стал подробно расспрашивать, какие поступают данные, что передают соседние станции, в каком духе следует составить сводку для рудоуправления.

— В каком духе ее ни составляй, насколько я понимаю, мы все равно опоздали, — ответил Авдюхов.

— И тем не менее давайте сводку немедленно, — сказал Гвоздырьков. И вдруг добавил: — С диспетчером рудника я свяжусь сам. — И спросил Сорочкина: — Как его вызвать?

— Петр Петрович, но вы же не владеете синоптическим кодом, — заметил Сорочкин.

— Вы мне поможете, — строго ответил Гвоздырьков.

— Петр Петрович, я передам сводку, — сказал Авдюхов.

— Нет, позвоню сам. Нужен приказ, чтобы приостановили ремонт, — объяснил Гвоздырьков.

— Под влиянием грозовой обстановки жажда деятельности перехлестывает через край,— сказал Авдюхов насмешливо и принялся составлять сводку.

Вошли Татьяна Андреевна и Меликидзе.

— Товарищи, видели, что творится в ущелье? А там люди на опорах! — сказала Татьяна Андреевна.

— Мы как раз обсуждаем этот вопрос. Возможен маленький циклон. Сейчас свяжемся с рудоуправлением, — ответил Гвоздырьков.

— Маленький циклон большой разрушительной силы, — вставил Меликидзе.

— Ну, вы связывайтесь, а я пошел, — сказал Сорочкин.

Через окно аппаратной было видно, как он выскочил на крыльцо и, на бегу надевая куртку в рукава, бросился по тропинке к скалам, где работали люди Бетарова.

— Ай да Сорочкин! — сказал Меликидзе. — Отвага хлещет в нем через край!

— Я пойду тоже, — сказала Татьяна Андреевна.

— Никуда вы не пойдете! — проговорил сердито Гвоздырьков.

Татьяна Андреевна пошла к выходу.

— Татьяна Андреевна, подождите! — закричал Авдюхов.

Она не остановилась.

— Татьяна Андреевна, сперва позвоним в рудоуправление! — крикнул Гвоздырьков. — Николай Степанович, принимайтесь за дело.

— Вот вы и звоните, а я тоже пойду к опоре, — ответил Авдюхов.

Меликидзе остался с Гвоздырьковым. Авдюхов погасил сигарету и побежал за Татьяной Андреевной.

Сводка явно опоздала. Ветер усиливался. Порывы его становились все продолжительнее, все резче.

Авдюхов вскоре догнал Татьяну Андреевну, схватил ее за локоть и пошел рядом с ней, чуть ли не плашмя ложась на упругую стену ветра.

За большим обломком скалы послышался шум мотора — это работал передвижной движок. В свете электрической лампы, раскачивающейся над ним, виден был летящий снег. Чуть выше, загороженный от ветра железным листом, горел большой костер. Еще выше, у бетонных башмаков металлической опоры, стояли лебедки и качалась на дереве, освещая место работы, автомобильная фара. Все вокруг обледенело. Обледенели конструкции опоры, ледяной коркой покрылись скалы. Шагу теперь нельзя было ступить, чтобы не поскользнуться.

Они догнали Сорочкина в начале крутого подъема. Здесь нельзя было ни бежать, ни быстро идти: круто взбиравшаяся к подножию опоры тропинка обледенела, ноги скользили, не слушались, нужно было цепляться руками за каждый куст, каждый выступ скалы, чтобы не слететь вниз.

— Вы напрасно пошли! — выкрикнул Сорочкин, приостанавливаясь. Он задыхался, вытирал мокрое лицо, размазывая грязь. — Дальше идти невозможно, сплошной лед.

Татьяна Андреевна ничего не сказала. Молча и торопливо она обогнула его и полезла вперед, выискивая на склоне малейшие впадины, хватаясь за обледенелые ветки кустарника, прижимаясь к земле, когда усиливался порыв ветра.

Авдюхов неотступно карабкался за ней, поддерживая ее по мере возможности.

В последнюю минуту Сорочкин также весь как-то подобрался и решительно пополз за ними. Преодолев с десятков метров, он вновь застрял

на выступе скалы, уцепился за куст рододендрона — и ни назад, ни вперед.

— Товарищи, подождите! — пересиливая шум ветра, крикнул он.

Авдюхов оценил положение, в котором очутился Сорочкин. Он быстро спустился к нему и, взяв под локоть, силой заставил его ползти вниз. Сорочкин выкрикивал какие-то возражения, но из боязни сорваться серьезного сопротивления не оказывал.

Спровадив Сорочкина в безопасное место, Авдюхов вернулся к Татьяне Андреевне, а Сорочкин тотчас, жалобно взывая к ним, снова полез на обледенелую кручу. И Авдюхов вторично свел его назад.

— Если Татьяна Андреевна может, то и я смогу! — кричал Сорочкин.

Но ловкости и сил у него не хватало, и Авдюхов, не вдаваясь в подробности, прикрикнул на Сорочкина:

— Еще раз полезете, больше не помогу. Будете сидеть там до второго пришествия!

Вдвоем с Татьяной Андреевной они добрались до того места, где стояла лебедка. Здесь, возле опоры, было открытое пространство, и клубы снега неслись, гонимые ветром, и в них то исчезали люди, камни, лебедка, бетонные башмаки металлической опоры, то появлялись вновь. Автомобильная фара раскачивалась на дереве, и в ее колеблющемся, неровном свете все выглядело призрачно, неправдоподобно. Тени шарахались в стороны вокруг дерева, свет фары на мгновение пронизывал снежный вихрь, клубящийся снежный туман, и тогда вдруг проступал внизу берег реки, усаженный обледенелыми скалами, и тотчас снова все погружалось в бушующие волны снега.

Трое рабочих в брезентовых обледенелых робах, Мергиев, Тарасов и Кондратьев, сгибаясь под ударами ветра, сматывали с лебедки тонкий такелажный трос.

За несколько минут до того, как пойти в аппаратную, когда было еще светло, Татьяна Андреевна видела Бетарова внизу, у лебедки. Пока они добирались сюда, он куда-то сгинул.

— Где Бетаров? — выкрикнула она.

Один из рабочих — это был Тарасов — молча ткнул вверх мокрой брезентовой рукавицей. Прочно пристроенная на дереве вторая фара светила куда-то в высоту.

Там, на огромной высоте, в поднебесье, держась рукой за такелажный трос, с помощью которого на опору втягивали новый ведущий канат, Бетаров в свете автомобильной фары балансировал на втором канате, служащем для обратного движения вагонеток. Хотя цепь монтажного пояса была надежно закреплена вокруг каната и Бетарову не угрожала непосредственная опасность, отсюда, снизу, физически неприятно было смотреть на его цирковые манипуляции.

Помощник старшего мастера Савельев, примостившись на вершине опоры, подавал Бетарову конец нового каната. Бетаров должен был схватить оба конца, ввести в муфту и счалить. Ветер раскачивал Нестора, как на трапедии, мешал ему. Снизу было видно, каких невероятных усилий стоит Бетарову эта процедура. Татьяне Андреевне казалось, что она различает, как напряглось все его тело, как покраснело его лицо.

— Надвигается ураган, надо их предупредить, — сказала она стоявшему возле нее Тарасову.

— Ах, только надвигается? — с насмешкой переспросил тот. — А это что? — Он поднял руку, пробуя силу ветра.

— Это пустяки. Будет гораздо хуже! — И она закричала что есть мочи, приложив воронкой ладони ко рту. — Нестор! Товарищ Бетаров!

Ветер заглушал, относил в сторону ее голос. Кто-то из рабочих постучал ключом по ноге опоры.

Бетаров опустил голову, увидел Татьяну Андреевну, улыбнулся ей, приветственно помахал рукой. Затем он что-то крикнул. Она не слышала.

Снова приставив руки ко рту, Татьяна Андреевна закричала, что нужно прекратить работу. Но Бетаров не слышал ее.

Мергиев подошел к Татьяне Андреевне и накинул на ее плечи брезентовый дождевик.

— Вас здесь насквозь прохватит, барышня,— сказал он.

— То, что сейчас творится, — пустяки. Это просто сильный ветер. Мы ждем настоящего урагана. Нужно что-то сделать, это очень опасно!

— У нас всегда опасно, мы к этому привычные,— вмешался Тарасов.

— Что? — не расслышав, спросила Татьяна Андреевна.

— Опасность для нас не там,— закричал он и показал на Бетарова.— Опасность для нас надеть баранок!..

— Каких баранок? — Она вытерла локтем мокрое лицо.

— Баранок!.. Ну, бубликов! — Тарасов покрутил перед собой руками.— Ну, кольца на канате, черт, неужели не понятно? Таких колец понакрутишь, прощайся с канатом! А он — вещь дорогая.

Но она уже не слушала его.

Ветер задувал все сильнее. Вокруг опоры стонали и гнулись деревья. Где-то с громким треском сломался и покатился вниз, срывая по пути ветви кустарника и увлекая за собой камни, огромный сук.

— Что же делать? — спросила Татьяна Андреевна Авдюхова.— У вас есть сигнал, чтобы они спустились? — Она повернулась к Мергиеву.

— Спустятся, когда надо будет,— ответил Кондратьев, стоявший у лебедки.

— Ураган, ты понимаешь?! — крикнул ему Авдюхов.— С этим шутить не приходится. Давай зови их вниз!

— Сейчас им повестку пошлю. С нарочным. Вы что, не видите, канат у них наверху. Что они, бросят его, что ли?

— При чем тут канат? Да пропади он пропадом, ваш канат! — закричала Татьяна Андреевна.

И вдруг ветер упал и стало так тихо, что проступил привычный звуковой фон — шум реки. Но тишина была тревожная, угрожающая; она не принесла успокоения.

— Вот и весь ураган. Испекся,— сказал Кондратьев.— Им лишь бы пострадать,— добавил он с досадой Тарасову, потому что Татьяна Андреевна не слушала его.

Она теребила Авдюхова:

— Нужно что-то делать!

— А чего делать? Привет! Ваш ураган уже испекся,— снова сказал Кондратьев.

— Да помолчите вы! — вскричала Татьяна Андреевна, словно боялась, что из-за голоса этого долговязого парня она не услышит приближения урагана.

Но она слышала. Приближение урагана услышали все. Точно тяжелый взрыв потряс ущелье и вдохнул в него взрывную волну. Ущелье загудело, затрубило от неистового ветра. Все вокруг потонуло в клубах снега, пыли. Деревья трещали и ломались. Сорвалось и понеслось вниз с дребезгом, ничтожным в окружающем шуме, не то ведро, не то бачок с водой, стоявший возле лебедки.

Бетаров и его помощник исчезли из глаз. Ветром прижало к земле и вогнало в ущелье тучу. Неслись, клубясь и цепляясь за скалы, рваные, угрюмые ее обрывки.

Трос, которым поднимали на опору ведущий канат, оборвался, и тяжелый стальной жгут с диким свистом, пересиливающим гул ветра, резанул вниз, охлестывая скалы и сокрушая на своем пути деревья и кусты.

Татьяна Андреевна закричала. Мергиев выругался и бросился было вниз, за оборванным концом. Кондратьев присел от испуга и сжался в комок. Тарасов, стоявший у лебедки, от растерянности стал было быстро выбирать такелажный трос. Тут же он прекратил работу, а Мергиев, сунувшийся за оборванным концом, остановился в начале тропы — нечего было и думать в эту минуту, да еще в одиночку, спускаться на дно ущелья.

Авдюхов схватил Татьяну Андреевну за плечи, притянул к себе и прижал ее к основанию опоры, чтобы уберечь от ударов вихря. Все несло, трещало, скрежетало, падало вокруг них. Ветром сорвало и разбило фару, качающуюся на дереве, на нижней площадке унесло железный лист, разметало, погасило костер. Последнее, что они увидели в разрывах снежной бури: Бетаров качнулся, сорвался с каната; с минуту он еще цеплялся за него, затем пальцы Нестора разжались, и он повис на монтерском поясе; беспомощно раскачиваясь. Тьма тумана и снега поглотила его.

— Господи, вы видели, он сорвался! — закричала Татьяна Андреевна, стараясь высвободиться из рук Авдюхова. — Товарищи, надо как-то помочь! — кричала она, вырываясь и бросаясь от одного рабочего к другому.

Рабочие угрюмо топтались на месте, прикрываясь рукавами дождевиков, поглядывали наверх и молчали. Авдюхов крепко схватил Татьяну Андреевну за руку.

— Татьяна Андреевна, успокойтесь! Мы не можем ему помочь. Невозможно, сами понимаете. Успокойтесь! Опасности нет. Монтерский пояс — вещь надежная. Пожалуйста, прошу вас...

Когда снова на минуту разорвалась пелена мглы, они увидели, как Бетаров сделал резкое движение, вывернулся вниз головой, в ту же секунду подтянулся и закинул ногу на канат.словно гимнаст, он сделал сильный взмах другой ногой, рванулся, как на трапедии, тело его взлетело вверх, и он ухватился за канат обеими руками. Одна рука его была обнажена.

— Рукавицу обронил, худо дело, — сказал кто-то.

Вися над пропастью, Бетаров стал перебирать руками, подтягиваясь к вершине опоры и подтягивая за собой цепь монтерского пояса. Савельев, пристегнувшись к поручням верхней площадки и вытянувшись навстречу, насколько позволяла цепь монтерского пояса, ждал Нестора, чтобы подхватить его.

Трубило ущелье, ветер ревел, рвал, неслись вдоль скал снежные вихри. Временами среди разрывов тумана снизу было видно, какую борьбу ведет Бетаров. Вот он остановился, обессилев. Мгновение он висел, не двигаясь, держась за канат. Казалось, сейчас он выпустит его из рук и снова беспомощно повиснет на монтерском поясе. Нет, он просто отдыхал. Сделав новое усилие, он опять задвигался к опоре. В следующую минуту все увидели, как Савельев подхватил его и выволок на площадку. Оба быстро стегнули монтерские пояса и торопливо, точно скатываясь, полезли вниз. Среди порывов ветра было слышно, как гудит от их движений металлическая опора, как лязгают, ударяясь о скобы лестницы, цепи монтерских поясов.

Татьяна Андреевна бросилась к Нестору, схватила его за грязную руку и смотрела на него восторженно. Он стоял, широко расставив ноги, точно его качало еще на твердой земле. На замерзшем, обветренном его лице плыло какое-то подобие улыбки. И вдруг, не стесняясь присутствующих, он обнял Татьяну Андреевну и поцеловал в губы.

Авдюхов потупился, отвернулся, стошел в сторону.

А в следующую минуту Бетаров отстранил Татьяну Андреевну и сказал сурово, даже отчужденно:

— Зачем пришли? Видите, что делается?

— Что? — не поняла она.

— Не нужно было сюда забираться! — крикнул он. — Хотите сорваться?!

— Это ураган, понимаете? Мы хотели предупредить!

Он взял ее под руку.

— Нас уже предупредили. Просто какая-то комедия! Ездил за прогнозами, потом, когда мне дали по шеям, прогнозы передавали прямо в рудоуправление, а приступили к работам — нате, пожалуйста, алла верды к вам! — прокричал он, прикрываясь рукой в рукавице от ветра. — Татьяна Андреевна, дорогая, не нужно было сюда идти. Вы продрогли, околели, на вас лица нет! — Тут же он отпустил ее, обернулся к своим людям и точно забыл о ее присутствии. — Всем греться на метеостанцию! — скомандовал он. — Оттуда свяжемся с рудоуправлением, будем решать, как выкарабкиваться. Пошли, Татьяна Андреевна, Товарищ Авдюхов, двинулись. Вот получилась чертовщина! Оборвало ведущий канат, а в нем ни много ни мало — шесть тонн!

— Что же теперь делать? — любясь Бетаровым и волнуясь за него, спросила Татьяна Андреевна.

— Будем доставать. Египетская работенка!

Он снял монтерский пояс и надел на Татьяну Андреевну. Пояс был ей велик, она смеялась, протестовала. Нестор ее не слушал. К поясу он присоединил тонкий трос и голосом, не терпящим возражений, приказал ей идти вперед. Сам, страхуя ее, как в альпинистском походе, он пошел сзади. Держась за тот же трос, пошли Авдюхов, помощник Бетарова и другие рабочие.

Всей ватагой они ввалились на гидрометеостанцию. Прибежали Гвоздырьков, Меликидзе. Рабочие расселись на полу вокруг горячей печки. Бетаров кинулся к телефону.

Татьяна Андреевна слышала, как он кричал в трубку:

— Алло, алло! Сергей Порфирьевич? Нет, дайте самого. Ты, друг милый, вола не крути, у нас авария, понятно? Давай мне главного! Да ну, что я тебе буду объяснять... Хорошо, подожду, давай скорей. — Не отнимая трубки от уха, он скомандовал своим людям: — Савельев, Мергнев, давай-те на машину и в рудоуправление. Возьмете на подмогу людей... Нас пятеро... — Он подумал. — Ну, еще семерых. Будет по полтонны на душу. Савельев, людей подберешь по своему усмотрению. Возьмете дополнительную лебедку, монтерские пояса, тросы. На твою ответственность, Савельев. Сейчас дадут Вараксина, обо всем договорюсь... Товарищ Вараксин? — без паузы закричал Бетаров в трубку. — Канат оборвало. Все шесть тонн ушли в пропасть. Да Бетаров говорит, ясное дело, вы что, не узнаете меня по темпераменту? Ну как, как!.. Ураганом сорвало. Конец упал в пропасть. Тут гололедность дикая да еще ураган, не удержали. Сколько баллов? А черт его знает, метеорологи прямо говорят — ураган.

— Десять баллов, скажите, — подсказал Авдюхов.

— Вот метеорологи докладывают: двенадцать баллов! Ясно, будем вести аварийные работы, а как же? Послал к вам Савельева с машиной, дадите людей, оборудование. Зачем мне пятьдесят человек? Я ансамбль песни и пляски организовывать не собираюсь. Нас пятеро, да семерых подберет на руднике Савельев. Этого хватит. А я вам говорю, хватит! Да, на мою ответственность. За три дня? Сделаем за сутки! А я говорю, сделаем. Вот только бы ветер спал. Ваше дело — обеспечить осветительные средства. Дополнительную энергию возьмем от автомашины. Справимся, я говорю. Хорошо, есть!

Он положил трубку.

А Татьяна Андреевна стояла в дверях и смотрела на него, не понимая толком, что с ней происходит. Можно сказать, за что человека не любишь. Да и то не всегда. А за что любишь — как на это ответить? За все! Или

в отдельности — ни за что. Просто любишь, и конец определениям. Любишь, как дышишь, не думая, что надо дышать. Сама не знаешь, что в нем нашла. Взгляд его карий, голос его звонкий, его особенный поворот головы. За его ум, едкий и насмешливый, за его характер, решительный и резкий... Может быть, просто за то, что он тебя любит и ты знаешь это, веришь в это?

Она отходила от двери, прохаживалась по коридору, прислушивалась к разговорам рабочих и снова возвращалась к двери аппаратной.

Всю ночь на станции не спали.

Люди приходили греться, звонить по телефону, отдыхать. Приходили поднимать на работу тех, кто отдыхал.

И Татьяна Андреевна тоже не спала всю ночь. Она вставала, шла к окну в конце коридора, смотрела на свет фонарей и костров на горном склоне, видела внезапно возникающую на освещенном фоне скалы огромную человеческую тень и старалась угадать, кто бы это мог быть. Может быть, это тень Нестора?

Под утро она пошла к тому месту, где стояли движок и вторая машина, пришедшая из рудничного поселка с дополнительным оборудованием.

Было очень холодно. Она не посмотрела на термометр, уходя из дома, но ощущение было такое, что сейчас не меньше двенадцати градусов мороза. Шоферы и еще какие-то люди сидели у костра. Там же без цели топтался дед Токмаков.

— Как там, не знаете? — спросила Татьяна Андреевна.

Никто толком ответить не сумел.

Когда рабочий из аварийной бригады, ходивший за чем-то в дом гидрометеостанции, возвращался, Татьяна Андреевна увязалась за ним наверх. Ураган прошел, небо выцветили звезды, ночь была ясная, светлая, но одной почему-то страшно было идти к тому месту, где она видела вчера, как сорвался с каната Бетаров.

Вместе с рабочим она поднялась к подножию опоры. Там заканчивали подготовку к подъему оборванного каната. Бетаров, злой, сосредоточенный, полный неукротимой энергии, увидел Татьяну Андреевну и раскричался, зачем она пришла, тут ей нечего делать, спасибо еще, если она не простудилась! И приказал идти без разговоров назад. Тут же он побежал в темноту отдавать какие-то распоряжения. Из разговоров с рабочими Татьяна Андреевна поняла, что в пропасть будут спускаться сам Бетаров и его помощник Савельев. Она не хотела уходить. Но Бетаров вернулся и сказал, что, если она не подчинится, ее свяжут и силой снесут вниз.

Его любовь сказывалась здесь, в производственной, так сказать, обстановке, без обычной наглости и фатовства, но столь же решительно и непреклонно, не зная сострадания, не ища сочувствия, деспотично.

Татьяна Андреевна сделала вид, что уходит. Но она не ушла. Как только Бетарова и Савельева начали спускать к реке, она вернулась к опоре.

Освещенные светом автомобильных фар, снятых с машины, Бетаров и Савельев шагнули к краю пропасти и исчезли в ее темноте. Рабочие у лебедок медленно отпускали трос. Оттуда, где стояли лебедки, нельзя было разглядеть, как спускаются Бетаров и его товарищи. Тогда Татьяна Андреевна пробралась на выступ скалы, где были установлены дополнительные прожекторы, и увидела их. Отталкиваясь ногами от скользких обледенелых камней, по-альпинистски спускались все ниже эти два человека, а внизу, далеко внизу, поблескивала в свете звезд река.

Время тянулось медленно. Раскачиваясь, поминутно соскальзывая и теряя под ногами точку опоры, спускались мастера канатной дороги на дно ущелья.

Когда они достали конец оборванного каната и прикрепили его к тонким лебедочным тросам, начало уже светать. В серых сумерках наступаю-

шего утра приступили к подъему тяжелого каната. Все шло нормально.

Татьяна Андреевна очень продрогла, но не уходила.

Уже совсем рассвело. Со станции пришли Гвоздырьков и Авдюхов и чуть ли не насильно увели ее домой.

Не успела Татьяна Андреевна раздеться, как к ней наверх поднялась Валентина Денисовна.

— Татьяна Андреевна, голубушка, что с вами? — заглядывая ей в глаза, обеспокоенно спросила Гвоздырькова.

Татьяна Андреевна не ответила. Она стояла посреди комнаты, опустив руки, и слезы текли у нее из глаз.

— Ну, Танечка, милая, что случилось? — снова спросила Гвоздырькова. — Вы его любите?

— Да, — пролепетала Татьяна Андреевна и заплакала навзрыд.

Вот так все и определилось.

28

После бессонной ночи Татьяна Андреевна проспала все утро и проснулась в середине дня. Склон горы, на который выходило ее окно, был сплошь засыпан свежим снегом. Небо, очистившееся от туч, сверкало в вышоте по-зимнему, точно бескрайний холодный лист нержавеющей стали. Снег ли был тому причиной, или этот холодный стальной блеск неба, но в ущелье заметно посветлело. А когда Татьяна Андреевна вышла из комнаты и пошла к лестнице, чтобы спуститься, она увидела в окно в конце коридора, что между опорами снова натянут второй ведущий канат. Людей нигде не было видно.

Она спустилась вниз, и как раз в эту минуту в прихожую ввалились рабочие канатной дороги. Впереди шел Бетаров, перемазанный в глине, солидоле, ржавчине, с усталым лицом и потускневшими, но все же горячими, живыми глазами, — до конца его, видно, и усталость не брала.

— Кончен бал, тушите свечи! — сказал он возбужденно и подошел к Татьяне Андреевне. — Вытащили, Татьяна Андреевна. Он лежал, не хотел змей души моей, а мы за тринадцать часов все обстряпали без потерь и происшествий. И не в полсотни человек задувал оркестр, а всего-навсего одна дюжина! Опять шпилька под ребро Вараксину.

Лицо у него было усталое, и глаза потускнели, но, как всегда, он форсил, создавал вокруг себя какую-то приятную суматоху, веселое бурление.

Татьяна Андреевна смотрела на него, и все внутри у нее ликовало. Она потянулась к грязной руке Нестора, чтобы почувствовать его теплоту, сама себе удивляясь, и смеясь, и горя от радости и ожидания.

— Я грязный, как сто тысяч разбойников, — сказал Бетаров своим обычным уверенным голосом и, вскинув глаза на Татьяну Андреевну, точно споткнулся. Может быть, только сейчас он как следует понял, что случилось, что означает ее двукратный приход к месту аварийных работ, ее волнение, ее радость. — Сейчас позвоним в рудоуправление — и айда домой отсыпаться, — закончил он бойко.

Но и теперь он смотрел на Татьяну Андреевну смиренно и просительно, совсем не так, как обычно, как всегда.

«А я?» — хотелось спросить Татьяне Андреевне, но она ничего не спросила.

И вот уже снова плывут и плывут беззвучно над глухим ущельем вагнетки с цинковой рудой, и тени их шастают по двору станции. И ничто, казалось бы, не изменилось вокруг — по-прежнему шумит и бьется о береговые скалы бешеная река; как вчера, как неделю, как месяц назад, прыгает над водой маленькая оляпка, та ли, другая ли — не все ли равно? Жизнь идет своим чередом, свершает солнце свой неизменный круговорот,

как прежде, так и теперь ведут ежесуточные наблюдения гидрометеорологи — на водомерный мостик выходит Татьяна Андреевна со своими наблюдателями, следят за изменениями в атмосфере Авдюхов и Грушецкая; Сорочкин и Валентина Денисовна, когда приходит время, запускают шарзонд.

И что-то вместе с тем переменялось в душевном мире людей на станции. И случилось это не потому, что осень здесь, в горах, сменилась зимой и снег покрыл без остатка все ущелье.

Во всяком случае, Татьяне Андреевне казалось, что вдруг произошли великие изменения.

Бетаров приехал на станцию на другой день. Он был в чистой, может быть, новой черной стеганке, но все же в стеганке, свежесбривший, пахнувший одеколоном и в неизменных резиновых сапогах с отвернутым краем голенищ.

И, видимо, ощущение не обмануло Татьяну Андреевну — мир вокруг нее действительно изменился: дед Токмаков не встретил Бетарова своим обычным приветствием. Нет, он сказал ему с мягкой укоризной:

— Ах ты, черт ласковый!.. Да, значит, такая у тебя, это самое, судьба жизни.

Покачивая тяжелой головой, дед Токмаков поднялся за ним в дом, как поднимался прежде только за Вараксиным.

— Татьяна Андреевна, приехал за вами! — на весь дом еще из прихожей загремел Нестор Бетаров.

Она не заставила себя ждать. Она вышла из рабочего кабинета; за ней вышмыгнула Грушецкая, сгорающая от любопытства; появились в коридоре Валентина Денисовна, Марья, потом Гвоздырьков; потом из аппаратной показался Авдюхов. Один Сорочкин не подавал признаков жизни.

— Здравствуйте,— сказала Татьяна Андреевна.

Нестор подошел к ней и взял ее за руки. Он и внимания не обращал на окружающих.

— Я человек темный,— неожиданно и без всякой аффектации сказал он.— Вот так. И мало что знаю. Правда, то, что читал, запомнил твердо. У меня блистательная память первобытного человека. Конечно, знаю кое-что по специальности. Имею опыт. Хорошо знаком с мотоциклом. Знаю, где водятся белые куропатки и что нормальная температура тела у них — сорок три градуса. Но силы во мне множество! Жизнь люблю зверски! А самое главное — люблю вас. Вот, перед людьми. А это свято, клянусь белой черкеской, которой у меня нет! Вот вам еще одно объяснение в любви. Очередное и окончательное. И теперь у вас нет выхода. Я вас покорию, это всем видно.— И он закончил так же неожиданно, как начал: — У меня все.

Он не ошибался. Татьяна Андреевна была уже покорена. Она уже не видела ни смешного в его поступках, ни нелепого. Она смеялась, но не над ним. Это был смех влюбленной, потерявшей разум женщины. Она еще пробовала острить:

— Не обладаю способностью убеждать, но обладаю умением убеждаться.

Всем было понятно, что эту остроту следует понимать как символ сдачи победителю.

И поразительно было то, что она все время смеялась, светилась, пока он говорил, а глаза оставались серьезными, умоляющими. И когда он замолчал и она сказала свою фразу о способности убеждаться, она перестала смеяться, задумалась и опустила глаза.

— Перед богом,— показал Нестор на потолок,— и перед людьми беру вас в жены!

Все молчали смущенные, не зная, что нужно делать, как вести себя. Татьяна Андреевна приподнялась на цыпочки, обхватила Бетарова за шею, привлекла к себе и поцеловала.

Он отстранил ее мягко и сказал:

— Не надо нервничать. Одевайтесь, едем!

— Куда? — чуть слышно спросила она.

— На плоскость, ясно.

— Зачем?

Она все понимала, все было ясно, но что-то заставляло ее продолжать игру.

— К моим старикам.— Этого она не ожидала.— А потом в загс.

Он сказал это так, точно речь шла о послеобеденной прогулке.

— Господи, да что ж это такое, да вы шутите, что ли? — не выдержала Гвоздырькова.

— Никогда в жизни не был серьезнее, чем сейчас,— с какой-то непредумышленной галантностью ответил Бетаров.

— На чем мы поедем, Нестор? — спросила Татьяна Андреевна.

Она не испытывала ни смущения, ни неловкости.

— Мы поедем на мотоцикле. Был обещан такой способ умыкания!

— Господи, да вы совсем с ума сошли! Да он просто сумасшедший! — очнулась наконец Валентина Денисовна.

С жестокостью и бесцердечием счастливой влюбленной Татьяна Андреевна ни разу не взглянула в сторону Авдюхова. Она как бы забыла о его существовании, а он не напоминал о себе. Она вела себя так, точно не видела ничего вокруг, кроме Нестора, ни о чем, кроме него, не думала.

И, засмеявшись громко, точно продолжая веселую игру, она схватила его за руку и крикнула:

— Едем!

Не поднимаясь в спальню, не подмазав, как говорится, губ, она тут же натянула куртку с меховым воротником, пуховую шапочку и была готова.

Вот теперь Валентина Денисовна поняла по-настоящему, насколько все это серьезно. Она попыталась их урезонить, как расшалившихся детей:

— Да подождите, товарищи! Ну, что вам так приспичило?

— Человек — существо капризное: птичьего молока ему мало, подавай аржаной хлеб,— сказал Бетаров.

Авдюхов вынул сигарету и закурил.

— Да,— произнес он в раздумье.— Что-что, а про вас того не скажешь, что вы раб обстоятельств.

Бетаров удивился.

— Это вы в каком смысле? Я раб обстоятельств? Никогда не был и не буду. Обстоятельства создаются человеком, вот так. И, по-моему, это верно. Пошли! Время за нами, время перед нами, а при нас его нет!..

Нестор и Татьяна Андреевна выбежали на крыльцо.

И когда все высыпали за ними, Бетаров сидел уже за рулем, Татьяна Андреевна усаживалась позади него.

Мотоцикл взревел. На короткое время заглох шум реки. В следующую секунду мотоцикл сорвался с места, дохнул на прощание сизым дымком; прощальный взмах руки, веселый полуоборот напоследок. Машина легла в крутой вираж, и они вылетели за ворота, точно их ветром сдуло.

Все стояли на крыльце ошарашенные.

— Налетел, как вихрь! — сказала Валентина Денисовна.

Она плакала, и слезы катились по ее доброму рыхлому лицу. Она их не вытирала.

— Совсем как в кино! — только и сказала в ответ Грушецкая с придыханием.

Сорочкин из своего кабинета не показывался. Гвоздырьков молчал, спеша сообразить, кем теперь он должен будет заменить Татьяну Андреевну, можно ли оставить ее место вакантным. Меликидзе и Пучков пересмеивались между собой — здоровые молодые люди, видящие одну лишь забавную сторону происшедших событий.

Авдюхов стоял на крыльце бледный, внешне подтянутый, бесстрастный, даже сухой, а в голове у него гудело, стучало. Ему не хватало воздуха.

Свершилось счастье Татьяны Андреевны, и он не желал для нее ничего лучшего. И о Несторе Бетарове он думал только хорошее. Будет любить ее — подтянется, парень отличный, волевой. Но так думал его ум, а сердце... сердце больно сжималось, мешало дышать.

Они не успели еще уйти с крыльца, как шум автомобиля перекрыл гул реки и к крыльцу подкатила машина Вараксина.

Авдюхов повернулся и ушел в дом.

Вид у Вараксина был обеспокоенный. Он вылез из машины и сказал, не поднимаясь на крыльцо:

— Еду с заведующим канатной дорогой осматривать хозяйство, а навстречу, как метеор, Бетаров на своей мотоциклетке. И сзади женщина, я толком не разглядел, уж очень быстро промчались, но показалось — Татьяна Андреевна. Может, случилось у вас что?

Вытирая слезы, Валентина Денисовна ответила коротко:

— Наша Татьяна Андреевна выходит замуж.

Вараксин непроизвольно сделал шаг вперед.

— За кого?

— Да за него, за Бетарова.

Из машины высунулся заведующий канатной дорогой.

— Что-нибудь случилось, Сергей Порфирьевич? — выкрикнул он.

— Нет, ничего, это по поводу Бетарова, — растерянно пробормотал Вараксин.

Заведующий канатной дорогой сейчас же выскочил из машины и оказался малорослым толстеньким человечком, похожим на гнома; говоря с главным инженером, он вынужден был запрокидывать голову.

— Что-нибудь не в порядке, Сергей Порфирьевич? Но Бетаров ничего такого не мог допустить. Это, верно, кто-нибудь из бригады, — еще не зная, в чем дело, кинулся он на защиту своего лучшего работника.

— Все в порядке, идите в машину, — разозлился Вараксин.

Он стоял перед крыльцом, нахмурившись, опустив голову. Как этот тип ловко всех обставил! И что только она в нем нашла?..

И вдруг досада, горечь, удивление сменились странным и неожиданным чувством покоя и облегчения. Да, так и должно быть. Им легко и просто. Оба здоровые, молодые. Да это и к лучшему. Он даже вздохнул, так легко и ясно стало у него на сердце; разреженность атмосферы на него не действовала. Хорошо, что именно так получилось. И грубое, практическое соображение шевельнулось в его уме: какой мучительной сложности он избежал! Он уже не думал о своей любви, — ну если не любви, то страсти, наконец, увлечении. Теперь он думал только о том, что перед ним, если бы все случилось иначе, встали бы невероятные трудности. Если бы Бетаров не увлек эту молодую женщину, быть может, случилось бы так, что он сошелся бы с ней и сейчас же встала бы проблема, как быть с семьей. Не бросать же из-за нее семью? Впрочем, семья тут ни при чем. Общественное мнение — вот главное. И даже не общественное мнение, а партком, райком и прочие высокие инстанции. Верно говорит пословица: баба с возу — кобыле легче. Сейчас на душе у него было немного грустно, зато спокойно. Да, не будет, не будет у него с этим делом хлопот, бог миловал. Недолгое счастье, упоение, а к чему они? Какое тяжкое всегда бывает похмелье! Какие мучительные трудности

вырастают после этого! Теперь он вернется к своему привычному гордому одиночеству. Жена, дети — это как привычная мебель в обжитом доме. Ну что ж, зато все привычное, свое...

Сам он сейчас казался себе тонким, благородным, почти несчастным, снедаемым красивыми романтическими противоречиями. И только сердце мелко и расчетливо постукивало в груди — не от сожалений, ревности или печали. Нет, оно постукивало у него в груди, как после избегнутой опасности; все хорошо, что хорошо кончается.

Из дома вышел с ружьем на ремне Авдюхов. Он коротко кивнул Бараксину, молча спустился с крыльца и прошел мимо.

Гвоздырьков с неудовольствием проводил Авдюхова взглядом.

Валентина Денисовна все всхлипывала, все смахивала набегавшие слезинки. Теперь, когда она узнала, как серьезны отношения Татьяны Андреевны и Бетарова, как серьезны его намерения, она смирилась, подобрела и пребывала в состоянии умиленности — оказывается, здесь перед ними всеми разыгралась настоящая любовь, романтическая, бурная, а она проглядела ее.

А Татьяна Андреевна сидела позади Нестора, уцепившись за него обеими руками. Ветер свистел ей в уши, раздувал ее юбку, машина то клонилась на вираж, то неслась с головокружительной скоростью на прямых. Прижимаясь всем телом к прочной, широкой, горячей спине Бетарова, она только выкрикивала:

— Но это пошлость! Как в дешевом водевиле! — И смеялась, и сердилась, и замирала от счастья.

— Давно замечено, мотоцикл содействует укреплению брачных уз! — полуобернувшись, выкрикнул Бетаров в ответ.

Кто знает, может быть, он прав? Жена, сидящая на заднем сиденье, беспомощно вцепившаяся в своего мужа, как никогда в другом случае чувствует себя связанной с ним. Наверно, и вам не раз приходили в голову такие мысли, когда вы видели на дороге пару, несущуюся на мотоцикле.

Они неслись по шоссе мимо поваленных телефонных столбов, мимо обломанных или вырванных с корнем деревьев.

Полуобернувшись, Бетаров выкрикнул:

— Видишь, здесь пронеслась моя любовь!

Татьяна Андреевна прижалась щекой к его могучей спине.

— И моя тоже. Потому, видно, и произошли такие разрушения.

Шумела, шумела, шумела в каменном русле неугомонная река. Прыгала над водой маленькая оляпка. А жизнь шла своим чередом, прекрасная, неустроенная, гремящая, такая, как везде на нашей большой земле.

Тысячи историй написаны о любви. Вот еще одна, да простит меня читатель. О любви счастливой, бестолковой, беспокойной, внезапной, неудержимой, как тот ураган, который пронесся здесь, в глухом ущелье.



И. ЛИСНЯНСКАЯ

★

БАЛ НА НЕФТЯНЫХ КАМНЯХ

Ох, как пляшут девчата!
Ох, и пляшут девчата!
Не на паркете иль мраморе —
На море, прямо на море.

На нефтяной эстакаде
В море, в море открытом,
Пляшут в капроновых платьях
Громко и деловито.

Все до одной прекрасны,
Все до одной — красавицы.
Может, русалки в праздник
Выплыли позабавиться?

И словно чтоб убедиться,
Что это свои, нефтяницы,
Ребята к припудренным лицам
Глазами пристальней тянутся.

А лица девчат облуплены.
Ладони девчат неровные.
На трудовые куплены
Платьица их капроновые.

...Музыке волны вторят.
Пляска полна ветрами.
Пляшет Каспийское море
Под женскими каблуками.

ГОРОД

Слагается город из камня,
Из крови и пота.
Не снилась еще никогда мне
Такая работа.

О городе думалось просто:
Дома, мостовые,
Витрины огромного роста
И постовые.

Я в думы об этом ни разу
Всерьез не вдавалась —
Ведь все это даром мне, сразу,
С рожденья досталось.

И только недавно, недавно
В степи недалекой
Узнала, почем это: ставни,
И стены, и окна.

Узнала я тяжесть металла
И тяжесть бетона:
Цементную пыль я глотала,
Болели ладони.

Я их обдирала о доски,
О камни, о гвозди,
Я их обжигала извешкой —
Я не была гостьей.

Я горы сдвигала в плотину —
Смывала я горы.
Я всей своей страстью платила
За будущий город.

ПОВИТЁЛЬ

Дерево,
кому ты поверило?
Это совсем
не колючая ель —
это тебя,
простодушное дерево,
обняла намертво
повитель.

Она, как льстивая,
хищная женщина,
тебя опутывала
и вот
из каждой ветки,
из каждой трещины,
из каждого листика
жизнь сосет.

Теперь никогда уже
в солнце спелое
тебе не взлететь
зелеными перьями:
повитель
свое дело сделала,
опустошила
дерево.

...А ты ей верило.

ГОСТИНИЦА

День.
 Гостиница.
 Тихо.
 Пусто.
 Бормоча себе что-то под нос,
 В коридорах свое искусство
 Демонстрирует пылесос,
 Да порой тишину разрежет
 Телефон —
 Ему нипочем,
 Да какой-нибудь новоприезжий
 Одинок звякнет ключом.

Только к вечеру безоговорочно
 Двери хлопают там и тут —
 Собирается командировочный,
 Вездесущий приезжий люд.

— Здравствуй, Киев!
 — Камчатка, здравствуй! —
 Смех, и шутки, и шум такой,
 Словно целое государство
 Возвратилось с работы домой.
 И хоть день трудовой окончен,
 Он и слышим еще и зрим;
 Кто-то очень им озабочен,
 Кто-то очень доволен им.

И до ночи междугородный
 Надрывается телефон —
 Все, что сделано
 За сегодня,
 Знать немедленно должен он.

И до ночи комнаты отдыха,
 До отбоя полным-полны
 Городами,
 Морями,
 Воздухом,
 Многолюдием всей страны,
 Так, что кажется, крыша раздвинется
 В небо, полное синевы...

Нахожусь в Ярославской гостинице,
 На одной из окраин Москвы.

Баку.



А молодость твоя
Прошла,
А ты поблекла,
Отцвела.

Но ты, что красотой блистала,
Не знаешь истины одной:
Что ты, не став ничьей женой,
Давным-давно
Вдовою стала.

Душа твоя не заскорбит,
Не вздрогнут от рыданий плечи.

Не знаешь ты,
Что был убит
Он
На войне
До вашей встречи.



БОРИС ШУМИЛОВ

★

СТИХИ КОМБАЙНЕРА

* * *

Увидел я в кино недавно:
Сидит комбайнер за рулем.
На парне белая рубашка
Шелковым схвачена шнурком.

Я сам комбайнер,
Поправляю
Тех, кто в кино безбожно врет:
Надеть в уборку это дело —
Жена по шее надает.

Жнитво!
Горячие денечки
Неописуемо трудны.
Железо в полдень раскалится
На солнце — хоть пеки блины.
От ветра трескаются губы.
Спрыгнешь — и словно под клинком.
Но даже примешься обедать,
Как говорят у нас, — бегом.

Прихватишь ночь,
А все стремишься —
Еще гектар,
Еще часок...

А вы тут белую рубашку,
А вы тут шелковый шнурок!

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Весь вечер хмурился закат --
Ненастья скоро жди,
Он яркий вывесил плакат:
Да здравствуют дожди!

И ночью мелкий, словно мак,
Бесшумный, словно дым,
Весенний дождь бродил впотьмах
По улицам пустым.

К утру ушел за речку он.
Но только рассвело —
Он вместе с ветром с двух сторон
Ворвался вновь в село.

Он бил по окнам что есть сил,
Листву и ветки тряс,
Он словно вылить враз решил
Всех майских туч запас.

Он то хлестал, то отступал,
А мы смотрели сны.
Лишь старый тополь побывал
На празднике весны.

Под небывалою водой
Он грустно не поник.
Он улыбался, как хмельной,
Сияющий жених.

ПРО ЗЯТЬЕВ

По селу за каких-то полдня разнеслось,
Что Ванюшка уходит в соседний колхоз.

Что уходит совсем, он уходит в зятя,
Хоть его отговаривает вся семья.

Сбились бабы в толпу и в контору пошли.
Председателя до тоски довели.

Видно, наши-то дочери хуже иных,
Красоты, видно, девичьей мало у них.

Видно, в поле они с неохотой идут,
А в замужестве неразумно живут.

Да любых терпеливей!
И в кости не слабы,
По любому житейскому делу любы.

Это ты, председатель, губишь девичий век.
Бессердечный ты, прямо сказать, человек.

У соседей в избе электрический свет,
А у нас то столбов, то еще чего нет.

У соседей посмотришь — водопровод,
Поглядишь — словно в городе, зажил народ.

А у нас весь ответ: это вам не родить,
Это только родить нельзя погодить.

Скучновато живется у нас молодым.
Темный ты, председатель, как мы поглядим.

СЕЛО МОЕ

Село мое, родимое, большое!
Старинное крестьянское село!
Опять тебя свирепую пургою
До самых крыш вчера перемело.

Утихло. Выйдешь в поле ненароком
И глянешь — вдоль знакомых берегов
Затерянным, невзрачным, одиноким
Ты кажешься, чернея из снегов.

И думаешь: зачем здесь поселились,
Хорошего чего они нашли —
В какой-то дол деда мои забились
Среди лесов и глинистой земли.

Знать, велика была мужичья сила,
К труду была, знать, тяга велика,
Что людям, потеснившись, уступила
Дремучая мордовская тайга.

Веками, знать, в сердцах их запасалась
Любовь к земле
И к делу своему,
Что мне от них через отцов осталась,
Останется и сыну моему.

Село Мурашкино, Горьковской обл.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Из зарубежных впечатлений

В одно прекрасное солнечное утро, в последних числах апреля 1957 года, трое полицейских, несших службу на набережной Сены в районе дворца Шайо, обратили внимание на подозрительного субъекта, который, прохаживаясь вдоль устоев моста Иенá, время от времени приседал на корточки и что-то фотографировал.

Полицейские окликнули его. Он не расслышал (или сделал вид, что не слышит), застегнул футляр фотоаппарата и быстро, через одну ступеньку, взбежал вверх по каменной лестнице.

Старший из полицейских сделал знак своим товарищам и устремился за ним. Только у входа на мост ему удалось задержать незнакомца.

Последовал диалог:

— Почему вы не откликаетесь, когда вас зовут?

— Как?

Полицейский повторил свой вопрос.

— Я не расслышал,— ответил незнакомец на плохом французском языке.

— Но я достаточно громко крикнул.

— Я не расслышал,— повторил незнакомец.

— Вы иностранец?

— Да.

— Ваш документ.

Незнакомец полез в боковой карман. К этому времени подошли двое других полицейских. Начало не предвещало ничего хорошего. В руках полицейских болтались дубинки, взгляд их был строг и неумолим. Прохожие стали оборачиваться.

Но, увы, любителей поглазеть на уличные происшествия вскоре постигло разочарование. Подозрительному субъекту не скрутили за спину руки, не надели на них наручников, не отвезли его в черной машине в полицию в вечерних газетах не появилось ни одной заметки о поимке шпиона.

Все кончилось идиллией. Трое полицейских, расправив плечи, выстроились в ряд, а иностранец, отойдя на несколько шагов, запечатлел их на пленке своей «экзакты».

В тот же вечер иностранец был уже в Москве, а еще через несколько дней показывал друзьям и знакомым свеженапечатанную фотографию троих парижских «ажанов» на фоне Эйфелевой башни.

Вся эта столь многообещающе начавшаяся история произошла со мной весной прошлого года в Париже, за два часа до вылета самолета на Прагу,— иными словами, как раз в тот момент, когда меньше всего хочется быть задержанным полицией. История, как уже знает читатель, закончилась весьма мирно, но начать свой рассказ я решил именно с нес.

Во-первых, чего греха таить, хочется сразу же заинтересовать читателя, столкнув его с полицейскими, да еще парижскими, да еще кого-то задерживающими; во-вторых, очень уж не хочется начинать с традиционного самолета, отрывающегося от взлетной дорожки Внуковского аэродрома; и в-третьих, наконец, потому, что столь миролюбивым окончанием этого происшествия я обязан в первую очередь маленькой книжечке с золотым гербом на обложке.

Книжечка эта, тоненькая и, кстати, вовсе не красная, а синяя, действительно обладала какой-то магической силой. (И хотя об этом писалось и говорилось бесчисленное количество раз, я совершенно сознательно иду на риск быть обвиненным в повторении уже известных истин.) В Италии она открывала нам двери закрытых музеев, раза в два убыстряла и без того быстрое обслуживание в трактирах, рождала улыбки на обычно хмурых лицах привратниц и швейцаров — самой, пожалуй, неприветливой и подозрительной категории людей, с которыми нам приходилось встречаться.

И только однажды (объективности ради надо и об этом сказать) в маленьком, прилепившемся среди скал домике каприйского извозчика Винченцо Вердолива паспорт мой потерял свою силу. Впрочем, как потом оказалось, дело было не в нем, а во мне самом. Я не понравился хозяйке дома. С первой же минуты она как-то очень подозрительно стала присматриваться ко мне. Когда же я, разместив все семейство (отца, сына, дочь, зятя, невестку и многочисленное черномазое их потомство) на ступеньках крыльца, приготовил свой аппарат и пригласил хозяйку занять свое место в центре группы, она наотрез отказалась. И вот тут-то даже торжественно вытасенный из кармана паспорт не возымел своего обычного действия. «Нет и нет... Ни за что...»

Только потом уже, прощаясь, милый, старый, словоохотливый Винченцо, смущаясь и не глядя в глаза, раскрыл мне тайну. Жена приняла меня за «еттаторе». Я понял: тут ничего уже не поделаешь. «Еттаторе» — это человек с дурным глазом, человек, приносящий несчастье, с ним ни при каких обстоятельствах нельзя иметь никакого дела. «Ну, что с ней поделаешь? Уперлась, и все...»

Впрочем, как потом выяснилось, супруга нашего милого Винченцо, отказавшись фотографироваться, ничего не потеряла: аппарат мой в тот день испортился, и все тридцать шесть снимков я снял на один кадр. Уж не сама ли старуха была «еттаторе»?

Но вернемся на набережную Сены, где трое полицейских с нескрываемым любопытством изучали мой паспорт — щупали позолоту, герб, разглядывали фотографию. Наконец старший из них, немолодой уже и весь какой-то очень добротный в своем синем, аккуратно сидящем на нем мундире, вернул мне его назад.

— Красивый, — любезно сказал он и одновременно профессиональным взглядом оглядел меня с ног до головы. — Из Москвы?

— Нет, из Киева.

— Из Киева? О! Красивый, говорят, город.

— Красивый.

— Красивее Парижа?

— Ну, как вам сказать... Я слишком мало пробыл в Париже. Всего лишь сутки.

— Сутки? Это никуда не годится. Париж — и сутки! Да в Париже...

Лед был сломан. Вежливо сдержанных полицейских сменили веселые, словоохотливые, любезные парижане.

— Чем же вы занимаетесь в Киеве?

— Пишу.

— Что?

— Разное.

— Вы писатель?

— Писатель.

— И пишете на русском языке?

— На русском.— И тут же я непроизвольно похвастался, что моя повесть совсем недавно переведена на французский язык.

Все трое вытащили записные книжки и убедительнейшим образом заверили, что обязательно найдут и прочтут ее.

Вот уж никогда не приходило мне в голову, что написанное мною будет читать парижский полицейский. Придет домой, снимет свою пелеринку и, растянувшись на диване, начнет листать книгу о судьбе вернувшегося с фронта, тобой придуманного героя. Забавно...

К тому же полицейский, приятно улыбнувшись, вдруг сказал:

— Русская литература... О-о! Толстой, Достоевский...

Я взглянул на его круглое, в общем довольно интеллигентное лицо.

— Вы читали?

— А как же... И в кино смотрел. Сейчас на всех экранах идет «Война и мир». Превосходный фильм!

Тут я вспомнил, что Жерар Филип знаком парижанам не только по Фанфан-Тюльпану и Жюльену Сорелю, но и по князю Мышкину из «Идиота», что знаменитая Мария Шелл — об этом писали сейчас все журналы и газеты — снимается в «Братьях Карамазовых», и, чтоб не разочаровываться в дальнейшем, поспешил переменить тему.

— Вы курите? — Я вытащил из кармана пачку «Беломора», припасенную специально для таких случаев.

Три осторожно вынутые папиросы переключивали в боковые карманы темно-синих мундиров.

— Это на вечер, после ужина,— улыбнулся самый молодой из троих и со слегка извиняющейся интонацией добавил: — Нам не разрешается курить во время исполнения служебных обязанностей.

Весь этот не слишком сложный разговор велся, само собой разумеется, на французском языке. Говорил я, правда, преотвратительно, оперируя преимущественно существительными и глаголами в неопределенном наклонении, и все же меня похвалили (французы остаются французами) — похвалили за произношение.

— У нас тут русские живут по сорок лет, а говорят куда хуже, чем вы.

Другой добавил:

— Гарантирую — три месяца в Париже, и вы будете говорить не хуже нас.

Я был польщен. Как-никак похвалили. И не кто-нибудь, а настоящие парижане.

Мы поговорили еще несколько минут о московской милиции («правда ли, что туда берут самых здоровых ребят? А мы подошли бы?»). Потом я сфотографировал всех троих, а на прощание не вытерпел и спросил:

— А почему вы все-таки меня задержали? Разве нельзя фотографировать Эйфелеву башню?

— Почему нельзя? Можно. У нас все можно снимать.

— Почему же тогда задержали?

Старший несколько смутился.

— Видите ли, мы вообще задерживаем всех подозрительных.

— ??

— Ну, а вы... Мы кричим, а вы убегаете... И вообще...— Все трое переглянулись: — Тут всегда много спекулянтов. Обменивают валюту, ну и... тому подобное. В этом месте особенно.

Что и говорить, удачное местечко я выбрал для моих съемок.

— Зато познакомились,— подмигнул мне более молодой (тот самый, который особенно интересовался, вышел ли бы из него московский

милиционер) и, чтоб окончательно скрасить неприятное начало нашего знакомства, вырвал из своего справочника маленький план Парижа с указанием всех линий метро.— На память о Париже. Бон вояж!¹

— Спасибо.

— И приезжайте еще.

— Только не на сутки.

— Мы вам весь город покажем...

И мы расстались.

Теперь я спокоен — в Париже я не пропаду...

Через час в аэропорту стряслась другая беда. Выручил на этот раз не паспорт, а билет.

Молодой, весьма расторопный служащий, оформлявший багаж, взглянул на весы, где стояли мои чемоданы, и как бы между делом сказал:

— Лишних десять килограммов. Доплата восемь тысяч франков.

Я обомлел. В кармане у меня только тысяча. К тому же сегодня воскресенье, посольство закрыто. Шофер (наш, русский, из посольства) наскреб у себя около двухсот франков. С минуты на минуту объявят посадку. Что делать?

Я снял с весов туго набитый портфель и тут только вспомнил, что в Риме (билет у меня был прямой Рим—Москва через Париж—Прагу), когда взвешивали мой багаж, я преспокойно держал портфель в руках. А здесь, дурак, бросил на весы. С грустью вручил я шоферу роскошное издание Микеланджело, подаренное в Риме, папки с увражами равеннских мозаик, альбомы репродукций итальянских музеев — авось посольство когда-нибудь перешлет. Большую бутылку Лакрима-кристи, которую я вез домой по специальному заказу, решено было распить тут же, на ходу.

И вдруг голос:

— Мсье летит в Москву?

Испугавший меня восемью тысячами молодой человек весело смотрел на меня.

— В Москву.

— В портфеле книги?

— Книги.— В руках я держал бутылку вина.

Молодой человек закрыл ладонью глаза.

— Все в порядке.

Я стал лихорадочно, пока он не передумал, запихивать книги и бутылку назад в портфель.

— Дайте ему двести франков,— сказал шофер.

Я положил несколько монет на стойку, но молодой человек с такой укоризной посмотрел на меня, что я тут же спрятал их в карман.

— Бон вояж,— сказал он.— Салю а Моску!²

По приезде в Москву заграничный паспорт я сдал. А билет сохранил — какое-то чувство благодарности не позволило мне его выкинуть.

Но не пора ли все-таки приняться за начало? Еще Чапек в своих «Английских письмах» рекомендовал: «Начинать — так начинать сначала». Я не последовал этому совету. Поэтому, чтобы искупить свою вину, начну даже немножко раньше начала.

Поездка за границу — уточню, первая поездка — сложна тем, что еще задолго до того, как ты получил паспорт, сотни друзей и знакомых начинают давать тебе советы (о поручениях я уже не говорю).

¹ Счастливого пути!

² Привет Москве!

— Ходи только в белой рубашке, цветных там теперь не носят. И трикотажных тоже.

— Помни о ноже и вилке... Ешь двумя руками.

— Этот пиджак слишком короток. О нем не может быть и речи.

— Не пей много...

— Смотри, не протягивай даме руку первым.

— Если будешь в Помпее, не забудь о лупанарии. Это, говорят, самое интересное.

— Везде и всюду давай чаевые, не жмись.

— Смотри, не пей много.

— Не забывай на ночь выставлять ботинки в коридор. Самое важное за границей — начищенная обувь.

— Побольше папирос и марок. Там все собирают марки.

— Джоконда и Венера Милосская... Не посмотришь их, можешь не возвращаться.

— Главное — не пей!

— А где черный костюм? У тебя нет черного костюма? Можешь тогда не ехать. Вечером тебя никуда не пустят.

Черным этим костюмом меня так замучили, что в конце концов я его купил. С трудом, в «комиссионке» — кто у нас теперь носит черные костюмы? Потом перешивал. Потом покупал серый в полоску галстук. Потом черные носки и туфли...

Все это стоило много времени и забот, чтобы мирно провисеть около полугода в шкафу — поездку нашу отложили — и, наконец, попав в Италию, так же мирно пролежать в чемодане. Да, в Италии, оказывается, так же как и у нас, никто не носит черных костюмов. Надевают только в исключительных случаях, на официальные рауты и приемы, которые, бог миловал, программой нашей поездки предусмотрены не были. Я воспользовался этим и упрятал костюм на самое дно чемодана, а чемодан оставил в Риме, когда мы поехали на север Италии. И был наказан за свое легкомыслие — не попал в театр Ла Скала. Билеты так и пропали. Не попал, потому что сидеть в партере в мосторговском цветном, пусть даже и полуторатысячном, костюме категорически запрещено. Возможно, в тот вечер правило это соблюдалось с особой строгостью — на спектакль должен был пожаловать президент республики, специально приехавший на открытие Миланской ярмарки.

Бедные наши миланские друзья! Вконец огорченные, ринулись они к телефону, пытались дозвониться до какого-то прокатного ателье, но было уже поздно, и мне ничего не оставалось делать, как отложить свое знакомство с первым театром и первым «гражданином Италии» до следующего раза.

Попутно и чтоб не возвращаться больше к этому вопросу — не слишком ли много внимания мы уделяем своей экипировке? В Италии, например, никто не интересовался покроем и фасоном моего костюма. Важно было другое: достаточно ли ты естественно и непринужденно себя в нем чувствуешь. Ходи, как тебе удобно, как ты привык. Главное, не тужься, не глотай аршина, будь самим собой. И никто не осудит тогда твои недостаточно узкие брюки или не в меру атлетические плечи пиджака.

А черный костюм? Что ж, кто любит оперу, пусть захватит его с собой.

Но довольно об одежде. Пора и в путь...

Паспорт в кармане. Билеты тоже. Отдельным багажом — подарки: книги, какие-то шкатулочки, безделушки, икра, папиросы в красивых коробках, ну и, конечно, водка.

Бедняжка! Везли мы ее нашим будущим итальянским друзьям, но, не в обиду им будь сказано, большинство из них определенно предпочитало ей свое любимое кьянти или, в лучшем случае, коньяк. Пили же нашу «Московскую» главным образом, чтоб сделать нам приятное. Причем не

до, а после обеда, давясь маленькими глотками и все же сквозь слезы улыбаясь и одобрительно кивая головой: «Буоно, буоно». Нашей русской, советской братии в Италии она безусловно доставила куда больше удовольствия. Еще большее доставила бы вобла. Но мы были еще неопытны и не догадались захватить ее с собой. Читатель, если ты поедешь за границу, вези воблу, и побольше. Ты многим доставишь удовольствие.

Итак, мы летим в Рим. Летим по приглашению общества «Италия—СССР». На паспортах — визы итальянского посольства: «Пересечь границу 3 апреля, обратно 24 апреля».

Но до Рима еще Париж...

«Пассажиров, следующих по маршруту Москва—Париж, просят выйти для посадки на самолет».

Великолепная машина самолет, ничего не скажешь. Быстрая, удобная. В дальних полетах к тому же и кормят, причем бесплатно, это входит в стоимость билета. И все же по чужой стране куда интереснее ехать поездом. А может, даже и в дилижансе. Вышел, потоптался, поглазел, зашел в буфет — интересно, чем кормят... А тут за какой-нибудь час отмахал всю Западную Германию. И ничего не увидел. Внизу вата.

Но есть в этой обидной быстроте и своя прелесть.

Три дня тому назад я бродил еще по окрестностям Ленинграда. Стоял яркий солнечный день, но снег в лесу был крепок и глубок. Тропинка как траншея. Под ногами скрипит. То тут, то там следы зайчат. Сосульки длинные, крепкие, чуть-чуть покапывают. Все блестит — глаза зажмуриваешь...

А вот сейчас вынырнул из туч — и под тобой все зелено. Поля, луга, рощицы, парки — прозрачные, нежные, словно пух. И много-много красных, оранжевых крыш среди маленьких зелененьких огородиков. Неужели весна?

А еще через три дня — кто бы мог подумать! — мы лежали на пляже в Остии, в тридцати километрах от Рима. И даже купались. И ничего. В Крыму иногда и летом вода бывает куда холоднее.

«Медамзэмсье, Пари...»

Как? Уже? Где?

В окошке проносятся разноцветные, все в стрелах, полосах и надписях, длиннющие, прижавшиеся к земле самолеты. А вдали что-то плоское, белое, стеклянное с надписью «Орли». Аэропорт Орли.

Париж?

Париж.

...Ровно в семь утра его можно было видеть в Булонском лесу, совершающим свою утреннюю верховую прогулку...

...В фиакре с задернутыми на окнах занавесками она приезжала каждый вечер в его холостяцкую квартиру на Рю де ла Пэ...

...По приезде в Париж они сняли себе под самой крышей три маленькие комнаты, из окон которых хорошо видны были Сен-Сюльпис и купол Пантеона...

...Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот Парижа...

...Спустившиеся на город сумерки застали нашего героя все еще роющим в книгах букинистов на набережной Сены...

...На башне Сен-Жак пробило двенадцать...

Что это? Откуда?

Да ниоткуда. Я просто придумал все это. Даже не придумал, а выгащил откуда-то из памяти. Оно застряло там, а когда вылезает наружу, кажется знакомым, как знакомы открытки с видами Эйфелевой башни Нотр-Дам или пересеченной мостами Сены. Как фотографии из старой

«Нивы» или французского «Иллюстрасьон». Президент Пуанкаре и Георг V в ландо на Елисейских полях... Генерал Жоффр принимает парад у Триумфальной арки... Все это с детства врезалось мне в память. А когда подрос, узнал Утрилло, Маркэ, Клода Монэ, Тулуз-Лотрека, Ван-Гога — художников, которые любили или не любили этот город, но не могли не писать его.

Париж — самый «литературный», самый «художнический» из всех городов мира.

И вот я стою у окна. И подо мной улица. И называется она Рю Монталламбер. И внизу машины. А передо мной крыши. С мансардами, трубами, котами. А за всем этим — Эйфелева башня... Кусочек ее, верхняя часть, и ту плохо видно — сейчас туман, — но это она.

И мы уже два часа как в Париже. Мы пронеслись в машине по его улицам. Мы видали уже бельфорского льва и роденовского Бальзака. (Где? Где? Вот это? — и уже скрылся), и первых живых «ажанов», и мальчишек-газетчиков («Франс-суар! Франс-суар!» — хоть уши затыкай), и маленького лифт-боя с золотыми пуговицами, которому я дал свои первые заграничные чаевые («давай чаевые, не жмись...»). А сейчас я стою и смотрю на верхушку Эйфелевой башни из окна Пон-Рояль-Отеля, расположенного, как сказано в проспекте, «в самой деловой и в то же время здоровой части города, в районе министерств и посольств, по соседству с Лувром, Тюильри и Северным вокзалом...»

По соседству... И Нотр-Дам и Дом инвалидов тоже, оказывается, по соседству! И Сена и Марсово поле! А у меня только вечер, ночь и утро...

Мы идем по набережной Сены. Уже зажглись фонари, отражаются в Сене. И окна домов отражаются. И каштаны.

Нас трое. Известный академик, раз двадцать уже бывавший в Париже, переводчик — молодой парень, впервые попавший за границу, и я, в Париже бывавший и даже живший. Да, да, целых четыре года проживший. Было это, правда, давно — лет сорок с лишним тому назад, еще «до той войны», как у нас говорят, — и все-таки это давало мне право считать себя старожилом и время от времени мимоходом бросать: «А вот за этим мостом будет площадь Согласия. А если свернуть налево и пойти по Елисейским полям, мы попадем на площадь Этуаль...»

И, как ни странно, перейдя громадную, в этот час довольно пустынную площадь Согласия с ее вывезенными из Египта обелисками, с ее фонтанами и скульптурами городов Франции (одна из них — «Страсбург» — в войну 1914 года в знак траура была скрыта от глаз черным покрывалом) и свернув налево, мы действительно попали на Елисейские поля.

Кажется, им нет конца. Только где-то очень-очень далеко, на самом горизонте, точно крохотная безделушка (а сколько их в Париже, этих безделушек, — металлических, пластмассовых, стеклянных), озаренная прожекторами Триумфальная арка.

Идем, идем, очень долго идем, а она все такая же маленькая.

Кончился бульвар — тихий, пустынный (Париж рано ложится спать), начались витрины. Сплошное стекло, гектары стекла, и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми-, десяти- и двенадцатичилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать название, — такое оно длинное и ни на что уж не похожее. А рядом, в витрине поменьше, порхает какая-то искусственная блестящая птичка, а под ней лениво переливаются на бархате кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству или им тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-

нибудь королевское величество, потом зайдет внутрь и спросит: «Мужские, 52-й размер есть?» — «Пожалуйста».

Но о витринах и магазинах потом. Успеем.

Триумфальная арка приближается. Осталось только прорваться сквозь водоворот машин. Здесь их много. Кажется, что они кружатся так сутки напролет без всякой цели.

Триумфальная арка. Под аркой могила. В ней лежит человек, которого никто не знает. В дни национальных торжеств здесь произносят речи. Все произносят. И Петэн произносил. Только он, лежащий в могиле, молчит...

Триумфальная арка. Памятник великих побед. Двенадцать авеню, расходящихся во все стороны звездой, напоминают о них. Авеню Ваграм, Йена, Великой Армии, Фридланд. Авеню Марсо, Ош, Клебер, Карно — великих полководцев Франции. И менее великих — Мак-Магона и Фоша. Нет только побед и героев последней войны...

А может, о них, о победах и героях этой последней войны, могут рассказать те двое парней в коротеньких курточках, подпоясанных ремнями? Они застыли у изголовья чугунной плиты, на которой написано: «Неизвестному солдату Франции». Лица их озарены пламенем, горящим на могиле солдата. Один постарше, другой помоложе — курчавый, черноглазый, очевидно южанин. Оба, не мигая, смотрят куда-то вперед, мимо нас. Я не помню, было ли у них в руках оружие. Кажется, нет. Но по всему чувствовалось, что когда-то было и что они умели с ним обращаться.

Кто они? У того, что постарше, синие точки на лице. Не шахтер ли? Но с ними нельзя разговаривать: они в почетном карауле. А как хотелось бы поговорить. Мне кажется, они могли бы кое-что рассказать. О днях Сопротивления, о спущенных под откос эшелонах, о взорванных мостах, о маки, о франтирерах — о том, о чем молчат двенадцать авеню.

Но не только с ними хотелось бы мне поговорить. Хотелось бы поговорить и с другими людьми, теми, которые не в этот день, а в другой, через две недели — 19 апреля, стояли у этой же могилы. С теми, другими, мне легче было бы говорить — они знали русский, — но, вероятно, куда труднее было бы найти с ними общий язык. Этих, других, я так и не увидел. Я о них прочел в эмигрантской газете «Русская мысль», которую купил в киоске на бульваре Сен-Жермен, — она висела рядом с московской «Правдой». В небольшом объявлении на шестой странице сообщалось, что «на торжественную церемонию возжжения пламени на могиле Неизвестного солдата приглашаются Преображенцы, Измайловцы, Егеря — офицеры и солдаты 3-го Его Императорского Величества стрелкового полка, стрелки Императорской фамилии, кавалергардская семья, все члены Союза русских офицеров — участников первой мировой войны на французском фронте, в парадной форме, при всех орденах...»

Именно о них я невольно вспомнил ровно через полгода, стоя над другой могилой, в другом городе, в моем родном городе.

Восемь генералов бережно и неумело опустили в могилу совсем легонький гроб. Припали к земле знамена. Грянул салют. О крышку гроба ударились мерзлые комья земли.

Над крутым днепровским обрывом высится сейчас обелиск — стремительный, немногословный. У подножия трепещет пламя. Гранитная плита. Под ней солдат. Никто не знает, кто он. Простой солдат. Тот, что вытянул войну. Месил фронтовую грязь сапожищами, бил немца, грел озябшие руки у печурки, стучал в «козла», материл нерадивого старшину, брал города, форсировал реки. Может, ты с ним и воевал вместе, лежал в одном окопе, докуривал его сигарку...

Ветер рвет пламя над могилой. Кругом венки — большие, торжественные, с красными лентами. И маленькие трогательные букетики. Стоит

паренек, рыженький, в ремесленной курточке. Двое морячков в коротеньких бушлатах. Женщина с ребенком. Стоят, молчат... Каждый думает, вспоминает свое.

Хотелось бы знать, о чем думали и о чем вспоминали измайловцы, преображенцы, егеря и кавалергарды, стоя в парадной форме, при всех орденах, над могилой французского солдата.

Если выйти из станции метро Порт-Орлеан и пойти налево, то минут через двадцать вы дойдете до парка Монсури. В этом парке прошли первые четыре года моей жизни. Мать, окончившая в свое время Лозаннский университет, работала тогда в одном из парижских госпиталей, я же в компании двух других русских мальчиков (родители их эмигрировали из царской России) пасся в парке Монсури.

И вот спустя сорок два года я иду на встречу со своим детством.

Вышли из метро — я и Лев Михайлович, наш переводчик, — свернули налево.

Я проверяю свою память.

— Вот дойдем до конца парка и свернем налево. И сразу же направо будет коротенькая улица в несколько домов — Рю Роли.

— Вы это по плану определили, — говорит Лев Михайлович.

— Ладно, определил. Но то, что угловой дом — одиннадцатый, на плане не сказано. И то, что на углу был магазинчик, тоже не сказано. А в этом магазинчике продавались леденцы. И там был очень высокий прилавок. Приходилось становиться на цыпочки и куда-то очень высоко тянуть руку с монетой...

Проклятая память! Почему она сорок лет хранит в себе магазинчик, где продавались леденцы, и выбрасывает вон куда более важное, происшедшее пять, десять, пятнадцать лет тому назад?

Угловой дом оказался одиннадцатым. И на углу был магазинчик. Он был закрыт, но я посмотрел сквозь витрину. Вон и прилавок. Но тогда он, ей-богу же, был гораздо выше.

— А теперь пойдем вдоль этой ограды. Пройдем — ну, сколько мы там пройдем, я не знаю, — но будут ступеньки и вход в парк.

У матери сохранилась моя фотография тех лет. Я круглолиц и коротконос. В каком-то офицерском мундирчике, с саблей на боку, стою на скамейке. Сейчас скамеек в парке нет. Какие-то складные стулья. Но почему не считать, что эта скамейка стояла именно тут?

Встречи с прошлым...

...Школа, в которой ты учился. Дом, в котором жил. Двор — асфальтовый пятачок среди высоких стен. Здесь играли в «кош», в «сыщиков и разбойников», менялись марками, разбивали носы. Хорошо было. И, главное, просто. Носы быстро заживали...

Но есть и другие встречи. Куда менее идиллические. Встречи с годами войны; с дорогами, по которым ты отступал, с окопами, в которых сидел, с землей, где лежат твои друзья. Но и в этих встречах — суровых и скорее печальных, чем радостных, — бывают такие, что вызывают улыбку.

Я долго бродил по Мамаеву кургану. Прошло восемь лет с тех пор, как мы расстались со Сталинградом. Окопы заросли травой. В воронках квакали лягушки. На местах, где были минные поля, мирно бродили, пощипывая траву, козы. В траншеях валялись черные от ржавчины гильзы, патроны...

Обойдя весь курган, я спускался вниз по оврагу к Волге. И вдруг остановился, не веря своим глазам. Передо мной лежала бочка. Обыкновенная железная, изрешеченная пулями бочка из-под бензина.

В октябре—ноябре сорок второго года передовая проходила по этому самому оврагу. С одной стороны были немцы, с другой — мы. Как-то мне

поручили поставить минное поле на противоположном скате оврага. Поле было поставлено, а так как вокруг не было никаких ориентиров — ни столбов, ни разрушенных зданий, ничего, — я на отчетной карточке «привязал» его к этой самой бочке, иными словами, написал: «Левый край поля находится на расстоянии столько-то метров по азимуту такому-то от железной бочки на дне оврага». Дивизионный инженер долго потом отчитывал меня: «Кто же так привязывает минные поля? Сегодня бочка есть, а завтра нет... Безобразия!..» Мне нечего было ответить.

И вот давно уже прошла война, и нет в помине ни Гитлера, ни минного поля, и мирно пасутся по бывшей передовой козы, а бочка все лежит и лежит. (Только год спустя ее убрали, когда делали генеральную чистку Мамаева кургана.)

И еще одна встреча. Тоже с прошлым, но вдруг ожившим.

В Сталинграде снимали картину «Солдаты». Снимали на тех же местах, где шли когда-то бои. Опять вырыли окопы, понастроили землянок в крутом волжском берегу (куда им было до тех, настоящих, обжитых!), закоптили сохранившиеся руины — а их совсем не легко было найти сейчас, — словом, по мере сил восстановили недавнее, ставшее уже довольно давним, прошлое.

Как-то ночью шли съемки высадки батальона в городе. Старенький, выдавший виды катер «Ласточка» (он воевал и в гражданскую и в эту войну и все-таки остался жив) тащил за собой баржу. Кругом, вздымая столбы воды, рвались снаряды, металась по небу прожектора, шипя, падали в воду ракеты. Солдаты прыгали с баржи и по пояс в воде выбирались на берег. Все до жути было похоже на то, что происходило на этом же берегу четырнадцать лет тому назад. Но, как ни странно, не это, а другое особенно как-то подействовало на меня.

В перерывах между съемками солдаты приданного нам полка отходили в сторону и, расположившись на железнодорожных путях, отдыхали, приводили себя в порядок. На них было старое обмундирование, без погон, с отложными воротничками, у сержантов с треугольничками, у офицеров с кубиками в петлицах. Они лежали в темноте, перемигиваясь сигарками, позвякивая котелками, негромко окликали друг друга. Кто-то уже храпел. Кто-то затянул песню, тихую, ночную...

И вот тут-то нахлынули воспоминания — самые, может быть, дорогие, самые близкие...

Но сейчас мы в Париже и будем говорить о Париже.

Самое, пожалуй, поразительное в этом городе то, что он совсем не кажется чужим. Даже не зная языка, ты как-то сразу и легко начинаешь в нем ориентироваться. У него, правда, очень компактная и легко запоминающаяся планировка — кольцо бульваров, два взаимно-перпендикулярных диаметра (один: Елисейские поля — улица Риволи — площадь Нации; другой: бульвары Сен-Мишель — Себастополь — Восточный вокзал) и лучший из всех существующих ориентиров — река Сена, проходящая через самое сердце города. Но дело не в этом. И не в том, что он знаком тебе по прочитанным книгам или виденным картинам. Просто это свойство самого города. В этом его обаяние.

И второе. По Парижу не только легко ходить (кстати, этому помогают громадные планы города, расположенные у входов и в туннелях метро), по нему приятно ходить. Город, по которому хочется гулять. Не ездить, а именно гулять. По Берлину, например, гулять не хочется. По Ленинграду, по Праге — хочется. А по Парижу еще больше.

Когда я летел из Рима в Париж, в самолете нам вручили маленькие брошюры «Эр де Пари» («Воздух Парижа»), изданные авиационной компанией «Эр-Франс». В подзаголовке на обложке было написано: «Ваш

гид на неделю. 24—30 апреля. Куда пойти в Париже? Спектакли, музеи, рестораны, шопинг» («шопинг» — забавное слово, обозначающее хождение по магазинам, от английского «шоп» — лавка, магазин).

Лишенный возможности из-за туч разглядывать с высоты шести тысяч метров проплывающие под нами Монблан и Женевское озеро, я листал брошюру. От обилия предлагаемых пассажиру парижских достопримечательностей и развлечений разбегались глаза. Рекомендовалось, например, осмотреть один из двадцати девяти музеев или шестнадцати салонов-выставок, посетить один из пятидесяти пяти театров, послушать знаменитых «шансонье» в четырнадцати предлагаемых местах или повеселиться в одном из пятнадцати мюзик-холлов. Если вы любитель кино, на ваш выбор давалось шесть французских, четырнадцать американских, три английских, один испанский, один итальянский, один греческий и один советский фильм («Ромео и Джульетта»). Не забыты были портные, парикмахерские и даже аптеки. О ресторанах и магазинах я уже не говорю.

Полистав более или менее внимательно брошюру, я мог составить себе примерно такой план времяпрепровождения в Париже, учитывая, что я пробуду там только сутки.

От десяти до восемнадцати часов — музеи. Лувр, выставка «От импрессионизма до наших дней» в галерее Андре Мориса, Музей восковых фигур Гревэн, аквариум Трокадеро (рыбы французских рек), выставка, посвященная Наполеону и Римскому королю в Доме инвалидов, или другая — «Французский костюм с 1725 по 1925 год» в Мюзэ д'ар модерн. В восемнадцать часов музеи закрываются. Обедать! Где? В «Мануар норман» («Нормандский замок») или «Бутей д'ор» («Золотая бутылка»). Первый славится громадным, всегда пылающим камином и знаменитыми цыплятами на вертеле, изготовленными мсье Бюролла, великим специалистом этого дела; второй — тем, что существует с 1630 года, расположен против Нотр-Дам и что кормят там каким-то особенным фрикасе из провансальского цыпленка. После цыплят — театр. На мое усмотрение — «Фауст» в Гранд-Оперá (теперь она называется почему-то просто Оперá), нашумевшее «Яйцо» Фелисьена Марсо в Ателье или чеховский «Иванов» в Театр д'ожурдюи. На закуску — Мулен-Руж, Фоли-Бержер, Альгамбра или Казиню де Пари... Программа прелестная. День заполнен до предела. По приезде домой есть о чем рассказать.

Составляя этот план, я испытывал неизъяснимое наслаждение. Прилетев в Париж, я сунул брошюрку в чемодан и никуда не пошел, даже в Лувр.

Это — преступление, я знаю. Быть в Париже и не взглянуть на Венеру Милосскую и Монну Лизу равносильно тому, что побывать в Риме и не увидеть папу. Но поскольку в Риме я с папой так и не встретился, я позволил себе и вторую вольность — променял сокровища Лувра на парижские улицы.

Парижские улицы... Узенькие, кривые, с забавными названиями — улица Шпор, Хороших мальчиков (Bons-garçons), Кошки, удрящей рыбу (Chat-qui-pêche), Двух кузенов, Трех сестер, Четырех воров, и широкие, обсаженные каштанами авеню и бульвары... Улицы «высокой парижской коммерции» (du haut commerce parisien) в районе Мадлен, Сент-Огюстен, бульвара Мальзерб, средоточие самых великолепных и дорогих в мире магазинов-люкс. Всемирно известные площади — большие и маленькие, с памятниками и без памятников, размахнувшиеся среди тенистых парков и сжатые высокими стенами домов, они особенно хороши ночью, когда гаснут огни реклам и фонари, изящные парижские фонари с металлическим абажурчиками в виде шлемов, мягко освещают нижние этажи домов. И, наконец, набережные — может быть, самое прекрасное во всем городе. Внизу — пустынные, с покосившимися, глядящими в Сену столетними вязами и молоденькими, двадцатилетними парочками, примостившими-

ся на ступеньках у самой воды; сверху—оживленные, заполненные людьми, куда-то спешащими, бегущими, что-то разгружающими из громадных тупорылых машин или, наоборот, фланирующими, фотографирующими, разглядывающими у прилепившихся к каменному парапету букинистов пожелтевшие от времени книжки.

По ним только и бродить, по этим площадям, набережным и улицам, идти куда глаза глядят, сворачивать направо, налево, петлять, кружить, спуститься в метро, проехать сколько-то там станций и выйти на какой-нибудь особенно улыбнувшейся тебе — Ваграм или Пигаль — и опять куда ноги понесут, если они еще не отказали.

Гостиница Каирé находится в самом центре, на бульваре Распай. Я вышел из нее, дошел до угла и, остановившись у светофора, почувствовал себя точно витязь на распутье. Пойдешь налево — Национальное собрание и дворец президента, направо — площадь Бастилии, прямо — сад Тюильри, назад — Марсово поле и Эйфелева башня. Я пошел направо — не знаю почему.

Ты один, дел и обязанностей никаких, деньги кое-какие еще есть, не густо, но есть, погода чудесная — что еще надо? Идешь по бульвару Сен-Жермен и глазеешь по сторонам. Симпатичная девушка продает цветы — перед ней полная корзина цветов, каких-то голубеньких и розовых, незнакомых тебе, и сама она похожа на цветочек. Старик в клеенчатом фартуке приставил лесенку к афишной тумбе и наклеивает что-то очень большое — пока что я вижу на афише только длинные-предлинные ноги в ажурных чулках и туфельках на неправдоподобно высоких и тонких каблучках. А вот на таких же каблучках-гвоздиках пробежали две девушки с хвостатыми прическами, и двое молодых ребят с пестрыми платочками на шее, сидящие за столиком у входа в кафе, точно по команде повернули в их сторону головы. Пожилой господин с болтающейся за спиной тросточкой тоже проводил их взглядом и опять принялся разглядывать выставленные в витрине гипнотически притягивающие к себе сногшибательными обложками выпуски «библиотеки ужасов».

Бульвар Сен-Жермен — самый книжный из всех бульваров. Здесь можно купить все или почти все, начиная от баснословно дорогих, в тисненых переплетах, нумерованных изданий для знатоков и любителей и кончая грошовыми, запрудившими рынок миллионами экземпляров выпусками, которые так пленили господина с тросточкой. Книги по живописи, архитектуре, музыке, фотографии, спорту, туризму, телепатии, автомобилям. Книги о том, как дружно жить с женой, не отказывая себе в других развлечениях, как вылечить рак в два месяца, как заводить нужные знакомства. Специальный магазин самоучителей всех языков мира, вплоть до какого-то таинственного бринчи-бринчи. Магазин словарей и справочных изданий. В нем я встретил своего друга детства, тоже повзрослевшего, как и я, — маленький иллюстрированный словарь Ларусс, в котором было столько картинок, что от них оторваться нельзя было. И сейчас я тоже никак не мог от них оторваться, пока любезное «Вам завернуть?» не прекратило это занятие.

В маленьком скверике у церкви Сен-Жермен-де-Прэ я присел на скамейку. Позднее я узнал, что это самая древняя в Париже церковь, что построена она в 557 году и находилась тогда за пределами городских стен (отсюда и название: Сен-Жермен-на лугу), что норманны неоднократно разрушали ее, тем не менее колокольне за моей спиной минуло недавно тысяча четыреста лет. А в трех шагах от нее другая достопримечательность Парижа, чуть помоложе, носящая то же название «Сен-Жермен-де-Прэ», — знаменитое кафе экзистенциалистов.

Садясь на скамейку, я ничего этого не знал и мирно покуривал, глядя на азартно строивших какое-то сооружение из песка и веток ребятшек. Рядом со мной сидел старик, читавший «Монд». У него было чисто выбри-

тое, все в морщинах и складках пергаментное лицо старого учителя. Я почему-то решил, что он преподает или преподавал когда-то математику. Прочитав газету, старик аккуратно сложил ее, положил в карман, вытащил трубку и долго набивал ее табаком из маленькой плоской коробочки с большой буквой «N» на крышке. Потом долго рылся в карманах в поисках спичек. Я предложил ему свои. Он закурил и, возвращая мне спички (они были итальянские, в плоской зелененькой коробочке), спросил, не португалец ли я. (Кстати, на следующий день в аэропорту какой-то очень смуглый, невероятно черноволосый субъект, суетливо бегавший и искавший кого-то, подбежал вдруг ко мне и, радостно улыбаясь, спросил: «Это вы летите в Лиссабон?» После этого мне очень захотелось увидеть живого португальца, я их никогда не видел.) Старик, узнав, что я русский, недоверчиво посмотрел на меня.

— Русские — большие, широкоплечие и светлые, — сказал он.

Я удивился. В Париже много русских, неужели они все большие, широкоплечие и светлые? Старик ничего на это не ответил и спросил, какой я русский, старый или новый, — очевидно, эмигрант или советский? Мой ответ он попросил подтвердить доказательством. Я вынул рубль. Он долго его рассматривал, потом вернул — в Италии его ни за что не отдали бы, а попросили бы еще расписаться на нем.

Вдруг без всякой логической связи с предыдущим старик заговорил о Наполеоне. Какой это был император, какой полководец! Только одну ошибку он совершил — поздно начал русский поход. Надо было начинать не в июне, а по крайней мере в апреле или в мае. Тут же он, правда, оговорился, что к русским относится хорошо, что они неплохие солдаты — он видел их в первую войну — молодцы, красавцы! — что у него есть приятель русский, истопник, очень порядочный человек.

Из дальнейшего выяснилось, что старик служит в Доме инвалидов, где погребен Наполеон, то ли гардеробщиком, то ли в охране (говорил он быстро, и я не все понимал, но слово «garde» — охрана, стража, караул — он повторил несколько раз), и тут мне стало ясно, что все интересы старика сводятся в основном к тому, что имеет какое-либо отношение к великому императору (иначе он Наполеона не называл). На пальце у него был перстень с буквой «N», на часах брелок с буквой «N», и даже крохотные запонки на воротничке были украшены малюсенькой буквой «N». Когда мы заговорили о днях оккупации, он сказал, что немцев не любит, но многое им прощает за то, что они перевезли в Дом инвалидов прах Римского короля, сына Наполеона.

Потом старик вдруг обиделся и замолчал, узнав, что я не поклонился праху великого императора и вряд ли успею это сделать. Сидел, попыхи-вая трубкой, не глядя на меня, потом, по-видимому, ему это надоело, и он ворчливо спросил, знаю ли я, у стен какого древнего сооружения сижу. И тут же рассказал историю Сен-Жермен-де-Прэ.

Дальнейшему разговору помешала его жена. Толстая, оживленная и сердитая, значительно моложе его, она как-то неожиданно появилась перед нашей скамейкой и сразу стала в чем-то упрекать его. Старик виновато смотрел на нее снизу вверх, потом встал и, несколько сконфуженный своим слабым сопротивлением, попрощался со мной, успев сообщить жене, что я «симпатичный молодой человек из Москвы, к сожалению, не интересующийся историей Франции». Жену это нисколько не тронуло, она решительно взяла его под руку и, продолжая отчитывать, повела к выходу. Старик на ходу обернулся, посмотрел на меня и беспомощно развел руками: «Что поделаешь. Такова жизнь...»

К сожалению, кроме этого старика и трех «ажанов», в Париже мне больше ни с кем не удалось поговорить, если не считать приказчиков и та-

моженных чиновников. Впрочем, вру — с одной парижанкой я довольно долго разговаривал. Мы сидели с ней в кабинете нашего посла, у великолепного высокого окна, выходящего в небольшой уютный садик. Она пришивала мне оторвавшийся карман на пиджаке, а я слушал ее приятную, не так часто встречающуюся теперь, сохранившуюся только у стариков московскую речь.

— Ну что ж, живу... Уборщицей работаю. Второй год уже. И никак не привыкну. Город большой, красивый, очень даже красивый, вы же видели. Да больно уж суетливый. Суетливее, чем Москва. А может, та суета своя, привычная... А может, просто по детям скучаю...

И она повела обычный и всегда чем-то трогаящий рассказ матери о своих детях, привычно и ловко орудуя иглой («а теперь и пуговицы укрепим...»), и от всего этого сразу стало как-то тепло и уютно в этом громадном кабинете с торжественной мебелью, в котором сидели когда-то чрезвычайные и полномочные министры Российской империи, а теперь, пока не пришел еще наш посол, тетя Маша, оторвавшись от пылесоса «Ракета», пришивала мне карман.

Ей нравился Париж. И парижане нравились. А думала она все о Москве. «И суета там своя, привычная». Кстати, эта черта свойственна всем русским, живущим за границей. Наши корреспонденты в Италии, с которыми я провел довольно много времени, с улыбкой слушая мои излияния по поводу красот Рима, Флоренции, Венеции, говорили:

— Мы, брат, тоже первые два-три месяца вот так вот бегали высунув язык. Ах, музеи! Ах, руины! Ах, трамваи! Ах, дороги! А вот поживи здесь с наше, года три-четыре, так поймешь, что значит для тебя Сивцев Вражек или какая-нибудь твоя киевская, идущая в гору улица. Иной раз даже по милиционеру соскучишься...

И все это говорили русские, которые знали, что через месяц, два, три, шесть, максимум год они вернутся домой на свои Сивцевы Вражки и Николо-Песковские. А что говорить о тех, кто никогда уже не вернется на родину?

Я много видел таких. Разных, очень разных. В Равенне рядом со мной за столом сидела девушка, специально приехавшая за сто километров повидать земляка с Украины. Попала она в Италию во время войны. Сама из Днепропетровска. Вспоминала родные места, плакала и просила, чтобы я обязательно прислал ей шевченковский «Кобзарь». «Вы не представляете, что это для меня значит, нет, вы не можете этого понять».

Во Флоренции старушка, библиотечка общества «Италия—СССР», энергичная и подвижная, с жаром рассказывала, как расширяется круг читателей советской литературы, а вечером («нет, я не хочу вина, я хочу русской, настоящей русской водки!») тоже расчувствовалась и все вспоминала, расспрашивала, расспрашивала, расспрашивала...

Ирина Ивановна Доллар, преподавательница русской литературы в Венецианском университете, не плакала. В Италии она очутилась совсем еще маленькой девочкой; Россию почти не помнила, но все русское ей по-настоящему дорого.

Я сидел среди ее студентов в маленькой университетской аудитории, и как же приятно было слушать все, что говорили и расспрашивали о русской и советской литературе все эти молодые венецианцы и венецианки, из которых многие приезжают на лекции за десятки километров.

Все они мечтали попасть на фестиваль. Собрали деньги и теперь ждали — разрешат университетские власти или нет? Несколько месяцев спустя я получил от Ирины Ивановны открытку: «Едем на фестиваль!» Как жаль, что я не был тогда в Москве...

Приятно сейчас вспомнить и о Юрии Крайском, вдвоем с которым мы бродили по безмолвным улицам Помпеи и пили вино в уютном домике нашего каприйского гида Винченцо Вердолива, и о Джордже Фолиато,

показывавшем нам Флоренцию (кстати, он тоже побывал на фестивале), и о старом флорентийском враче, трогательно приглашавшем нас к себе домой, чтобы показать нам, как чисто по-русски обставлена у него квартира, словом, о всех тех, для кого слово «Россия» обозначало пусть далекую, пусть даже чем-то чуждую, но все-таки родину.

Но были и другие.

Был немолодой уже содержатель одного из флорентийских ресторанов, который подсел к нам и с грустью заговорил о том, что в Россию ему никогда уже не вернуться.

— Да и стоит ли? Мы теперь уже не нужны друг другу. Ни я ей, ни она мне. Отвыкли друг от друга. Скучать, конечно, скучаю, но возвращаться... И не примут, и делать мне у вас теперь нечего. Здесь у меня семья, никаких особых планов на жизнь я уже не строю, к Италии привык, хоть не все мне здесь по душе.— Он вздохнул, потер ладонями лицо.— Приходите завтра, я вам что-нибудь русское сделаю — борщ со сметаной, блины...

А в маленьком городке Ивреа, недалеко от Турина, на фабрике пишущих машинок Оливетти (о ней речь будет особая) нас сопровождала немолодая и очень словоохотливая дама, имя и отчество которой я сейчас забыл. Фабрика сама по себе, конечно, очень интересна, но дама восторгалась и захлебывалась с таким усердием, что мы, слушая ее, невольно начинали подвергать сомнению все, что она говорила. Рабочие, мол, и массу денег зарабатывают, и каждый свою машину имеет, а если не машину, то мотороллер, и квартиры у них отдельные («вот и у меня две комнаты, кухня, ванная, а в Москве, я видела, всё еще по углам жмутся...»), и рабочая столовая здесь лучшая в Италии, и сам Оливетти такой бессребреник, всем раздает деньги, а сам в стареньком пальтишке ходит.

Во всем этом, возможно, и была доля истины — не знаю, проверить то, что нам говорили, мы не могли, а фабрика, со стороны, действительно поражает своим благоустройством и рациональностью,— но когда обо всем этом говорится с таким неумеренным восторгом, невольно закрадывается сомнение.

Попутно о нас самих. Не напоминаем ли мы иногда эту самую даму, когда показываем иностранцам свои достопримечательности? Мне вспоминается скорбный взгляд итальянского писателя Карло Леви, когда три года тому назад в Киеве я спросил его, как ему понравилось Московское метро.

— Господи, и вы об этом? — сказал он с укоризной.— Нет человека, который не задал бы мне этого вопроса. Даже в Италии... В вашем посольстве, в Риме, я спросил молодого человека, выдававшего мне визу,— кстати, неглупого, начитанного,— что самое интересное он порекомендует посмотреть мне в Москве. Он подумал-подумал, наморщил брови и сказал: «Метро!» — то же, что я уже раз двадцать слышал от русских. И, может быть, именно поэтому я в нем не был. А ведь, вероятно, оно действительно хороше...

После оливеттievской дамы я понял, что у Карло Леви были основания так говорить.

Но это к слову. Возвращаюсь к тому, с чего начал,— к «другим». С наиболее ярко выраженной категорией этих лиц (хотя далеко не самой многочисленной) я столкнулся в одном из римских ресторанов, носящем название «Библиотека», очевидно потому, что бутылки с вином стоят на полках вдоль всех стен от земли до потолка. Нас было шестеро: мы с Львом Михайловичем и четверо наших корреспондентов. На правах старых, опытных римлян они угощали нас изысканными итальянскими блюдами и винами, наперебой расспрашивали, что нового дома, в Москве, в Ленинграде, в Киеве. Потом откуда-то появился фотограф, щелкнул

аппаратом и через двадцать минут принес наши изображения, наклеенные уже на паспарту. Одним словом, все шло гладко и мирно. И только под самый конец мы обратили внимание на соседний столик. Там сидела женщина и еще двое: один постарше, другой лет двадцати, совсем мальчишка. Мальчишка был бледен и пьян. Уставившись в пространство, не глядя ни на нас, ни на своих собутыльников, он не очень громко, но достаточно, чтобы мы расслышали, произносил слова:

— Продали Россию... Загадили, запаскудили. Кровью залили. Великие преобразователи человечества. По границам теперь разъезжают. Учить нас хотят. А Россия с голоду дохнет. Продали ее...— И так далее, и так далее.

Судя по глазам и сжатым кулакам моих друзей, вся история могла закончиться в полицейском участке. Но благоразумие взяло верх. Мы расплатились и ушли. В гардеробе опять столкнулись с этой тройкой. Явно пытаюсь затеять ссору, старший из них, проходя мимо нас, кинул:

— Не понравилось? А? Струсил?

В ответ ему с достаточной ясностью было сказано, что его ожидает, если он сейчас же не скроется. Нас было шестеро, их трое, вернее двое. Больше мы их не видели.

Кто они? Чем занимаются? Не встречались ли мы с ними (с мальчишкой нет, а с тем, постарше) где-нибудь на полях Отечественной войны? Не было ли на нем тогда серо-зеленого мундира?

Немало русских разбросано сейчас по земному шару. В Италии, Франции, Южной Африке, Австралии... Сколько среди них мечтает о «Кобзаре», сколько среди них обманутых, хотящих и боящихся вернуться домой, но сколько среди них и ненавидящих. Их меньшинство, но они есть.

Чем же они живут?

Мне трудно судить об этом: кроме той тройки в римском ресторане, мне больше ни с кем не пришлось встречаться. Разве что с «Русской мыслью», с которой столкнулся в Париже. Существует эта газета уже десять лет, редактирует ее некий Серж Водов. Я с интересом полистал ее. С интересом потому, что, во-первых, никогда до сих пор не читал белоэмигрантских газет, во-вторых, просто потому, что захотелось узнать, чем же живут ее издатели и читатели.

И оказалось — ничем. Ненавистью? Но одной ненавистью не проживешь. А кроме нее, ничего нет. Пустота, безысходность, отсутствие цели, хотя о ней и говорят и пишут. Но верят ли в нее?

Трудно без улыбки, например, читать о том, как какой-то господин Болдырев, деятель Национально-трудового союза, обещает произвести в Советской России переворот, если у него будет сто миллионов долларов. Над этим смеется даже А. Жерби, сотрудник «Русского слова», статью которого «Несколько слов по поводу Конгресса за права и свободу России» я прочел в номере газеты за 23 апреля 1957 года. Я не знаю, кто такой А. Жерби, приславший в «Русскую мысль» свою статью из Нью-Йорка, но, прочитав ее, я окончательно понял всю трагическую и смешную безысходность существующего еще до сих пор «белоэмигрантского движения». Есть еще какие-то партии, союзы, объединения, движения, институты, ассоциации, комитеты, общества — галлиполийцев, кубанцев, витязей, алексеевцев, русских комбатантов, русской православной молодежи и т. д. и т. п., есть собрания, конференции, балы, матине, *thé-dançap'ty* (чай с танцами), съезды, конгрессы. Нет только одного — цели. Цели, в которую бы верили.

«Мое отрицательное отношение к созываемому в Гааге на 25—27 апреля «Конгрессу за права и свободу России», — пишет автор статьи, — является последствием печального опыта с несколькими съездами эмигрантских организаций, созывавшимися за последние десять лет. Ничего, кроме склоки, из этих попыток, начатых с самыми лучшими намерениями,

не вышло». И дальше: «Лично мне не известен ни один человек из передовых слоев эмиграции, не только левых, но просто прогрессивных, кто признал бы целесообразность собираться в настоящее время и обсуждать нечто, не поддающееся обсуждению».

Картина более или менее ясная. Остаются только матине и thé-dançant'ы в Русском доме. Об открытии одного из них, в Брюсселе, сообщается в том же номере газеты:

«Дом сверкает чистотой, на стенах красуются царские портреты и портреты вождей Добровольческой и Освободительной армий, знамена, гербы, девизы... Имеется зал для конференций, салон для бриджа, русский бильярд, библиотека, читальня».

Вот и нашлось, где посидеть, побеседовать, повспоминать прошлое, полистать свеженькие журналы. Ну хотя бы этот, о выходе которого сообщается все в том же номере:

Вышел из печати № 24
журнала
«ВОЕННАЯ БЫЛЬ».
Издание

Обще-кадетского объединения
под редакцией А. А. Геринга.

В номере: Д. А. «День в Морском корпусе (посвящается выпуску 1915 г.)»; Вл. Третьяков. «Первые добровольцы на Кубани и кубанцы в первом походе»; В. Каминский. «Производство в офицеры»; Л. Беляев. «Офицерские гимнастические фехтовальные курсы в Киеве и 1-я Рос-сийская олимпиада»; Анатолий Марков. «Гвардейская юнкерская школа»; В. Богуславский. «75 лет с поступления в Воронежскую военную гимназию», и т. д., и т. д.

Есть еще о чем вспомнить, сидя под портретами вождей «Добровольческой» и «Освободительной» (читай — власовской) армий!

Ну, а тем, кто помоложе, кому нечего вспоминать? Чем им заняться? Оказывается, кроме бриджа и бильярда, есть еще и ипподром. В том же номере газеты некто Н. Нелидов дает дельные советы, как там вести себя, чтобы не оказаться в проигрыше.

«Если у вас попросят прикурить в промежутке между скачками, не играйте: о выигрыше не может быть и речи. Если вас все время толкают — проиграете. Уронили деньги — наступите на них: выиграете. Если вместо кассы, где покупают билеты, по ошибке встанете у кассы, где получают, — выигрыш обеспечен. Это приметы французских игроков. О русских приметах напишу после».

Ну, а если никуда не хочется идти, хочется сидеть дома? И на этот случай газета дает совет в своем отделе «На досуге»:

«ПАСЬЯНС «КОМЕТА»

Возьмите колоду в 52 карты и расположите ее в 8 вертикальных рядов следующим образом: в первых 4 рядах по 6 карт, из коих 5 закрытых, а 6-я открытая, а в последующих 4 рядах — по 7 карт открытых. Пасьянс состоит в том, что...»

И дальше шестьдесят строк объяснения, как скоротать время, если не хочется ни на съезд, ни в библиотеку, ни на ипподром.

Но это еще не все. Газета дает ответы и на более существенные вопросы устами сотрудницы «Женского уголка», всезнающей Наталы. Она все знает, на все может ответить: и сколько стоит билет на самолет до Лондона, и где находится Баньер-де-Бигорн и дорого ли там лечение, и что делать Марии Ивановне (Мозель), пятнадцатилетний сын которой в ее отсутствие приходит домой завтракать, но слишком мал, чтобы самому себе приготовить завтрак, и слишком велик, чтобы оставаться одному с прислугой, которой уже семнадцать лет.

«У меня есть подруга француженка, — спрашивает у Натали Петр Иванович, — и у нас вечно недоразумения. Сейчас обиделась, что я не сделал ей подарка на Пасху. Сами знаете, времена тяжелые, — я ей это сказал. А она мне: «Ведешь себя, как будто ты мой законный муж». Что это она хотела сказать, уважаемая Натали?»

И Натали отвечает. На все отвечает. Вот это газета!

Пусто, безысходно, бесконечно тоскливо. Где выход? Кто ответит?

МАЛЕНЬКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ LES PETITES ANNONCES

Ясновидящая КАЛЬ. Ответ. на задуман. вопросы, угад. имена и предсказываю будущее. 3—7 час. 70 bis, Av. Clichy, 1-er étage.

Пятнадцать лет тому назад закончились бои в Сталинграде. В течение нескольких часов, даже минут, мы оказались вдруг тыловиками. Фронт был далеко, где-то на Дону. На пушки натягивали чехлы. Из пистолетов и автоматов расстреливались последние патроны. Все небо было в ракетах с утра до поздней ночи. А потом пили.

В перерыве между концом боев и началом празднования я отправился на Тракторный завод. Весь сентябрь я просидел на нем — с 23 августа до 3 октября. Мы должны были взорвать его. В цехах под машинами лежали мешки аммонала. От мешков шли провода в щели — убежища. В щелях мы жили. Там же были и маленькие рубильники, которые надо было включить, как только получим сигнал. Но сигнал так и не дали. В последних числах сентября пришел приказ — взрывчатку из цехов убрать и закопать поглубже. Мы это сделали и ушли на левый берег. Вскоре немцы захватили Тракторный.

Прошло четыре месяца. И вот в первый же мирный день, вернее даже час, я отправился на Тракторный, чтобы показать, где зарыта взрывчатка. Потом я долго бродил по разрушенному заводу, зашел в ТЭЦ (вместо нас ее разрушили немецкие бомбардировщики), разыскал щель, в которой, не раздеваясь, прожил сорок два дня, — в нее попал снаряд, и она превратилась просто в засыпанную снегом яму. Потом пошел в свою часть.

Не доходя километра три-четыре до нашего штабного оврага, я догнал небольшую группу пленных, которую вел командир роты третьего батальона Стрельцов.

Мы пошли вместе. Немцев было человек восемь. Сумрачные, замерзшие, закутанные в одеяла, с громадными рюкзаками за плечами (немцы не расставались ни с чем, что в силах были поднять), они шли молча, не глядя по сторонам. Только один был без рюкзака — маленький, весь посиневший, с густой черной щетиной, доходившей ему почти до глаз.

— Говорит, что француз, — сказал Стрельцов. — Ругает фрицев на чем свет стоит.

«Шкуру спасает», — подумал я и задал ему несколько вопросов. Это был первый в моей сознательной жизни француз, если не считать мсье Картье, преподавателя курсов иностранных языков, на которых я когда-то недолго учился.

Француз оказался эльзасцем из города Мюлуз. Имя его я сейчас забыл. До войны работал спортивным обозревателем в местной, а затем в страсбургской газете. Там, в Страсбурге, у него семья: отец, жена и двое мальчиков — Селестэн и Морис.

— Мориц? — не выдержал и съязвил я.

— Нет, Морис! — Он даже обиделся. — Ударение на «и». Морис. И говорят они у меня оба по-французски. Дома только по-французски. Старшему, Селестэну, — десять, Морису — шесть...

Мы шли по разъезженной танками и машинами дороге. Кругом в снегу валялись подбитые немецкие пушки, обломки самолетов, ветер гнал вороха немецкой штабной писанины (в те дни Сталинград буквально утопал в ней), а он, маленький, в надвинутой на уши пилотке, с трудом двигая замерзшими губами, рассказывал о своем отце, кавалере ордена Почетного Легиона, полученного за Верден, о матери-парижанке («она умерла еще до войны, и, может, это даже хорошо, она не увидела меня в этом позорном обмундировании»), о своей жене, родом из Лотарингии («у меня сейчас руки замерзли, а то показал бы вам ее фотографию»), опять о своих детях, потом вообще о французах — какие они всегда веселые, остроумные, неунывающие, как ценят они свою свободу.

Недели через две я опять встретился с ним. Он шел с большой партией пленных, которых уводили за Волгу. Увидев меня, он помахал рукой и что-то крикнул. Мне послышалось что-то вроде: «До встречи в Париже!..»

Тогда, в сорок третьем году, на берегу замерзшей Волги, пожелание это звучало по меньшей мере смешно. Но вот случилось так, что через пятнадцать лет я действительно попал в Париж. Эльзасца своего я, конечно, не встретил, но, глядя на парижан, невольно вспомнил его слова о веселых, неунывающих французах. Как ни странно, мне они такими не показались. Суждение очень общее и поверхностное, но и в метро, и на улицах, и в магазинах они не производили на меня впечатления людей веселых, неунывающих. Особенно в метро. Сидят молчаливые, сосредоточенно глядящие перед собой или уткнувшиеся в газету, усталые, невеселые люди.

Мне говорили потом, что французы, мол, после войны очень изменились. Стали угрюмее, замкнутее, сидят больше по домам. Так ли это? Не знаю. На Монмартре, например, мне удалось все-таки увидеть веселых парижан. Это были толстые немолодые люди в расстегнутых рубашках, с увлечением катавшие какие-то шары — французская игра, смысл которой я не совсем понял. Дело происходило на маленькой уютной площадке у входа в кафе. Какие-то туристы фотографировали играющих, но те не обращали на них внимания и, весело перекиваясь, катали свои шары. Я тоже постоял, посмотрел, потом свернул в переулочек и тут обнаружил другую категорию людей, которые тоже ни на кого не обращали внимания. Они сидели за мольбертами и все рисовали одно и то же — яйцевидный купол Сакрэ-Кёр, господствующий над всеми крышами Монмартра. Одни делали его голубым, другие желтым, фиолетовым, а маленький, сухонький старичок с профилем и волосами Листа, в длинной блузе, с бантом — таких я видел только на картинках — изображал его розовым на фоне белесого неба, хотя на самом деле купол был как раз белесым, а небо розовым.

Но не это меня удивило. Удивило то, что такие же точно пейзажи именно этого купола и именно с этого места висели в большом количестве чуть ли не во всех магазинах, торгующих сувенирами, открытками и картинами. Неужели этого количества не хватает, нужно его пополнять? И тут у меня мелькнула нехорошая мысль: а что, если старичок с бантом и его коллеги просто-напросто необходимый аксессуар, без которого Монмартр не был бы Монмартром? Ну что это за Монмартр без художников! Потом мне говорили, что это так, мол, и есть — все они живут за счет туристских компаний, кто ж этого не знает? А веселье толстяки с шарами? Может, они тоже... Но нет, это уже слишком. Да и про художников, по-моему, тоже все придумано. Не хочется этому верить, хотя, в общем, и непонятно, зачем все-таки столько сакрэ-кёров.

На той же маленькой уютной площадке, где катали шары, увидел я и других художников — разновидность наших, вырезающих из черной бумаги профили в парках и фойе кинотеатров. Но эти не вырезывали, эти

просто рисовали. Один из них, молодой рослый парень, судя по всему — по клетчатой навыпуск рубаше с засученными рукавами, по шкиперской русской бородке, которая сейчас в моде у парижской богемы, — должен был быть заядлым абстракционистом. Но это течение, по-видимому, не в большой чести у рядовых заказчиков. Парень самым честным образом, с распушевающей, с бликами в глазах, очень быстро и ловко рисовал маленькую девочку, сидевшую перед ним на стуле и мучительно старавшуюся не засмеяться. Родители одобрительно кивали головами — им нравилось.

Тут же рядом другой художник, тоже молодой (не студенты ли они?), но менее эффектный, без бородки, писал сразу двоих — жениха и невесту. Она была в подвенечном платье с флердоранжем, он — молодой офицер в кокетливо сдвинутом набор берет. Друзья их, молодые люди в таких же беретах и девицы с распушенными, точно непричесанными волосами, усиленно помогали художнику советами, но, в общем, были довольны его работой. На приколотом к дощечке листе ватмана под разноцветными мелками быстро возникали розовые и очень привлекательные молодожены, может быть, даже несколько более привлекательные, чем на самом деле.

Потом вся компания, а вслед за нею и я отправились к Сакрэ-Кёр и там несколько раз сфотографировались на широкой лестнице, идущей к собору. Тут же, на лестнице, фотографировалось еще несколько пар. Почему их было так много, не знаю. Одну из групп — папу, маму, жениха, невесту и мальчика с голыми коленками — удостоился чести снять и я. Мне дали аппарат и попросили запечатлеть всех пятерых вместе, но так, чтобы попали и собор, и конная статуя, и, главное, высоченная колокольня, которая никак не вмещалась в кадр. Не знаю, что у меня получилось, но в благодарность я заслужил прелестную улыбку невесты и веточку флердоранжа. Вслед за этим все пятеро степенно проследовали в собор. Собор Священного сердца — Сакрэ-Кёр — самое, пожалуй, некрасивое и непарижское сооружение во всем Париже. Я не видел церкви Сен-Фрон в Перигэ, формы которой вдохновили творцов Сакрэ-Кёр, но эта многокупольная, пышная, непонятно в каком стиле сделанная громада, строившаяся тридцать четыре года (1876—1910), кажется каким-то посторонним, инородным телом среди монмартрских улочек, переулочков и лестниц. Только низкий, благородный звон «Савояра», самого большого в мире колокола, плывущий над крышами Монматра, несколько искупает громоздкость и пышную эклектику архитектуры.

Но место, на котором стоит собор, — лучшего не найти. Пристроившись на парапете, окружающем небольшую площадь перед собором, я долго сидел и смотрел на погружающийся в вечерние сумерки громадный город. Быть может, вид, открывающийся на Флоренцию с Пьяццале Микеланджело, или всемирно известный ландшафт Неаполитанского залива с пинией и Везувием сами по себе красивее. Возможно, это и так, но в той красоте есть какая-то открыточная законченность, самой природой придуманная композиция. Здесь же просто город: крыши, крыши, крыши, и первые огоньки в окнах, и светящиеся изнутри перекрытия вокзалов — правее Сен-Лазар, левее Гар дю Нор и Гар де л'Эст, — а дальше купола, колокольни, совсем розовая сейчас лента Сены и все та же Эйфелева башня, которую так ненавидел Мопассан и которая так прочно овладела силуэтом Парижа.

Я сидел на каменных перилах и думал о том, что за те три с чем-то десятка часов, которые я в нем пробыл, я увидел максимум того, что можно было увидеть, я обегал десятки улиц, площадей и парков, ноги у меня болели так, как не болели с лета сорок второго года, когда приходилось проделывать по сорок—пятьдесят километров в сутки, и все-таки я города совсем не знаю. Я видел дома, но что за их фасадами скрывается, я не знаю. Я фотографировал папу, маму, жениха, невесту и мальчика

с голыми коленками, но кто они такие, о чем они думают — я не знаю. Единственный парижанин, с которым, по сути, я поговорил, рассказывал мне о Наполеоне, а ведь он, вероятно, мог и кое о чем другом порассказать. Я покупал книги, открытки, билеты в метро, маленькие сувениры, но кто те люди, которые мне их продавали, где они живут, как живут, что делают после шести часов вечера, какие газеты читают и читают ли вообще, а если читают, то почему именно эти, а не те, — ничего этого я не знал. Я всего лишь несколько минут постоял над тем парнем в клетчатой рубашке, со шкиперской бородкой, а мне хотелось бы с ним посидеть в каком-нибудь бистро до двух часов ночи и задать ему тысячу вопросов и ответить на две тысячи его.

Трое «ажанов» на набережной Сены мило мне улыбались и передавали привет Москве. А год спустя эти же «ажаны», возможно, разгоняли на Елисейских полях демонстрации, шедшие с лозунгами «Да здравствует Республика!», и, может быть, били даже дубинкой по голове того самого парня в курточке, который стоял в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата. А может быть — уж больно разнородным по составу было французское Сопrotивление, — может быть, этот самый парень в майские дни 1958 года сам кричал у стен Бурбонского дворца: «Министров в Сену!» Все может быть...

Париж... Парижане... Я видел их, но я не знаю их. А как хотелось бы знать. И не только знать, но и подружиться с ними, теми, чьи предки защищали Великую французскую революцию и Парижскую коммуну, кто сами выходят на улицу с «Марсельезой» на устах, когда свободе Франции грозит опасность. И тогда я понял бы, что настоящие парижане совсем не такие, какими я видел их в метро. Они другие — веселые и неунывающие, любящие и ненавидящие, поющие, танцующие и заразительно смеющиеся, но умеющие, кроме того, и бороться, и драться, и отстаивать свои права, кто бы и под какой бы маской на них ни посягал, одним словом, такие, какими описывал их маленький эльзасец в Сталинграде, какие они есть, какими они не могут не быть.

Третьего апреля в половине четвертого мы прибыли в Рим, а в пять был уже прием, или, как он был назван в газетах, «коктейль», устроенный обществом «Италия—СССР». Так началась наша жизнь делегатов, жизнь, в которой завтраки, обеды и ужины являются, пожалуй, самой тяжелой и трудоемкой частью и без того перегруженного расписания.

— Ну что ж, пойдем позавтракаем, — с этих слов обычно начинался наш день.

В час, оказывается, надо уже обедать. Итальянцы обедают в час, и тут уж ничего не поделаешь — надо идти. Обед продолжительный, обязательно с вином — после него, кроме сна, трудно о чем-либо другом мечтать. Но о каком сне можно говорить, когда в четыре нас ждут там-то, в шесть конференция, потом визит к тому-то и, конечно же, небольшой ужин, а до четырех надо успеть побывать в галерее Уффици, или в Национальном музее, или в Дворце Дожей, или в Ватикане, или... Словом, какой сон в Италии? Спали по четыре-пять часов, и то обидно было.

За двадцать три дня я побывал в семи городах — в Риме, Турине, Милане, Венеции, Равенне, Флоренции и Неаполе, — и только в Неаполе не было никаких «мероприятий». И во всех семи — музеи, галереи, выставки, церкви, руины, замки, дворцы, театры, гробницы, памятники. Один только поверхностный осмотр не оставил бы ни минуты времени для чего-либо другого. А мы, собственно говоря, и приехали для этого «другого»: как в старину говорилось, «людей посмотреть и себя показать», а на современном языке — для налаживания контактов.

И тут-то хочется сказать о том, что особенно затрудняло это налаживание. Незнание языков — вот в чем наш грех. Средний итальянский ин-

теллигент, кроме своего родного, обязательно знает или французский, или немецкий, или английский, а то и все три. В любом ресторане, музее, гостинице, на почте, в поезде тебя всегда поймут, если ты заговоришь на одном из этих языков. Италия — страна туристов (двенадцать миллионов туристов в год, оставляющих соответственное количество долларов), — этим многое объясняется. Возможно, это не лучший стимул для изучения языков, но, что там ни говори, важен результат. А мы, в большинстве своем, немые и глухие. Мы прикованы к переводчику. Мы не можем читать газеты. Мы бродим по улицам, сидим в трактирах и остериях и не понимаем, о чем вокруг нас говорят, чему радуются, смеются, чем возмущаются. А это, может быть, самое интересное: сидеть вот так вот, в углу за столиком, и слушать, наблюдать, а потом и самому ввязаться, затеять какой-нибудь спор — итальянцы любят это, моментально подхватят.

Всего этого я был лишен. На конференциях я говорил под переводчика. А как это нарушает непосредственную связь со слушателями! В простом разговоре пропадает окраска речи, смысл интонации — перевод, как бы он ни был хорош, все-таки только подстрочник.

Итальянцы со свойственной им восторженностью и деликатностью говорили: «О! Синьор прекрасно объясняется по-французски». Но, простите, что это за разговор, когда, пытаюсь, например, высказать свою точку зрения на современную итальянскую архитектуру, я с трудом, мучительно подбирая слова и морща лоб, выжимал наконец из себя: «Вокзал, стадион, аэропорт — хорошо... Дом, где люди живут, хорошо и не хорошо... Один другой похожи, скучно...» В дальнейшем я попытаюсь написать об архитектуре так, чтобы читателю стало понятно, что я хотел этим сказать, но тогда мне хотелось, чтобы меня поняли мои собеседники, а получилось черт знает что, детский лепет.

Второй наш грех. Мы почти не знаем современной итальянской культуры (да и только ли итальянской?). Мы говорим о Данте, Петрарке, Бокаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, а нас спрашивают о Коррадо Альваро, Чезаре Павезе, Умберто Саба, Элио Витторини, Эудженно Монтале. Увы, мы их не знаем. С Моравиа, Леви, Пратолини мы познакомились каких-нибудь два-три года тому назад, а ведь это крупнейшие писатели с европейскими именами, печатающиеся много лет. Нас спрашивают, какого мы мнения о романах Фолкнера, Саган, — мы разводим руками. Помню, как неловко нам было, советским писателям, когда в Ленинграде, года полтора тому назад, Альберто Моравиа спросил нас что-то о Кафке. Мы переглянулись, мы никогда не слыхали этой фамилии. Возможно, на Западе этому писателю придают больше значения, чем он заслуживает (говорю «возможно», так как до сих пор его не читал, — опять же язык!), но слыхать-то о нем все-таки не мешало бы — его книги переведены чуть ли не на все языки мира.

И третье, о чем я уже вскользь упоминал: не надо глотать аршин, он мешает двигаться и говорить, надо быть самим собой. Мы советские люди, к нам присматриваются, стараются нас понять, раскусить, и вот тут-то мы не всегда находим правильную линию. С одной стороны, мы начинаем расхваливать все свое, с другой — так же неумеренно подлаживаемся под обычаи и привычки той страны, в которую попали. Ни того, ни другого не надо — это только мешает. Не надо всем и каждому говорить, что у нас лучшее в мире метро, что Сталинград был переломным моментом в разгроме гитлеризма, что Эйзенштейн «Броненосцем «Потемкиным»» сделал переворот в мировой кинематографии, что многие писатели Запады учились у Льва Толстого, а режиссеры у Станиславского, — все это известно, и повторение этих несомненных истин вызывает только улыбки. Не надо думать, что, покритиковав картины, например, Александра Герасимова или архитектуру нового Крещатика, мы наносим удар своей родине, роняем ее достоинство. Мы вовсе не обязаны краснеть за

это, как и за то, что на нас не перлоновая рубашка, а простая бумажная, ботинки не узконосые, а тупые: что ж, они носят такие, а мы — такие...

И еще одно: часто мы удручаем своей серьезностью (ах, как мы ее любим!) и забываем, что шуткой можно иногда куда скорее приобрести друга, а если надо, то и отбрызнуть недоброжелателя.

Первый итальянец, с которым я познакомился, был опять-таки, как и француз, военнопленный — песелый, быстроглазый сицилиец Джулиано. Он попал к нам под Одессой, сразу как-то прижился к батальону, сначала помогал повару, затем ходил даже в разведку, сменив петушинные перья своего головного убора на нашу прозаическую пилотку, и вообще стал батальонным любимцем.

Со вторым итальянцем я познакомился через десять лет. Это был Карло Леви — писатель и художник, книги которого «Христос остановился в Эболи» и «Слова — камни» широко известны теперь советскому читателю. В 1955 году он приезжал в Киев, и мы долго бродили с ним по надднепровским садам и паркам. Вернувшись в Италию, он написал книгу о своем путешествии по Советскому Союзу, — она выдержала пять изданий и много сделала для ознакомления широких итальянских кругов с нашей страной.

Оба они — Джулиано и Леви — совсем не были похожи друг на друга. Один — сын палермского шапочника, двадцатилетний разбитной парень, покорявший своим голосом (впрочем, не только голосом) девушек тех сел, где мы стояли. Другой — человек уже немолодой, прославившийся своими книгами и картинами в Европе и далеко за океаном. Короче, люди они были разные. Но обоих объединяло одно качество, вернее, три: радушие, приветливость и доброжелательность — качества, присущие, как я потом увидел, большинству встречавшихся мне итальянцев.

Джулиано в сорок пятом году отправили на родину. Прощаясь, он записал чуть ли не десяток адресов, но ни одного письма я от него так и не получил. В утешение себе, объясняю это его врожденной ненавистью к перу и бумаге. К сожалению, во время нашей поездки по Италии мы не попали в Палермо, на родину Джулиано, и я не увидел ни его, ни его красавицы жены, ни маленького бамбино Пьетро, о которых он столько нам рассказывал. А жаль, очень хотелось бы их повидать...

С Карло Леви встретиться оказалось куда проще. Он был одним из двух знакомых мне людей на том самом «коктейле», на который мы попали в первый же час своего пребывания в Риме. Вторым был Джованни Пирелли, знакомый мне еще по Киеву, куда он приезжал в составе делегации сторонников мира, сын знаменитого каучукового короля и составитель нашумевшей в свое время книги «Письма приговоренных к смерти», предисловие к которой написал Томас Манн.

Как гостеприимный хозяин, Леви водил нас по залу и знакомил с людьми, чьи имена давно уже стали известны нам по литературе и кинофильмам: с Данило Дольчи, ныне лауреатом Ленинской премии мира, триестинским архитектором, переехавшим в Сицилию, чтобы жить и работать среди крестьян и рыбаков этого многострадального острова, с Ренато Гуттузо (его картины выставлялись в Москве и Ленинграде), с Чезаре Дзаваттини, автором покоривших весь мир фильмов «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», с Эдуардо де Филиппо, которого я совсем недавно и с не меньшим интересом вторично смотрел в «Неаполе — городе миллионеров», с Альберто Моравиа, автором широко известных у нас «Римских рассказов» и великолепного романа «Чочара», и многими другими, чьи руки приятно было пожать.

Потом мы ездили с Леви на его машине по городу, побывали в маленьком кафе, где когда-то сживали Гоголь и Александр Иванов (их портреты висят там до сих пор), и закончили день — иначе в Италии

нельзя — в одном из ресторанов на площади Навонна. Леви знакомил нас с итальянской кухней и учил, как надо справляться со спагетти, ловко наворачивая эти бесконечно длинные макароны на вилку и не менее ловко отправляя их в рот.

Впрочем, с настоящей итальянской кухней мы познакомились несколько дней спустя, побывав в гостях у Линуччи Саба, дочери знаменитого, ныне покойного, итальянского поэта Умберто Саба. Я не помню точно, чем нас там угощали, помню только, что все было очень вкусно — Линучча Саба славится своими изысканными обедами. Но вечер, проведенный у нее, запомнился не столько кушаньями, которые там подавали, сколько тем, что было после того, как мы с ними покончили.

Небольшая заметка, написанная нашей гостеприимной хозяйкой и опубликованная в газете «Пунто», начиналась так:

«— Русские приглашены на обед? — спросила меня моя кухарка, и в ее глазах появился страх.

— Сегодня у вас действительно будут русские? — спросила привратница, и ее глаза загорелись фанатическим блеском».

Очевидно, этот интерес испытывали не только кухарка и привратница синьоры Саба, так как к концу обеда в маленькой уютной квартирке на шестом этаже трудно было повернуться, столько появилось там гостей.

Среди них был и Васко Пратолини, автор чудесной книги «Повесть о бедных влюбленных», спокойный, сдержанный, с немного печальным взглядом из-под очков, и Джованни Пирелли, и Анджело-Мариа Рипеллино, совсем еще молодой, свободно говорящий по-русски литературовед, составитель довольно полной антологии русской поэзии. Был, конечно, и сам Карло Леви, улыбающийся и приветливый, главный вдохновитель всей этой встречи. Остальных я не знал.

Расположились в небольшой, очень просто, но со вкусом обставленной комнатке. И вот тут-то завязался спор, закончившийся около трех часов ночи.

Не скажу, чтобы эти несколько часов были самыми легкими в моей жизни. Дело в том, что, хотя с октября 1956 года прошло почти полгода, все, связанное с Венгрией, было еще очень свежо. Мои собеседники, усевшись вокруг на диванах, креслах, столах и просто на полу, в течение по крайней мере двух часов подвергали меня перекрестному обстрелу. Не мне судить, насколько удачны и убедительны были мои ответы (Пирелли, в частности, сказал, что он не считает наш спор законченным и рад был бы его продолжить в другом, менее многолюдном месте, — к сожалению, осуществить это не удалось), но часа в два ночи мы сошлись на том, что никому не удастся поколебать дружеские отношения, установившиеся между нами, и что нет лучшего способа укрепить их, как говорить, что думаешь, отстаивать то, во что веришь, прямо, искренне и до конца.

Месяца два спустя, уже в Киеве, я не без улыбки прочел в архивуржуазной итальянской газете «Мондо» нечто вроде отчета об этом вечере. О статье этой мы слыхали еще в Италии, но найти ее почему-то не могли. Итальянские друзья наши, очевидно, боясь испортить нам настроение, говорили: ерунда, не стоит и читать! А Карло Леви, считавший себя до какой-то степени ответственным за этот вечер, чуть смутившись, сказал:

— И никто ее не приглашал, эту даму, хотя она и подписалась «Приглашенная». Просто пронюхала и явилась. Нельзя ж было не пустить.

Вероятно, действительно нельзя, да, вероятно, и незачем было, хотя, попадая на званый обед, приятнее находиться в кругу людей, которые не сидят в углу с блокнотом. Впрочем, у «Приглашенной», возможно, блокнота и не было, его с успехом заменила собственная фантазия.

Сужу по тому, что моя персона в статье наряжена была почему-то в солдатскую гимнастерку, а сам я изображен в виде «сицилийского крестьянина с жилистыми руками и словно высеченным из камня лицом с густыми бровями над черными глазами». Откровенно говоря, мне очень понравился этот приписываемый мне экзотический облик, но, увы, он так же далек от истины, как и утверждение, что на вечере присутствовали «двое из русского посольства». Ну что ж! Так интереснее.

Смысл статьи сводился к тому, что под градом сыпавшихся на него вопросов «бедный русский писатель» вспотел, скинул пиджак, оставшись в солдатской гимнастерке, и, исчерпав запас хвалы по адресу своей страны, перешел в контратаку, обвиняя итальянцев в том, что у них демонстрируются антисоветские фильмы американского производства, и ни о чем другом говорить уже не хотел. Кончилось все тем, что только на улице сопровождаемому все теми же загадочными «представителями посольства» бедному писателю удалось наконец свободно вздохнуть.

Что ж, почти правда. И пиджак снимал, и о стране своей не так уж плохо говорил, и действительно огорчился тем, что на итальянских экранах демонстрируется антисоветский (кстати, настолько бездарный, что я и получаса не высидел) фильм «Железная юбка». Все это было. Но было и другое — то, чего «Приглашенная» не захотела увидеть. Был громадный интерес друг к другу, желание познакомиться, подружиться, разобраться во всем том, что подчас еще мешает этому. В маленькой комнатке на шестом этаже собрались представители двух различных миров, которым не так часто приходится встречаться и которые, к сожалению, еще так мало знают друг о друге.

«Может быть, в глазах наших гостей мы кажемся марсианами? Не думаю, но верно то, что в наших глазах они ими не являются», — так закончила свою статью в газете «Пунто» наша гостеприимная хозяйка.

Пользуюсь случаем, чтобы заверить Линуччу Саба, что и мы (переводчик и я) не приняли их за марсиан, что вечер, проведенный у нее, был очень интересен, и что если мы действительно вздохнули, выйдя на улицу, то просто потому, что на ночной улице дышать куда легче, чем в пятнадцатиметровой комнате, набитой по меньшей мере двадцатью курильщиками.

Возвращаясь же к статье в «Мондо», скажу только одно: статья эта была единственной недоброжелательной из всех, которые появились тогда в итальянских газетах по поводу нашего приезда.

Откровенно говоря, отправляясь в Италию, я ожидал эксцессов покрупнее. Известно, что осенью пятьдесят шестого года по Италии прокатилась волна антисоветских демонстраций. Позднее я узнал, что демонстрации эти инспирированы были правительством, что основная масса участников состояла из школьников старших классов и что в эти дни занятия в школах начальством были отменены. Картина ясная.

Нет, итальянский народ не удалось поколебать в эти тяжелые для всех нас осенние дни 1956 года. Тяга к Советскому Союзу осталась прежней. Мы ощущали это везде — и на конференциях, и при встречах с рабочими, и за чашкой густого сладкого кофе, без которого итальянцы не могут прожить и часа, и просто на улице, сталкиваясь с людьми.

Перед первой нашей конференцией я порядочно-таки волновался. Это было в Турине. Впервые в жизни я должен был выступить перед людьми, не знающими моего языка, живущими в чужой стране, перед людьми, образ мыслей которых мне незнаком и чей круг познаний о нашей стране тоже неизвестен.

Зал небольшой, но народу много. Старые, молодые, мужчины, женщины. У некоторых в руках блокноты, тетради, у других фотоаппараты. Все молчат, ждут. Кто они? Не знаю. В основном, понимаю, что люди, симпатизирующие нам, но вот там, у колонны, несколько ребят в коро-

теньких курточках о чем-то все время перешептываются — чувствую, что молчать они не будут.

Тема лекции — советская литература, пути ее развития. Попутно — театр, живопись, архитектура, кино. Говорить приходится по две-три фразы, потом включается переводчик. Это раздражает, мешает и мне и слушателям. Но слушают внимательно, не перебивая. Длится это около часа. Потом вопросы.

И вот тут-то, во время вопросов, — а недостатка в них не было — атмосфера сразу прояснилась. И в Турине (мальчишки в курточках) и потом в Милане, Венеции, Флоренции обязательно находились один-два человека, которые пытались подкуснуть, пустить шпильку, задать каверзный вопрос. И нужно сказать, в этих случаях я сразу же чувствовал поддержку зала. Кстати, мальчишки в курточках, задавшие столько многословных и туманных вопросов, что зал в конце концов взбунтовался, оказались очень неплохими ребятами. После конференции мы разговорились в коридоре. Все трое — студенты театрального училища. Узнав, что и я в свое время закончил нечто подобное, они моментально забыли все свои туманные, «умные» вопросы и превратились в обыкновенных, славных, любознательных студентов. «Вы видели живого Станиславского? И разговаривали с ним? Какой он? А где достать его книги? А как вы относитесь к Мейерхольду? А почему вы бросили театр?..» Расстались мы друзьями.

Повторяю, задающих всякие каверзные вопросы было мало, и каждый раз зал дружно встречал их в штыки. Но были и другие вопросы и высказывания — дружеские, но такие, с которыми нельзя было не поспорить.

Среди итальянской интеллигенции распространено мнение, что до XX съезда партии наша военная и послевоенная литература была исключительно «лакировочной» и лишь после XX съезда стали появляться правдивые, реалистические произведения, первым из которых была эренбургская «Оттепель». Согласиться с этим, конечно, нельзя. Пришлось напомнить о Пановой, Казакевиче, Симонове, Беке, Гроссмане, к сожалению, итальянскому читателю мало знакомых. Много спрашивали о нашей живописи, театре, архитектуре. И здесь тоже можно было рассказать о том, что, кроме высотных зданий, у нас появились очень интересные архитектурные ансамбли в Ереване, где очень тактично и умело использованы национальные элементы древней армянской архитектуры, что, кроме помпезных «официальных» полотен, на выставках появлялись работы Сарьяна, Чуйкова, Яблонской, Пророкова, Пластова, Шмаринова, Сойфертиса, Кончаловского, Гончарова, Фаворского — художников, очень разных по своей манере, по умению видеть и воспроизводить окружающее, но всегда твердо стоявших и стоящих на реалистической основе.

Говорил я и о партийности нашей литературы, о том, что это вовсе не значит — пиши только о партии и партийцах, причем преимущественно хороших, а не плохих, что это — понятие гораздо более широкое, вытекающее из нашего мировоззрения, того самого мировоззрения, которое многие из нас защищали с оружием в руках. Надо было сказать и о сознательной тенденциозности нашей литературы, и о народности ее, и о ее воспитательной роли, которой мы придаем большое значение, и о том вреде, который ей нанес «культ личности», и о тех перспективах, которые действительно раскрылись перед нами после XX съезда.

Все это выслушивалось с большим вниманием, иногда вызывало полемику, споры, но во всем чувствовался неподдельный интерес к нашей стране, к ее людям, к ее культуре.

Особую радость доставил мне маленький эпизод, разыгравшийся в одной венецианской остерии. Мы гуляли по городу. После Дворца

Дожей, площади Сан-Марко и Виа-Скьявонни — центральной набережной с лучшими кафе и отелями — мы, переправившись через канал Гранде, попали из Венеции туристской в Венецию рабочую, трудовую. Проголодавшись, решили зайти куда-нибудь закусить. Ирина Ивановна Доллар — наш верный чичероне в Венеции — предложила зайти в ближайшую остерию, или, как иногда их в Италии называют, вини-кучине; — небольшую таверну, «забегаловку», посещаемую рабочим людом близлежащего квартала.

Зашли. Помещение небольшое, одна комната. Деревянные столы, скамейки. У входа стойка, за стойкой попеременно то хозяин, то хозяйка. Народу немного — сегодня воскресенье. Через два столика от нас четверо стариков играют не то в домино, не то в кости. Посетители (все они друзья или знакомые хозяев) заходят — «чао! чао!» («привет!»), — выпивают стаканчик вина, не присаживаясь, пожуют что-то, перекинутся двумя-тремя фразами и — «чао! чао!» — уходят.

Мы сели в дальнем углу. Ели что-то острое, приправленное обязательным оливковым маслом. Мы чужие, поэтому хозяин — приветливый и радушный, как итальянцы вообще, а содержатели остерий и траптарий особенно, — подсел к нам. И тут-то начался разговор, чем-то очень напомнивший мне беседу с парижскими «ажанами». Вернее, в Париже я вспомнил этот разговор.

— Чао! Приятного аппетита.

— Спасибо.

— Вкусно?

— Вкусно.

— Ну, я очень рад... Кушайте, кушайте. Это, конечно, не то, что на Пьяцетта Сан-Марко, но зато и лир больше в кармане останется.

Он знал, что говорил. Мы с Львом Михайловичем уже попались: выпили по стакану кофе за столиком прямо на площади против Дворца Дожей и оба похолодели, когда пришлось расплачиваться.

Мы налили хозяину стаканчик.

— Ваше здоровье! — Он с аппетитом выпил собственное вино. — Так вы, значит, русский? Очень приятно. Инженер, артист? Писатель, говорите? О! Манифико! Я читал кое-что. И видал даже. В прошлом году. Приезжали сюда на конгресс два русских писателя — синьор Полевой и другой, пожилой уже, седой, красивый...

— Не Федин ли?

— Да, да, Федин. Очень красивый старик. Мне показывали их обоих на улице. А ну, Лючия, дай-ка нам еще бутылочку. Нет, нет, разрешите. Это уж я угощаю... И заодно принеси книжку, как ее?.. Забыл фамилию. Мы тут прочли недавно одну вашу русскую книжку, как человек вернулся с фронта, жена ему изменила, а он... как его звали, Лючия? Митясов?

Я обомлел. Я не верил ушам своим. Речь шла о моей книге. Может ли это быть?

Начались поиски книги. Лючия, оказывается, отдала ее кому-то почитать. За ней посылается шустрый мальчонка, пришедший за вином для отца. Через минуту он возвращается: никого не застал, уехали к родственникам в Мурано.

— Вот всегда так. Ни на кого положиться нельзя...

На столе появляется еще одна бутылка, такая же пузатая, оплетенная соломой, как и две предыдущие. Подсаживается и Лючия — полная, крепкая, вероятно крикливая и добрая, словом, очень знакомая нам по неореалистическим фильмам. (В Италии мне все время казалось, что я встречаюсь с героями «Рима в одиннадцать часов» или «Полицейского и вора». Кстати, не в этом ли секрет их успеха?) Разговор довольно быстро перешел с литературы на цены, на дороговизну жизни. Щупаются

наши пиджаки, разглядывается обувь — сколько же это в переводе на лиры? Кончается все тем, что приходится расписаться на партбилете хозяина — он, оказывается, коммунист. Между прочим, в Италии это почему-то очень распространено — расписываться на партбилетах. В магазинах, например, если хозяин-коммунист (а и таких немало) узнает, что ты русский, он чуть ли не за полцены отдаст тебе товар, а потом торжественно вытащит откуда-то из ящика маленькую книжечку И.К. П. и попросит оставить на ней свой автограф.

Когда мы распрощались, я был на седьмом небе от счастья. Подумать только, такая встреча с читателем! Никем не организованная, как «очередное мероприятие», а случайная, в тесной вини-кучине на берегу риа Санта-Мариа Маджоре или риа Кармини, среди грузчиков, штукатуров и забежавших по пути выпить стаканчик вина почтальонов.

Правда, несколько дней спустя во Флоренции, на одном из заводов, куда мы попали во время обеденного перерыва, нас постигло разочарование. Ни один из рабочих, с которыми мы встречались, оказывается, русских книг не читал. А как приятно было бы сказать потом — так, между делом, или поддерживая свою точку зрения: «А вот один парень из Флоренции, токарь завода «Галилео», считает, что четвертая часть «Тихого Дона» самая сильная», или что-нибудь в этом роде. Но что поделаешь, нельзя этого сказать — не читали. Просто времени нет. «Свою собственную «Унита» или «Аванти» и то не всегда успеваешь перелистать, а вы говорите — книги...»

И тут же посыпались вопросы.

Интересно, что тут, на заводе, где, кроме коммунистов и социалистов, были и беспартийные и даже члены правительственной христианско-демократической партии, нам не задали ни одного каверзного вопроса. Очень много спрашивали о XX съезде, об изменениях, которые он принес, ну и, конечно же, об уровне жизни.

И это понятно. Говорят о том, с чем чаще приходится сталкиваться (итальянец и в книгах ищет близкое ему, современное, знакомое). О ценах говорят много и с большим знанием дела. И о своих и о наших. Любят проводить параллели — где же лучше, где дешевле жить? Занятие это очень увлекательное (оно увлекло и нас), но отнюдь не легкое.

Установить сравнительную шкалу благосостояния не так-то просто. Ясно только, что одеться в Италии легче, чем у нас, прокормиться же труднее. Очень дорого лечение. Итальянцы так и говорят: болеть нельзя, разориться. Сложен и квартирный вопрос. В Италии квартиры очень дороги — на это жалуются все, но так или иначе средний интеллигент, например, в жилищном отношении живет вполне благоустроенно. Коммунальных квартир я не видел нигде. Как минимум две-три комнаты со всеми удобствами, причем в крупных городах на смену газу уже пришло электричество. Зато и трущоб, подобных итальянским, я у нас не встречал. Об этом столько уже писалось, что как-то неловко повторять, но все-таки даже Сталинград первого послевоенного года бледнеет, например, перед районом Сан-Биаджо деи Либрари в Неаполе. Не в обиду Сталинграду будь сказано, район этот куда живописнее. От его полутора-двухметровых в ширину, завешанных бельем кривых улочек, переулочков, тупичков, от всех этих лестниц, арок, ходов и переходов оторваться невозможно. Но жить там...

Район Сан-Биаджо деи Либрари, или, как его еще называют, Куорпо е'Наполи (Тело Неаполя), расположен в самом центре города. Он чудом сохранился после опустошительной эпидемии холеры, охватившей город в 1884 году, после которой много строений было снесено до основания. И сохранился почти в неизменном виде. Высокие мрачные дома тесно прижались друг к другу. Дворы — колодцы, улицы — щели. Сырость, грязь. Чудесное неаполитанское солнце не в силах пробиться

на дно этих ущелий. А на дне в мусорных кучах с веселым криком копошится черноглазая, курчавая, на все плюющая ребятня, стучат молотками сапожники, бондари, лудильщики, слесари, сидят на низеньких табуретках шляпники, портные, часовщики, а рядом, о чем-то переругиваясь, жарят что-то на жаровнях их жены. И все это у входов в собственные жилища, мрачные, лишенные света комнаты, четвертая стена которых просто дверь на улицу. И тут же, прямо на улице, на прилавке горы апельсинов и гроздь бананов, облепленных мухами, а рядом на стене печальная мадонна с младенцем, и лампадка, и свечи, и цветы, а в пяти шагах дохлая кошка, которую никто не убирает, а над всем этим в два-три яруса сохнувшее белье и где-то в недосыгаемой высоте крохотный клочок неба. И как-то нелепо на фоне всей этой мрачной, хотя и живописной, а на наш взгляд, театрально-декоративной антисанитарии выглядят прислоненные то тут, то там к стене мотороллеры «Веспа» — мечта каждого итальянца.

По этому «Телу Неаполя» нас водил неаполитанский художник Паоло Риччи.

— Дайте мне ваш фотоаппарат и не раскрывайте рта,— предупредил он меня.— Здесь не любят иностранцев.

К концу нашей прогулки, когда наиболее «опасные» места остались позади, он разрешил мне заснять несколько кадров.

Мы зашли в небольшой дворик. От обилия галерей, веранд, лесенок и развешанного белья мое фотолюбительское сердце замерло. Тут была и детвора, и примостившийся в неизвестно откуда взявшемся луче солнца старик с газетой, и грудастые, громогласные женщины в окнах. Но мне не удалось сделать ни одного кадра. Только я достал аппарат, как сначала старик, а потом и сбежавшие вниз грудастые, громогласные женщины обрушились на меня со всей силой своего южного темперамента. Кричали громко, неистово, закрывая глаза, вздымая к небу руки. Мы обратились в бегство.

— Видите, я был прав,— отчитывал меня потом Риччи.— Между собой они могут ругать все, что хочешь, и этот двор, и соседей, и лавочника, который их обирает, и полицию, и мэра, и все правительство, вместе взятое, и самого президента. Но чтобы видели их нищету — не хотят. А того более, чтоб фотографировали. Не хотят, и все!

Итальянцы... Нельзя не влюбиться в этот народ. Веселый, радушный, непосредственный, вспльчивый, нежный и грубовато-фамильярный, увлекающийся, часто наивный и очень красивый.

Простите, скажут мне итальянцы, но мы вовсе не так однородны. Миланцы и римляне, римляне и неаполитанцы, неаполитанцы и сицилийцы — между ними пропасть. Может быть, не спорю. Не всякого римлянина поймут в Неаполе — я сам это видел. И все-таки для меня итальянцы — это итальянцы, будь они из Турина, Болоньи или Палермо.

В одном из интервью перед самым отъездом меня спросили: кого и что вы больше всего полюбили в Италии? Вопрос, сами понимаете, нелегкий — я многое видел за эти быстро пролетевшие три недели, со многими по-настоящему сдружился, — и все-таки я твердо ответил: Марчелло. Марчелло — шофер. Мы исколесили с ним весь Рим. Он знал десятка два русских слов, я — десятка два итальянских, и оба мы — с полсотни французских.

В Риме, как и везде, дел было по горло. Но все-таки иногда появлялись «окна». И вот тогда я выходил из гостиницы на узенькую, бурлящую машинами и мотороллерами Корсо, и сразу же вырастал передо мной Марчелло — черноглазый, чернобровый, черноволосый, улыбающийся.

— Чао, синьор Виктор!

— Чао, Марчелло.

— Свободен?

— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

Я сядил к нему в машину, он вопросительно смотрел на меня, я произносил: Санта-Мариа Маджоре, или Сан-Пьетро, или Джаниколо, или Вилла Боргезе (от одних названий захватывало дух!) — и начинался наш стремительный, чисто итальянский бег по Риму.

Привыкнув в Москве и Киеве к светофорам и грозным регулировщикам, я никак не мог сначала понять, как передвигаются по буквально битком набитым и, в общем, нешироким римским улицам итальянские шоферы. И тут есть светофоры, и тут есть постовые (правда, не много и не везде), но на них как-то никто не обращает внимания. Едут впритирочку, срезают, где хотят, махнув рукой — сойдет! — проезжают заградительные знаки, неожиданно, так что прикусываешь себе язык, со страшным скрежетом тормозят, выезжают на улицу пошире и несутся со скоростью ста километров в час. Несчастный пешеход! Но и он, оказывается, не унывает. Лезет в самую гущу потока, помахивает рукой — стоп, мол, пропусти! — и спокойненько себе идет, не прекращая разговора. И машины притормаживают, и никто не ругается, и шофер в своей машине также ни на минуту не прекращает разговора. Непостижимо...

— А как у вас с авариями, Марчелло? — спрашиваю я его на нашем с ним франко-русско-итальянском наречии.

— Обыкновенно.

— То есть?

— Много.

— Зачем же вы так ездите?

— А как же? Все торопятся.

— На тот свет?

Марчелло смеется, сверкая зубами.

— Не беспокойся, не убью... Это на автострадах много аварий, а здесь нет. Здесь больше воруют.

— Что? Машины?

— Еще как! — И опять смеется.

Оказывается, в Италии действительно довольно бойко воруют машины. Их много — я не помню точно цифру, да это и не существенно, — а гаражей мало не хватает. Машины оставляют прямо на улице. Когда идешь по ночному Риму, видишь бесконечные их вереницы всех марок и возрастов, выстроившиеся вдоль тротуаров. Есть, правда, сторожа. Днем, например, если тебе надо где-то на какое-то время бросить машину и после долгих поисков удастся наконец найти свободное местечко у тротуара, к тебе сразу же подбежит разбитной парень и выдаст квитанцию: за столько-то лир он будет следить за машиной. Иначе могут спереть — и не только ночью, а и днем.

Итак, мы мчимся, лавируя среди «фиатов», «доджей» и «студебеккеров», мимо дворцов и развалин, мимо всего того, чем славен Рим, и на каждом шагу хочется остановиться, вылезть и немножко побродить, но нельзя — к такому-то часу надо быть дома.

Время от времени Марчелло кивнет в сторону какой-нибудь пролетевшей мимо нас церкви и скажет: «бабушка». Это значит, что церковь старинная. В одну из таких «бабушек» мы зашли. Она была на ремонте, но Марчелло моментально нашел задний вход, и мы через горы мусора, балансируя по доскам, в полумраке добрались до того, о чем я с давних лет мечтал. Мы были в базилике Сан-Пьетро ин Винколи у гробницы папы Юлия II. Пред нами на невысоком постаменте, освещен-

ный падающими откуда-то тусклыми лучами солнца, могучий и задумчивый, сидел Моисей.

«Трагедия надгробия» — так выразился об этом шедевре Микеланджело его биограф Кондиви. Сорок лет, почти полжизни, отдал гениальный мастер этому грандиозно задуманному произведению, от которого остались только три фигуры — Моисей, Рахиль и Лия.

А скольких волнений, скольких страданий, оскорблений и унижений стоило оно ему! Пожалуй, ни одно из его произведений не отняло у него столько энергии, сил, крови. За сорок лет сменилось трое пап, и у каждого был свой вкус, четыре раза перезаключался договор, четыре раза предъявлялись новые требования, и в результате от первоначального замысла — обособленно стоящей, открытой взору со всех четырех сторон, украшенной более чем сорока статуями гробницы — осталось скромное, опертое о стену надгробие и семь статуй, из которых только три принадлежат резцу Микеланджело.

Но и этого вполне достаточно.

Описать впечатление, которое производят творения Микеланджело, невозможно. Мне выпало великое счастье увидеть Пиету, Давида, гробницу Медичи, Сикстинскую капеллу. Я не буду повторять то, что всем известно. Скажу только одно, хотя и это известно, — от общения с настоящим искусством становится и радостно и грустно. Радостно за человека, который мог это сделать, и грустно за человека, который многое позабыл.

Особенно остро почувствовал я это во Флоренции. Нам захотелось посмотреть оригинал Давида (на площади Синьории стоит великолепно сделанная мраморная, но все-таки копия). Оригиналы находятся в Академии искусств. Пришли мы туда за пять минут до закрытия. Билеты уже не продавали, но старичок служитель разрешил нам приоткрыть тяжелые, массивные двери. В глубине зала, в нише, прямо против нас стоял тот самый большеголовый, сильный, грациозный юноша с пращой на плече, которого мы столько раз видали и рисовали в Музее имени Пушкина в Москве.

— Простите, синьоры, четыре часа...

Дверь закрылась.

— А вы сходите на второй этаж, вот по этой лесенке. Там небольшая, но очень интересная выставка. Последние работы итальянских художников.

Мы пошли.

Выставка действительно оказалась небольшой — всего три комнаты. Были на ней и интересные работы — Ренато Гуттузо, Карло Леви, — но первая премия (миллион лир) присуждена была художнику Пиранделло, потому что знаменитого писателя. На громадном, чуть не во всю стену холсте были смешаны без всякой системы и, по-моему, даже без участия кисти все существующие и не существующие в спектре цвета. Внизу стояла подпись, не помню уже какая, то ли «Восторг», то ли «Медитация», то ли «Заход солнца на Адриатическом море» (нет, ту делали ослиный хвост и сахар), — одним словом, подпись была. И перед этим холстом стояли люди, самые обыкновенные люди, в пиджаках, галстуках, и никто не улыбался... Нет, не надо было нам перед приходом сюда приоткрывать тяжелую, массивную дверь. А может, наоборот, автору премьерной картины надо было бы почаще это делать.

Искусство идет своими очень сложными путями. Можно спорить о том, что лучше — Акрополь или здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Андрей Рублев или Ван-Гог, Виа Аппиа или автострада Милан — Турин, — все это не на ровном месте родилось, во всем есть своя закономерность. Но что поделаешь, если после Давида, взглянув

на удостоенную миллионной премии картину, становится как-то очень уж грустно?

Объективности ради, не могу не сказать, что подобного рода ощущения возникали у меня не только во Флоренции. Нечто подобное испытывал я, увы, и в нашем Манеже, стоя перед некоторыми картинами и скульптурами, вернее, быстро проходя мимо них, так как стоять не хотелось. А таких произведений, где сердце заменено темой, поэтическое мастерство — размерами, мысли — болтовней, музыка — треском, — ох, сколько их еще и у нас! И, минуя их, с какой благодарностью останавливаешься в этом же Манеже перед картиной, ну, допустим, Неменского, где молоденький солдатик проснулся и увидел весну.

Я не беру на себя смелость судить, так ли только надо писать, как пишут Неменский, или Пластов, или еще кто-нибудь другой. Более того, я не сомневаюсь, что и «абстрактная» живопись имеет право на свое место под солнцем. Конечно, не в музее, где ее выдают за картину, претендующую на какое-то высшее содержание, а в соответствующем интерьере, как цветное пятно, как составная часть общей архитектурной композиции, или как рисунок ткани, как узор ковра. Всему свое место, свое назначение. Обидно другое. Обидно, что, стоя перед некоторыми полотнами в Манеже, я вспоминал Пиранделло и думал: да, конечно, выдавливать тюбики на холст, делая вид, что пишешь картину, — занятие бессмысленное, но плохая картина так и останется плохой картиной, хотя бы она называлась даже «Залп «Авроры»... А ведь глядя на эту последнюю, становится просто больно за великого человека, изображенного на ней.

Залп «Авроры». Когда его давали, мне было шесть лет, жил я в далеком от Петрограда Киеве, учился писать первые буквы и не имею права как очевидец говорить о том, правильно или неправильно изобразил художник знаменательное событие. Но раз уж я позволил себе заговорить о правде изображаемого, не могу не сказать несколько слов об изображении того, свидетелем чего я был.

Значительно позже своей поездки в Италию — примерно через год — я попал в тот самый полк, в котором пятнадцать лет тому назад мне пришлось воевать в Сталинграде. Никого из «стариков» я уже там не застал. У командиров на груди академические значки, у солдат, молодых, здоровых двадцатилетних хлопцев, за спиной уже восемь, девять, а то и десять классов. Я смотрел на эту молодежь, и сердце радовалось — вот такая у нас теперь армия.

Мне показали новый танк. Я влез внутрь, и совсем юный деревенский парнишка, чьих щек еще не касалась бритва, стал объяснять мне его устройство — вот это то-то, а это для того-то. Половины слов, которые он без запинки произносил, я, получивший в свое время высшее образование, просто не понимал. А он, безусый мальчишка откуда-то из вологодской глухой деревни, не только понимал, что они означают, но так же уверенно и спокойно мог привести в действие все эти непонятные мне механизмы... Дай ему бог никогда в жизни не применять их всерьез, но, глядя на него, я знал, что, если потребуется, он сможет сделать это так, как надо. И это не могло не радовать.

•Пятнадцать лет тому назад, когда в Сталинграде приходило к нам пополнение, я главным образом щупал мускулы у новичков — выдержит или не выдержит двенадцать часов земляных работ? А сейчас? Я попал в саперный батальон, в котором был когда-то заместителем по строевой (он даже прежний свой номер сохранил!), и со стыдом убедился, что не только командиром, а простым рядовым не мог бы теперь в нем быть. Техника...

И вот я смотрел на эту молодежь и думал — а знаете ли вы, как воевали ваши отцы, ваши старшие братья? Знаете ли вы, что в Сталингра-

де было время, когда в державших оборону частях каждая лопата ценилась на вес золота, а о киркомотыгах и говорить уже нечего? Знаете ли вы, что в батальонах у нас бывало по тридцать, а то и по двадцать человек? Что командир четвертой роты нашего полка, Вася Конаков, вместе со своим старшиной в течение трех дней держал оборону целой роты? А когда старшина уходил на берег за обедом, — то и один. Разложит автоматы по брустверу, а по флангам — два легких пулемета Дегтярева и бегают от одного к другому, создает иллюзию полноценной роты. Знаете ли вы обо всем этом? Нет, не знаете. Кто должен вам об этом рассказать? Ветераны полка? Где их сейчас найдешь? Писатели и художники — вот кто должен вам рассказать о ваших отцах и братьях, о том, как они воевали в труднейшее время своей боевой жизни.

Как же мы об этом рассказываем?

Я зашел в комнату Боевой славы. Во всю стену и очень красиво изображен был боевой путь дивизии. От Сталинграда до Берлина. Кругом развешаны были фотографии тех дней — драгоценные реликвии, которых нет цены. Глядишь на них и вспоминаешь — да, вот так оно и было. Вот командир дивизии на своем НП, вот командир полка, вот Василий Зайцев, прославленный снайпер, вот наша передовая... И, глядя на это, чувствуешь, как сильнее начинает биться сердце, как застревает комок в горле.

Но, простите, а что вот это вот — большое, красивое, многокрасочное, висящее посреди всех фотографий? Неужели Мамаев курган? Ну да. Конечно же, это он. Вон и водонапорные баки, из-за которых велись кровопролитные бои, вон и знакомые овраги, вон вдали и город, разрушенный, мертвый. Но откуда же столько солдат, танков? И наших и немецких? Никогда их столько там не было. Ничего не пойму...

Подпись под картиной гласила: «Штурм Мамаева кургана советскими войсками 26 января 1943 года». Это была копия диорамы, выставленной сейчас в Музее Советской Армии в Москве. На основе этой диорамы предполагается соорудить в Сталинграде, на Мамаевом кургане, панораму наподобие севастопольской. И вот будут приходить экскурсанты, туристы, многочисленные делегации, и экскурсовод будет им говорить, что вот такого-то числа такого-то года наши войска штурмом овладели водонапорными баками и содружили на них красное знамя. И зрители будут смотреть на все эти лихо изображенные рукопашные схватки, на ползущие танки, на сдающихся немцев, на минные и прочие разрывы, на все то, что делает войну эффектной, удобной для живописи.

Но ведь ничего этого не было!

Я знаю, участники событий далеко не всегда бывают объективны. «Врет, как очевидец», — говорим мы в шутку. Поэтому и мои слова могут быть подвергнуты сомнению. И все-таки, поверьте мне, на самом деле было куда менее эффектно. Просто никакого штурма не было. Была мучительная пятимесячная, стойвшая многих жизней борьба за баки, но штурма не было. Просто в ночь на 26 января немцы тихонько ушли с Мамаева кургана и окопались за оврагом Долгим. А через пять дней капитулировали. Вот и все.

Спрашивается: зачем нужно изображать то, чего не было? Героизм наших солдат был вовсе не в том, что они с развевающимися знаменами, с винтовками наперевес прорвались к бакам. Героизм их был в другом: они не подпустили немцев к Волге. Не хватало оружия, боеприпасов, танков, самолетов, не хватало людей — а это главное, — и все-таки непобедимая армия, покорившая всю Европу, прошедшая от Перемышля до Сталинграда, всю зиму протопталась у его стен и сдалась. Героизм был в буднях, в тяжелом солдатском труде, в умении не терять веру и самообладание в самые тяжелые минуты, в спокойствии Васи Конакова, не переставшего воевать, когда он потерял всю свою роту, в малень-

ком, с привязанной к голове телефонной трубкой курносом связисте, не помню уж из какого батальона, с увлечением читавшем истрепанную «Войну и мир» в каких-нибудь пятидесяти метрах от противника.

Зачем же этот треск, эта фальшь? Для красоты? А нужна ли нам такая красота? И красота ли это?

От Микеланджело до Васи Конакова, который, возможно, никогда и не слышал о нем... Не хватанул ли я? Но в этом, очевидно, и есть влияние, сила настоящего искусства — в умении взбудоражить, всколыхнуть тебя с головы до ног, в бесконечных ассоциациях и мыслях, которые оно вызывает...

Марчелло слегка прикоснулся к моему локтю.

— Пойдем?

Я вздрогнул.

— Пойдем.

Тем же путем, перебираясь через кучи щебня и штукатурки, осторожно ступая по вделанным в мраморный пол чугунным надгробиям, мы вышли на свежий воздух.

Кругом весело, шумно. Не по-весеннему жарко светит солнце. Кричат продавцы каких-то сладостей, кричат мальчишки-газетчики, кричат друг на друга шоферы такси на стоянке — вероятно, просто так, от нечего делать, от излишка темперамента. А там, позади, в прохладном полумраке пустынного храма, спокойный и величественный, с запущенными в бороду пальцами, сидел одинокий безмолвный пророк, которому четыре века тому назад его творец крикнул, ударив молотком по мраморному колесу: «Почему же ты не говоришь?»

И опять мы с Марчелло мчимся по суматошным улицам, и опять останавливаемся, заходим в какой-нибудь храм, потом возвращаемся и опять несемся куда-то, пересекаем Тибр, взлетаем на холмы, опять спускаемся и опять несемся по улицам до следующей «бабушки».

Мы побывали с ним в Пантеоне, поклонились праху Рафаэля. На надгробии (справа и слева от него короли — Умберто I и Виктор-Эммануил II) надпись — «Здесь покоится Рафаэль: при его жизни великая мать вещей боялась быть побежденной. После его смерти она поверила и в свою». Побывали в Джаниколо, откуда открывается чудесный вид на весь город и где недалеко друг от друга стоят два памятника — мужу и жене — Джузеппе и Аните Гарибальди. Были и в Пинчио, другом парке над Римом, над Пьяцца ди Пополо. Тысячи студентов заполнили его в тот день. Это был их день — день новичков, первокурсников, только что поступивших в высшее учебное заведение. Сегодня им разрешалось все. В забавных шляпах, с вытянутыми, точно клюв, козырьками, увешанные значками и жетонами, с гроздьями разноцветных детских шариков в руках, они толпами носились по всем улицам, крича, свистя, улюлюкая, останавливая движение, всем мешая и никого не раздражая. Многие на машинах, за которыми на веревках прыгали и грохотали по мостовой пустые железные банки, капистры, бидоны. Шум, гам, крики, песни — и ни одного пьяного, ни одной драки...

Побывали мы и в Форуме, и в Капитолии, и в Колизее. Взирались по мраморным ступеням самого большого и самого уродливого в мире памятника — Виктору-Эммануилу II. Трудно понять, кому пришло в голову соорудить это страшилище, это удручающее нагромождение портиков, колоннад, скульптур, барельефов, лестниц, квадриг, среди которых теряется фигура короля; кому пришло в голову всю эту безвкусицу соорудить (а сооружалась она двадцать шесть лет — с 1885 по 1911 год) в самом центре города, на площади Венеции, в двух шагах от Форума и Капитолия, на том месте, где был когда-то двухэтажный, с башней, домик Микеланджело. Пожалуй, только детям этот памятник доставляет удовольствие: как угорелые носятся они по бесчисленным лестницам и

галереям, с визгом догоняя друг друга, в пылу азарта иногда чуть не сбивая с ног двух застывших в своих касках с петушиными перьями берсальеров, стоящих у могилы Неизвестного солдата.

И опять вперед, по улочкам и переулочкам, пока, изнемогающие и голодные, не устраиваемся за маленьким мраморным столиком под полосатым тентом. Едим невероятно жирный бычий хвост (а я-то думал, что там только кожа да кости), запивая его обязательным везде и всюду кьянти, и Марчелло, улыбаясь своей милой улыбкой, что-то мне рассказывает, а я ничего или почти ничего не понимаю (понял только, что вскорости семейство его должно увеличиться), и мне как-то удивительно легко и просто с ним. Мы не подымаем тостов друг за друга и за укрепление нашей дружбы — зачем, и так все ясно, — мы просто сидим вдвоем за прохладным столиком, жуем хвосты, цедим сквозь зубы кисленькое вино, и обоим нам почему-то весело — ему, вероятно, просто потому, что он молод, мне же потому, что я сижу в дешевенькой остерии в Трастевере¹, и в теле приятная усталость, и кругом яркое южное солнце, и какие-то мальчишки резвятся на фонтане, обливая друг друга водой (потом мы с ними снимемся, и они моментально сделаются серьезными), и какой-то субъект в поношенном плаще подсаживается к нам, предлагает купить путеводитель по Риму, и Марчелло отчаянно с ним торгуется (кажется, они сейчас убьют друг друга), а потом с укоризной качает головой, когда я кладу путеводитель в карман, дав на пятьдесят лир больше, чем того хотелось Марчелло.

— Нельзя так, синьор Виктор. Ведь он грабитель...

— Ну и черт с ним, что грабитель.

— Нет, не черт... — Марчелло вдруг спохватывается. — А план он тебе дал? Нет? А ну, покажи.

Плана нет. Марчелло исчезает. Через минуту возвращается не только с планом, но и с субъектом в плаще. Они уже друзья.

Ну как не полюбить Марчелло — всегда веселого, неунывающего, настоящего сына своего города!

И сейчас, когда я разглядываю фотографии Марчелло на фоне чуть ли не всех достопримечательностей города, — а позировал он всегда охотно, но с непринужденным достоинством истинного римлянина, — я мечтаю о том, что когда-нибудь, когда я опять попаду в Рим и, оторвавшись от дел, встреч и обедов, выйду на Корсо, передо мной вырастет улыбающийся черноглазый Марчелло.

— Свободен, синьор Виктор?

— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

И я сяду в его машину, и мы опять заколесим по древним улицам Вечного города. Но по дороге к Сан-Паоло Фуори ле Мура или Термам Каракаллы мы обязательно на минутку заедем к нему домой и выпьем там за здоровье его жены и наследника (а может, наследницы), которому к тому времени, надеюсь, будет еще очень-очень мало лет.

С Марчелло было легко и весело, часы, проведенные в его обществе, были самыми непринужденными из всех, которые я провел в Италии. Поэтому я и называл его имя, когда меня спрашивали, кто мне больше всего понравился в Италии.

По этой же причине и на другой вопрос, какой город мне больше всего понравился, я отвечал: Флоренция. Вряд ли кого удивит этот ответ — не так уж много в мире городов, которые так притягивали бы к себе ту-

¹ Трастевере — «Затибрье», римское Замоскворечье, наиболее демократический район Рима, расположенный на правом берегу реки Тибр.

ристов и любителей искусства. Но не Палаццо Уффици и не Палаццо Питти заставили меня полюбить этот город. Просто мне удалось, как позднее в Париже, побродить по нему несколько часов в одиночестве.

За день до этого мы осматривали город по-туристски. Для этого было отведено полдня, до часу, когда, по итальянским правилам, пусть под тобой хоть земля разверзнется, а надо идти обедать. Скажу прямо — это были ужасные полдня. От девяти до часу, за четыре часа, мы должны были осмотреть то, на что по-настоящему надо потратить по меньшей мере дней десять, если не больше. За четыре часа мы осмотрели (какое чудовищное слово!) галерею Уффици, Музей Барджелло, Палаццо Веккио и Сан-Лоренцо. По плану предполагалось побывать еще в Палаццо Питти, но это было уже выше наших сил.

Да, это были ужасные четыре часа. Мы носились по залам, боясь что-нибудь пропустить, поминутно смотрели на часы, боясь куда-то опоздать, лихорадочно покупали каталоги, чтоб потом, на досуге, разобраться в том, что же мы в конце концов видели.

Вообще, на мой взгляд, музеи — страшная вещь. Их всегда «надо» посетить. В Ленинграде Эрмитаж, в Москве Третьяковку, в Париже Лувр, в Риме Ватикан, во Флоренции Уффици и т. д. и т. п. И это «надо» убивает то, ради чего ты их посещаешь. Теоретически считается, что, прежде чем пойти в музей, необходимо подготовиться к этому — почитать книги, ознакомиться с художниками; не следует осматривать музей целиком, надо выбрать отдельные залы и спокойно, не торопясь знакомиться с тем, что там выставлено. Но разве когда-нибудь так получается? Бегаешь, задыхаясь, по залам, что-то еще соображая в первых, преимущественно читая таблички в последующих и уже ничего не соображая в последних.

Нет, так искусство не поймешь. Это только для того, чтоб сказать потом: «А я вот видел настоящего Джотто...» А разве я его видел? Ничего я не видел. Стоял перед ним, и все...

Как же и где воспринимать искусство?

Это я понял на следующий день, когда беспечно (нет, не беспечно — в этом и была цель!) бродил по Флоренции. Походив по узеньким и кривым улочкам (одна из них оказалась Виа дель Корно, та самая, которую мы так полюбили, прочитав «Повесть о бедных влюбленных»), я неожиданно для себя оказался на площади Синьории. Было солнечное, прозрачное утро. Суровая и воинственная, такая знакомая по бесчисленным изображениям, четко вырисовывалась на голубом небе квадратная башня Палаццо Веккио. Увешанная флагами по случаю пасхи, она казалась сейчас не такой воинственной и неприступной, как обычно. Вечером я увидел ее другой. Снизу доверху освещенная неверным, колеблющимся светом мигающих плашек, поставленных на окнах и карнизах, она приобрела какой-то сказочный средневековый вид. По площади проходили отряды чего-то вроде гвардии с развевающимися знаменами в пестрых полосатых костюмах времен расцвета и могущества Флоренции, и от этого дворец-крепость казался еще сказочнее, еще средневековее. Но сейчас, освещенный солнцем, расцвеченный флагами, он как-то повеселел и подобрел. Весело было и вокруг. Еще не заполнили площадь туристы — было совсем рано, — пустовали кафе, но уже расставляли свои столики продавцы открыток, уже появились первые гиды, которых к полудню будет не меньше, чем туристов.

Я присел на ступени лоджии Деи Ланци, громадной аркады, замыкающей одну из сторон площади. Чуть правее, на серо-коричневом фоне гранитных стен Палаццо Веккио, сиял белым мрамором с желтоватыми потеками микеланджеловский Давид. Правее его — Геркулес Бандинелли, немного дальше, у самого угла дворца, фонтан — могучий Нептун Амманати в окружении бронзовых коней и наяд, а за моей спиной, в

тени лоджии, — прославленный Персей Бенвенутто Челлини, «Похищение сабинянок» Джованни ди Болонья.

И все эти творения замечательных мастеров жили не в тесных, замкнутых пространствах музейных залов, а под открытым небом, озаряемые солнцем, обвеваемые ветром, свободные и вольные, среди людей, для которых они созданы.

И именно здесь, на ступенях орканьевской лоджии, я понял всю красоту Давида. Нет, тысячу раз неправ Вёльфлин, писавший в своем «Классическом искусстве», что скульптура эта «изумительна каждой деталью, поражает упругостью тела, но, говоря откровенно, безобразна». Да, голова у этого юноши, может быть, несколько и великовата, и кисти рук тоже, но сколько в этой мальчишеской несоразмерности красоты, изящества, грации!

У нас почему-то сейчас забыто это слово — грация, грациозность, — но ведь без этого слова просто невозможно говорить о Микеланджело. В его фигурах — и в скульптуре и в живописи — мощь, движение, страсть, мысль; но сколько в их позах, поворотах, изгибах, сколько в них изящества и грации! Я не говорю уже об Адаме или Рабах Сикстинской капеллы или о Джулиано и Лоренцо Медичи, но взгляните на мраморных Пленников, предназначенных для надгробия папы Юлия II, и вы поймете, что не было на земле художника, умевшего показать силу не в силе покоряющей, побеждающей, а в силе могучей, но не грубой, не напряженной, спокойной, хотя слово это как будто, на первый взгляд, и не вяжется с Микеланджело. Таков и Давид. Нет, он не изображен здесь перед боем, как это многие считают. Я никогда не метал камня из пращи и не знаю, как ее держат до и после боя, но, глядя на бесконечно спокойную фигуру Давида, на его слегка задумчивое прекрасное лицо, я не обнаружил в нем ни напряжения бойца, готовящегося к схватке, ни торжества победителя. Если он и победитель, то не ликующий. А может, это и не Давид? Может, это просто юноша, флорентийский юноша XVI века...

Я сидел на ступенях и смотрел на Давида, и меня несколько не раздражало, что у ног его суетятся и бегают люди, не возмущал и парень, бесцеремонно развалившийся и дремавший у постамента Персея. Все это так и должно быть. Не специально ходить и смотреть на Давида, Персея или «Похищение сабинянок», а жить вместе с ними и, может быть, иногда даже не замечать. И главное, чтоб не было возле тебя экскурсовода, в руках — путеводителя, а рядом с тобой людей, записывающих что-то в блокноты и пришедших сюда только потому, что так положено, иначе нельзя...

Площадь постепенно оживлялась, наполнялась людьми. Как всякий чужестранец, впервые попавший на нее, я, конечно же, думал о том, что вот по ней, по этой самой площади, почти такой же, какая она сейчас, ходили когда-то Данте, Саванарола, Леонардо, Микеланджело (на стене Палаццо Веккио показывают высеченный в граните его профиль, который он якобы сам высек, отвернувшись от стены и держа за спиной молоток и резец), проезжали в каретах грозные Медичи, а позднее бродил одинокий Достоевский (здесь, во Флоренции, он написал своего «Идиота»), гулял в перерывах между работой над «Пиковой дамой» Чайковский.

Вспоминалось мне и другое — более близкое и в то же время для меня далекое. Наши жаркие споры в заставленных досками институтских чертежках. Было это давно, четверть века тому назад, когда в архитектуре безраздельно господствовал конструктивизм — стиль, искавший красоту в полезности, экономичности и рациональности. Мы были молоды, полны веры в себя, в конструктивизм и его бога — Ле Корбюзье. И по поводу всего спорили — с азартом, пылом, неукротимостью. Осо-

бенно жарко — о синтезе искусств, о месте, которое должны в архитектуре занимать живопись и скульптура. Не найдя решения, написали письмо самому Ле Корбюзье. И получили ответ, подробный ответ на шести страницах. Они хранятся у меня до сих пор, эти странички, приведшие нас тогда в неописуемый, бурный восторг.

Ле Корбюзье писал:

«Я не признаю ни скульптуру, ни живопись как украшение. Я допускаю, что и то и другое может вызвать у зрителя глубокие эмоции, подобно тому, как действуют на нас музыка и театр, — все зависит от качества произведения, — но я определенно против украшения. С другой стороны, рассматривая архитектурное произведение и, главным образом, площадку, на которой оно воздвигнуто, видишь, что некоторые места самого здания и вокруг него являются определенными интенсивными математическими местами, которые оказываются как бы ключом к пропорциям произведения и его окружения. Это места наивысшей интенсивности, и именно в этих местах может осуществиться определенная цель архитектора — то ли в виде бассейна, то ли глыбы камня, то ли статуи. Можно сказать, что в этом месте соединены все условия, чтоб была произнесена речь. Речь пластического характера со всем тем, что пластика может проявить возвышенного и субъективного».

Да, Ле Корбюзье прав, когда говорит о местах, созданных как бы для произнесения речи. Элементарнейший пример — Александровская колонна на Дворцовой площади в Ленинграде. Не будь ее, площадь распалась бы. Это безусловно верное, но в общем довольно простое, само собой напрашивающееся решение. Принцип организации пространства на площади Синьории куда сложнее. И принцип этот если и не опровергает, то, во всяком случае, значительно расширяет положения Ле Корбюзье. Здесь нет определенного узла, созданного для произнесения речи, здесь вся площадь, все ее дворцы, лоджии, фонтаны и как будто случайно (а в этой случайности и таится великая закономерность) расставленные скульптуры, вся она — речь, песня. И то, что скульптура так прочно вошла в архитектурный ансамбль (то есть является составной частью его и в то же время воспринимается как нечто самостоятельное), — это и делает эту площадь прекраснейшей в мире, если не считать афинского Акрополя.

И все-таки даже эта площадь бледнеет, если говорить о синтезе двух искусств, перед самым совершенным произведением в этой области — капеллой Медичи в церкви Сан-Лоренцо. Здесь в одном лице слились великий архитектор и великий скульптор. И, вероятно, именно поэтому даже такие рискованные приемы, как несоразмерность и неустойчивость фигур «Дня», «Ночи», «Утра» и «Вечера», которые, кажется, вот-вот скатятся с крышек саркофагов, и то, что головы их бесцеремонно пересекают карниз стены, — даже это не может нарушить общую гармонию, а может быть, наоборот, и создает ее. Микеланджело не суждено было завершить это свое творение — капелла обязана своим теперешним лицом Вазари, — и, возможно, доведи он ее собственноручно до конца¹, она стала бы еще прекраснее и законченнее. Но и в нынешнем своем виде капелла Медичи являет собой одно из величайших святилищ искусства, бесконечно радостного по совершенству своих форм и бесконечно грустного по мысли — ведь это памятник не двум великим полководцам, Лоренцо и Джулиано Медичи, какими они, увы, никогда не были, это памятник горю и страданию истерзанной Италии, страшным годам ти-

¹ В «Письмах» Микеланджело упоминается о четырех фигурах рек, которые должны были лежать на земле и тем самым, очевидно, остановили бы скольжение фигур на саркофагах.

рании Медичи, о которых великий художник сказал в четверостишии, написанном от имени «Ночи»:

Отрадно спать, отрадней камнем быть:
 О, в этот век, преступный и постыдный,
 Не жить, не чувствовать — удел завидный.
 Прошу, молчи, не смей меня будить.

В Сан-Лоренцо Микеланджело — архитектор и скульптор — создал нечто совершенное. Вряд ли можно найти пример более полного слияния архитектуры и скульптуры. Тем поразительнее Сикстинская капелла, где Микеланджело убил архитектуру.

Трудно понять, что руководило художником, когда он приступил к росписи потолка. Известно, что он долго отказывался от этой работы. «Я не живописец, я скульптор», — говорил он. И все-таки, вероятно благодаря полной свободе, которую предоставил ему в этой работе Юлий II, он принялся за этот титанический труд.

Не существует в истории искусств произведения, столь трудного для восприятия. Смотреть его — мука. От обилия повернутых в разные стороны фигур и картин мельтешит в глазах, невыносимо болит шея, так как все время приходится заирать голову кверху. Но муки эти стократ искупаются тем наслаждением, которое ты, преодолев их, испытываешь.

Но какой ценой это достигнуто? Ценой сознательного умерщвления архитектуры.

В своем письме Ле Корбюзье писал:

«Вы обладаете в Москве наиболее прекрасной монументальной живописью, о какой можно только мечтать. Это великие иконы XI, XII, XIII и XIV веков. Они независимы от архитектуры, они заключают эмоциональную энергию в самих себе и могут быть приставлены к стене любой эпохи. Как чистые произведения искусства они живут сами по себе и сами собою.

Вы имеете в Москве, в кремлевских церквях (и в других местах СССР), великолепные византийские фрески. В редких случаях они не вредят архитектуре. Я не уверен, что они прибавляют что-нибудь к ней. В этом и таится драма фрески. Я допускаю фреску не для того, чтобы увеличить ценность стены, а наоборот, как средство бурного ее уничтожения, отнятия у нее всякого представления о стабильности, весе и т. д.

Я признаю «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле, уничтожающий стену, признаю и потолок в той же капелле, уничтожающий самого себя.

Дилемма проста — если хотели сохранить форму стены Сикстинской капеллы и форму ее потолка, не надо было расписывать их фресками. Расписав же, у них отняли навсегда их архитектурное происхождение и сделали из них нечто другое, что тоже допустимо.

Для чего же расписали стены капеллы, убив тем самым архитектуру? Преследовалась другая цель — рассказать проходящей толпе историю, написать книгу языком живописи.

Я с трудом допускаю, что эти истории можно рассказать языком станковой живописи, и, напротив, я убежден, что стены зданий могут, принося себя в жертву, принять на себя фрески, если эти последние представляют существенный интерес с точки зрения рассказываемой истории. Надо только, чтобы они были хорошо написаны».

Да, глядя на потолок и стены Сикстинской капеллы, нам нисколько не жаль архитектуры. Истории, рассказанные Микеланджело, оказались сильнее ее.

Почему?

Не только потому, что они «хорошо» написаны, а потому, что они написаны кровью сердца. Это невеселые истории. И истории не только о сотворении мира и предках Христа начиная с сыновей Ноя. Вглядываясь в печальные, задумчивые, настороженные фигуры пророков и сивилл, вглядываясь в жанровые картинки люмьеров над окнами, которым приданы библейские имена, но для которых до сих пор тщетно ищут в библии соответствующих текстов, мы читаем другую историю. Историю замученной, залитой кровью страны, от которой четыре года художник фактически был оторван. Четыре года он пролежал с кистью в руках на высоких лесах. Но ни на минуту не забывал он о народе, о стране, раздираемой войнами и междоусобицами. Потому так невеселы его сивиллы и пророки — они думают о том же. И о том, что это-то и есть жизнь. Тяжелая, жестокая, безрадостная. Об этом и рассказал Микеланджело.

Но не только об этом. Если б только об этом, мы вправе были бы отнести его гениальное произведение к разряду наиболее пессимистических в мировом искусстве. Но это не так. В творчестве Микеланджело нет пессимизма. В нем трагедия. Человек и жизнь... Рожденный для жизни Адам и нагие юноши вокруг него (нет, не рабы, тысячу раз не рабы!) — это хвала человеку, прекрасному, сильному, гордому, перед которым открыто всё, все пути!

И, сидя с задранной головой на скамейке, забыв о том, что у тебя невыносимо болит шея, ты прощаешь художнику смертельный удар, нанесенный им архитектуре, прощаешь и то, что рядом, на алтарной стене, уже на закате своей жизни, он позволил себе изобразить «Страшный суд» — фреску, которая не может существовать по соседству с плафоном. Все это ты прощаешь ему, потому что перед тобой творение великого художника, гражданина, гуманиста, который в жизни бывал и робок, и завистлив, но в искусстве, как и должно художнику, всегда был смел, правдив и непоколебим.

Я прошу прощения у читателя. Я несколько отклонился в сторону, заговорил о том, о чем гораздо полнее и с большим знанием дела написано в обширной литературе об итальянском Возрождении. Но что поделаешь, если, увидев раз Микеланджело, нельзя о нем не говорить. А заговорив, трудно остановиться. К этому принуждает его искусство.

(Окончание следует)



ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

С. К. ПОТТЕККАТТ

★

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА

Индийский писатель Сукумарэн К. Поттеккатт пишет на языке малайялам, на котором говорят тринадцать миллионов жителей штата Керала. Это один из самых известных там писателей. Его жанр — короткий рассказ. Он постоянно путешествует, и не только по Индии; он объездил многие другие страны мира — Бирму, Малайю, Арабский Восток, почти всю Европу — и написал много талантливых очерков, путевых заметок, дневников. В Индии популярен также его роман «Виша Каньяка», рисующий трудную жизнь рабочих на плантациях Юга. Почти все рассказы С. К. Поттеккатта переведены на другие индийские языки.

Поттеккатт принимает активное участие в борьбе за мир. Он был членом индийской делегации на Конгрессе сторонников мира в Хельсинки и по возвращении на родину был избран секретарем Комитета мира штата Керала.

В 1951 году он посетил Советский Союз. Книга его очерков, посвященная нашей стране, недавно вышла в свет.

Поттеккатт издает и редактирует литературный журнал «Пропенджу» («Весь мир»). Он был делегатом на конференции писателей Азии в Дели и приглашен на конференцию писателей Азии и Африки, которая должна состояться в Ташкенте в октябре этого года.

На русский язык произведения Поттеккатта до сих пор не переводились. Ниже мы печатаем его новеллу.

1

Дождь лил, не переставая, уже несколько дней. Легкий туман поднимался от земли и тонкой пеленой окутывал рощи и холмы, окружавшие деревушку. Ровный однообразный шум дождя нарушали только налетавшие изредка сильные порывы ветра. Небо — все в серых тучах — нависло низко, и время определить было невозможно; хоть час был еще ранний, но сумрак, казалось, сгущался с каждой минутой.

Пока я стоял и размышлял, не наступила ли уж и в самом деле ночь, дождь ненадолго прекратился, и, как только затих его шум, стало слышно громкое неприятное кваканье лягушек и стрекот цикад в рисовых полях. Чувство тоскливого одиночества, которое обычно охватывает человека, застигнутого вечером в безлюдном, бескрайнем поле или среди девственной природы, становилось все более гнетущим. Казалось, необъяснимый страх медленно и настойчиво расползается повсюду.

Время от времени в северо-западном углу неба вспыхивали зарницы, как будто кто-то зажигал там несколько спичек сразу.

Места эти были мне совершенно незнакомы. Очутившись здесь в такую погоду, когда и собаку из дому не выгонишь, промокший до нитки, я совершенно потерял способность ориентироваться и понял, что заблудился. Вокруг не было видно ни одного человеческого существа. Справа от меня тянулся большой лес, передо мной лежали рисовые поля, с двух сторон подымались пологие холмы.

Керала красива своей особой красотой, она не похожа на другие места Индии. Но в моем теперешнем положении мне было трудно

наслаждаться созерцанием окружающих меня чудесных видов. Длинные щупальца страха и тревоги заползали в сердце. Невыносимо тоскливо шумели деревья в роще. Ручьи грязной ржавой воды текли вниз с ближнего холма.

Снова хлынул ливень. Я подоткнул дхоти, крепко зажал под мышкой книги и, загоразживаясь от дождя зонтом, пошел на запад, стараясь держаться центральной дамбы, разгораживающей поле.

Но вскоре мой путь преградил канал. Мне пришлось остановиться. Вдруг до меня донесли громкий плач и всхлипыванья. Я поднял зонтик повыше и огляделся по сторонам: справа от меня, на берегу канала, виднелась небольшая фигурка.

Я подошел поближе. Плач прекратился. Даже сейчас, в сумерках, можно было разглядеть, что это маленькая крестьянская девочка лет одиннадцати, не больше. Ее худое коричневатое тельце едва прикрывал какой-то ветхий лоскут тоже коричневого цвета. Больше на ней не было ничего. Ее сильно запавший живот подчеркивал выдающуюся вперед грудную клетку с резко выступающими ребрами. На голове у нее была широкополая, сплетенная из листьев шляпа-зонтик, но она тоже была очень ветхой и скорее походила на решето. Из-под шляпы на лоб выбивались пряди темных волос.

«Кап-кап», — выстукивали тяжелые капли, падая на шляпу, а некоторые скатывались через дырки на голую грудь и задерживались там, поблескивая, как алмазы. В руках у девочки была бутылка с отбитым горлышком, наполненная, видно, керосином, и сверточки, которые она судорожно прижимала к груди. Из складки материи у талии выглядывали две или три лепешки. Они размокли на дожде. Единственным украшением девочки были два железных колечка на правой руке.

Ее посиневшее от холода личико поражало худобой и бледностью, но, несмотря на это, девочка была очень красива. Она в испуге устремила на меня горящие, как угли, глаза. Маленькая обитательница глухой деревушки стояла возле меня неподвижно, как изваяние.

— Почему ты стоишь здесь, девочка? — участливо спросил я ее.

— Ответа не последовало.

— Скажи же мне. Ты, может быть, ждешь кого-нибудь?

— Мне нужно на ту сторону, а мостка нет... Если отец не дожидется меня, он может... — Она заплакала.

— Два ручейка слез заструились вниз по щекам.

Подойдя поближе к берегу, я увидел, что мостка действительно нет. По-видимому, его снесла вздувшаяся от дождя река.

— Не бойся, девочка, — старался я утешить ее. — Я помогу тебе перебраться на ту сторону. Где твой дом?

— Он там, по ту сторону горы, — сказала она, подняв голову.

Я сказал ей, чтобы она подождала меня, а сам пошел по берегу. Метрах в двухстах от того места, где осталась девочка, я нашел ствол хлебного дерева, служивший раньше переправой. Я подтащил его на прежнее место.

Мы перебрались на другую сторону. Я стал расспрашивать девочку, далеко ли отсюда до шоссе.

— Нужно идти до десятого столба. Это порядочно отсюда, — сказала она. Слово «порядочно» прозвучало у нее протяжно и длинно.

Я понимал, что если даже, преодолев все трудности, доберусь до дороги, то вряд ли мне удастся сегодня сесть на автобус, направляющийся в Кожикод. Поэтому я решил попросить приюта у своей маленькой спутницы.

— Можно мне будет переночевать у вас? — спросил я.

Она молча кивнула и улыбнулась.

— Ты меня накормишь?

— Конечно,— осмелев, ответила она.

— Как тебя зовут?

— Манни.

— Кто у тебя дома?

— Отец и двое братишек.

— А мать?

— Мать умерла в прошлом году.

— Что делает твой отец?

— Он раньше собирал пальмовый сок, но потом упал с дерева и сломал себе обе руки и ноги. Теперь он лежит.

— Бедняга! Кто же теперь кормит вашу семью?

— Ответа не последовало.

— Что у тебя в свертках?

— Соль и красный перец.

Дождь припустил снова. Стало совсем темно. Мы дошли до середины поля. Тропинку уже трудно было различать. Местами она была залита водой, местами терялась или была вовсе непроходима. По временам нам приходилось брести по шиколотку в воде. Но Манни, по-видимому, прекрасно знала дорогу. Она шла впереди, указывая путь.

— Сейчас будет ямка... Здесь дорожку размыло... Осторожней, рядом с дорожкой канава... — предостерегала она меня.

Немного погодя мы свернули на узенькую, не шире двух футов, тропинку, которая вела к горе. По обеим сторонам ее подымались высокие скалы. Наступила полная темнота. Даже теперь, вспоминая наш путь по этой тропинке, пересеченной обрывами и каналами и усыпанной камнями, я содрогаюсь от страха.

Камни, принесенные потоком дождевой воды, были остры, как лезвие ножа. Дикие лианы сползали по скалам под ноги. Дороге, казалось, не было конца. Время от времени я спрашивал ее, долго ли нам еще идти, и каждый раз она отвечала:

— Уже совсем недолго.

Наконец мы выбрались на гору. Я поднялся на самую высокую ее точку и осмотрелся. Мрак окутал все вокруг. На горизонте, прячась в облака, поднимался месяц. Повсюду мерцали, словно далекие звезды, светлячки.

Потом мы снова побрели по тропинке, которая вела теперь уже под гору. Она была еще менее проходима.

Вскоре Манни остановилась.

— Вот,— сказала она,— наш дом.

С огромным облегчением я стал вглядываться в темноту; слева слабо вырисовывался силуэт домика. Ни звука, ни голоса не долетало оттуда. Лампа не была зажжена, и очаг не топился. Девочка оставила меня во дворе, положила на веранде зонтик и, заметно волнуясь, вошла в дом.

— Это ты, дочка? — окликнул ее кто-то надтреснутым голосом.

Манни подошла к отцу и начала что-то говорить ему тихонько. Я слышал только слова — акцизный чиновник.

«Манни приняла меня за акцизного чиновника,— подумал я.— Бедная девочка! Для них всякий человек в рубашке и пиджаке был акцизным чиновником».

Манни налила немного керосина в жестяную лампочку и зажгла ее. Слабый, мерцающий огонек осветил улыбающееся лицо Манни.

Потом она вынесла на веранду циновку и пригласила меня сесть. Я снял пиджак, присел и осмотрелся.

У одной из стен хижины были сложены крюки, с помощью которых хозяин, видно, взбирался на стволы пальм, и острый нож для добычания сока. На просторной высокой веранде было чисто и опрятно, несмотря на то, что в земляном полу кое-где виднелись ямки, промытые

дождевыми каплями. Посредине глинобитной стены виднелась настоящая дверная рама, но дверь была сделана из пальмовых листьев. Возле входа в хижину стояла подставка для лампы, и красноватая стена над ней была закопчена. Здесь же было прилеплено несколько фотографий, неаккуратно вырезанных из газет. Через полуотворенную дверь была видна еще одна маленькая комнатка. При слабом свете лампы, стоявшей на веранде, можно было различить там постель и тщательно укутанные ноги лежащего на ней человека. Это был отец девочки. С северной стороны веранда переходила в пристройку, там была кухня. Передняя и задняя стены кухни были сделаны из пальмовых листьев, боковой стены не было, там стояла клетка с курами. Время от времени из нее доносились кудахтанье. На небольшой приступочке было рабочее место Манни. Здесь она ткала из кокосовых волокон коврики-циновки.

Уже готовые циновки лежали тут же, придавленные тяжелым камнем, и повсюду на веранде были развешаны зеленые волокна.

В кухне над очагом покачивались свисавшие с крыши бамбуковые бутылки, в которых Манни держала горчицу, семена сельдерея и другие приправы, и мешочек из пальмового листа с имбирем. Над очагом же были подвешены — «на счастье» — несколько закопченных яичных скорлупок. Рядом с ним на возвышении стояло несколько глиняных горшков и лежала кучка поджаренных плодов хлебного дерева; с другой стороны очага были расставлены всякие кухонные принадлежности.

Посредине кухни сидел голый ребенок и грыз кожуру от плода хлебного дерева. Манни решительно отняла у него кожуру и выбросила прочь. Потом она направилась к очагу и стала разводить огонь. Ребенок громко заплакал.

2

— Подойдите ко мне, пожалуйста,— послышался из хижины голос отца Манни.

Я вошел в маленькую комнату; больной лежал у самой стены. Лица его в темноте не было видно. Я присел на чурбачок, лежавший возле постели.

Он стал расспрашивать, как меня зовут, где я живу и чем занимаюсь. По-видимому, он испытал большое облегчение, узнав, что я не акцизный чиновник. Мы разговорились, и он рассказал мне свою историю.

— Меня зовут Чату. Я собирал сок пальмовых деревьев, иногда кокосовые орехи. Но мне никогда не удавалось заработать столько, чтобы мы могли два раза в день сытно поесть. Поэтому я стал гнать пальмовую водку, чтобы хоть немного заработать. Но меня поймал акцизный чиновник. Он сказал, что, если я дам ему пятнадцать рупий, он уладит это дело. Но у меня не хватило денег. Поэтому он заявил в суд, и меня посадили в тюрьму на четыре месяца. Жена моя в то время ждала ребенка. Через несколько дней после того, как меня выпустили, она родила мальчика. Вскоре после родов она умерла. Моя жена, Чирутта Кутти, была счастливая женщина. С тех пор как она ушла от нас, мы все время голодаем. Если я еще как-то мог накормить Манни и Келлана, то что я мог дать новорожденному? Неподалеку от нас живет плотник, у его жены тоже родился ребенок, и я отнес ей своего сына. С месяц она кормила его грудью, но потом мне пришлось взять ребенка домой. За ним смотрит Манни. Кроме того, ей приходится делать всю работу по дому.

Три месяца назад я упал с верхушки пальмы. У меня переломаны все кости. Поблизости нет никого, кто мог бы помочь мне. Мой старый приятель Сайдали Мапелай привел ко мне человека по имени Панниккар. Он бинтует меня теперь. Но вот прошло уже три месяца, а мне не становится лучше.

Он приходит каждый день перебинтовывать меня и мучит ужасно. Но мне кажется, что он только причиняет мне лишнюю боль, а помочь ничем не может. Вы спрашиваете, есть ли у меня деньги? Сайдали дал мне три рупии, но все это мы истратили на лекарства. Кроме того, все, что Манни удалось скопить в бамбуковой бутылке, ушло на угощение и выпивку Панниккару. С тех пор как я лежу, прикованный к постели, нас кормит Манни, моя маленькая дочка. О, если бы бог не дал нам ее, нас давно уже не было бы в живых. На рассвете она принимается за свои циновки. Да к тому же она все делает по дому, ухаживает за мной, смотрит за детьми, ходит за покупками, готовит еду.

— Но сколько же она может заработать в день? — прервал я его.

— Гроши, конечно, — ответил он, — но больше она ничего не умеет делать. Одна пайса за кусок в семь дюймов готовой ткани, да еще за волокна нужно платить. Если она работает с раннего утра без передышки, она может соткать двенадцать кусков. За это она получает одну анна.

— Значит, вы живете на одну анна в день? — спросил я. Удивление, смешанное с любопытством, заставляло меня продолжать расспросы.

— Да. А что нам еще остается делать? Кто нам даст денег? Да вот еще Манни вырастила несколько кур. За яйца она получает по полторы пайсы за штуку. Потом она еще собирает листья для набивки матрацев и продает их в магазин. Это тоже дает нам две-три пайсы. Кое-как мы сводим концы с концами. На других вещах можно экономить, но без риса, соли и керосина не проживешь. За три четверти анна мы покупаем полмерки риса, на две пайсы — керосину, на одну — соли и еще на одну — перцу. На одну пайсу — бетель¹, еще на одну — табаку. Так и выходит, что все наши покупки укладываются в одну анна. Иногда на две пайсы мы покупаем рыбы. А когда созревают плоды хлебного дерева и манго, мы оживаем. Это для нас золотые деньки. Если уйти подальше в лес, можно собирать плоды хлебного дерева совсем даром. Мы варим их и едим. Мы наливаем очень много воды, кладем совсем немного рису и варим его, а потом запиваем этим отваром плоды. Иногда нам удается достать молодое дерево пальмы.

— Что? Дерево пальмы?

— Вы, наверно, никогда даже не видели, что это такое. Кусочек древесины молодой пальмы нужно мелко посечь и вымочить в воде, а потом высушить. Получается мука. Мы едим ее вместо риса, когда у нас нет риса. Мы считаем, что это очень вкусная еда, особенно если сварить пальмовую муку густой, как кашу. Можно сделать салат из зеленых листьев и приправить его таким «рисом». Получается очень хорошо.

— На что же вы покупаете одежду?

— В прошлом месяце Манни продала две курицы за шесть анна. На это мы купили два полотенца и немного белья. Вот одно полотенце на мне.

— Рис готов, — объявила из-за двери Манни.

Я вышел в переднюю комнату. Здесь было чисто выметено. На циновке стояла миска с водой. Лежала ложка из свернутого листа и дощечка, на которой можно было сидеть. Я сел. Манни принесла рис с кокосовым молоком. На тарелочке из пальмового листа была приправа из стручков красного перца. Я до сих пор часто вспоминаю замечательный вкус риса и этой приправы.

Пока я ел, спавший подле меня ребенок проснулся и начал отчаянно вопить. Манни взяла его на руки и унесла в другую комнату.

После ужина, когда я отдыхал на веранде, Манни отнесла Чату

¹ Бетель — тропическое растение. Смесь его листьев с семенами арековой пальмы употребляется для жевания.

немного рису, оставшегося у меня на тарелке; она только добавила туда немного воды. Чату съел в темноте все, что она дала ему.

Я заглянул в кухню, и моим глазам представилась такая сценка: на приступочке, вытянув ноги, сидела Манни; на коленях у нее был ребенок. Перед ней стояла мисочка супу. Рядом с девочкой сидел старший братишка, Келлан. Черпачком из листа он ел суп, заедая его той самой кожей плода хлебного дерева, которую она недавно отняла у него. Ребенок, сидевший у нее на коленях, время от времени широко разевал рот, и Манни вливала ему немного супу. Иногда она клала ему в рот кусочек сушеной рыбы. Время от времени Манни тоже проглатывала ложку супу. С большим трудом, словно это были драгоценные жемчужины на дне глубокого моря, ей удавалось выловить со дна тарелки несколько рисинок.

3

Ужин закончился, пора было подумать о сне. Хотя Чату и предлагал мне лечь в передней комнате, но я сказал ему, что предпочитаю спать на веранде. Манни принесла мне рваное одеяло, но оно было слишком грязное и скверно пахло, так что мне пришлось от него отказаться. Я лег на старую циновку, подложил под голову дощечку и укрылся своим пиджаком.

Манни потушила лампу и закрыла дверь. Прошло немного времени. Снова пошел дождь. Несмотря на то, что навес веранды был плотно устлан пальмовыми листьями, вода находила невидимые глазу щелки и тонкими струйками стекала вниз. У меня намочили ноги. Потом промокла циновка. Я встал и перетащил постель на другое место. Но только я подумал, что теперь могу заснуть, как струйка воды полилась мне в ухо. Я вскочил. После этого я долго не мог уснуть и, накинув пиджак на плечи, уселся с ногами на циновку.

Через четверть часа дождь прекратился и небо очистилось. На горизонте ярко сияла луна. Волшебно прекрасны были далекие голубоватые горы. Дождевые капли сверкали на листьях, как алмазы. Я сидел и размышлял об обитателях этой хижины. Я думал о честности, ясно написанной на лице маленькой хозяйки, о ее быстрых, ловких движениях, практическом уме. Все в ней — и ее внешность, и характер, и чувство собственного достоинства, и нежность — привлекали меня. А мужество и терпеливость несчастного калеки трогали до глубины души.

Передо мной была жуткая, невероятная нищета, но эта нищета не могла вытеснить из сердец обитателей хижины любовь и бесконечную привязанность друг к другу. В этом было настоящее богатство маленькой хижины, бесценное сокровище, которое не смогли уничтожить ни окрики помещиков, ни презрение богачей. Страх заморозил чувства этого крестьянина, отчаяние притупило мысль, и бедность задавила его жизнь, но любовь, сиявшая в улыбке его маленькой дочки, всегда была с ним...

Я проснулся на рассвете. Меня разбудил хор птичьих голосов. Но Манни, видно, проснулась раньше меня. Она уже открыла дверь, затащила очаг и принялась за работу.

Я встал, умылся, оделся и подошел к Чату, чтобы попрощаться с ним. Только сейчас я смог хорошо рассмотреть его. У него было темное, заросшее волосами лицо. Весь израненный, распухший, забинтованный, он напоминал обожженное молнией кривое дерево, вроде тех, что растут на берегах реки Каллай. Я дал Чату рупию — глаза его наполнились слезами, и он стал благодарить меня.

— Ваше доброе дело принесет вам...

Дальше я не стал слушать. В дверях стояла Манни.

— Манни, это тебе, купи себе материи на кофту,— сказал я, протягивая ей восемь анна.

Мне предстояло спуститься с горы и идти некоторое время вдоль поля, чтобы добраться до дороги. Расспросив хорошенько Манни, как идти, я тут же покинул эту бедную хижину.

Спустившись вниз, я обернулся и посмотрел на гору. На вершине стояла маленькая хозяйка, погруженная в непривычные мысли. Она смотрела на рисовое поле.

Перевели с языка малайялам Чандра Сэккер и В. Ефанова.

ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ

★

ЧУДЕСА И ЧУДОТВОРЦЫ

Египетский писатель Тауфик аль-Хаким (р. 1898) долгое время жил во Франции. В начале тридцатых годов опубликовал свои первые произведения и сразу занял одно из видных мест в новой египетской литературе. Имя его стало широко известным не только на Арабском Востоке, но и в Европе.

На русский язык переведены роман Тауфика аль-Хакима «Возвращение духа» (Ленинград, 1938) и отрывки из книги «Из башни слоновой кости» (Восточный альманах, Москва, 1957). Рассказ «Чудеса и чудотворцы» взят из сборника его философских рассказов «Покажи мне Господа!», вышедшего в Каире в 1954 году.

Старый монах поднялся, как всегда, чуть свет. Все еще спало, только птицы выпорхнули из своих гнезд. Помолвившись и отвесив положенное число поклонов, он принялся убирать в храме.

Этот человек был душой и светом монастыря; он пользовался известностью и уважением среди своих братьев-монахов и среди окрестных жителей.

У ворот монастыря росла маленькая пальма. Старик сам посадил ее и каждый день поливал перед восходом...

Вот солнце, красное, как финик, показалось из-за горизонта; его лучи золотыми нитями окутали влажные ветви пальмы, с которых, словно капли серебра, падали росинки. Монах только что кончил полизать дерево и собирался вернуться в храм, как вдруг к нему подошли несколько человек. Лица их были скорбны и серьезны. Один из подошедших, поборов робость, начал упрашивать умоляющим голосом:

— Святой отец!.. Помогите нам!.. Только ты один можешь это сделать!.. Моя жена умирает... Она просит, чтобы ты благословил ее... перед смертью...

— Где она?

— В соседней деревне... Ослы уже готовы... Пойдем!

— Но я-то не готов, дети мои! — воскликнул монах.— Подождите, я сейчас закончу свои дела, предупрежу братьев, вернусь к вам, и мы отправимся.

Но люди взмолились в один голос:

— Мы не можем ждать ни минуты!.. Женщина умирает... Быть может, мы и так придем, когда будет уже слишком поздно... Иди с нами сейчас же, без промедления, если ты хочешь совершить доброе дело,— спаси душу умирающей женщины... Это же здесь недалеко... Ты съездишь туда и вернешься раньше полудня!..

— Ладно, пусть будет по-вашему! — решил монах.

Он пошел вперед, остальные за ним. Монах сел на одного осла, муж умирающей женщины — на другого, и все двинулись из монастыря.

Так они ехали несколько часов. Всякий раз, как монах спрашивал, скоро ли они приедут, спутники его отвечали: «Мы уже почти приехали» — и подгоняли палками ослов.

Был уже полдень, когда перед ними показалась деревня. Они въехали в нее, встреченные громким лаем собак и приветствиями жителей. Все направилось к дому, стоявшему неподалеку от дома старосты. Монах вошел и увидел женщину, расprostертую на постели; глаза ее были устремлены к небу. Он позвал ее, но она не ответила. Было ясно, что женщина находится от смерти не дальше, чем на расстоянии двух выстрелов из лука... Монах начал молиться.

Не успел он кончить свою молитву, как послышался долгий вздох... Потом еще один. Монах подумал, что это душа умирающей покидает тело. Но вот ее ресницы дрогнули, глаза открылись, и, оглядываясь по сторонам, больная прошептала:

— Где я?

— Ты у себя дома,— удивленно ответил монах.

— Дайте мне глоток воды!

Вся семья закричала вокруг:

— Дайте ей кувшин, дайте ей чашку!

Бросились наперегонки за посудой, принесли воды. Женщина пила долго, потом икнула и спросила:

— А поесть... Я голодна.

Все, кто был в доме, опять заторопились скорее исполнить ее желание. Пока она ела, удивленные глаза окружающих впивались в нее, словно желая съесть ее самое. Покончив с едой, она поднялась с постели и пошла по дому; совсем здоровая.

Тогда люди упали на колени и, целуя руки и ноги монаха, закричали:

— О святой человек, своей молитвой ты воскресил мертвую и осчастливил этот дом. Чем можем мы отблагодарить тебя?

Монах, сам удивленный всем происшедшим, отвечал:

— Я не сделал ничего такого, что заслуживало бы вознаграждения. Все свершилось лишь по воле божьей!

Но хозяин дома воскликнул:

— Называй это как хочешь... Произошло чудо! Бог пожелал, чтобы оно было сделано твоими руками. О святой человек, ты осчастливил наш скромный дом! Это честь и радость для всех нас. Мы должны выполнить долг гостеприимства, насколько нам позволяет наше состояние...

Хозяин дома приказал приготовить для монаха отдельную комнату. И как тот ни умолял, чтобы ему позволили уйти, хозяин поклялся самыми страшными клятвами, что он не разрешит своему почтенному гостю покинуть дом раньше чем через три дня. Это самое малое, что он должен человеку, спасшему жизнь его жене, говорил он.

Все три дня хозяин ухаживал за монахом, окружив его заботами и вниманием. Когда же назначенный срок миновал, запрягли осла, нагрузили его подарками — были там пирожки, чечевица, петух — и вложили в руку монаха пять золотых для монастырской казны.

Но едва они успели проводить его до ворот и посадить на осла, как, запыхавшись, подбежал человек, бросился к ногам монаха и стал молить:

— Святой отец... Молва о твоих чудотворных делах распространилась по всей округе... Мой дядя, заменивший мне отца,— на пороге смерти... Он уповаet на твое благословение... Не допусти, чтобы душа покинула его, прежде чем исполнится его надежда...

— Но, сын мой, я собираюсь возвращаться к себе в обитель,— ответил монах.

— О, это не отнимет у тебя много времени... Я ни за что не отпущу тебя, пока ты не побываешь у моего дяди!..— И человек этот схватил осла под уздцы и повел за собой.

— А где живет твой дядя? — спросил монах.

— Здесь рядом, всего в нескольких минутах ходьбы..

Монах не смог отказаться.

Они ехали около часа, и вскоре оказались в другой деревне... Там монах увидел дом, очень похожий на тот, из которого он только что приехал, больного, готового вот-вот испустить последний вздох, и семью, колеблющуюся между отчаянием и надеждой. Монах приблизился к больному и едва успел благословить его, как случилось чудо: умирающий приподнялся на постели, требуя еды и питья.

При виде этого все пришли в изумление и тут же поклялись отблагодарить святого человека, оказывая ему гостеприимство в течение трех дней.

Когда миновал третий день, гостя щедро одарили и проводили до окрестности. Но тут появился человек из третьей деревни и стал просить монаха посетить его дом хотя бы на один час и благословить его. Слава о монахе и его чудотворной молитве распространилась по всей округе.

Монах опять не смог отказаться. Человек взял под уздцы его осла и повел в свою деревню. Там монах увидел парализованного мальчика. Но едва он коснулся его, как тот поднялся на ноги и начал бегать и танцевать под радостные возгласы всей родни. Родители мальчика тут же заявили, что будут принимать у себя святого чудотворца три дня и три ночи, как самого дорогого гостя. И они выполнили свое обещание.

Когда же настало время расстаться, гостя одарили новыми подарками, так что осел едва не падал под их тяжестью, и прибавили еще денег к тем, что он уже получил в двух первых деревнях. Теперь у монаха было больше двадцати золотых. Он спрятал их на груди, взобрался на осла и попросил, чтобы его проводили до монастыря. Родственники исцеленного согласились и толпой двинулись за ним.

— Мы навсегда сохраним память о тебе в наших сердцах! — кричали они ему.— Мы готовы душу отдать за тебя! Мы тебя не покинем, пока не доставим в монастырь! Ты для нас — чистое золото!..

— О, я причиняю вам столько хлопот,— говорил монах, не задумываясь над их словами,— но ведь вы знаете, дороги теперь небезопасны, всюду рыщут шайки грабителей.

— Да, это правда,— отвечали его провожатые.— Они теперь нападают на людей прямо среди бела дня.

— Даже власти не в состоянии справиться с этим злом, и оно распространяется все шире и шире, — продолжал монах.— Мне говорили, что разбойники останавливают на дорогах автобусы, обыскивают пассажиров, и, если кто-либо из них покажется им богатым или знатным, они забирают этого человека с собой, надеясь получить за него большой выкуп у его семьи. А бывает и так, что при этом даже присутствуют полицейские. Мне, например, известен случай, когда два полицейских ехали вместе с другими пассажирами в автобусе. И вдруг они встретились с бандитами. Те схватили нескольких пассажиров и повели с собой. Тогда один из схваченных обратился за помощью к полицейским. Но блюстители порядка так перепугались разбойников, что сказали ему только: «Иди скорее и избавь нас от них!»

Люди, сопровождавшие монаха, засмеялись и сказали:

— Ничего не бойся, пока ты с нами! Ты не сойдешь со своего осла раньше, чем мы достигнем твоего монастыря!

— О, я вижу вашу храбрость! — воскликнул монах. — Вы были так добры ко мне, так щедры и великодушны!

— Не стоит говорить об этом. Ты наше сокровище!

И они продолжали идти позади монаха, рассуждая о его подвижничестве и превознося сотворенные им чудеса. А он прислушивался к их разговорам и раздумывал над всем случившимся. Потом вдруг воскликнул:

— Поистине то, что произошло со мной за эти дни, так удивительно! Но разве это моя молитва сотворила все эти чудеса?

— Неужели ты сомневаешься в этом? — спросили они.

— Нет, все это мог бы совершить только пророк. Это вы причина всех чудес, которые я сотворил.

— Мы? Что ты хочешь этим сказать? — спросили они в один голос.

— Да, это вы причина всего! — повторил монах.

Люди переглянулись между собой и тихо спросили его:

— Кто тебе об этом сказал?

Монах с воодушевлением продолжал:

— Ваша вера! Да, ваша вера позволила сделать все это. Вы не знаете, какая сила заключается в душе верующего человека. Вера — это великая сила, о дети мои, великая сила!.. Чудеса таятся в самих ваших сердцах, как вода таятся в камне. И только вера способна вызвать их оттуда!

Так он продолжал говорить, а остальные шли за ним и кивали головами. Монах настолько увлекся своими словами, что перестал замечать что-либо вокруг себя, а люди тем временем один за другим отставали от него.

Он пришел в себя, только когда достиг монастыря. Обернувшись назад, чтобы поблагодарить своих защитников, он онемел от удивления: позади никого не было, кроме осла, тащившего его вещи.

Но удивление монаха длилось недолго. Он увидел своих братьев-монахов и послушников, бросившихся ему навстречу. Они целовали ему руки, и слезы радости и волнения текли по их щекам.

— Наконец-то ты благополучно вернулся к нам, — обратился к нему один из встречавших. — Они сдержали обещание. Пусть забирают деньги — зато они возвратили нашего отца! Все стоит отдать за тебя, отец наш!

— Какие деньги? — не понял монах.

— Деньги, которые мы отдали бандитам.

— Каким бандитам?

— Да тем, которые тебя похитили. Они сперва не хотели отпустить тебя меньше чем за тысячу золотых; они говорили, что ты для них равноценен золоту. Но потом мы упросили их взять половину этой суммы, и они согласились. Мы заплатили эти деньги, взяв их из монастырской казны.

— Как, вы заплатили за меня пятьсот золотых? — вскричал монах. — И они вам сказали, что я похищен?

— Да. Через три дня после того, как ты исчез, пришли к нам люди и сказали, что бандиты похитили тебя утром, когда ты поливал свою пальму. И они заявили, что ты погибнешь, если мы не заплатим за тебя выкуп. А если заплатим, то ты вернешься к нам через три дня после внесения денег.

Монах задумался, вспоминая все, что с ним произошло, и сказал как бы про себя:

— Да, вполне возможно... Все эти умирающие, больные и немощные, которые поднимались от моей молитвы... Как ловко все было сделано...

Но монахи продолжали успокаивать его, радостно повторяя:

— Все стоит отдать за тебя. Они не причинили тебе вреда, пока ты был у них? Что они делали с тобой?

— Они заставили меня творить чудеса, — ответил он смущенно, — но эти чудеса очень дорого обошлись нашей обители.

Перевел с арабского К. Юнусов.

ХИЛЬМИ ОЗГЕН

★

НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Рассказ турецкого писателя Хильми Озгена «Надгробное слово» был напечатан в журнале «Сечильмиш хикьялер дергисис» («Журнал избранных рассказов»). Этот журнал выходит в Анкаре под редакцией известного турецкого новеллиста и критика Селима Шенгиля.

По признанию турецкой критики, журнал много сделал за последние годы для развития турецкой новеллы, выдвинул ряд имен талантливой литературной молодежи, к числу которой и принадлежит автор рассказа «Надгробное слово».

Бренное тело губернского хранителя реестра купчих крепостей господина Наби Кютюкчю несли на плечах к месту последнего упокоения. Явившиеся проводить его в последний путь мнимые друзья и подлинные враги—сослуживцы, знакомые и соседи—толпой следовали за гробом, тяжело вздыхая и охая.

Погода стояла жаркая, идти по пыльной дороге до кладбища было довольно далеко. Эта смерть украла у чиновников часы праздничного досуга и вызвала поэтому только раздражение и чувство докучливой скуки. Хранитель реестров прекрасно знал все тонкости служебного долга, но это не помешало ему, тем не менее, умереть в праздничный день.

«Вот мерзавец! — думал старший столоначальник Екта-эфенди, с треском перебирая четки.— Жил, жил и на тебе— не нашел другого дня, чтобы помереть... Не сладко ему придется на том свете... Ворюга паршивый! Крал, крал, да, видно, не суждено было ему краденым-то попользоваться... Отдал душу аллаху... Конечно, в наше время не украдешь— не проживешь, но надо хоть немного и о подчиненных подумать. Вечно он все доходные дела забирал в свои лапы, нам ни крохи не перепало. Ишь, бессовестный! Поглядите только, как смиренно и скромно он лежит теперь в гробу! Кто не знал его, тот и впрямь может подумать, что он был порядочным человеком. Порядочным? Ах ты, свиное рыло!»

Размышляя так, Екта-эфенди продолжал перебирать янтарные четки и, вспоминая изредка о своих религиозных убеждениях, бормотал:

— Добром поминайте своих покойников! Спаси его аллах! Спаси аллах! Спаси аллах!..

Екта-эфенди вдруг заметил начальника паспортного стола, протискивавшегося к гробу, чтобы подставить под него свое плечо.

«Вот еще один лицемер! Был главным соперником покойного, лютым врагом. Грызлись они, как собаки, писали друг на друга доносы. По вине начальника паспортного стола то и дело случалась неразбериха при введении в права наследования: наследников путали с завещателями, купцов — с продавцами. Паспортист шел на все подлости, лишь бы выжить Наби-бея из управления. Правда, покойный, когда злился, тоже давал ему жару. Раз в присутствии самого господина губернатора так его разнес, прямо с грязью смешал. Господин губернатор даже сказать ничего не мог. А теперь поглядите на лицемера! Благодарение аллаху, подставил-таки свое плечико... Как же, последняя услуга! Да был бы этот мерзавец жив, он бы тебя на пушечный выстрел к гробу не подпустил! Выходит, и правда Наби-бей умер. Упокой аллах его душу!»

Процессия медленно приближалась к кладбищу, огороженному редкими деревянными кольями: на проволоку у губернского управления денег никогда не хватало. Между могилами тыквоголовые босоногие мальчишки из соседних кварталов играли в «чижика», паслись коровы. У огромного надгробия на могиле султанского губернатора две собаки обнюхивали друг друга.

Полицейский «в целях охраны общественной нравственности» отделился от похоронной процессии и, отпустив одно из своих излюбленных ругательств, бросил в собак камнем. Безиравственные животные с визгом укрылись в одной из провалившихся могил, а мысли Екта-эфенди обратились к людской злобе, что вновь привело его к воспоминаниям о покойном.

«Покойник тоже был злой, завистник, скряга. Когда подписывал ведомости на жалование подчиненным, руки у него дрожали, словно он деньги платил из собственного кармана. Недавно в его отдел поступила девушка, окончившая лицей, так его зависть брала, что она кокетничает с молодыми чиновниками, и при каждом удобном случае он ей делал пакости... Зато уж сегодня ночью придется ему потерпеть. Даже блудливых собак не сможет он отогнать от своей могилы!»

Старший столоначальник усмехнулся.

Похоронная процессия уже подходила к столбам, символически обозначавшим кладбищенские ворота. В этот момент сзади подъехала машина губернатора. Полицейский подбежал к автомобилю, распахнул дверцу, и его превосходительство изволили благополучно ступить на землю. Он проговорил что-то на ухо полицейскому, указывая рукой на процессию, и тот, отдав честь, подскочил к Екта-эфенди.

— Господин губернатор приказал вам сказать несколько слов от имени сослуживцев покойного!

Екта-эфенди опешил и хотел было отказаться, но потом утвердительно кивнул головой.

«Да это же признак благоволения! Если ты сумеешь поразить своим трезвым умом господина губернатора, он может назначить тебя на место хранителя реестров. Он ведь из тех, кто может замолвить словечко в Анкаре. А ну-ка, покажи себя, Екта-эфенди!»

И он принялся припоминать заслуги, достоинства и добродетели покойного.

«Однако что можно сказать об этом мерзавце? Ведь все знают, что он за фрукт, даже сам господин губернатор. Совсем недавно он выпрашивал у меня о покойном, и я наговорил ему сорок бочек арестантов. Но ведь было же у покойного за душой хоть что-нибудь хорошее? Все мы сегодня здесь, а завтра там... Он мне это в день Страшного суда припомнит! Но что я могу сказать?!»

Десять лет назад, когда Екта-эфенди был начальником волости, ему однажды довелось произносить речь на деревенской площади. Но тогда для храбрости он выпил два стакана вина. А здесь разве такие слушатели? Все большие люди... Сам губернатор... Хорошо бы записать кое-какие нужные слова на коробке сигарет...

Он пошарил по карманам. Сигарет не оказалось. Делать было нечего.

«Да что с тобой стало? Есть от чего унывать. Начнешь с доблестного чиновничества республики, поговоришь о благах, дарованных народу, а уж потом нетрудно перескочить и к господину Кютюкчю... Господи, как легко хулить людей и как трудно их хвалить! Черт его знает, что я все-таки буду говорить!»

С такими мыслями он подошел к раскрытой могиле. Распухшее жирное тело господина Наби Кютюкчю с трудом вытащили из гроба. Когда его опустили в могилу, один конец савана выскользнул из рук служителя. Обнажилась восковая нога покойника. Эта желтая, с длинными ногтями нога помогла старшему столоначальнику сочинить фразу: «Покойный всегда шел к цели решительным шагом и в каждом деле неизменно добивался успеха». Белизна батистового савана родила новое предложение: «Кристалльная, незапятнанная чистота души хранителя реестров завоевала ему всеобщую любовь».

Тело Кютюкчю медленно покрывала земля. Это зрелище навело Екта-эфенди еще на одну мысль: «Ни одно дело в его управлении не зарывали в землю, не клали под сукно».

Но он не успел связать между собой эти корявые, бессодержательные фразы, как полицейский моргнул, и старший столоначальник начал речь.

По мере того, как он говорил, неизвестные дотоле добродетели покойного раскрывались, как белые розы на свежей, черной могильной земле. Чем больше достоинств открывал в покойном оратор, тем больший экстаз охватывал его, а экстаз вкладывал в его уста все новые и новые слова.

К счастью, длиннобородый мулла до обеда должен был прочитать отходную еще двум покойникам. Поэтому он в самый разгар надгробного слова прервал оратора громкой молитвой, и Екта-эфенди вынужден был проглотить вторую половину речи.

Когда процессия медленно покидала кладбище, бездомные запаршивевшие собаки, которых полицейский загнал в яму, смешались с толпой, обнюхивая и покусывая друг друга.

Перевел с турецкого Р. Фиш.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. МАРШАК

★

ЗАМЕТКИ О МАСТЕРСТВЕ

О ТАЛАНТЛИВОМ ЧИТАТЕЛЕ

Поговорим о читателе. О нем говорят редко и мало. А между тем, читатель — лицо незаменимое. Без него не только наши книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гёте, Пушкина — всего лишь немая и мертвая груда бумаги.

Отдельные читатели могут порой ошибочно судить о книгах, но за Читателем в большом, собирательном, значении этого понятия — и притом на протяжении более или менее продолжительного периода времени — всегда остается последнее слово в оценке литературного произведения.

Правда, оценка книги, утвердившаяся на известный срок, очень часто меняется. Какая-нибудь будка, расположенная вблизи, может заслонить башню, стоящую вдали. Но рано или поздно мы осознаем этот обман зрения и начинаем представлять себе литературные величины в более правильных масштабах.

Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему оценивает дошедшее до него литературное наследство. И если прозаик или поэт сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это объясняется не тем, что они были однажды зачислены в ряды гениев и классиков или увековечены воздвигнутыми в их честь монументами, а тем, что и новые поколения признают их ценными и нужными для жизни.

А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у нас на полке, постепенно и незаметно теряет свое обаяние. Она как бы уничтожается, сливаясь с другими, ей подобными.

Решает судьбу книги живой человек, читатель.

Все струны, которыми владеет автор, находятся в сердцах у читателей. Иных струн у автора нет. И в зависимости от качества игры на этих струнах, они отзываются в душах людей то глухо, то звонко, то громко, то тихо.

Об этом не надо забывать, когда мы говорим о языке, о словаре писателя.

Вспомните, как приблизил Лермонтов к сердцу русского читателя стихи Гейне, переведя немецкие слова такими русскими:

И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одега как ризой она.

Тютчевский перевод того же стихотворения Гейне, очень близкий к подлиннику, не вызвал, однако, у нашего читателя столь же глубокого отклика и потому не вошел в русскую поэзию наравне с оригинальными стихами.

Слова и сочетания слов связаны в нашем сознании со многим множеством самых сложных ассоциаций и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений.

А это зависит от того, что у самого автора на душе и за душой и насколько он владеет той мощной словесной клавиатурой, которая приводит в движение струны читательских сердец.

И дело тут не только в тонком и основательном знании языка, какое бывает у языковедов.

В поисках наиболее выразительного, единственного, незаменимого слова поэт или прозаик обращается не к одной лишь памяти, как врач, припоминающий латинские названия лекарств.

Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях, не по рознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Нам не придет на память гневное, острое, меткое словцо, пока мы по-настоящему не разгневаемся. Мы не найдем горячих, нежных, ласковых слов, пока не проникнемся подлинной нежностью. Вот почему Маяковский говорит о добыче драгоценного слова «из артезианских людских глубин».

Это отнюдь не значит, что поэту нужны для выражения чувств какие-то необычайные, изысканные, вычурные слова.

Найти самое простое и в то же время самое меткое слово подчас гораздо труднее.

Вспомните описание зимнего вечера в чеховском рассказе «Припадок».

«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег. Земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег».

Вот какими обычными, всем и каждому известными словами дает нам ощущение первого снега Чехов. Где же тут словесные «артезианские глубины», о которых говорилось выше?

В лирической сосредоточенности, в скупом и строгом отборе тончайших подробностей, в том ритме, который переносит нас в обстановку зимнего вечернего города.

В сущности, самые простые слова обладают наибольшей силой, если читатель воспринимает их с той чуткой непосредственностью, какая свойственна поэтам и детям.

Чехов полусуто противопоставлял всем вычурным описаниям моря простейшее его определение: «Море было большое».

А в народном эпосе «Калевала» заяц, который приносит весть о гибели Айно, говорит ее родным, что девушка

В мокрое упала море.

«Большое море», «мокрое море» — так мог бы выразиться любой ребенок, воспринимающий мир впервые — крупно, сильно и просто.

Взрослый человек может найти более сложные эпитеты для характеристики моря. Но счастлив тот, кому удастся сочетать зрелый опыт с таким свежим и непосредственным видением мира.

В народном эпосе, в древнегреческой поэзии, в латинской прозе, в надписях на древних памятниках простые глаголы полны движения и силы.

Пришел, увидел, победил.

А какая сила и вес в строчке лермонтовского стихотворения «Два великана» — в глаголе «упал», поставленном в конце стиха, словно над крутым обрывом:

Ахнул дерзкий — и упал!

Поэт как бы возвращает словам первоначальную свежесть, энергию, полнозвучность — достоинства, которыми они не обладали, покоясь в бездействии на страницах словарей.

В глаголе «хохотать» звучат раскаты громкого смеха — «хо-хо-тать».

Мы давно привыкли к этому смеющемуся слову и, произнося скороговоркой, комкаем его, скрадываем безударные гласные.

А как явственно и сильно зазвучал каждый его слог в пушкинских стихах:

Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал...

Кажется, впервые этому слову предоставлен простор, необходимый для полного его звучания. Стихотворный размер заставляет нас ясно и четко произносить все гласные. Неизбежная после предыдущего стиха пауза создает ту тишину, после которой громом прокатывается заключенный в слове хохот — «захохотал».

Наша торопливая, подчас небрежная разговорная речь, которой мы пользуемся в быту для утилитарных целей, часто обесцвечивает и «обеззвучивает» слова, превращая их в служебные термины, в какой-то условный код.

Писатель пользуется теми же общепринятыми словами (хотя словарь его должен быть гораздо шире и богаче разговорного лексикона), но, мастер своего дела, он умеет так поставить слово в ряду других, чтобы оно играло всеми своими красками, звучало веско и ново.

А это удастся ему только в том случае, если сам он относится к словам неравнодушно и непривычно, если он не только понимает их значение, но и воображает все то, что вложено в них «языкотворцем» — народом.

Не боясь нарушить правила стилистики, Чехов в своем описании первого снега не один раз повторяет слово «снег», которое и само по себе — без эпитетов — может много сказать читателю. Поэт верит в силу этого простого слова, как верит в него неискушенный в словесном искусстве взрослый человек или ребенок, для которого слова так же осязательны и весомы, как и самые предметы. Но, конечно, не в одном только слове «снег» сила и обаяние чеховских строчек. В них есть и запах молодого снега, и мягкий хруст его под ногами, и заглушенный снегом стук экипажей, и белизна снега, и прозрачность зимнего воздуха, от которого фонари горят ярче обычного.

Вместе с Чеховым читатель не только видит этот первый «молодой» снег, но и слышит его поскрипыванье, и вдыхает свежий зимний воздух, пахнущий снегом, и, кажется, даже ощущает у себя на ладони холодок тающей снежинки.

Все пять наших чувств отзываются на те простые и в то же время магические слова, которыми так бережно пользуется в этом отрывке Чехов.

Его зимний вечерний пейзаж будит у читателей столько тонких, милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать нечто свое — такое, чего не назвал Чехов.

Читатель перестает быть только читателем. Он становится участником всего, что пережил и перечувствовал поэт.

И, напротив, он остается равнодушен, если автор проделал за него всю работу и так разжевал свой замысел, тему, образы, что не оставил ему места для работы воображения. Читатель тоже должен и хочет работать. Он тоже художник — иначе мы бы не могли разговаривать с ним на языке образов и красок.

Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова.

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель.

Но не всякая книга заставляет читателя, даже самого талантливого, работать — думать, чувствовать, догадываться, воображать.

В жизни нас почему-то пленяют, кажутся нам особенно поэтичными отдаленные звуки — далекий крик петуха, дальний лай собак, по которому мы узнаем, что где-то впереди деревня, дальний людской говор на дороге или обрывок песни, доносящийся к нам издалека. Нам интересно увидеть неизвестных людей в лесу у костра, пламя которого выхватывает из полутьмы их отдельные черты. Проходя по улице, мы иной раз не можем устоять против соблазна заглянуть в освещенное окошко, за которым идет какая-то своя, нам неизвестная жизнь.

Нам интересно все, что будит наше поэтическое воображение, умеющее по немногим подробностям воссоздавать целую картину.

Мы бесконечное число раз перечитываем «Тамань», написанную так немногословно, просто и строго, как пишут в прозе только поэты. Но что-то в этом рассказе всегда остается для нас загадочным, невиданным, недослышанным.

Я имею в виду не какие-то лукавые недомолвки или сугубо тонкие намеки, которыми часто пользуются претенциозные писатели, желающие придать неким полумраком таинственную многозначительность тому, что при ярком свете показалось бы примитивным и даже плоским.

Нет, речь идет о той сложности и глубине образа, проблемы, мысли, чувства, при которых добраться до дна не так-то легко.

Что, казалось бы, мудреного в портрете Катюши Масловой, написанном рукою Льва Толстого? Но мы без конца перечитываем страницы, посвященные ей, чтобы понять, разглядеть, что именно в этом образе молоденькой девушки с такими счастливыми, чуть раскосыми, «черными, как мокрая смородина», глазами, а потом женщины-арестантки с бледным подпухшим лицом так поразило и взволновало нас на всю жизнь. Мы только догадываемся и поэтому стараемся прочесть между строк толстовского романа, что происходит в ее душе после трудного и болезненного перелома, как и когда проснулась в ней ее первая, так жестоко растоптанная любовь, примет ли она искупительную жертву Нехлюдова или найдет для себя какой-то другой путь, более трудный и высокий. Все эти вопросы не перестают волновать нас до последних страниц книги. Да и после того, как мы дочитаем ее до конца, для нашего воображения и мысли остается еще много работы.

И оттого, что автор заставляет нас на протяжении всего романа так много чувствовать, думать и воображать, мы не пропускаем в тексте ни одного слова, мы жадно ловим каждое движение действующих лиц, стараясь предугадать повороты их судеб.

По сложным, внутренне логичным, но в то же время не поддающимся расчетливому предвидению законам развиваются судьбы героев в повестях Чехова «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Три года».

А попробуйте заранее угадать, как и куда поведет вас М. Горький в «Отшельнике» или в «Рассказе о безответной любви».

Да и в нашем современном искусстве можно найти немало повестей, поэм, кинокартин, которые дают возможность читателю и зрителю быть полноправными участниками той реальности, которую создает художник.

Сложен и противоречив путь Григория Мелехова. Трудно предопределить — несмотря на всю их закономерность — повороты судеб героев «Хождения по мукам». На протяжении всей стихотворной повести, от первой строки до последней, ищет «страну Муравию» Никита Моргунок, и вместе с ним бродит по «тысяче путей и дорог» читатель, деля с героем поэмы раздумья и тревоги.

Однако и до сих пор еще в нашей беллетристике и поэзии не перевелись «маршрутные» автомобили, которые везут читателя не только к заранее намеченной цели, но и по заранее определенной трассе, не сулящей ничего нового, неожиданного и непредвиденного.

Читателю и его фантазии на такой наезженной дороге делать нечего.

И сам автор в процессе подобного писания вряд ли может найти или открыть что-либо ценное и значительное для себя, для жизни, для искусства. В сущности говоря, такие легкие дороги проходят мимо жизни и мимо искусства.

Читатель получает лишь тот капитал, который вложен в труд автором. Если во время работы не было затрачено ни настоящих мыслей, ни подлинных чувств, ни запаса живых и точных наблюдений, — не будет работать и воображение читателя. Он останется равнодушен, а если и расшевелится на один день, то завтра же забудет свое кратковременное увлечение.

Когда поднимается занавес в театре или раскрывается книга, зритель или читатель искренне расположен верить автору и актеру. Ведь для того-то он и пришел в театр или раскрыл книгу, чтобы верить. И не его вина, если он теряет доверие к спектаклю или книге, а иной раз, по вине спектакля и книги, — к театру и литературе.

Зритель готов предаться скептицизму, может потерять доверие к приклеенным бородам и нарисованным лесам, если в считанные минуты спектакля он не занят внутренне, не следит за развитием сюжета, за разрешением жизненной проблемы, если он не взволнован и не заинтересован. Следя за взаимоотношениями действующих лиц, зритель забывает, что они сочиненные, вымышленные. Он плачет над трагической судьбой полюбившихся ему героев, он радуется победе добра и справедливости. Но фальшь, банальность или невыразительность того, что происходит на сцене, сразу же заставляет его насторожиться, превращает актеров в жалких комедиантов, обнажает всю дешевую бутафорию сценической обстановки.

У зрителя не должно оставаться ни секунды времени на сомнения!

ВЫБОР ДОРОГИ

Чем больше соответствует эпиграмма своему жанру, чем благороднее и совершеннее ее форма, тем больше у нее шансов пережить и автора и адресата.

Сохраняя весь жар непосредственного чувства, всю остроту и силу удара, она перерастает рамки личного и злободневного.

И не только в эпиграмме, но и в других родах литературы самый жанр в какой-то степени защищает автора от мелочного и узкого толкования его стихов, рассказа или повести, от нескромных поисков между строк, которые так любят обыватели или досужие комментаторы — охотники до биографического метода расшифровки художественных произведений.

Это в полной мере относится даже к такой сугубо личной, наиболее субъективной области поэзии, как лирика.

Если для автора лирические стихи — искусство, а не просто наиболее удобная форма любовных излияний и объяснений, он даже и нечаянно не подаст читателю ни повода, ни права вторгаться в сферу его интимной биографии. Поэта ограждают и защищают самые законы стиля и жанра — те прочные стены искусства, которые не должны нагреваться и корчиться от огня, пылающего внутри.

Ромео обнимает Джульетту, а не актер такой-то актрису такую-то, если только партнеры эти верны своему искусству.

Любовь, выраженную в лирических стихах, читатель вправе «присвоить» в самом буквальном смысле этого слова, то есть считать своей любовью. Да в сущности — сознательно или бессознательно — он и пользуется этим правом, читая лирику лучших поэтов. Потому-то она ему так близка и дорога.

Какие бы догадки ни высказывали комментаторы о том, кому посвящены строчки шекспирова сонета:

Одна судьба у наших двух сердец, —
Замрет мое — и твоему конец,

читатель находит в них свои собственные чувства.

Как бы ясно ни представляли мы себе, при каких обстоятельствах были написаны и кому посвящены стихи Пушкина:

В последний раз твой образ милый
Держаю мысленно ласкать...

или:

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может...

все же стихи эти мы относим к самим себе, к своей собственной лирической биографии.

И в этом их сила, их удивительная жизнестойкость.

Пушкин всегда отчетливо сознавал, в каком духе, роде, жанре пишет он стихи или прозу. В письмах его встречаются упоминания о том, что он намерен написать трагедию в шекспировом роде или повесть в духе Вальтера Скотта. Эти признания отнюдь не умаляют оригинальности и самобытности его творений, а лишь говорят о том, что уже в самом начале поэтического труда, в самом замысле провидел он не только контуры сюжета и образов, но и стиль, жанр, ритм будущего произведения. В сущности, Пушкин просто не представлял себе сюжета вне той формы, которая наиболее соответствовала бы материалу.

Одним почерком и в то же время на самый разный лад — в своем, особом характере, ритме, стиле — написаны «История пугачевского бунта» и «Капитанская дочка», «Медный всадник» и «Домик в Коломне», «Борис Годунов» и «Сцены из рыцарских времен».

И дело тут не только в могучем таланте Пушкина, но и в той высокой культуре, которая открывает перед художником бесконечное множество путей и дорог.

Мы знаем немало поэтов и прозаиков, отнюдь не лишенных дарования, которые так и не могли вырваться из однозвучия и однообразия только потому, что у них не было достаточного кругозора — жизненного и литературного, — и они до конца своих дней перебирали три-четыре струны, не подозревая даже, сколько неисчерпаемых возможностей таит их искусство.

Пушкин был создателем почти всех наших литературных жанров. Не удивительно, что он с такой ясностью отдавал себе отчет, в каком музыкальном ключе поведет он то или другое свое создание.

Но возьмем поэта другого времени и облика.

Некрасов — поэт-деятель, поэт-журналист, откликнувшийся на каждое событие в жизни его родины, постоянно преодолевавший сопротивление нового, грубого, еще не освоенного жизненного материала, — и тот в высокой степени владел разнообразием интонаций, стилей, поэтических жанров, сознательно и метко выбирая каждый раз то повествовательный, то песенный, то драматический лад.

Ведь не случайно же в широкую, полнозвучную песню вылился его простой и неторопливый рассказ о том, как

...пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Песня полна бытовых, самых жестоких, прозаических подробностей (суд, допрос, докторский осмотр и т. д.). Но это не мешает ее лирическому звучанию. Временами она напоминает старинный деревенский плач, в котором дана полная воля рвущемуся из самого сердца голосу, — вот для чего поэту и понадобился такой широкий стих и протяжные дактилические окончания. Порою же в ровных и мерных строчках этих стихов, как бы ни было трагично их содержание, слышатся самозабвенные песенные переливы, такие характерные для певцов из народа, которые и сами поддаются очарованию ритма и мелодии.

Но и мастер песни, автор так полюбившихся народу романсов «Еду ли ночью по улице темной» и «Что ты жадно глядишь на дорогу», автор «Коробейников» — Некрасов обдуманно отходил от песенного лада в своих бесчисленных бытовых сценах, диалогах и монологах. И как различен его язык и стиль, даже самый голос в древней суровой были о Кудеяре-атамане и двенадцати разбойниках, которую сказывал в Соловках иннок честной Питирим, и в другой «были», рассказанной от первого лица подвыпившим бывшим чиновником из стихотворения «Филантроп».

Но, пожалуй, еще очевиднее сказывается у Некрасова сознательный выбор поэтического жанра, словаря и стихотворного размера в его нескольких строчках, лишенных заглавия, но глубоко врезавшихся в память читателей:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

В этом коротком стихотворении, похожем на запись в дневнике, совершенно отсутствуют бытовые подробности, которыми так богата некрасовская поэзия. Читателю ясно, что молодая крестьянка, которую бьют кнутом на Сенной площади, в сущности, олицетворяет собою всю Россию.

Четкий стих—ямб—как бы передает ритм частой барабанной дроби:

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Суровые, лаконичные строчки проникнуты классической строгостью. И потому-то так законны и естественны в них — несмотря на то, что действие происходит в Питере, на Сенной площади, — такие, чуждые бытовой поэзии, слова, как «бич» и «Муза».

Всякая физиологическая подробность в изображении этой — так называемой «торговой» — казни была бы излишней и оскорбительной.

Некрасов это чувствовал, и потому его стихи, сделанные из стойкого, огнеупорного материала, живы до сих пор и надолго переживут нас, нынешних его читателей.

А между тем стихотворение было написано по свежим следам события («Вчерашний день, часу в шестом»), но звучало не как хроника, а как призыв к действию — прокламация.

Поэт нашел форму, при которой злободневное перестает быть однодневным.

«СКАЗКА, ВОЗБУЖДАЮЩАЯ НАРОДНОЕ ЧУВСТВО»

У Льва Николаевича Толстого есть одно произведение, в высшей степени замечательное, хоть и не очень известное, на ту же тему, что и «Война и мир», — об Отечественной войне 1812 года.

Толстой рассказал как-то деревенским школьникам, своим ученикам, всю эпопею войны с Наполеоном.

По уговору со школьным учителем он рассказывал им русскую историю «с конца», то есть с новейших времен, а учитель — «с начала», с древнейших.

История «с конца» занимала слушателей гораздо больше, чем история «с начала», — может быть, именно потому, что рассказчиком был Лев Толстой.

Он начал свою историю с Французской революции, рассказал об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне.

«— Как только дошло дело до нас, — пишет Лев Николаевич, — со всех сторон послышались звуки и слова живого участия.

— Что ж, он и нас завоеует?..

Когда не покорился ему Александр., все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу — все замерли от волнения.

Немец, мой товарищ, стоял в комнате.

— А, и вы на нас! — сказал ему Петька...

Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? И ругали Кутузова и Барклая.

— Плох твой Кутузов.

— Ты погоди, — говорил другой...

Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, — все зарохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление.

— Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить, — сказал я.

— Окарячил его! — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы...

Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга...

— Так-то лучше! Вот-те и ключи...

Потом я продолжал, как мы погнали француза...

...как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате.

— А, вы так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?

И вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа... торжествовали, пировали...»

На этом кончает Толстой свою историю Отечественной войны для детей.

Расходились его слушатели разгоряченные, взволнованные, полные боевого пыла.

«...все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил».

В заключение Толстой приводит очень любопытный свой разговор с немцем, на которого ребята «ухали». Немец не одобрил рассказа Льва Николаевича.

«— Вы совершенно по-русски рассказывали,— сказал он.— Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю».

Толстой ответил ему, что его рассказ — не история, а «сказка, возбуждающая народное чувство».

Я привел здесь этот отрывок из рассказа Льва Толстого потому, что вижу в нем магический ключ к настоящей детской литературе, ключ, необходимый каждому из литераторов, пишущих для детей.

Толстому удалось труднейшее дело — превратить в с к а з к у повесть об Отечественной войне и в то же время сохранить правду истории. Для того, чтобы это сделать, нужно было не только владеть материалом «Войны и мира», но и отлично понимать особенности читателя-ребенка.

Сердцу и сознанию этого читателя больше всего говорит сказка — и волшебная сказка и сказка-быль.

И та и другая может рассказать обо всем на свете — о краях и народах, о морях и звездах, о том, что близко, и о том, что за тридевять земель, о временах нынешних и давно минувших.

Толстому удалась историческая сказка. И как в настоящей, в народной сказке, тут сначала горести и беды, а конец счастливый.

«...мы проводили Наполеона до Парижа... торжествовали, пировали». Не хватает только: «И я там был, мед-пиво пил».

Большой охват событий в быстром, даже стремительном движении, с высокими подъемами и крутыми спусками, с живым, неподдельным чувством рассказчика, со смелыми обобщениями и выводами,— все это одинаково необходимо и хорошей сказке для младшего возраста и романтической юношеской повести.

Стремительный темп вовсе не означает беглости и суетливости. Рассказчик может быть нетороплив и обстоятелен, но никакие подробности не должны заслонять у него основного четкого контура идеи и сюжета.

А главное — особенно когда речь идет о читателе младшего возраста,— повествование должно быть в достаточной мере утешающим, вполне исчерпывающим сюжет, так, чтобы у читателя даже и не возник вопрос: а что же было дальше?

В своей исторической сказке о войне с Наполеоном Толстой довел дело до того, как русские проводили неприятеля восвояси и победно вступили в Париж.

Почему слушателей совершенно удовлетворил этот конец? Почему они не стали засыпать рассказчика вопросами: «Ну, а дальше, дальше что?»

Да потому, что Толстой дал им на уроке истории не лекцию, а вполне законченное художественное произведение, которое началось с тяжелых испытаний и кончилось торжеством. Волнующая игра, напряженная драма, которую разыграл он в своем повествовании, была внутренне и внешне завершена.

Именно так и бывает в народных сказках.

Разве придет в голову читателю или слушателю требовать продолжения сказки об Иване-царевиче и Василисе Премудрой после того, как они, преодолев все беды и опасности, справили свадьбу и стали жить-поживать, добра наживать.

И суть здесь не только в законченности внешней фабулы, но и в завершенности идеи.

Слушателю, который становится участником событий, очень важно, чтобы дело было доведено до полной победы добра над злом, правды

над кривдой, жизни над смертью, прекрасной, смелой и щедрой молодости над злой, жадной, холодной старостью.

Всякий из нас, кто пережил дни победы, помнит, что есть такая минута торжества, радости, когда человек до того полон настоящим, что даже не может думать о будущем.

Это и есть счастливый эпилог сказки.

Чем моложе возраст читателя, тем больше ему нужна сказка с началом и концом.

Его не устраивает рассказ, отдельный эпизод, обрывок жизни. Ему нужна повесть. А по существу своему сказка — это и есть подлинная повесть. Сказка начинается со слов: «Жил-был на свете» или «Жили-были в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», а не так, как обычно начинаются рассказы: «Шел снег», или «Была ночь», или «Иван Иванович проснулся в прескверном расположении духа».

И даже когда читатель выходит из того возраста, который питается почти исключительно сказкой, когда он уже способен оценить и хороший рассказ, его больше всего пленяют те рассказы или повести, которые чем-то родственны сказке — отчетливостью идеи, необычностью событий, быстрой их сменой и обязательной победой доброго начала над злым.

От сказки в стихах ребенок естественно переходит к балладе и поэме, от сказки в прозе — к просторной эпопее, полной приключений, героических или смешных.

По существу говоря, вся та литература, которая пленяет нас в детском и юношеском возрасте, будь то сказка, короткая повесть или целая эпопея, тяготеет к поэзии независимо от того, стихи это или проза.

Лев Толстой блистательно показал, что даже урок истории, хроника подлинных событий, может стать поэтическим произведением — «сказкой, возбуждающей народное чувство».

О ЗВУЧАНИИ СЛОВА

Однажды мне случилось присутствовать на занятиях литературного кружка, где, по выражению Маяковского, некий профессор «учил молотобойцев анапестам». Правда, это были не молотобойцы, о которых говорит Маяковский, а учащаяся молодежь, и учил ее анапестам не профессор, а скромный руководитель кружка. Но суть дела от этого не меняется. В поисках так называемых «аллитераций»¹ молодые люди подбирали примеры из Маяковского, Есенина, Бальмонта, Лермонтова, Блока, Багрицкого, Брюсова, Тихонова, Сельвинского... Не все ли равно, какого поэта цитировать, лишь бы он годился для примера!

Видимо, эта игра нравилась участникам кружка, и они наперебой цитировали:

С лодки скользнуло весло,
Ласково млеет прохлада...

или:

Чуждый чарам черный челн...

У Пушкина было труднее отыскать такой стопроцентный пример пользования аллитерациями, разве только:

Вот взошла луна золотая...

или:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

¹ Аллитерация — поэтический прием, состоящий из повторения одинаковых согласных.

Но ведь это только отдельные строчки, а не целое стихотворение, пронизанное одним и тем же звуком. Однако и по пушкинским стихам прошли усердные «аллитераторы». Руководитель кружка был доволен своими учениками, а мне вспоминалась меткая эпиграмма Роберта Бернса «При посещении богатой усадьбы»:

Наш лорд показывает всем
Прекрасные владенья.
Так евнух знает свой гарем,
Не зная наслажденья.

Вряд ли такое внешнее и формальное изучение художественной формы способствует пониманию поэзии. Даже природу и значение аллитераций трудно понять, вырывая из стихов случайные строчки и отделяя форму от содержания.

Можем ли мы говорить о звучании того или иного слова, о красоте его и благозвучии в отрыве от смысла? Только чеховская акушерка Змеюкина могла упиваться и кокетничать словом «атмосфера», не зная толком, что оно значит.

Возьмем, к примеру, слово «амур». По-французски оно означает «любовь», а по-русски этим именем называют только крылатого божка любви. У нас оно отдает литературой, XVIII веком и звучит несколько слащаво и архаично или же насмешливо: «дела амурные».

Зато совсем иным кажется нам то же самое слово «Амур», когда оно относится к могучей, полноводной сибирской реке. В названии реки нет ничего слащавого и кокетливого. Оно сурово и величаво. В нем есть нечто азиатское, монгольское, как в имени «Тимур».

Так неразрывно связано звучание слова с его значением.

Что общего между русским словом «соль» и музыкальной нотой?

В названии ноты нет ни малейшего соленого привкуса, хоть оно по своей транскрипции и звучанию вполне совпадает с названием минерала.

Никто не думает о пушке, произнося фамилию величайшего русского поэта. А между тем, та же фамилия, если ее носит какой-нибудь мало кому известный Иван или Степан Пушкин, в значительно большей степени напоминает нам пушку. (Впрочем, великий поэт в какой-то мере помог своим однофамильцам освободиться от ассоциации со словом «пушка».)

Звуки, из которых состоит фамилия поэта, приобрели новое качество потому, что в сознании миллионов людей возникло новое автономное понятие, новый интегральный образ. И в зависимости от этого нового смысла и нового образа по-новому воспринимаем мы и самые звуки фамилии «Пушкин». Она звучит для нас громко, как его слава, радостно, величаво и просто, как его поэзия.

Всякий писатель, а поэт в особенности, тонко чувствует не только значение, но и звучание слова. Он любит самые звуки слов, отражающих весь реальный мир и запечатлевших столько человеческих чувств и ощущений. Он пользуется звуками не случайно, а с отбором, отдавая в каждом данном случае предпочтение одним звукам перед другими.

Вспомним отрывок из стихов Пушкина:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему...

Можно с уверенностью сказать, что все эти девять «м» и девять «л» подобраны поэтом не случайно, но и не искусственно, не преднамеренно.

Это не бальмонтовские стихи, вроде:

Чуждый чарам черный челн...

Музыкальной основой этих пушкинских аллитераций было, вероятнее всего, слово «милый» («милее»), с которого начинается приведенный здесь отрывок стихотворения.

Простой и нежный эпитет «милый» привлекал поэта не только своей мелодической прелестью, но и тем глубоким и чудесным значением, которое придал этому ласкающему слову создавший его народ.

Тогда изгнанием и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

В различных стихах Пушкина слово это звучит в самых разнообразных интонациях и оттенках.

...Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза...

...В последний раз твой образ милый
Держаю мысленно ласкать...

...Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе...

...И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня...

Думается, есть все основания предполагать, что именно слово «милый» подсказало Пушкину все эти «м» и «л» в цитированном нами лирическом отрывке («О, как милее ты, смиренница моя»).

Слова, в которых есть «м» и «л» («моленья», «внемлешь», «мучительней»), не подобраны поэтом из шегольства.

Проникновенные строки пушкинских стихов меньше всего похожи на рукоделние, на преднамеренный, искусственный подбор звуковых красок.

Поэт настолько строго и сдержанно пользуется теми или иными звукосочетаниями, так называемой «инструментовкой», что многие чтецы, декламирующие его стихи, даже и не замечают преобладающих в том или ином стихотворении звуков.

Читая «Графа Нулина», известные и опытные актеры так мало обращали внимания на совершенно явную и очевидную неслучайность повторения звука «л» в лирических отступлениях поэмы.

Это «л» — то мягкое, звучное «ль», то более твердое и глухое «л» — как бы врывается в стих вместе с долгожданным колокольчиком, о котором говорится в поэме.

...казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальний
Порой волнует сердце нам.

Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе... сердце бьется..
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Это, несомненно, тот самый колокольчик, которого поэт так нетерпеливо ждал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачужке».

Громко, заливисто звенит колокольчик в строке, где мягкое «л» повторяется трижды:

Как сильно колокольчик дальный...

И совсем слабо, глухо, как-то отдаленно звучат последние «л» в заключительной строчке лирического отступления:

Слабей... и смолкнул за горой.

Если чтеца не волнует, не ударяет по сердцу строчка «Как сильно колокольчик дальный», то это говорит о его глухоте, о его равнодушии к слову. Для такого исполнителя стихов слово — только служебный термин, лишенный образа и звуковой окраски.

К сожалению, людей, воспринимающих слово как служебный термин, немало среди чтецов, да и среди литераторов.

Народ — простой, близкий к природе — умеет говорить звучно и образно. Он ценит и чувствует, иной раз даже сам того не сознавая, звуковую окраску слова. Это видно по народным песням, сказкам, пословицам, поговоркам, прибауткам, частушкам. Устная народная речь звучна, свежа, вкусна, богата.

Радуюсь звукам нашего языка, Маяковский писал:

Есть еще хорошие буквы:
Эр, Ша, Ща.

СВОБОДНЫЙ СТИХ И СВОБОДА ОТ СТИХА

Во многих странах за рубежом рифма сейчас не в моде. Поэты отказываются от нее, как от пустой детской забавы.

Правда, мы знаем рифмы, которые не забавляли, а убивали наповал. Вспомните стихи Дениса Давыдова:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Как опорочила, как разоблачила псевдолибералов того времени убийственная для них рифма «обирала — либерала». Будто насмешливое эхо, передразнивая, исказило это претендующее на благородство слово «либерал».

Но далеко не всегда рифма смеется и дразнит.

Какую законченность, какую силу приговора придают меткие рифмы стихам Лермонтова на смерть Пушкина:

Его убийца хладнокровно,
Навел удар... Спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнет пистолет.

Эти строгие и точные созвучия, это стойкое, упорное повторение одной и той же гласной в рифмующихся и нерифмующихся словах («хладнокровно», «ровно», «пустое», «дрогнет») с необыкновенной четкостью передают пристальность и длительность кошунственного прицела. Не только последняя строчка, но и вся строфа вызывает в нашем воображении прямой ствол взведенного Дантесом пистолета, — как будто бы сейчас, на наших глазах, решается судьба Пушкина.

Рифма — это до сих пор действующая сила, которую нет расчета и основания упразднить.

Навсегда запоминаются полновзвучные и щедрые, в первый раз придуманные, но такие естественные, будто они от века существовали, рифмы доброй здравницы Маяковского:

Лет до ста расти
Вам без старости,
Год от году расти
Вашей бодрости.

Но не будем спорить здесь о рифме. У поэзии много изобразительных средств и без нее. Да к тому же пустое рифмоплетство так часто вызывает у нас только досаду, подменяя собой настоящее поэтическое творчество.

Мы знаем, что в греческой и латинской поэзии и совсем не было рифмы. Шекспир в своих трагедиях и комедиях пользуется ею только изредка. Без рифм обходится испанская поэзия. Отсутствовала она и в наших былинах и в «Калевале».

Пушкин в ранней молодости отозвался пародийной эпиграммой на стихи Жуковского, написанные белым стихом:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на старый замок Ретлер,
Приходит в мысль, что, если это проза,
Да и дурная?..

Однако сам он в зрелые годы написал белым стихом одно из лучших своих лирических стихотворений:

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных...

Белым стихом написана поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Особым очарованием полны нерифмованные стихи Александра Блока — «Вольные мысли» и другие.

Но современные реформаторы стиха освободились не только от рифмы, но и от какой бы то ни было метрики.

И это бы еще не беда. Образцы свободного стиха мы находим в поэзии с незапамятных времен — и в народном творчестве и у отдельных поэтов, наших и зарубежных.

Вспомним пушкинские «Песни западных славян», «Песни о Стеньке Разине», «Сказку о попе и работнике его Балде», сказку «Как весенней теплою порою», вспомним лермонтовского «Атамана» («Горе тебе, город Казань»), тютчевские лирические стихи «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...»

Да и на Западе свободный стих («vers libre») существовал задолго до Гийома Аполлинера.

Но и в «Пророческих книгах» Блейка, где каждый стих подчинен своему особому складу и размеру, и в широких, освобожденных от всех метрических канонов строках Уолта Уитмэна, есть какая-то, хоть и

довольно свободная, музыкальная система, есть усложненный, но уловимый ритм, позволяющий отличить стихи от прозы.

А у Маяковского — при всем его новаторском своеобразии — стих еще более дисциплинирован, организован. В последние же стихи этого поэта-оратора («Во весь голос») торжественно врываются строго классические размеры:

Мой стих трудом громаду лет прорвет
И явится весомо, грубо, зримо,
Как в наши дни вошел водопровод,
Сработанный еще рабами Рима.

Но дело не в споре между классическим и свободным стихом. Было бы несерьезно и неумно делить поэтов на два враждующих лагеря — приверженцев классической метрики и сторонников свободного стиха.

Это было бы похоже на свифтовскую войну «остроконечников» и «тупоконечников», то есть тех, кто разбивает яйцо с острого конца, и тех, кто разбивает с тупого.

Вопрос в том, куда ведет поэзию непрерывно продолжающееся «раскрепощение» стиха.

В свое время многим казалось, что свободный танец Айседоры Дункан — это последнее слово искусства, навсегда упраздняющее строгий классический балет.

Айседора Дункан была и в самом деле очень талантлива и оставила яркий след в истории своего искусства. Но в наше время мы не видим сколько-нибудь заметных ее преемников, а классический балет продолжает существовать и одерживать блестящие победы.

В искусстве вполне законна и даже неизбежна смена течений, школ, стилей. Но ошибочно думать, что эта эволюция происходит с той же быстротой и легкостью, с какой меняются фасоны платьев и шляп.

Мы знали немало игр, сочиненных наподобие и по образцу шахмат. Перед первой мировой войной была в ходу «Военно-морская игра» с металлическими корабликами вместо шахматных фигур. Однако ни одна из этих «свободных» игр не могла заменить или вытеснить старые строгие шахматы, до сих пор еще открывающие простор для новых задач и решений.

Слов нет, развитие науки, техники, искусства расширяет возможности творчества, дает ему большую свободу маневрирования, освобождает его от излишнего статического равновесия во имя равновесия динамического.

Подлинное новое искусство, опираясь на прошлое и отражая реальную жизнь, приобретает новые темпы, делает понятным с полуслова то, на что требовалась прежде большая затрата художественных средств и времени.

Вольный стих в какой-то мере помогает автору избежать привычных ходов, проторенных дорожек, дает ему возможность найти свой особенный, отличный от других почерк.

Но, как мы видим, «освобождение» стиха не ограничивается ликвидацией рифмы, стихотворных размеров, а заодно и запятых. Подчас оно ведет к полной бесформичности, и самые тонкие ценители формы оказываются ее убийцами.

В поэзии происходит то, о чем говорит Тютчев в стихах о реформаторской, лютеранской церкви:

...Не видите ль? Собравшись в дорогу,
В последний раз вам вера предстонт:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит,—

Еще она не перешла порогу,
 Еще за ней не затворилась дверь...
 Но час настал, пробил... Молитесь богу,
 В последний раз вы молитесь теперь.

Таким же пустым и голым оставляет мнимое новаторство дом, в котором живет поэзия.

Разрушение производит подчас почти такой же эффект, как и созидание. Но сенсация, вызываемая разрушением, недолговременна. Она забывается, и в конце концов остается только пустое место.

Недаром в большинстве зарубежных стран поэты теряют или не находят читателей. Стихи мало и редко издают, влияние их на жизнь ничтожно. Да, в сущности, поэт-индивидуалист и не рассчитывает на то, что его поймут многие. Его стихи — это такие радиоволны, на которые в лучшем случае могут настроиться очень редкие радиолюбители. А в худшем случае единственным их читателем оказывается сам автор.

У Диккенса в романе «Наш общий друг» великолепно изображены разбогатевшие выскочки, так называемые «нувориши».

У этих новоиспеченных богачей все новое: новая мебель, новые друзья, новая прислуга, новое серебро, новая карета, новая сбруя, новые лошади, новые картины...

Да и сами-то они с иголки новые.

Не похожи ли на диккенсовских героев ультрамодернисты, щеголяющие новизной своих образов и стихотворных размеров, новым синтаксисом и даже правописанием?

Традиции — то есть культура — создают общий язык понятий, представлений, чувств. Потеря этого общего языка изолирует художника, лишает его живой связи с другими людьми, доступа к их умам и сердцам.

Лучшие традиции — это и есть те горы, над которыми должно возвышаться, как вершина, подлинное гениальное новаторство нашего времени. Иначе оно окажется маленьким, незначительным холмиком.

В строгой метрике дантовских терцин, в стихотворных размерах Петрарки, Шекспира, Гёте, Пушкина многие поколения поэтов еще будут открывать глубокие, не разгаданные до них тайны. В этих размерах они найдут многоступенчатую голосовую лестницу, которая соответствует многообразию чувств, пережитых поэтами, народом, человечеством.

Значит ли это, что стихотворная форма должна оставаться неизменной, закостеневшей, скованной раз навсегда установленными канонами?

Нет, каждое время, каждая поэтическая индивидуальность ищет и находит свои размеры и ритмы, диктуемые жизнью и развитием искусства.

Очевидно, стих живет и развивается, как и все в жизни, диалектически. Смелые поиски новых путей чередуются со столь же смелым обращением к лучшим традициям, обогащенным новыми открытиями.



ЖУБИЩИСТИКА

Я. ТАВРОВ

★

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЗАПИСИ

«...Мы очень засиделись в старых, освоенных экономических районах. Иной раз мы поступаем нерационально, когда строим заводы в центральных областях страны. У нас есть районы более богатые по своим возможностям, такие, как Сибирь, Дальний Восток, Казахстан».

Н. С. Хрущев.

ПРОГУЛКА

Встреча с Евграфом Ивановичем произошла, как и договорились, на круглой площади, там, где неподалеку от Амура хабаровцы поставили опоясанный изваянными из бронзы фигурами гранитный обелиск — памятник дальневосточным партизанам.

До начала заседания оставался добрый час, но вблизи уже чувствовалось необычное для утра оживление. Люди направлялись во Дворец труда. К нему лежал и наш путь.

Хитер Евграф Иванович! Не случайно выбрал он место и время встречи. Любит он преподнести в наилучшем виде свой родной город и делает это очень умело, «анафемски вкусно», по выражению Горького. Вот и теперь за какой-нибудь час мы можем не спеша пройти по набережной, молча полюбоваться синееющим вдали Хехцирским хребтом, сделать круг по пустынному стадиону. Он совсем недавно создан коммунистическим, «субботничьим» трудом на отвоеванной у реки насыпной почве. Возможно, там, где сейчас растут молодые посадки и высятся поднимающиеся амфитеатром белые трибуны, ровно сто лет тому назад качались на волнах шлюпки капитана Дьяченко, из которых высадились солдаты, основавшие военный пост Хабаровку. Он был так назван в честь Ерофея Павловича Хабарова, русского землепроходца, проложившего России путь в Приамурье.

Есть города с недюжинной судьбой. Но эта судьба — их личная судьба. Бывает иначе, — когда город как бы вмещает в себя весь край, неотделим от него. Таков Хабаровск. В городе, расположенном очень далеко от океана, выходит газета «Тихоокеанская звезда». Ее название никого не удивляет: Хабаровск — город приокеанский. И рудничный. И таежный. Хотя заметно отступила от него тайга и рудники тоже не близко.

— Где найдете еще такой простор? — спрашивает меня Евграф Иванович, глядя сверху на уходящую в бескрайнюю даль заречную пойменную сторону, и тут же отвечает: — Нигде! До чего же щедро размахнулась тут природа горами, реками, океаном — всей земной красотой!..

Евграф Иванович Ковынев, известный от Сахалина до Ургала инженер-монтажник, слывет здесь человеком, особенно любящим и очень знающим Дальний Восток. Эта любовь, как и всякое большое чувство, требовательна, взыскательна, чужда и тени восторженности. Попробуйте восхищаться Дальним Востоком просто так, безотносительно к чему-либо, романтизировать его, и вы вызовете у Ковынева чуть ли не ярость. Романтика? Согласен! Но пусть она рождается из забот, из тревог и раздумий о будущем края.

У этих раздумий, если говорить о Ковыневе, трезвая, деловая основа — проблемы развития дальневосточного хозяйства. И хотя Евграф Иванович очень рад показать в это погожее утро дорогой ему город, задуманная им прогулка имеет еще другую цель. Ему хочется поделиться со мной давно занимающими его мыслями. А мысли эти беспокойные, горячие. Ход его рассуждений таков: Советская власть впервые открыла тихоокеанскую окраину страны для промышленности и культуры. Если смотреть из прошлого, видишь край фантастических перемен. Но в Дальний Восток надо вглядываться из будущего. И тогда видишь, как мало еще сделано.

— Я умышленно заостряю мысль,— говорит Ковынев,— но так скорее можно прийти к истине, чем с иными хорошо обкатанными формулировками. Народное хозяйство Дальнего Востока только складывается. Это даже не юность, это отрочество, возраст незавершенности, когда все, в сущности, в намеке, а главное только прорезается.

— Стоп! Подсчитаем прорезавшееся,— перебиваю я.— Дальний Восток дает стране цветные металлы и пароходы, лес и рыбу, электрокабель и мрамор. Здесь выкачивается из земли и перерабатывается нефть, добывается уголь. В одном Хабаровске свыше ста заводов и фабрик. Перед нами чудо. Оно еще не завершено, но это не дает права его умалять.

— Речь идет о том, чтобы его возвысить,— тихо произносит Евграф Иванович.— Надо устранить коренную беду дальневосточной экономики.

— Какую?

Ковынев смотрит на часы.

— Пошли, опаздываем,— говорит он и прибавляет шагу.

О БОЛЬШИХ ДЕЛАХ И СУДОВОМ СТУЛЕ

Мы поспеваем во Дворец труда вовремя. Зал уже переполнен. На заседание технико-экономического совета совнархоза прибыли командиры производства и рабочие-новаторы, люди всевозможных профессий — машиностроители и рыбаки, горняки и лесорубы, конструкторы пароходов и строители домов. Они собрались для большого государственного дела — рассмотреть проект перспективного плана на 1959—1965 годы. Этим людям не раз приходилось определять завтра своего предприятия, но решать судьбы всего края — такого еще не было!

— Чувствуете, какое настроение? — толкает меня в бок Евграф Иванович.

Начинается доклад.

...Между широтами Ялты и Петрозаводска расположен Хабаровский край. На подобном пространстве могли бы свободно разместиться три таких государства, как Англия, а остатка хватит на несколько Даний.

В этом краю все под стать его просторам, все величаво, масштабно. Уж на что привык к шире русский человек, но и у него захватывает дух от этой неоглядной дали. Природа здесь и сурова и щедра к людям. Она ничего не дает им без тяжелого труда, но велика и награда за труд.

Первое богатство этой земли — ее недра. Издавна далеко шла молва о золотых кладах на реке Селемдже. С золотодобычи пошло горное дело в Приамурье, а сегодня ..

Зал слушает счет старых и новых рудников, только что разведанных месторождений. Умальта! Первый молибденовый рудник в Союзе. Это он придал силу броненосцам танков, дошедших до Берлина. После войны советские люди добрались до хинганского олова, ныне оно уже прочно вошло в баланс цветных металлов нашей страны. Есть в Приамурье и кобальт, и серебро, и платина, и висмут, и многие другие рассеянные элементы.

Богата хабаровская земля и железом. Неподалеку от железной дороги лежат руды Кимкана. По качеству они не из первосортных, но на таких рудах работает, например, Аншаньский металлургический комбинат в Китае. Железо требует коксующегося угля. Он есть в Ургале. По всему краю вдоль Амура, исключая нижнее течение, почти непрерывной цепью тянутся залежи угля. Пласты залегают неглубоко, и потому добыча может идти открытым способом.

Возле угольных разрезов встанут мощные тепловые электростанции. Этим разделом семилетнего плана докладчик как бы вывел нас из недр земли на ее поверхность.

Теперь речь идет о том, как разумнее использовать тасжные богатства, брать их в глубине лесов, которые в неустанном марше идут через горы и реки на восток, пока не встает на их пути Тихий океан. Там кончается лесной промысел и начинается рыбный...

Многогранно хозяйство Хабаровского экономического административного района. Лишь действуя по программе, рассчитанной на ряд лет, можно направить в нужную сторону развитие его производительных сил. Однако край существует не сам по себе, а в многосторонних связях со страной. У него есть своя, специализированная роль в общенародном разделении труда. И надо не только сохранять, но и расширять эту роль — давать стране больше машин, пароходов, цветных металлов, леса, рыбы и другой продукции. Чтобы делать это успешно, в возрастающих масштабах, нужно полно и гармонично использовать все свои сырьевые и промышленные ресурсы.

Вот этим и заняты сейчас люди, обсуждающие перспективы развития двадцати четырех отраслей промышленности Хабаровского края.

Евграф Иванович сосредоточенно делает пометки в блокноте.

Да, здесь есть что записывать. План предусматривает опережающее развитие основы основ индустрии — энергетики. Стремительный скачок сделает промышленность строительных материалов. Край будет обладать мощной цементной базой. У него появятся свои радиаторы и котлы, свой линолеум, своя керамика. Строители должны возвести целлюлозно-бумажный комбинат и десятки других заводов.

В зале воцаряется взволнованная тишина, когда с трибуны называют новостройки семилетки, программа очень больших работ. Конечно, многое откладывается на будущее. Еще придется жить без своих домен, на передельном чугуна. Нет в плане и широкой гидроэнергетики.

Вот каков он, этот край! Он так богат, что семь лет напряженнейшего труда выведут советских людей лишь в предполье, откуда начинается развернутое вторжение в недра земли, в глубь лесов и просторы океана.

Правда, не всех удовлетворил доклад. Люди рвутся к большим делам, они хотят скорее перешагнуть за семилетку. Их уже не устраивает та панорама разветвленного, поставленного на современную техническую ступень хозяйства, которую дает перспективный план.

Какое уж тут «отрочество» краевой экономики! Нет, не прав Евграф Иванович, не прав.

То, что я здесь слышу, все более утверждает меня в этом мнении. И вдруг оно с размаху разбивается о... простой маленький судовой стул, полированный, наглухо прикрепляемый к полу стул на алюминиевой основе.

О нем говорит человек в форме водника. Такой стул стоит 862 рубля! Сколько же стоит тогда весь пароход? Он обходится на амурских верфях гораздо дороже, чем на волжских.

Евграф Иванович откладывает в сторону блокнот и печально вздыхает.

— Слышали? От таких вот судовых стульев и вся моя тревога. И не только моя. Посмотрите, что сейчас будет.

Действительно, в президиум летят стаи записок — заявки на выступления.

Первым слово получает главный инженер «Амурстали» В. Киселев. Он рассказывает о том, что завод, который непрерывно совершенствует технологию и построил впервые в стране мартен новой, прогрессивной конструкции, все же не может работать без дотации. Почему? Да потому, что завод ввозит кокс за семь тысяч километров, чугун — за шесть, доломит — за четыре. В таких условиях мудрено работать рентабельно. Вот и стоит тонна амурской стали на четыреста рублей с лишним выше отпускной цены.

Однако амурсталец не хотят дотации. Они продумали глубокую перестройку производства. Они уже дали многомиллионную экономию. Но факт остается фактом: одними внутренними резервами не перекроешь бешеные перепады на транспорте. Надо, предлагает Киселев, внести в семилетний план полукоксование угля, разработку местных доломитов, благо **есть они в изобилии**. Надо настойчиво думать о

доменном процессе, а может быть, и электродоменном. Ведь что получается: избыток железного лома, с которым уже не справляется «Амурсталь», идет на переплавку в Кузбасс, а навстречу отлуда везут сюда чугуны.

Таковы парадоксы дальневосточной экономики.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ

Вот что прочел мне как-то вечером Евграф Иванович, оговорившись, что это лишь наброски его мыслей, не больше.

«...Иногда мое воображение прокручивает две ленты. На одной я вижу все содеянное советским человеком на нашей дальневосточной стороне. Вижу старые города, их теперь не узнать, вижу новые города, их прежде вовсе не было. И те и другие редкой цепью тянутся лишь вдоль Великой Сибирской магистрали и ее считанных отрошков, отходящих на север и юг. Здесь есть густонаселенные районы. Но их немного — небольшие цветущие долины Приморья и Приамурья. А дальше... дальше начинается другая лента. Она гораздо длиннее. На ней проходят места, где жизнь тоже могла бы быть ключом. Без конца плывут и плывут перед глазами хребты и нагорья, в недрах иных уже разведаны драгоценные клады, другие, возможно, во сто крат богаче, но сейчас об этом можно только гадать — не ступала еще на те горы нога человека. Я вижу от века не тронутые земли — очередную, ждущую нашу молодежь целину. Степи прорезают стремительные реки, и еще ни одна из них не укрощена человеком и не служит ему.

Не может смотреть спокойно эту вторую ленту ни один советский человек — сильнее бьется сердце, зудят руки, хочется дела.

Нет, руками тут пока что ничего не возьмешь. Прежде надо поразмыслить. Что нужно для того, чтобы разведать эти горы, поднять эту целину, использовать полнее таежные леса?

На первый взгляд все очень просто. Люди требуются. Ими и ничем другим обделены эти края. Люди! Но когда-то их не было там, где сейчас стоит Комсомольск, и там, где сегодня флаги многих стран полощутся на рейде в порту Находка. Советский человек всегда приходит на зов больших дел.

Заселять Дальний Восток можно, лишь застраивая его, воздвигая новые города, заводы, поднимая не тронутые плугом земли, делая все это в строгом расчете на громадную отдачу, на овладение необходимыми государству естественными ресурсами.

Итак, больше строить. Но... вспомним о простом судовом стуле.

Целесообразно ли вкладывать средства в новые заводы? Уж очень дорого обходится дальневосточная продукция. Потому, вероятно, по проекту семилетки Дальний Восток и в 1965 году будет жить на передельном чугуне. Хотя есть в Приамурье железные руды, амурский чугун может оказаться самым дорогим в стране.

Попробуем разобраться, отчего это происходит.

Может быть, приамурская промышленность технически отстала? Нет, в этих местах не увидишь старых заводов, а новые хорошо оснащены. Есть и одаренные новаторы. Недавно магнитогорцы приезжали на «Амурсталь» осваивать новый технологический процесс. На одном из хабаровских заводов сконструирован станок для электронской обработки металла. В Комсомольске освоено химическое фрезерование. Скоростная сварка и секционная сборка в судостроении были впервые применены дальневосточными судостроителями.

Конечно, и сейчас еще огромны подспудные пласты внутренних резервов, до которых докапывается и которые извлекает на свет рабочая инициатива, изобретательность новаторов. Однако только на этом, очень важном пути нельзя устранить до конца коренную основу дороговизны местной продукции. В этой экономической беде нельзя не видеть следствие диспропорций, прорывающихся на всех стыках дальневосточной экономики.

Дальний Восток — природный край гидроэнергетики. Но здесь нет гидростанций, а электроэнергия тепловых станций — самая дорогая в стране. К тому же ее мало, и энерговооруженность труда в этих краях ниже, чем в целом по стране.

В миллиарды рублей обходится ежегодно завоз на Дальний Восток металла, промышленных изделий и продовольствия. Три четверти всех пищевых продуктов поступают сюда извне. Продовольствие и по сей день очень уязвимое звено дальневосточной экономики. Продуктов сегодня вдосталь, но они привозные. В первые пятилетки их просто не хватало; по этой причине очень трудно жилось людям на окраине родной земли. Так исторически сложилась высокая оплата труда. Она сохранилась и сейчас, когда жизнь стала не в пример легче. Дорогая энергия, дорогое привозное сырье, дорогой труд — как же тут быть дешевой продукции?

Создается как бы порочный круг: надо очень осмотрительно, с точки зрения рентабельности, вкладывать средства в дальневосточные предприятия, с другой стороны, чтобы удешевить их продукцию, нужны большие капиталовложения. Выход один: диспропорции в экономике края исчезнут, если здесь будет создана более слаженная, гармоничная структура всей дальневосточной промышленности и сельского хозяйства.

Нельзя и дальше мириться с тем, что самые обыкновенные предметы, попадая на Дальний Восток, претерпевают необыкновенную экономическую трансформацию: 170 рублей стоит тысяча штук огнеупорного кирпича в Ирбите и 1750 — в Сучане. Это расплата за перемещения в пространстве изделий, которые следует производить на месте. Тут полумеры не годятся. В Хабаровске скоро будут радиаторы, но если на них пойдет дорогой чугун, это будут все равно дорогостоящие радиаторы. Речь идет о прямых потерях. А не прямые, косвенные? Невозможно подсчитать тот ущерб, что приносит нашему государству «бездействие» дальневосточных рек (потенциальные запасы энергии в них — семьдесят миллионов киловатт) и недоступность лесов, к которым нет путей.

Все это говорит о том, что на Дальнем Востоке каждый рубль должен вкладываться в хозяйство с очень далеким прицелом. И даже перспектива на семь лет должна быть здесь отрезком другой, более обширной перспективы, этак лет на пятнадцать—двадцать.

Правильное, научно обоснованное размещение промышленности — дело огромной государственной важности. Обеспечить успех этому делу призван долговременный перспективный план. Именно он может стянуть в один узел все проблемы — энергетическую, рудную, лесную, металлургическую, транспортную. И все это должно быть «прошито» одной генеральной идеей. Если говорить о Дальнем Востоке, она уже определена. В решениях XVIII съезда партии заложена очень важная мысль: дальневосточное хозяйство должно комплексно обеспечить себя топливом, металлом, строительными материалами, продуктами сельского хозяйства и пищевой промышленности, короче — всем, что требует массовых грузопотоков.

Вот она, ось, вокруг которой вертятся все проблемы дальневосточной экономики. Надо ослабить власть пространства. Для этого вовсе не следует производить решительно все на наших тихоокеанских землях. Автаркия здесь вредна, как и всюду. Речь идет о том, чтобы свести к минимуму обмен малотранспортабельным сырьем и заменить его обменом готовыми продуктами. Как бы ни были богаты дальневосточные леса, их древесине нет пути в европейскую часть Союза — между нею и центром лежит лесозыбыточная Сибирь. Но иное дело искусственный шелк — химическое перевоплощение той же древесины. Его можно везти куда угодно, если он дешево стоит на месте, потому что перевозка не может резко повлиять на его стоимость. А он будет дешев, этот шелк, как и все прочее, если на Дальнем Востоке взять у природы все, что может извлечь из нее человек, научившийся перестраивать строй молекул и лепить из материи, созданной природой, материю, созданную в тигле науки и промышленности.

Короче — нужен экономический комплекс. Его облик определяют ведущие, так называемые профилирующие, отрасли дальневосточного хозяйства. Ими оно обращено к стране. Сегодня это цветные металлы, лес, рыба. Но эта первая линия промышленности не может успешно работать без глубокого тыла. Именно в нем «ахиллесова пята» Дальнего Востока..»

На этом Ковынев прервал чтение.

— А как бы получше разобраться в этой самой «пяте»? — спрашиваю я.

— Имею конкретное предложение, — улыбается Евграф Иванович, пряча свой блокнот, — посмотреть на нее в жизни... Ну хотя бы на Сихотэ-Алине. Оттуда и комплекс будет виднее.

СИХОТЭ-АЛИНЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

Одиннадцать часов отнимает перелет из Москвы в Хабаровск. Ровно вдвое больше времени требуется на то, чтобы добраться от столицы Приамурья до станции Манзовка. Здесь из «местного» поезда Благовещенск—Хасан, находящегося вторые сутки в пути (вот они, дальневосточные масштабы!), мы пересаживаемся в другой — «местный» состав. Он курсирует по однокорейке, проложенной вдоль реки Даубихэ в годы войны.

В вагоне явное засилье геологов — сказывается близость Сихотэ-Алиня. В окне пока что равнинный пейзаж, горы еще далеко, но поезд въехал в Даубихинскую долину (на языке геологов она называется прогибом).

Когда-то, невероятно давно, сюда огромным языком врезалось триасовое море. То была эра новых гигантских форм в растительном и животном мире, эра хвощей и папоротников, ящеротазовых динозавров, первых млекопитающих на суше, первых рептилий и шестилучевых кораллов в воде.

О вымершей флоре и фауне теперь рассказывают камни. «Если бы у геолога было пять жизней, их было бы не жаль отдать за Сихотэ-Алинь», — так говорят на Дальнем Востоке. И правда, есть не много мест, где книга истории Земли, которую столетия пытается прочесть человек, ставила перед ним столько загадок и так щедро вознаграждала за каждое открытие.

Современные представления о возникновении Сихотэ-Алиня сложились в советское время.

В очень далекие геологические эры Приморье представляло собой, как и ныне, горную страну. Но то были другие горы. Совместные усилия солнца, воздуха, воды превратили в течение миллионов лет этот край хребтов в холмистую волнообразную поверхность с островками небльших вершин. Но затем, в более поздние геологические времена, на стыке верхнетретичной и современной четвертичной эпохи, внезапные катаклизмы свели на нет гигантскую работу выравнивания. Зона долгого тектонического покоя стала ареной бурных сдвигов в земной коре.

Горообразовательный процесс сопровождался излияниями базальта. Расплавленная лава, испепеляя все живое, стекала в долины и в океан. Были «выдавлены» на поверхность и застывшие изверженные породы, поглотившие на своем пути из земных глубин рудообразующие растворы, богатые металлами, ценными летучими элементами.

Это была одна из поздних вспышек могучего вулканизма, который, сотрясая берега Тихого океана, оставил человечеству богатейший дар, именуемый ныне Тихоокеанским рудным поясом «От мыса Горн до Аляски и от Чукотского полуострова до Новой Зеландии протягивается почти непрерывный пояс «молодых» рудных месторождений, составляющих в своей совокупности один из главных источников богатств мира», — пишет академик С. С. Смирнов.

Уже столетия служит человечеству чилийская медь, малайское олово, перуанское серебро.

Сихотэ-Алинь надолго утаил от людей свои сокровища. Правда, еще во времена древнего, почти исчезнувшего без следа Бохайского царства здесь добывали металл. О нем позднее знали китайцы, промышленявшие здесь в одиночку рудным делом. Но проходили века, и сокровища Сихотэ-Алиня оставались, в сущности, нетронутыми. Лишь в конце прошлого века владивостокские предприниматели совместно с иностранными капиталистами начали добывать свинец в Приморье, причем все дело оказалось в чужеземных руках.

Однако подлинное геологическое открытие Сихотэ-Алиня относится к нашим дням. Только теперь стало ясно, какие возможности таят в себе недра, где исследователя в равной мере поражает обилие изверженных рудоносных пород, сложность их химического состава и разновозрастность лежащих рядом месторождений, возникших в разные геологические эпохи. Пока относительно полно разведана южная часть Сихотэ-Алиня. Сейчас это одна из крупных рудных баз Советского Союза.

Вот и конечная станция — крошечная Варфоломеевка. Едва мы сходим на перрон, как Евграф Иванович, весь просяив, бросается навстречу высокому, чуть сутулому человеку, и тот сияет не меньше. Крепко, долго жмут друг другу руки. Это водитель машины, которая повезет нас в Кавалерово.

Еще не столь давно дорога, ведущая из Варфоломеевки на перевал, пользовалась недоброй славой. Каких только прозвищ, помню, не давали ей шоферы: одни величали ее «Прощай, отчизна», другие — «Авось проскочу», третьи — «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». И верно, на крутых, висящих над пропастью поворотах, где не разминуться встречным машинам, на бесчисленных переправах через бурлящие потоки, на невероятных по крутизне спусках — повсюду малейшая оплошность грозила гибелью.

Теперь, вижу, уже не то. В горы уходит асфальтированное шоссе. Вначале едем по едва всхолмленной долине. Она суживается. Начинается медленный подъем. Холмы как бы сдваиваются, карабкаются друг на друга. Еще час езды, и мы в горном краю. В нем нет поражающих воображение заоблачных зубчатых хребтов. То куполообразные, то удлинненные, с затупленными гребнями лесистые вершины спокойными перекатами уходят вдаль, заполняют весь видимый мир. Природа здесь не выказывает своей мощи в чрезмерных усилиях, она ничем не удивляет, не подавляет человека и всем привязывает его к себе.

И как бы отвечая на мою мысль, шофер Никишев говорит Ковыневу:

— Прошлой осенью уехали с нашей базы на запад шестеро парней, четверо уже вернулись, пятый прислал письмо — возвращается... Оно и понятно: берет за сердце здешняя сторонка. Я шесть государств прошел, а этот край ни на что не сменяю. Не пойму отчего, но только с ним горе вполвину, а радость вдвое жарче. Может, оттого, что нужен ты тут весь, с потрохами. А когда русский человек знает, что где-либо он очень нужен, ему кажется, что лучше этого места нет на свете.

С шофером нам повезло. Он мастер своего дела, а вместе с тем чувствуется — это поистине поэтическая натура. В таких людях всегда как бы звенит чистая, хорошая струна.

За баранкой не будешь многословен, но одна-две фразы — и я уже знаю, чем отличается Кенцухинский перевал от Малинового, а Дубовый — от Кедрового; что неподалеку находится село Ново-Михайловка и совнархоз задумал построить там большую бумажную фабрику. А на реке Улахэ со временем соорудят гидроэлектростанцию...

Перед нами — один из рачительных хозяев Сихотэ-Алиня, который вдоль и поперек знает свой район, видит перспективы его развития, имеет о них свое мнение. И о работе совнархоза тоже. Есть еще в ней огрехи. Вчера привезли на полигон сборного железобетона изоляционный материал — савелит. Откуда бы вы думали? Из самого Ростова. Обошелся он в копейку, а осталось от него одно название и пыль. А почему бы не поискать в здешних местах заменителя этому материалу? Однако руки у совнархоза до этого еще не дошли.

...Уже больше недели ездю я за Евграфом Ивановичем туда, куда ведут его монументальные заботы, ездю и всматриваюсь в дальневосточную горную «глубинку». Задумывались ли когда-нибудь вы, читатель, почему так трогает сердце вид горного поселка? Да потому, очевидно, что очень трудно обосноваться людям в горах. Желания у них те же, что и внизу, а осуществить их во сто крат сложнее... Простая спортивная площадка — попытайтесь-ка отвоевать для неё место, если каждый клочок земли ползет вверх, «пророс гранитом»! И все же такая площадка в Кавалерове уже существует. Есть и Дом культуры и парк с гипсовыми скульптурами; в центре Венера Милосская, окруженная молодыми неокрепшими деревьями.

Кавалерово явно на большом подъеме. Оно уже растеклось по соседним котлованам и остро нуждается в одежде по росту.

В вестибюле Кавалеровского райкома партии устроена постоянная миниатюрная выставка. Под стеклом лежат образцы горных пород, минералов. Фотографии рассказывают об истории местных рудников, о переходе от ручного изнурительного труда к современной технике. На снимках — рудоразгрузочные машины, электровозы, канатная дорога.

Если начать знакомство с Кавалеровом с этой выставки, она, пожалуй, не произ-

ведет большого впечатления — к тому ли размаху привык наш человек! Но когда всматриваешься в стены уже после того, как видел поселок, и помнишь, с чего начиналось Кавалерово, тогда каждый снимок, каждая цифра настраивают на особый лад...

— Хвалиться нам особенно нечем, — говорит секретарь райкома Владимир Николаевич Осипов, очень жизнерадостный человек, с большим крутым лбом над внимательными глазами. — Конечно, немало перемен в Кавалерове. Хорошее-то всегда на виду, а вот неполадки — они подчас прячутся по укромным уголкам. Главное наше горе, что уж очень многое создавалось здесь не по мерке, на временный лад.

Секретарь райкома рассказывает о построенных здесь электростанциях. Их было несколько, одна другой меньше. Маломощные турбины давали электроэнергию немислимой стоимости. Вот теперь вошла в строй еще одна электростанция, она покрупней своих карликовых сестриц, но пока что дает тоже очень дорогой ток.

Сооружали штольни на высоченных сопках, а фуникулеры не сделали. Сейчас совнархоз ищет для них средства. Канатная дорога на двенадцать километров перебрасывает по воздуху руду на обогатительную фабрику, но поставлена она... на деревянные опоры. Думали, видимо, что дерево переживет рудник. На ремонт этой дороги уже ухлопали больше денег, чем на ее сооружение. Получается, что возить руду машинами в объезд выгоднее, чем транспортировать ее по прямой. Транспорт! Он здесь, в горах, — альфа и омега всей экономки.

Осипов берет в руки кусок обогащенной руды — концентрат. Вот в таком виде уходит в дальнюю дорогу, на переплавку, продукция обогатительной фабрики. Перевозка концентратов обходится государству в десятки миллионов рублей.

— Представьте себе человека, который берет крутой подъем с гирей на ногах, — говорит Осипов. — И вдруг он чувствует — гири нет. То же будет с нами, когда отойдет постоянная забота о дешевом электричестве. Для этого нужна гидроэнергия, только белый уголь выправит положение. И надо уже сейчас о нем думать. Строим мы на века и смотреть вперед должны далеко. Мало добывать руду на Сихотэ-Алине, здесь же ее нужно и плавить. А где цветная металлургия — там и химия.

НАУКА НА КРАЮ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ

Непрерывной цепью уходят от Москвы на Восток филиалы Академии наук СССР, последнее звено этой цепи — Владивосток.

Дальневосточный форпост советской науки был организован в 1932 году. Основатель Дальневосточного филиала Академии наук академик В. Л. Комаров определил его задачи в следующих словах: «...Научно обосновать всю практическую работу по организации промышленности и сельского хозяйства, базируясь на местном сырье. Провести и оформить работу по выявлению и инвентаризации природных ресурсов края».

В филиале мне представилась возможность побывать в первый послевоенный год. Счет ученых шел тогда на единицы. Не хватало людей, остро чувствовался недостаток средств... Но пульс научной жизни уже не внушал опасений.

С тех пор прошло двенадцать лет. И вот я снова во Владивостоке.

Проспект Ленина, огибающий бухту Золотой Рог, так тесно сливается с ней, что городские постройки и виднеющиеся в просветы между ними пароходы стали одним архитектурным ансамблем. На этом проспекте, в самом его центре, стоит внушительное четырехэтажное здание. Здесь работает Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Дом гудит, как улей, и сразу видно, что он «заселен» до предела. Как же разросся филиал! Отделы: геологический, физиологии и биохимии, почвенно-ботанический, зоологии, химии, гидроэнергетики, экономики, истории и археологии; лаборатория службы Солнца, заповедники, горно-таежная станция, где недавно впервые в Союзе получен урожай женьшеня.

Наиболее масштабные и ключевые дела в филиале — дела энергетические. Вокруг них ведутся большие споры. Определяется, по сути, столбовая дорога дальневосточной энергетики — на какой уголь она должна ориентироваться: белый или черный. Словно давая еще одно доказательство неисчерпаемости дальневосточных богатств, природа свела в Амурском бассейне огромные водные и угольные ресурсы. Лишь запасы одного Бикинского месторождения ориентировочно определяются в два с поло-

виной миллиарда тонн. На угле стоит Хабаровск. Лишь в верхнем течении Амура насчитывается десять угольных месторождений. Тепловые крупные электростанции будут вырабатывать очень дешевую электроэнергию стоимостью три-четыре копейки киловатт-час.

К ним приближаются и экономические показатели гидроэлектростанций. Они сами по себе не склоняют чашу весов ни в ту, ни в другую сторону. Но гидроэлектростанции для Приамурья и Приморья — не только энергия. С сооружением плотин здесь связаны водоустройство и мелиорация края. Они и на советской и на китайской стороне Амура спасут земли, которым угрожают наводнения, и дадут воду землям, которые ее лишены.

Наводнения — страшный бич Дальнего Востока. В 1956 году разлив реки Сунгарь причинил Китаю прямой ущерб в 300 миллионов юаней, в следующем году последовало еще более грозное наводнение. Но как ни велики непосредственные убытки, они тускнеют перед косвенными потерями, которые вызываюся невозможностью использовать для земледелия, для рисосеяния плодородные пойменные земли. Если бы удалось перенести посевные площади с увальных и водораздельных массивов на пойменные, урожай, по самым скромным подсчетам, повысится в 2—2,5 раза. Не меньше!..

Валентин Георгиевич Черненко — гидрограф и гидротехник, но сейчас, в беседе со мной, он с увлечением развивает чисто агрономическую тему — анализирует состав почв, приводит показатели средней урожайности зерновых в приморских и приамурских колхозах. Показатели эти не радуют Черненко.

— Восемь—десять центнеров, в лучшие годы двенадцать. А на пойме можно собирать устойчивые урожаи, перед которыми померкнет слава степей Казахстана. Этой дальневосточной целины много — около десяти миллионов гектаров. Достаточно поднять лишь часть, и тогда наступит конец величайшей несуразности — завозу на Дальний Восток продовольствия с запада. Стоимость собственных сельскохозяйственных продуктов снизится вдвое-втрое.

— И для всего этого надо обуздать Амур? — интересуюсь я.

— Нет, вовсе не Амур, а его притоки. С них надо начинать.

Черненко подходит к карте. На ней с севера на юг бегут извилистые голубые прожилки. На склонах Станового хребта рождается многоводная Зее; с Бурейского нагорья стекает дикая Бурей; Сихотэ-Алинь дает жизнь Уссури, которая образуется слиянием двух рек — Даубихэ и Улахэ. На Улахэ решено построить первую гидроэлектростанцию в Приморье, на Зее — Верхне-Зейскую в Амурской области. Затем в течение десяти—пятнадцати лет целесообразно воздвигнуть серию гидроузлов и крупных водохранилищ на реках Селемдже, Бурее, на притоках Уссури. Все эти стройки должны быть тесно увязаны с сооружением гидроэлектростанций в китайской части бассейна.

Это пока рабочая гипотеза. В Москве, Пекине, Владивостоке и Харбине идет сейчас непрерывное накопление материалов, проверка гидрологических и других расчетов.

Черненко приносит очередную почту. Много пакетов из Китая. В них материалы научных учреждений, школьные тетрадки и просто листки с записями от руки — замеры уровней рек, сводки температур, гидрогеологические данные и другие наблюдения, бесценные усилия ученых и самого народа ради очень большой цели. Вглядываешься в иероглифы, цифры и вдруг необычайно осязаемо представляешь себе, что происходит.

Советские гидротехники намечают постройку Чернятинской гидроэлектростанции на реке Суйфун. Она откроет для земледелия сто тысяч гектаров пойменной земли вблизи города Уссурийска. Но подпор реки Суйфун создаст угрозу затопления китайского города Дунин, если своевременно не будет построен Дунинский гидроузел.

...Курс на гидростроительство не означает отказа от сооружения мощных тепловых электростанций. Они останутся важным слагаемым энергетики. Более того, сочетание этих двух источников энергии позволяет наиболее выгодным образом разместить земледелие и промышленность.

Те же плотины, которые дадут жизнь земледелию, сделают судоходными и сплавными реки. Так откроются водные дороги к недоступным сегодня верховьям, где гибнут сотни миллионов кубометров перестойного леса, и какого леса! Недаром здесь сошлась растительность Юга и Севера: тисс и даурская лиственница, железная береза

и амурский бархат — единственный пробконос в нашей стране. Люди не берут здесь и десятой доли богатырского прироста древесины.

Обилие энергии выведет на широкую дорогу лесохимию. Бумажные фабрики, комбинаты искусственного волокна и предприятия, назначение которых сегодня не предугадать, поднимутся вверх по рекам, поближе к сырью. Распрямит тогда свои плечи и цветная металлургия Сихотэ-Алиня и Хингана, находящаяся сейчас в младенческом состоянии. Будет взят новый индустриальный барьер, и от добычи руды перейдут к переплавке металлов. Однако отходы плавильных и электролизных заводов зачастую не менее ценны, чем основной продукт. Сто—сто двадцать тысяч тонн серной кислоты в год можно получить на Дальнем Востоке из одних только прототиновых руд. Это именно та кислота, которая необходима для получения других кислот и развития промышленности полимеров. Если понадобится ее во много крат больше — и к этому готов Дальний Восток. На Курилах обнаружены запасы серы.

На базе крупного месторождения плавикового шпата (флюорит) можно широко развить производство плавиковой кислоты. Она необходима для производства высококачественного бензина, и это очень важно сейчас, когда на Сахалине найдены новые обильные источники нефти. Плавиковая кислота очищает графит. А в Хабаровском крае обнаружены уникальные по масштабам залежи графита.

Но все это лишь беглый счет, лишь энная доля возможностей, заключенных в насущнейшей идее дальневосточного комплекса.

Из восьми известных по мировой классификации углей только в Приморье находится шесть. Тут есть рабдописситовый уголь, он очень богат первичной смолой — превосходным углехимическим сырьем для получения жидкого топлива и ценных пластиков. На базе липовецких углей возможно развить газовую промышленность. На Дальнем Востоке перерабатывается вся сахалинская нефть, а нефть — это праматерь синтетических материалов. Поставщик химического сырья и океан, он дает водоросли и отходы рыбной промышленности.

Синтетический каучук, искусственное волокно, целлюлоза, пластмассы, вся огромная семья полимеров — все это стучится в двери Дальнего Востока. Но пока на берегах Тихого океана и Амура промышленность пластических масс представлена лишь единственным маленьким заводом в Находке, который изготавливает пенопласт и работает на привозном сырье. Внедрение пластических масс в машиностроение могло бы уже сейчас значительно сократить завоз металла в Приамурье и Приморье.

Смысл дальневосточного комплекса не просто в умножении взятых у природы естественных богатств. Он зовет к заселению края, где живет всего четыре миллиона человек, а могло бы жить во много крат больше.

Поэтому крайне важно обрисовать сегодня правдивую, широкую картину той жизни, которая ждет Приморье, Приамурье, Сахалин, Камчатку, обрисовать таким образом, чтобы каждый край был дан со своим обликом, со своей судьбой.

Но как могут решать эту задачу публицисты, если она еще не решена учеными?

Макет экономического будущего края. На языке экономистов он называется гипотезой развития производительных сил. Такой взятой на вооружение гипотезы Дальний Восток сегодня не имеет. Не имеют ее и многие другие крупные районы. В этом сказываются очень серьезные «огрехи» на одном из важнейших участков планового фронта.

Еще в 1918 году по инициативе Ленина перед Академией наук была поставлена цель систематического разрешения проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рационального использования ее хозяйственных сил. Только социализму дано гармонически расселить индустрию, приблизить заводы к источникам сырья, топлива, энергии и выработать изделия там, где на их производство, транспортировку затрачивается минимум общественного труда.

Советское государство уже создало новую рациональную географию производительных сил. Каждая из наших пятилеток в значительной мере смещала центр промышленности в окраинные, ранее технически отсталые, но богатые сырьем районы. В перспективных планах обычно предусматривалось развитие производительных сил крупных экономико-географических районов, но у этих проектировок не было... адреса их исполнителей. Не было исполнителей — значит не могло быть и контроля.

Слабо развивалась и теория экономического районирования. Проблемами комплекс-

ного развития районов занимался Совет по изучению производительных сил — учреждение Академии наук СССР. Во все концы страны разъезжались экспедиции, затем они возвращались в столицу и здесь, в тиши кабинетов, «дотягивали» материал. Исследования эти обходились очень дорого и редко приводили к желанной цели. Тут не были виновны люди — слишком узок был круг участников очень трудоемкого дела. Не разработана и методика этих работ.

А сложность задач, стоящих перед плановиками, все возрастает. Возник новый аспект (возьмем хотя бы тот же Дальний Восток) — учет экономических связей с сопредельными социалистическими странами, и не просто связей, а совместно установленного разделения общего труда. Планировать стало труднее и потому, что научно-технический прогресс требует гораздо более глубокого проникновения в технологию, в ресурсы.

И в то же время происходит другой процесс: чем сильнее становится наше государство, тем дальше оно должно заглядывать вперед.

Горький назвал будущее «третьей действительностью». Теперь нам мало проникать в нее на дистанцию, равную очередному перспективному плану. Это отлично понимают в Дальневосточном филиале. Он делает очень много для того, чтобы уже сегодня рубеж в десять—пятнадцать лет стал чем-то очень осязаемым, реальным. Филиал направил в Госплан свои предложения по развитию важнейших отраслей промышленности. Они охватывают очень широкий круг вопросов — от развития судостроения до извлечения витаминов «С» из дикорастущих растений. Но подвергаются ли научному рассмотрению продукты моря или ископаемые, флора или фауна — повсюду проступает одна главенствующая идея: необходимость комплексного использования ресурсов Дальнего Востока.

Эта проблема становится заботой и дальневосточных совнархозов. Теперь уже не временный контакт с краем, не рекогносцировки, а постоянное давление потребностей промышленности, чуть новых возможностей направляют мысли ученых и хозяйственников в будущее.

Разумеется, филиал и раньше искал тесную связь с промышленными министерствами. Но документация проходила очень долгий путь: Владивосток—Москва и обратно. Теперь эта трасса так сократилась, что ее можно увидеть из окна. Небольшая улица, перпендикулярная проспекту Ленина, круто поднимается на гребень сопки, на которой, господствующее над местностью и видимое далеко с моря, высится здание Приморского совета народного хозяйства.

Ученые — частые гости в совнархозе. В свое время при создании филиала предусматривалось, что он поможет крайплану ставить определенные задачи и получать на них ясные ответы. Но не много вопросов было у крайплана к науке, не он заправлял хозяйством края. Иное дело — совнархоз. Ему нужен широкий и дальнеприцельный взгляд на экономическое будущее края, и потому он требует научной подсказки.

Какими бы темпами ни заселялся Дальний Восток, еще много лет здесь самым дефицитным из всех слагаемых производства будет труд. Поэтому очень важно развивать в этих местах наименее трудоемкие и наиболее энергоемкие производства. Комплексная механизация, автоматизация, химизация нигде не диктуются так властно самой действительностью, как на наших тихоокеанских землях. Любая из этих задач ведет к науке.

Науку, как и производство, движут вперед потребности. И Дальневосточному филиалу очень помогает то, что он получает «обратные сигналы» практики не только от находящегося в двух шагах Приморского, но и других совнархозов, которые опираются в своей работе на научные учреждения.

Шесть экономических административных районов находится на Дальнем Востоке. Какое разнообразие природных и экономических условий! Относительно населенный и индустриально развитый Сахалин, дающий нефть, рыбу, бумагу, уголь, и едва обжитая Магаданская область, всесоюзная поставщица золота. Рыбу ловит, солилит, консервирует Камчатка, край одного доминирующего продукта; житницей всего Дальнего Востока и его самой дешевой кочеваркой предстает перед нами сегодня Амурская область. Естественно, что всюду возникают свои проблемы. Необходим очень широкий фронт науки, чтобы охватить столь широкий фронт производства.

В Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск-на-Камчатке, Южно-Сахалинск выезжают ученые. Амурский совнархоз включил в проект семилетки сооружение гидростанции на реке Зее; для обоснования этого строительства очень много дали труды профессора А. В. Стоценко, посвященные гидрографии притоков Амура.

Совнархозы получают от филиала краткие и очень емкие записки, посвященные отдельным перспективным проблемам дальневосточной экономики. Это своего рода научно-плановые прогнозы, они должны стать основой перспективных планов. Возможно, эти соображения еще не раз будут уточняться. Важно другое. На основе научных прогнозов был построен план ГОЭЛРО. Такие прогнозы легли в фундамент первых пятилеток. Ныне эта прекрасная традиция развивается на более высокой основе — новая система управления промышленностью по самой своей природе создает новые зоны контакта между наукой и производством.

Большая, очень сложная работа по перспективному планированию сейчас по плечу местам, ибо чрезвычайно расширился круг ее участников. Едва возникли управляемые местными силами реальные экономические районы, как тысячи Ковыневых почувствовали ответственность за будущее экономики своего края и потому начали пылливо заглядывать в него. Стоило провести в жизнь новые методы руководства народным хозяйством, как сразу открылись верные пути-дороги для решения длинной цепи частных задач.

Надо выработать стратегию освоения территории, равной почти одной трети европейского материка. Решая множество проблем, уходя далеко в будущее, эта стратегия вместе с тем должна уже на первых порах создавать предпосылки для устранения большой беды этого края — дороговизны его продукции, определяемой, как мы уже видели, в огромной мере слабостью энергетической базы, некомплексным использованием сырья или ставкой на привозное сырье.

‘ЛЮДИ ЯСНОЙ ЦЕЛИ

В очень небольшом кабинете за столом, поставленным так, что в окно виден рейд и вздымающийся за ним Чуркин мыс, сидит, чуть подавшись вперед к собеседнику, очень светлицый и очень приветливый человек. Это председатель президиума Дальневосточного филиала доктор химических наук Всеволод Тихонович Быков.

Он неспешно рассказывает:

— Помню, выступал Никита Сергеевич перед целинниками-комсомольцами и корил нас, дальневосточников, что мы завозим из Омска картофель на Сахалин, когда пустуют в Хабаровском крае прекрасные земли, которые дадут высокий урожай и картофеля, и риса, и сои, и кукурузы, арбузы и дыни. Ведь верно, могут дать. И в Приморье есть такие земли. Надо к ним только руки приложить. А у нас микроудобрения выпали из перспективного плана. Я на эту тему выступал в совнархозе. Надо через индустрию поднимать сельское хозяйство. Тогда оно потянет вверх промышленность а многостороннее развитие земледелия даст жизнь новым предприятиям. Наши приморские маслодельные заводы сегодня обеспечены собственным сырьем всего лишь на одну пятую, сахарный — на одну шестую. В результате всякого рода неустройство получается, и потому живет на всем Дальнем Востоке народу меньше, чем в иной большой области. А жизнь... никто еще по-настоящему не рассказал, как интересно тут жить и работать, особенно нашему брату, ученому...

И к моей огромной радости, он, воодушевляясь и, по-видимому, даже забыв о моем присутствии, весь отдавшись потоку своих мыслей, начинает рисовать портреты своих товарищей по работе и призванию, дополняя то, что я уже знал о них.

Энтомолог Алексей Иванович Куренцов — один из тех людей, без которых нельзя вообразить себе Владивосток, так они срослись с этим городом, так нужны ему. И Куренцов не может представить себя живущим в другом месте. В свое время сколько было колебаний перед тем, как «обрезать канаты» и тронуться в дальний путь из насиженного ленинградского гнезда. Куренцов изучал насекомых, лесных вредителей дальневосточных лесов, делал экспедиционные вылазки в Уссурийскую тайгу. А потом понял, что он обкрадывает самого себя и никогда не вживется в край, превращенный самой природой в естественный заповедник, где сохранились редчайшие зоологические формы.

— Нельзя служить лишь наполовину основному делу своей жизни,— решил Алексей Иванович и немедленно перебрался в Приморье.

Перу А. Куренцова принадлежат многочисленные труды. Рассказать о его жизни — значит рассказать о Куренцове-путешественнике, чьи таежные походы проложили новые трассы через Сихотэ-Алинь. Есть еще и Куренцов-писатель, автор книг «К неизвестным вершинам Сихотэ-Алиня» и «В горах Тачин-Гуана», книг, продолжающих арсеньевские традиции.

Алексей Иванович уже в том возрасте, когда можно с чистой совестью уйти на отдых. Но какой там отдых! В Китае шестизубый короид и сибирский шелкопряд уничтожают лесозащитные полосы. Тут нельзя остаться в стороне, и недавно Куренцов ездил в Китай. Есть еще проблема синантропных мух. А на днях доктор Клаус из Германии, известный палеонтолог, прислал Алексею Ивановичу фотографию отпечатков ходов, оставленных вымершими короидами и найденных в четвертичных отложениях. Эти отпечатки говорят о сходстве фауны Германии в предшествующую эпоху с фауной Приморья. Такие находки рождают много мыслей и ведут иногда к важнейшим открытиям.

Открывать новое в науке никогда не поздно, особенно если ты живешь в «полуоткрытом» крае. Недаром Куренцов вынашивает замысел большой комплексной ботанико-зоологической экспедиции.

Молодой московский химик Иван Николаевич Говоров, оставленный при кафедре, как-то узнал о том, что на Дальнем Востоке в отложениях древних гранитов, которые считались «противопоказанными» для поисков цветных и редких металлов, обнаружены крупные месторождения флюорита — минерала, богатого оловом и бериллием. Говоров захотел ознакомиться поближе с новым месторождением. Это была его первая поездка на Дальний Восток, второй не понадобилось — ученый остался работать в Приморье. В его геохимических исследованиях упорное накопление фактов сочетается с очень смелыми, тщательно обоснованными выводами. В последней своей работе, опубликованной в этом году в «Известиях Академии наук», ученый приходит к очень важному выводу: исследуемое им месторождение представляет собой новый тип флюоритовых руд.

— Я, кажется, увлекся, совсем позабыл о времени, — говорит Всеволод Тихонович, заканчивая рассказ о Говорове. — Великолепные у нас люди! Кажется, знаешь каждого досконально, а вот начинаешь высказывать вслух свои мысли о нем и чувствуешь: не сумел оттенить то главное, чем жив человек, что делает его неповторимым, отличающимся от других.

Прищурившись, он посмотрел на меня.

— Не представляется ли вам несколько странным, что наши литераторы прямо-таки избегают писать о людях науки? А ведь мы такие же люди, как и все. Может, их отпугивает необходимость протудировать кое-какие учебники, освоить суть той или иной научной идеи? Конечно, одним лишь психологическим анализом здесь не ограничишься...

Я выхожу из Дальневосточного филиала в закатный час. На края залива уже легла тень от сопок, а их вершины еще освещены. Светло и там, где большой светлосерый, с красной ватерлинией пароход идет посредине бухты курсом на океан. Куда он держит путь? На Курилы, Сахалин, Камчатку или, быть может, на Магадан?.. Велик Дальний Восток. Велик и еще очень молод. Его города-ветераны только-только прожили первое столетие. И сколь ни огромно все сделанное здесь в наши дни, перемены вокруг лишь преддверие блистательного будущего. Даже трудно представить себе, какая деятельная, ликующая жизнь зальет простертые окрест безбрежные тихоокеанские просторы...

Хорошо стоять вот так, смотреть сверху на темнеющий порт, где зажигаются первые огни, и мысленно продолжать взволновавшую тебя беседу. Как сказал Быков о дальневосточном комплексе? «Его нельзя создавать наспех, с ним нельзя и медлить. Надо начинать с науки, с плана». То же думают и Евграф Иванович и тысячи других людей, любящих и знающих Дальний Восток.



П. ПОДЛЯШУК

★

МАСТЕРОВОЙ ИЗ ДОРОГОМИЛОВА

(К сорокалетию ВЛКСМ)

ЗАМЕТКА В ХРОНИКЕ

В разгар Октябрьских боев в Москве, 2 (15) ноября 1917 года, на второй странице большевистской газеты «Социал-демократ» появилась следующая заметка без заглавия:

«31-го октября представителем Дорогомиловского района получены от нас винтовки и грузовик; последний не возвратился. Он найден убитым близ Смоленского рынка. Личность его установлена благодаря найденной в кармане записке, которую передал для своих родных заведующий автомобильным отделом. Очевидно, дорогомиловец вместе с грузовиком был пленен и расстрелян.

Н. Муралев».

Недосуг, видать, было большевикам-газетчикам в дни боев заниматься литературной правкой — как написал солдат Муралов заметку, так и гиснули ее в хронику.

И доставили тот шершавый газетный лист в красногвардейские десятки и солдатские стрелковые цепи, на огневые позиции батарей и в санитарные летучки — туда, где гремели бои, где разворачивалось последнее сражение с белогвардейско-юнкерскими частями. В час передышки красные бойцы прочитали нескладные газетные строки. Еще одна жертва! Не дешевой ценой дается победа революции...

Через сорок с лишним лет, в тиши Ленинской библиотеки, перелистывая драгоценные номера «Социал-демократа», прочитал я заметку Муралова. И захотелось узнать подробности разыгравшейся трагедии, воссоздать, насколько это возможно, образ героя. Рылся в старых изданиях, ходил по местам боев, разыскивая товарищей и родных того дорогомиловца, что был послан тогда за оружием, но не вернулся. В результате появились эти наброски к биографии Митрофана Ивановича Шломина, мастерового человека из Дорогомилова, молодого большевика и красногвардейца, одного из организаторов Союза рабочей молодежи «III Интернационал».

ПАРНИЩА СО «ШПИЦ-ПРЕНА»

Только две фотографии Митрофана Шломина удалось найти. Вернее — три, но третья, где он снят в гробу, сейчас не в счет; речь идет о портретах живого. Первый снимок хранится у Дмитрия Ивановича, брата героя, слесаря-инструментальщика с карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти. Другой — воспроизведен в книге воспоминаний «Хамовники в Октябре 1917», вышедшей в свет к пятой годовщине Октябрьской революции.

Лобастый, коротко подстриженный подросток вдумчиво и сосредоточенно глядит со старой, пожелтевшей фотографии. В книге находим портрет молодого человека, черноволосого, с тонкими усиками, с лихим зачесом на лбу. Одежда такая же, как и на первом фото, — пиджак поверх светлой косоворотки, обычный костюм фабричного парня тех лет. И взгляд все тот же — прямой и пристальный, непреклонный взгляд бойца

Между этими двумя портретами — лет пять-шесть, не меньше. За эти годы Митрошка Шломин, мальчуган со «Шпиц-Прена», слесаренок на побегушках, изображенный на первом фотоснимке, сформировался, стал опытным слесарем первой руки, вожакom дорогомилловской рабочей молодежи.

В 1910 году Ивана Михайловича Шломина, смазчика депо Малоярославец, перевели в Москву, на Брянский вокзал. Переехали, разумеется, всей семьей; поселились в Дорогомилловской слободе, поближе к новому месту работы отца — к депо Московско-Киево-Воронежской железной дороги, да и квартиры там подешевле.

Дорогомиллово — западная окраина Москвы. Типичные для тогдашних окраин улицы и переулки — немощные, весной и осенью грязь, летом пыль; домишки деревянные, полугородского типа; в палисадниках и на дороге бродит разная живность — куры, гуси, свиньи. Электричеством освещена лишь половина домов, водопровод и канализация только в одной трети жилищ. Кругом выгребные ямы, колодцы. Центральная артерия — Большая Дорогомилловская улица — почти сплошь занята трактирами и постоянными дворами, извозчичьими чайными и лавками.

Квартиру Шломины сняли на втором этаже, над иконописной мастерской Котова. На чердаке всегда сушились «заготовки», и здесь, вдыхая резкие запахи сырого дерева и красок, Митрофан, которому сравнялось четырнадцать лет, уединялся с книжкой. Он любил читать; по свидетельству брата, стопка книг всегда — и в последующие годы — лежала на табуретке возле койки Митрофана.

Однако вскоре после переезда в Москву пришлось ему оставить занятия в городском училище, так и не окончив его; надо было поступать на работу. Отец по своей железнодорожной профессии часто бывал в отлучке, зарабатывал мало; жили трудно, мать — болезненная, измученная, ребятишек полным-полно, во всем нехватка...

— Пора, Митроша, становиться к тискам, на трудовой путь выходить. Что поделаешь, ты старший...

«Шпиц-Прен» — так в просторечии называли дорогомилловцы небольшой завод на Можайском валу, принадлежавший фирме «Шпис и Прен. Двигатели керосиновые и газовые, котлы водотрубные, машины паровые». Предприятие не крупное, рабочих всего сотни три, но по дорогомилловским масштабам это немало.

Митрофан Шломин попал в среду металлистов. У них учился он ремеслу, с ними проходил университеты жизни и борьбы.

Мне так и не удалось узнать имена рабочих — наставников Митрофана. Тех, кто учил его уму-разуму, кто показывал, как держать зубило, ножовку, французский ключ, как законтривать гайки и нарезать резьбу. Тех, кто отвечал на пытливые вопросы юноши, раскрывал ему глаза на окружающий мир, вселял классовое самосознание.

Был Митрофан простым дорогомилловским мастеровым: сживал в трактире за кружкой пива, шатался с гурьбой сверстников, таких же рабочих парней, по окраинным улицам, лузгая семечки, искоса поглядывал на девушек. Мальцом играл в бабки, лупил ребят с чужого переулка; когда стал постарше — катал кегли в трактире Розанова, смотрел киноленты в электротeatре «Зеркало жизни»; летом гулял в Филях и в Кунцево, а зимой, бывало, выходил на москворецкий лед драться стенка на стенку: Дорогомиллово против Хамовников.

Но известно также, что не расставался Митрофан Шломин с книгой. После тяжелого трудового дня шел он на Общеобразовательные курсы для рабочих (такие курсы были созданы в Дорогомиллове при домах Общества трезвости). Учился в охотку, без погонялок,

И легко представить себе в руках у молодого металлиста большевистскую «Правду», зовущую к борьбе за освобождение рабочего класса, «Правду», закладывающую фундамент для победы большевизма в 1917 году.

А когда началась первая мировая война, наставников у Митрофана прибавилось — раненные солдаты из лазаретов и команд выздоравливающих. Ожесточенные, выдавшие виды — сам черт не брат! — умудренные горьким опытом, они люто ненавидели войну, ненавидели и тех, кто ее развязал.

ОН ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ!

Металлист, работающий на оборону, Митрофан Шломин не попал на фронт. Февральскую революцию он встретил у верстака, в Дорогомилловских механических обозных мастерских Союза земств и городов.

Захлестнула волна митингов, собраний. Речи, речи! Краснобаи эсеры и меньшевики, «р-революционные» присяжные поверенные и прочие «лица интеллигентных профессий», убежденные седиными бывшие «жертвы самодержавия» народные социалисты, респектабельные кадетские приват-доценты — каждый по-своему и все вместе звали Митрофана и его друзей-рабочих к «войне до победного конца», сулили им некие «плоды демократии» и требовали трудиться в поте лица своего во имя дивидендов «Шпиц-Прена».

В те дни в Дорогомилове тон общественной жизни задавали правые эсеры и меньшевики. Они захватили ключевые позиции в Совете. Однако веры им не было никакой. Отношение к войне — вот мерило слов и дела.

Не скрывая презрения, слушала большая толпа, собравшаяся на площади у Брянского вокзала, как представитель правоэсеровского Совета напутствовал ударный батальон, направлявшийся на фронт.

— Приветствую вас, серых героев, — кричал оратор со ступеней вокзала, — храбро несущих на защиту революции самое драгоценное в мире — свою жизнь! Помните, товарищи: мы с вами! Напряжем все силы, чтобы фронт выдержал натиск венценосного деспота!

Нет, Митрофану Шломину не было никакого резона «напрягать все силы» для победы Милюкова и Керенского над кайзером Вильгельмом. В хоре фальшиво-напыщенных, «прекраснодушных» речей уловил он единственно честное, резкое и мужественное слово ленинской правды. Пролетарская выучка, закалка рабочего, ясный ум и чистая совесть привели его к большевистской партии.

Газета московских большевиков «Социал-демократ» весной семнадцатого года получила широкое распространение на заводах и фабриках. Тираж ее в апреле составлял 60 тысяч экземпляров — цифра по тем временам не малая.

Шломин читал и распространял «Социал-демократ». 9 марта он прочитал в нем пролетарский гимн «Интернационал». 2 апреля — заметку без заглавия, которую мне хочется привести здесь полностью.

«Занималась заря свободы...

Зашумел ветерок, всколыхнулся лес могучий, закачался, загудел мощным шумом пробужденья.

Вон и ручей зажурчал живым говором весны...

Вышел рабочий и свободным взмахом ударил молотом по наковальне...

Стройный, могучий гул проснувшейся жизни пронесся по земле.

Всходило солнце, заискрился ручей... в небе песня льется, свободная песня свободной земли...

Из темных нор, сырых и холодных, выползли гады... Мертвыми глазами смотрели они на жизнь молодую, ясную, шумную, на солнце и ежились от его света. Шипели, извивались и свистом и шипеньем старались заглушить немолчный шум жизни, омрачить блеск солнца, краски цветов своим скользким, грязным прикосновением.

Солнце выше поднималось. Его лучи играли, дробились по земле и слепили своим светом привыкшие к мраку глаза чудовищ.

Они жгли их... и те с шипеньем и свистом заползали в темные норы мрака и холода...

Земля, солнце и небо — тебе, молодая жизнь тебе — кузнец-рабочий. Строй ее мощными взмахами молота, куй раскаленное железо.

Путь к солнцу тебе — творец-рабочий!..

Р о м а н т и к.

За несколько наивной символической (а она, надо сказать, имела широкое распространение в ту революционную пору, яркие слова доходили до сердца, зажигали души бор-

цов) раскрывался смысл заметки: кузнец-рабочий, творец-рабочий призывался к активным, организованным действиям.

Митрофан Шломин так это и понял. В то время он созрел уже для боевой партийной деятельности.

И когда в июне 1917 года присутствовал на лекции сотрудника «Социал-демократа» Вадима Подбельского о русских социалистических партиях и III Интернационале (в клубе Городского района, Цвевной бульвар, 25, плата за вход 10 копеек) и когда через несколько дней в помещении Пречистенских рабочих курсов слушал лекцию другого большевика, Григория Усиевича, на тему «Программа Ленина», — он был убежденным сторонником этой программы.

Не только идейно, но и организационно Шломин стал большевиком.

В старой книжке «Октябрь в Хамовниках. 1917 г.» (сборник статей и воспоминаний, вышедший в 1927 году) читаем: «Организируются объединенные ячейки мелких предприятий... На районном собрании 31 марта (в Дорогомилове. — П. П.) присутствовало уже около 150 человек — членов партии». Там же, в воспоминаниях другого товарища, перечислены фамилии некоторых молодых дорогомиловских рабочих, «активно вошедших в организацию». Среди них — Шломин.

Дорогомилово было как бы подрайоном Хамовников, не имело самостоятельной партийной организации. Летом 1917 года богатый партийными кадрами Хамовнический район направил в Дорогомилово группу организаторов. С той поры в Народном доме, что в 1-м Бородинском переулке, стало особенно многолюдно. Большевики Смидович, доктор Обух, Ангарский собирали в эти дни множество слушателей. Дни и ночи Митрофана Шломина были заполнены до краев: работа в мастерских Земсоюза (срочный заказ для фронта, где Временное правительство готовило по воле англо-французских империалистов новое наступление), дежурства в Народном доме, охрана порядка во время выступлений ораторов большевиков, десятки всевозможных больших и малых партийных поручений.

Надо было регулярно читать, быть в курсе быстротекущих событий. Надо было (и, конечно, очень хотелось) всюду побывать...

Надо сегодня послушать лекцию на Девичке, в студенческой столовой. Завтра открывается рабочий клуб на Пресне. В Городской думе большевик Скворцов-Степанов будет громить соглашателей. В Политехническом эсеровский митинг, «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская будет брехать про «войну до победного конца» (должна же она узнать, что думают по этому поводу дорогомиловские парни!).

...Домой Митрофан приходил только поздней ночью. Наскоро перекусит чем бог послал (паяк все сокращался да сокращался) и — на койку. Чуть свет — в мастерские. Он осунулся, похудел, но настроение было всегда боевое и усталость не брала.

Он знал, что делать!

Поэт-большевик Леонтий Котомка (ныне здравствующий Владимир Иосифович Зеленский) опубликовал в «Социал-демократе» стихотворение «Товарищам». Вот оно:

Будьте тверды, как сталь,
Как твердыни гранитных скал;
Будьте ясны, как светлая даль.
И могучи, как властный, решающий вал.

Берегите свободу родную свою,
Неизменные, верные стражи,
Чтобы тесную вашу семью
Не смущали пустые миражи.

Будьте пламенем гордых идей,
Неустанно гремите в призыве,
И привет вам от музы моей
В незатейливом, скромном мотиве.

Действительно незатейливое, стихотворение это пользовалось успехом среди революционной московской молодежи; оно отвечало требованиям момента. Вообще поэзия в большевистской пропаганде той поры — печатной и устной — занимала заметное место.

Митрофан любил стихи, читал их, учил наизусть.

«Товарищам» напечатано в «Социал-демократе» 4 июня, а за день до этого в Хамовническом клубе РСДРП, на Девичьем поле, состоялась лекция на тему «Милиция». Читал ее Павел Карлович Штернберг, профессор Московского университета. Известный ученый-астроном, бородастый звездочет, витающий, казалось бы, в космическом пространстве, был очень земным человеком, боевым большевистским деятелем. Штернберг проявил себя так еще в пятом году, а позже, во время Октябрьских боев за власть Советов в Москве, был председателем Замоскворецкого военно-революционного комитета.

Профессор подробно и точно изложил в своей лекции взгляды Ленина на пролетарскую милицию. А в заключение П. К. Штернберг процитировал неопубликованное еще тогда третье ленинское «Письмо из далека». В нем говорится: «Товарищи-рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера; свергая царскую монархию. Вам неизбежно придется в более или менее близком будущем... снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистскую войну. Вы не сможете прочно победить в этой следующей, «настоящей» революции, если вы не проявите чудес пролетарской организации в а н н о с т и!»

В СТРОИ СТАНОВЯТСЯ МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ

Первые революционные организации рабочей молодежи Москвы возникли в марте 1917 года на заводах и фабриках Замоскворечья. Вскоре организации эти появились и в других районах — на Пресне, в Хамовниках, Сокольниках.

В самом начале лета образован был Союз молодежи при Московском комитете партии большевиков. Он объединял (как свидетельствуют некоторые источники) от двухсот до трехсот молодых членов партии, преимущественно рабочих.

Ведя борьбу за молодежь, вовлекая ее в орбиту активной революционной деятельности, большевики создали таким образом боевой костяк будущего комсомола. Именно боевой, потому что соглашатели всех мастей и оттенков всемерно стремились увести молодежь подальше от классовых битв, к «тихой пристани» культурничества.

Меньшевистская газета «Вперед» (номер от 8 апреля 1917 года) так определяла задачи молодежных организаций: «Борьба с уголовно-бульварными романами, борьба с желтой прессой и порнографией... общее посещение театра, выставок и здоровые игры — вот пути, какими идут к намеченной цели союзы молодежи». Имели хождение постные лозунги: «Пусть в молодом поколении царит вечный мир!» Распространялись листовки петроградской организации «Труд и свет», призывавшие молодежь «взять в руки светоч науки, а в сердце поселить лишь желание добра и красоты жизни».

Союзы молодежи возникали самые различные — от розовых до черных. В Москве летом 1917 года действовали: союз учащихся средних учебных заведений, примыкавший к партии «народной свободы» (иначе говоря, кадетский); эсеровский союз молодежи, существовавший под лозунгом «Все для победы!»; «надпартийный» союз в Замоскворечье — в уставе его говорилось о том, что надо поднять культурный и политический уровень молодежи, для того чтобы она могла потом выбрать себе партию «по духу»...

Центральный Комитет большевистской партии противопоставил всей этой мутной волне «улавлителей» юных сердец ясную и четкую программу организации молодежи. Была выделена для работы по этой линии специальная группа во главе с Надеждой Константиновной Крупской. В мае—июне 1917 года большевики провели политическую кампанию, требуя предоставлять избирательные права молодым людям с восемнадцати лет.

В те же месяцы «Правда» напечатала несколько статей Н. К. Крупской, излагавшей ленинские взгляды на работу среди молодежи.

В статье «Союз молодежи» Надежда Константиновна писала, что заводские ученики и ученицы Петрограда «положили начало Российской секции Интернационала Молодежи, они зовут к объединению всю рабочую молодежь, не только работающую на фабриках и заводах, но и ремесленных учеников и учениц, и торговых мальчиков, и маленьких газетчиков, всех тех, одним словом, кто с юных лет вынужден продавать

свою рабочую силу. Они зовут присоединиться к ним рабочую молодежь Москвы, Московской области, Екатеринослава, Харькова, словом, всей России. Они зовут их всех к борьбе за лучшее будущее, к борьбе за социализм».

Не меньшевистские разглагольствования про «здоровые игры», не либерально-вегетарианские вздохи о «добре и красоте жизни», а прстой и суровый призыв к борьбе за социализм, к интернациональной солидарности объединил молодых бойцов.

Митрофан Шломин, войдя в Союз молодежи при МК, стал организатором дорогомилловского рабочего юношества. (В скобках тут уместно привести характерный штрих. Кто-то из старых партийцев рассказал молодежи, что раньше, в подполье, Московский комитет имел кличку: «Михаил Константинович». И это привилось. Так ребята и говорили: «по указанию Михаила Константиновича», «сходим к Михаилу Константиновичу»... Велика, видно, была тяга к революционной романтике.)

По поручению «Михаила Константиновича» Шломин расширил сферу своей деятельности. Не только у себя в ободно-механических мастерских вел он революционную работу, но и на заводе аптекарских весов Штеймана, и на химзаводе, и на пивоваренном, появлялся и у отца в депо. Распространял партийную литературу, приглашал на митинги и собрания, а главное — беседовал с молодыми рабочими, вербовал единомышленников, сколачивал актив.

К сожалению, не сохранились документы той поры, относящиеся к Дорогомиллову, — протоколы, дневники, конспекты, где была бы запечатлена организаторская работа Шломина. Может быть, они и не велись вовсе, эти протоколы? Не было навыка, да и времени, конечно. Но товарищи, с которыми я беседовал, припоминают: сдержанный, неговорливый, пожалуй, даже чуть флегматичный, Митрофан пользовался солидным авторитетом в рабочей среде.

13 июня «Социал-демократ» поместил заметку Леонтия Котомки «Еще к молодежи». Автор обращался к юным читателям: «Ваш мозг и ваше сердце нужны союзу (Союзу молодежи.— П. П.), необходимы. Не забудьте, что ваша самостоятельность — ваша радость и ваше будущее. Работы всем хватит, работы интересной, идейной, радостно-творческой... Приходите, юноши! Приходите, девушки! Не смущайтесь скромным размером своей силы».

Через три дня читаем в «Социал-демократе»: «Учредительное собрание союза молодежи при М. К. шлет горячий привет т. Ленину, испытанному вождю рабочего класса, настойчиво и смело зовущему на революционный, интернациональный путь к социализму». Вот платформа, которая объединила первых комсомольцев Москвы! Они пошли за Лениным.

В те же дни открылся и клуб молодежи на Цветном бульваре, во дворе дома № 25, в помещении 2-го Сухаревского мужского училища.

Открытие ознаменовали праздничным вечером, торжественным и веселым. Первым выступил с приветствием от редакции «Социал-демократа» Михаил Степанович Ольминский, старый коммунист, известный партийный публицист «Галерка». Он говорил о своей юности, о жизни и работе своего поколения, на смену которому идет теперь социалистическая молодежь. Выступали представители партийных и военных организаций, приветствуя «свежих ратников строй». Восторженный Леонтий Котомка отвечал от имени Союза молодежи: революционная молодежь, можете не сомневаться, товарищи, пойдет только за партией большевиков! «Вдумчивую речь» (так говорится в газетном отчете) о пролетарском искусстве произнес Афонин — очевидно, тоже член Союза молодежи. Заключительное слово сказал Леша Зверев.

В перерывах между речами пели хором «Интернационал», «Кузнецы». Рузя Черняк сыграла на рояле вальс Шопена, портновский подмастерье Петров продекламировал модное тогда стихотворение «Сакия-Муни». «Гвоздем» программы был, однако, горьковский «Буревестник» в исполнении артиста студии Художественного театра Валентина Смышляева.

«Буря! Скоро грянет буря!»

Так победно восклицал гордый Буревестник, черной молнии подобный. «...Он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!»

Ребята слушали как зачарованные. Вот оно, их призвание: идти навстречу грядущей буре, смело шагать в шеренге молодых бойцов, чувствуя локоть друга.

«Пусть сильнее грянет буря!»

МУЗЫ И ВИНТОВКА

Существует поговорка: когда гремит оружие, музы молчат.

В грозные месяцы лета и осени 1917 года поговорка эта не оправдала себя; в особенности применительно к членам Союза молодежи при МК партии.

Гремели пушки на фронте. Временное правительство гнало «серую скотинку» в новое наступление. После июльских дней буржуазия вместе с эсерами и меньшевиками обрушилась на большевистскую партию. В порядок дня был поставлен штык. Партия развернула деятельную подготовку к вооруженному восстанию.

И вот в эти дни Союз молодежи устраивал в своем клубе на Цветном бульваре литературно-музыкальную вечеринку.

Что это, легкомыслие? Недоценка серьезности момента?

Далее будет рассказано, как серьезно и ответственно готовилась большевистская молодежь к грядущим революционным битвам, как овладевала военным делом, стратегией и тактикой уличного боя. Но наряду с маршировкой и ружейными приемами — драматическое искусство, музыка, литературное творчество.

Объяснение этому найти нетрудно. Вспыхнула колоссальная тяга к культуре, от которой буржуазия глухой стеной отгораживала рабочий класс; стали расправлять крылья молодые народные таланты, задавленные и смятые капитализмом. И в мироощущении дорогимилловского парня революция связывалась одновременно и неразрывно с винтовкой и книгой, с пулеметными лентами и звонкими стихотворными строками, с никелированным «смит-вессоном» у пояса и сонатой Бетховена, услышанной впервые.

Разумеется, основным кружком в Союзе молодежи был кружок политэкономии. Готовились по марксистским брошюрам и конспектам. Вводные доклады читал рабочий золотосеребряник Афанасьев.

Кто знает, может быть, именно на занятии этого кружка и пришлось Митрофану Шломину, преодолев робость, впервые выступить с рефератом. Во всяком случае, занятия очень развивали — новое значение приобретали такие привычные слова, как «капитал» и «труд», «класс» и «прибыль», «рабочая сила» и «товар»...

Что же касается искусства, то к твоим услугам кружок беллетристический (литературный), можешь тотчас же ввязаться в жаркий спор о «Сигнале» Гаршина, высказать свое суждение о том, кто же в конце концов более прав с точки зрения пролетариата — Семен или Василий? Добро пожаловать и в драматическую школу — там и теоретические и практические занятия, например постановка голоса, там и репетиции

Глубокой ночью, не зажигая лампы, чтобы не будить спящих в комнате младших ребят, да и в целях экономии керосина, при колеблющемся язычке свечи (отец приносит огарки, оставленные в вагонах) Митрофан листает «Политэкономию». Не так легко уяснить себе понятие прибавочной стоимости! А потом начинает учить стихотворение, заданное в драмшколе.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ — НАШЕ СВЯТОЕ ЗНАМЯ»

Шестой съезд партии принял резолюцию «О союзах молодежи». В ней указывалось: «В настоящее время, когда борьба рабочего класса переходит в фазу непосредственной борьбы за социализм, съезд считает содействие [созданию] классовых социалистических организаций рабочей молодежи одной из неотложных задач момента и вменяет партийным организациям в обязанность уделить работе этой возможный максимум внимания».

Шел август 1917 года.

Вскоре в Москве образовался объединенный общегородской социалистический Союз рабочей молодежи «III Интернационал». В него влился Союз молодежи при МК партии и некоторые разрозненные юношеские организации районов. Название нового Союза подчеркивало политический характер движения, связь с партией большевиков, с революционной молодежью других стран.

Несколько позднее, в начале октября, когда вышел первый номер двухнедельного органа Союза — журнала «Интернационал молодежи», — в нем были так сформулированы цели и задачи организации: «Пролетариат и беднейшее крестьянство — вот наша родная среда, откуда мы черпаем наши силы; просвещение и организация молодежи — вот наша главная задача; непримиримая борьба с буржуазией — вот наш лозунг; Интернационал — вот наше святое знамя и Социализм — вот наша цель!»

Союз рабочей молодежи «III Интернационал» стал втягивать в революционное движение все более широкие слои трудового юношества. Тогда и в Дорогомилловском подрайоне была оформлена союзная организация — всё рабочие парни: Алексей Баринов, Николай Цветков, Александр Кузнецов, братья Василий и Сергей Митраковы, Михаил Подрябинников и другие. Митрофан Шломин находился среди них.

Помещения своего у дорогомилловцев не было, а в Хамовниках райком Союза молодежи, в который они входили, расположился в части комнаты, отвоеванной у правления студенческой столовой на Девичьем поле. Отгородились широким шкафом, поставили обшарпанный стол — и начали действовать. Заседали редко, работу вели непосредственно на предприятиях, в гуще масс.

Восьмого октября состоялась Первая московская городская конференция Союза рабочей молодежи «III Интернационал». Она приняла решение устроить массовую общегородскую демонстрацию рабочей молодежи. С большевистскими антивоенными лозунгами выйти на улицы, собрать под боевые красные знамена тысячи юных пролетариев, продемонстрировать всему миру могучую силу организованной и сознательной рабочей молодежи — вот задача дня! Характер демонстрации будет вполне ясен, если прочитав Обращение Союза к рабочей молодежи (оно было опубликовано в «Социал-демократе» 13 октября): «15 октября, протестуя против войны, мы тем самым докажем, что идеи международного братства рабочей молодежи нам дороги, что мы будем бороться за них самым энергичным образом... 15 октября мы будем все в рядах демонстрации, будем все многотысячным и бурным потоком под красным знаменем протестовать против бойни. Во имя великих идеалов пролетариата, во имя борьбы против войны, во имя борьбы за мир и братство народов — 15 октября вся рабочая молодежь на улицу!»

Это был смотр сил революционной молодежи. И он прошел вполне успешно.

Как раз накануне вышел наконец долгожданный журнал «Интернационал молодежи».

По каким-то причинам (то ли редакционным, то ли типографским) выход его все откладывался, ребята нервничали — уж очень не терпелось взять в руки свой журнал. И вот он — двенадцать страниц довольно большого формата. На первой — «шапка»: «Да здравствует III Интернационал». Ниже — адрес конторы и редакции «Рождественский бульвар, д. 15».

Хоть и готовили журнал долго, в нем оказалось все же много «досадных» опечаток (даже передовица по недосмотру редакции озаглавлена «13 октября 2767 года» — это вместо «1917», как гласит поправка, помещенная в конце номера). Но журнал-то есть! Собственный, молодежный, очень дорогой сердцу каждого активиста...

Вернемся, однако, к демонстрации.

Выдался ядреный осенний денек. Во всех районах к сборным пунктам собиралась молодежь. Принаряженная, сосредоточенно-торжественная. Со стягами и знаменами. На алых подотнищах лозунги, вышитые искусными руками девушек — членов организации: портних, белошвеек, золотошвей.

«Вся власть — Советам!»

«Война — войне!»

«Мир хижинам — война дворцам!»

«Трепещите, тираны, — юный пролетарий восстал против войны!»

«Миру дряхлому ли спорить с нами, юными? Вперед!»

Дорогомилловцы собрались у здания Совета рабочих депутатов, на Большой Дорогомилловской, 22. Став в шеренги, двинулись на соединение с колонной Хамовников. От Zubовской площади шагали вместе.

Из всех районов Москвы стекались молодые бойцы к центру. На тротуарах стояла враждебная, ожесточенная толпа буржуев. «Чистая публика» шипела, улюлюкала. Эсеровская милиция, юнкера, студенты-белоподкладочники готовы были на любую провокацию...

— Спокойствие, товарищи! Сохранять пролетарскую выдержку! Держать равнение!

Митрофан Шломин, правофланговый, вместе с колоннами товарищей выходит на Скобелевскую (ныне Советскую) площадь.

Там, вокруг бронзового памятника генералу Скобелеву, митинг. Выступают большевики — Лихачев, Смидович, Аросев, молодой рабочий Афанасьев. Принята резолюция: «Требуем от Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов взять власть в свои руки и предпринять шаги к перемирию на всех фронтах и заключению всеобщего демократического мира». Послано приветствие Ленину и революционным морякам Балтики.

В большевистских организациях Москвы бытовало еще, очевидно с подпольных времен, выражение: «хвостики». Так любовно-ласково, по-отечески покровительственно звали молодых ребят, участвовавших в революционной работе. Много смелых дел было на боевом счету юных борцов, но в глазах кое-кого из старших они по-прежнему оставались «хвостиками».

Пятнадцатое октября воочию показало, что рабочая молодежь, объединенная в Союз «III Интернационал», ведомая ленинской партией, стала грозной силой. На демонстрацию вышло до десяти тысяч человек.

К РУЖЬЯМ ПРИВИНТИМ ШТЫКИ!

Партия готовила Октябрьский штурм.

С конца июля на фабриках и заводах Москвы по инициативе большевистских организаций стали создаваться отряды Красной гвардии. Это целиком соответствовало ленинской установке — в его «Советах постороннего»:

«Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пунктов и для участия их везде, во всех важных операциях... Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага...»

Нельзя не обратить внимания на подчеркивания, сделанные рукой Владимира Ильича, — исключительное значение придавал он участию рабочей молодежи в штурмовых отрядах революции. Самые решительные элементы!

Члены Союза рабочей молодежи «III Интернационал» почти поголовно вошли в отряды Красной гвардии. Молодежь составила примерно сорок процентов красногвардейцев Москвы.

На пустырях и в пригородных рошах десятки — основная боевая единица Красной гвардии тех дней — учились меткой стрельбе и штыковому бою, гранатометанию, разведывательным операциям и взаимодействию подразделений. Постигали воинскую премудрость, которая понадобится скоро, когда партия большевиков даст сигнал к восстанию. Выздоровливающие солдаты из лазаретов, демобилизованные по ранению, фронтовики, приехавшие в отпуск, были инструкторами.

Дорогомилловские десятки занимались огневой и строевой подготовкой на так называемом Загородном дворе, на Потылихе (где ныне киностудия «Мосфильм»). Десятками руководили Федосов, механик завода аптекарских весов Штейнмана, Петушков с шорно-седельной фабрики, Шломин из ободно-механических мастерских Земгорсоюза, Симкин с химического завода.

Георгий Васильевич Федосов возглавил практические занятия, ему помогал солдат Николай Митраков, свой дорогомиловец, партиец. А по теории и тактике уличных боев прослушали несколько лекций. Они проводились в подвале Народного дома, там, где раньше был в трактире кегельбан.

Кое-где в литературе, да и в кинофильмах дается довольно примитивное представление о комплектовании красногвардейских отрядов. Зашел, мол, рабочий в штаб, запи-

сался, взял с козел винтовку — и готово, двинулся в бой. Нет, в дни подготовки к Октябрю красногвардейские десятки подбирались тщательно, проходили серьезную рабочую проверку.

Василий Иванович Митраков, соратник и товарищ Митрофана Шломина, один из трех лихих братьев Митраковых, дорогомиловцев, воевавших за Октябрь в Москве, бывший красногвардеец и слесарь, а ныне инженер-полковник танковых войск в отставке, рассказал мне, как подбирался десяток Красной гвардии на заводе Штейнмана. Обсуждали кандидатов на рабочем собрании — достоин ли имярек защищать интересы рабочего класса, здоров ли, велика ли семья. Пожилого одного, многосемейного, отвели — «воздержись», говорят; другого, парня молодого, бойкого, но вороватого, забаллотировали начисто — «не доверяем!..» И тот факт, что Митрофана Шломина, человека необстрелянного и совсем еще юного, поставили во главе десятка, свидетельствует о его незаурядных качествах и о том уважении, которое он завоевал в рабочей среде. Попутно отметим, что десяток Красной гвардии не обязательно состоял из десяти бойцов. Бывало и двадцать и двадцать пять. А назывался: «десяток».

...На стрельбище направляется отряд Красной гвардии. Шагают четко, в ногу, с подсумками на ремнях и пулеметными лентами через плечо, с кортиками (их ребята научились мастерски делать из напильников, не хуже офицерских), а на всех... одна-единственная винтовка. Или так: стоит красногвардеец на посту, сжимает в руках винтовку, а патронташ абсолютно пуст. И хотя в песне, с которой маршировали красногвардейцы по Дорогомилову, пелось: «К ружьям привинтим штыки», — штыки действительно существовали, но привинчивать их было пока не к чему.

Проблема оружия стояла весьма остро в те предоктябрьские дни.

Оружие добыли немного позднее, на поле боя.

БАРАБАНЫ — БЕЙТЕ ЗОРЮ!

Рабочий-поэт Иван Ерошин писал 26 октября в «Социал-демократе»:

..Волю! Волю красным крыльям!
Нет возврата к дням вчерашним.
В пламени войны
Зорю — бейте барабаны!
Барабаны — бейте Зорю!

Наконец-то пробили зорю барабаны революции. 29 октября газета московских большевиков вышла на одной стороне листа крупного формата. Передовая озаглавлена: «К оружию».

Заканчивалась она так:

«В Петрограде крепкая революционная власть и порядок.
Еще одно усилие, и в Москве мы ее тоже получим.
Решаются судьбы страны и революции.
К оружию, к оружию!
Настал последний и решительный бой.
Военно-революц. Ком. С. Р. и С. Д.»

Перипетии борьбы за победу революции в Москве широко известны. В этих набросках мы ограничимся лишь теми документами и показаниями свидетелей, которые имеют близкое отношение к Митрофану Шломину, к истории его короткой жизни.

Для руководства восстанием в районах были созданы военно-революционные комитеты. Вечером 26 октября (8 ноября) в Дорогомиловском Совете выбирается ревком, в который вошел и Митрофан Шломин. По указанию из Хамовников дорогомиловские красногвардейцы направились туда на соединение с тамошними силами.

Митрофан Шломин, человек дисциплинированный, быстро собрал свой десяток и повел его на Большую Царицынскую улицу. Здесь в доме № 13 разместился Хамовнический ревком.

«Скворечня», «карточный домик» — так называли в районе этот маленький деревянный особнячок. Любопытна его история. В годы разрухи и голода домик по бревнышку растащили на дрова. Позже пустырь огородили цепью, а в центре его воздвигли камень. Надпись гласила: «Первый камень прочного основания здания на порванных цепях рабства». В тридцатых годах не стало этого пустыря, а с ним и камень канул в вечность...

Холодная осенняя ночь. Красногвардейцы коротают ее на постях; они патрулируют на Зубовской, на Смоленском бульваре, близ Сенной площади, на Плющихе, близ Девички. Патрули задерживают всех военных, отбирают оружие, препровождают в ревком. Посты стерегут продовольственные склады, общественные здания. Красная гвардия охраняет революционный порядок.

Этой ночью Шломин обходит красногвардейские посты, распределяет людей, подбадривает. Слышится артиллерийская стрельба, то и дело раздаются хлопки винтовочных и револьверных выстрелов. Луна закрылась облаками, но темное московское небо освещено заревом.

Первая боевая тревожная ночь. За ней для Митрофана Шломина последуют еще пять дней и пять ночей в боях и трудах, почти без сна и отдыха.

Когда из Дорогомилова по приказу Хамовнического ревкома были отозваны красногвардейские десятки, Совет подрайона и те большевики, которые остались на месте, оказались в весьма сложном положении — нет оружия. И вот случилось так.

Захватили трех офицеров, привели их в помещение Совета, отобрали оружие и вежливо — под честное слово — отпустили подобру-поздорову. А те, разнюхав, что сил здесь мало, что охраны нет, привели группу юнкеров из 5-й школы прапорщиков и разгромили помещение.

Весть о вылазке юнкеров всколыхнула все Дорогомилово. На защиту Совета пришли рабочие, железнодорожники, солдаты из команд выздоравливающих, даже ломовики подъехали в своем полном «снаряжении» и предоставили себя в распоряжение Красной гвардии.

Вот тогда и образовался новый ревком, в его составе уже знакомый нам Георгий Федосов, работница трикотажной мастерской Евдокия Ванторина, Фонченко с железной дороги. В тот же день стали возвращаться из Хамовников в свой район красногвардейцы. Через Москву-реку им пришлось переправиться на лодках — Бородинский мост был в руках юнкеров. С Варгунхиной горы, с колокольни Никольской старообрядческой церкви белогвардейцы обстреливали Большую Дорогомиловскую улицу, норовя попасть в здание Совета.

Лодками, вообще говоря, в те дни довольно широко пользовались для связи отрезанного от внешнего мира Дорогомилова с другими районами. Когда стала ощущаться нехватка продовольствия, на лодках перебросили через Москву-реку тысячу пудов хлеба (из реквизированных красными частями Провиантских складов у Крымской площади). Переправа длилась всю ночь и следующее утро; приходилось по пояс в ледяной воде выносить мешки с мукой — тяжело груженные лодки не могли причалить к самому берегу.

В этом деле принимал участие и Митрофан Шломин.

Военная необходимость требовала укрепить западную окраину Москвы, взять под контроль Брянский вокзал, Бородинский мост, который за время боев трижды переходил из рук в руки. И нужно было во что бы то ни стало подавить опорный пункт белогвардейцев — 5-ю школу прапорщиков.

Пятая школа прапорщиков помещалась в четырехэтажном мрачного вида доме № 4 на углу 1-го и 2-го Смоленских переулков. Расположился этот форпост белых очень для них выгодно, на возвышенном месте. Среди юнкеров было много корниловских головорезов, белогвардейцев из «батальонов смерти». Не менее пятисот штыков насчитывалось, по словам Е. И. Ванториной, в личном составе школы. В их распоряжении находились автомобили и броневики, люди были до зубов вооружены, отлично вымуштрованы.

Да, это был трудный «орешек»! Его предстояло раскусить механику Федосову, слесарю Шломину, трикотажнице Ванториной, слесарям братьям Митраковым, врачу

Соловьеву, солдату Савельеву, шорнику Петушкову, их товарищам по борьбе — рабочим, солдатам, красногвардейцам Дорогомилова и Хамовников.

Митрофану не пришлось дожидаться до того радостного часа, когда на Бородинском мосту появился с белым флагом парламентар из 5-й школы прапорщиков (В. И. Митраков называет его фамилию: штабс-капитан Дукалов) и предложил начать переговоры об условиях капитуляции. Это произошло позднее, когда революционные бойцы Дорогомилова получили подкрепление — пришла рота 193-го полка и восемьдесят красногвардейцев из Орехово-Зуева. У красных частей появились и две трехдюймовые пушки. Они были установлены у Хамовнических казарм. Орудия стали бить по зданию 5-й школы прапорщиков. Красногвардейцы с трех сторон перешли в наступление...

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Союз рабочей молодежи «III Интернационал» получил боевое крещение в ходе Октябрьских сражений.

Все способные носить оружие члены Союза старшего возраста вступили в Красную гвардию, в ее рядах биллись с врагом. Девушки объединились в отряды Красного Креста, организовали санитарные летучки. Подростки несли разведывательную и связную службу, под пулями и разрывами шрапнели бесстрашно проникая всюду, где в том была необходимость.

Замоскворецкий военно-революционный комитет записал в своем постановлении от 26 октября: «Утверждается Красный Крест, организованный Союзом молодежи, и поручается ему все организовать, обещая поддержку и средства». Так было и в других районах.

В начале боев на Пречистенке белогвардейцы обстреляли летучку со знаком Красного Креста, направлявшуюся за ранеными. Ткачиха с фабрики Гевардовского Лена Кузнецова была ранена в обе ноги, а ее пятнадцатилетний братишка, ученик технического училища, — смертельно ранен в живот. Юный красный санитар умер после нескольких дней мучений, а имя его так и осталось неизвестным (как, впрочем, остались неизвестными имена ряда других молодых героев Октября).

Участник боев в Москве Ф. Киселев рассказал в своих воспоминаниях, напечатанных в № 18 журнала «Молодой большевик» за 1927 год, трогательную историю гибели юного бойца: «Варнашка (ученик сапожника, прибежавший к нам от хозяина из Теплого переуллка) убит с цинковой коробкой берданочных патронов в руках. Не успел дотащить даже...» Как явственно видится мальчонка, убежавший от своего хозяина, чтобы жизнь отдать за победу революции!

Сохранилось несколько донесений юных разведчиков. Вот рапорт от 29 октября: «У Арбатских ворот юнкера обыскивают всех проходящих. Где станция трамвая, там орудие и окопы. На Арбате, у гаража, стоят автомобили, в середине готовых 4 грузовика, легких три, броневиков нет. У Никитских ворот в магазине Бландова на втором этаже стоит легкое орудие, все время бьет по направлению к Страстному монастырю. На Страстной площади немного большевики отступали ввиду сильного обстрела».

И подпись: «Мальчик Коуров».

В другом донесении говорится: «Юнкерами занят Смоленский рынок у Арбата, доносят мальчики-разведчики... переуллок около Собачьей площадки и сама площадка занята юнкерами. Они обстреляли наших разведчиков. На Новинском бульваре наших обстреливали шрапнелью с Арбата. Наши отступили на Кудринскую площадь».

Записка датирована: 31 октября. 5 часов 40 минут.

Жаль, что Митрофан Шломин не знал этих данных. Выбрал бы он тогда, может быть, другой маршрут.

МАШИНА МЧИТСЯ ПО АРБАТУ

Красное Дорогомилово все время испытывало нехватку оружия. Конечно, в ходе борьбы кое-чем разжились, но все равно винтовок не хватало, каждый патрон был на счету. Прибывали подкрепления, но недостаток оружия и боеприпасов не уменьшался.

И тут каким-то путем узнали, что в Московском Совете, в Военно-революционном комитете можно получить винтовки и патроны к ним. Надо поскорей посылать человека.

Вызвались двое — Митраков Сергей и Шломин Митрофан. Оба — парни смелые, решительные, проверенные в боях, но Митрофан серьезней и постарше. Остановились на его кандидатуре.

Шломин взял записку, выслушал наставления, проверил свой револьвер, засунул его в карман драповой куртки, затянул потуже ремень.

И отправился, кивнув на прощание товарищам.

Пробирался он, по всей видимости, через Пресню, потом по Брестским улицам, пересек Садово-Триумфальную и — по Тверской. Первая половина опасного дела завершилась благополучно.

Шломин явился в Московский Совет, в одной из комнат получил новенькие винтовки — 75 штук, шесть-семь ящиков патронов. В ВРК договорился об автомобиле и шофере. Погрузил, расписался в получении.

Перед самым выездом со Скобелевской площади повстречался Митрофану заведующий автомобильным отделом Московского ревкома Федосов, брат дорогомилловского организатора Красной гвардии. Поговорили. Федосов вырвал из блокнота листок, набросал несколько слов для передачи родным в Дорогомилово — жив, здоров и все такое.

В одном из старых сборников воспоминаний можно прочитать, что Шломину в Московском Совете «предложили дать охрану в двадцать—тридцать солдат, но он отказался, говоря, что без охраны доедет более незаметно» Вряд ли это предложение соответствовало действительности. Едва ли было целесообразно отрывать от боевых операций три десятка бойцов для охраны семидесяти пяти штук винтовок и нескольких ящиков патронов. Да и сомнительно, чтобы грузовичок того времени смог, кроме поклажи, вместить еще тридцать вооруженных людей...

Выехали на Арбатскую площадь. Электротеатр «Художественный» и ресторан «Прага», где были белогвардейские базы, миновали благополучно. А на Арбате попали под обстрел.

— Крути, Гаврила! — вспомнил Митрофан отцовское железнодорожное слово. — Жми вовсю! — подгонял он шофера.

И шофер («Мухин, солдат», — припомнила Е. И. Ванторина в разговоре со мной) жал «на всю железку».

Машина мчится по Арбату...

После этой фразы нужно сделать оговорку: в то время средняя техническая скорость грузового автомобиля — Шломин мог ехать, как утверждают специалисты, либо на автомашине фирмы «Пирс-Арроу», либо на «мерседесе» — равнялась пятнадцати—двадцати верстам в час. Шла машина на так называемых грузолентах: сплошных резиновых шинах. Шла по булыжной мостовой... В общем, скорости, весьма далекие от нынешних.

...Проехали весь Арбат. У Смоленского рынка повернули вниз, к Бородинскому мосту. За рекой открылось родное Дорогомилово.

Мост в руках красных; до их расположения осталось уже совсем-совсем немного!

Вдруг залп. Пули попадают в моторную часть. Автомобиль, чихнув, останавливается намертво.

Грузовик окружают разъяренные юнкера, стучат затворы, штыки приставлены к груди Шломина.

Пленников со скрученными на спине руками ведут в логово белых, в 5-ю школу прапорщиков.

Мы не знаем, как и сколько раз их допрашивали. Мы знаем лишь, что враги не добились от них ничего. Ранним утром следующего дня — это было 1 ноября — обонх вывели с внутреннего, закрытого двора школы прапорщиков, поставили лицом к перелуку и приказали бежать. Их толкали прикладами, кололи штыками.

Мухин, петляя, побежал. Говорят, он остался жив, был ранен, отлеживался потом за мусорным ящиком, все-таки уполз.

Шломин пошел медленно.

В холодном сером небе реял аэроплан — немудрящий, не раз штопаный «нюпор». Но этот самолет был красный. С Ходынки он летел на разведку, к Воробьевым горам..

Тишину утра в переулке прорезал залп. Митрофан Шломин упал. Три пули сразили героя.

Остается рассказать очень немного. О похоронах.

У Дмитрия Ивановича Шломина сохранилась фотография — брат Митрофан в гробу. Чистое, спокойное лицо. Обычная белая косоворотка. Будто спит. Над гробом лента: «Вечная память павшим борцам». Религиозная старая мать настояла на своем — ее неверующего Митрошу хоронили по церковному обряду. Но от церкви на Дорогомиловское кладбище провожал Шломина воинский эскорт — сводный отряд только что вышедших из боев дорогомилловских красногвардейцев, его кровных друзей и побратимов. Когда гроб опускали в землю, прозвучал ружейный салют.

Позже рабочие обочно-механических мастерских установили на могиле Шломина массивный металлический крест (еще одна уступка старухе матери), но на верхушке соорудили красную звезду (пусть знают все, что лежит здесь большевик).

Могилы эта не сохранилась. Как известно, на месте старого, закрытого ныне Дорогомилловского кладбища выросли кварталы великолепных жилых домов — Кутузовский проспект.

В 1924 году, в Ленинский призыв, отец Митрофана, Иван Михайлович, вступил в РКП(б) — в память Ленина и в память сына.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жарким майским вечером мы вышли из Киевского райкома ВЛКСМ города Москвы.

Рядом со мной высокий юноша в очках, выдающийся фрезеровщик, новатор производства. И девушка, белокурая, в белом платье, конструктор, член редколлегии стенной газеты. И другая девушка, темноволосая, но тоже в белом платье, портниха, лучшая работница ателье. И милиционер, круглолицый, добродушный парень, быстро краснеющий; он отличник, активист ДОСААФа.

Эти молодые люди переживают сейчас величайший душевный подъем — только что на заседании бюро райкома комсомола им даны рекомендации для подачи заявления о приеме в кандидаты партии. Обсуждали каждого тщательно и решили — достоин. Жизнь своей, работой, отношением к обществу и к труду завоевал это высокое право: идти в партию, встать в ряды великого добровольного боевого союза единомышленников — коммунистов.

Сделан решающий шаг — из юности в зрелость.

Взволнованно-радостно глядят молодые люди на Москву, раскинувшуюся вокруг. Глядят молча, как бы боясь неуместным словом нарушить торжественную тишину, царящую в их душах. А потом мы идем по Садовой, мимо высотного дома, оживленно обсуждая подробности только что пережитого, и трудности предстоящих экзаменов в заочном институте, и перспективы движения третьего спутника Земли, и множество разных различных вещей.

...О жизни и гибели Митрофана Шломина мои собеседники ничего не знают. Нет, они не слыхали о нем, только милиционер после некоторого раздумья ответил, смущаясь: есть где-то здесь у нас улица с таким именем. Недавно назвали. А кто такой был — не могу сказать...

Именем Шломина назван бывший 3-й Николощеповский переулок, рядом, за аркой большого нового дома, построенного по проекту академика Жолтовского. А за углом, чуть подальше, высится здание школы № 60 Киевского района — тут-то и была 5-я школа прапорщиков. Из этих ворот вывели тогда утром Шломина, отсюда бросил он последний взгляд на Дорогомиллово, туда, где сейчас за Ново-Арбатским мостом высится белая громада гостиницы «Украина».

Комсомольцы, с которыми мы беседовали, слабо знают историю своих предшественников, тех, кто грудью прокладывал путь в царство свободы, кто окропил своей кровью эти камни. Да ведь и многие другие юноши и девушки Советской страны,

стронтели домен и шахт, покорители целины, завоеватели космоса, великолепные наши молодые товарищи недостаточно знакомы с историей борьбы и побед советского народа. А ведь зная прошлое, сильнее ценишь настоящее.

Школа № 60. Веселый гомон перемены, во время которой я попал сюда. Было радостно глядеть на славную нашу детвору. И опять невольно подумалось: «А знают ли эти ребята о том, что происходило здесь в Великом семнадцатом? Знают ли, что из этого самого здания вывели Митрофана Шломина на расстрел?»

Даже старшеклассники имеют лишь общее представление о днях Октября и гражданской войны, а про юных героев, отдавших жизнь за наше счастье, едва ли кто-нибудь из них сумеет толково рассказать.

Нет в этой школе даже стенда, посвященного Шломину и его боевым друзьям. А ведь следовало бы дать ей имя Митрофана Шломина. Присвоить имя героя, рассказать о нем и в классах и во внеклассной работе систематически воспитывать ребят на революционных традициях.

Надо ли доказывать, что и педагогическому коллективу это помогло бы во всей его деятельности.

Стоило бы, конечно, и в домах на проезде Шломина провести беседы с населением, рассказать жителям, в честь кого назван их проезд. Это — прямая обязанность комсомольцев Киевского района.

Из всех этих частных предложений возникает, однако, общее: пора комсомолу создать свою историю. Удивительно бедны исторические источники: несколько брошюр, старые-престарые сборники да отдельные журнальные статьи — вот и все, что мы имеем по истории Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, истории славной и героической, очень яркой и поучительной.

Сейчас в некоторых районах стали собирать материалы. Но пока это только разрозненные усилия. Их надо объединить.

Трудно подсказать здесь организационные формы создания истории комсомола, — надо только, чтобы поставлена была работа по-горьковски широко и по-комсомольски энергично. И теперь, в канун сорокалетия ВЛКСМ, самое время ее развернуть. К записи воспоминаний, сбору реликвий и документов должна быть привлечена сама молодежь, старшие школьники, студенты, рабочие; к научному отбору, проверке и обработке материала — квалифицированные историки; к написанию истории — комсомольские пропагандисты и писательские силы. Многое, бесспорно, зависит от инициативы низовых и районных комсомольских организаций.

Напомним, как Ленин в некрологе «Иван Васильевич Бабушкин» обращался к рабочим с просьбой собирать и присылать воспоминания о борьбе с царизмом, дополнительные сведения о Бабушкине и других народных героях. Он сообщал о своем намерении издать брошюру с жизнеописанием этих героев. «Такая брошюра, — писал Ленин в заключение, — будет лучшим чтением для молодых рабочих, которые будут учиться по ней, как надо жить и действовать всякому сознательному рабочему».



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ПОЭЗИЯ БОРЬБЫ

Китай

«Шикань» («Поэзия»),
ежемесячный литературно-художественный журнал. № 1—5, 1958. Год издания 2-й. Пекин. Издательство «Шикань». Главный редактор Цзан Кэ-цзя.

★

«Шикань» — журнал очень молодой, ему «от роду» всего лишь полтора года. Товарищ Мао Цзэ-дун, посылая по просьбе редакции свои стихи разных лет, приветствовал рождение нового журнала такими словами: «Выход в свет журнала «Шикань» — дело очень хорошее. Желаю ему расти и развиваться». И журнал с первых же шагов стал завоевывать сердца своих читателей. О нем можно сказать теперь, что это один из самых популярных журналов в стране. «Шикань» — не только средоточие лучших поэтических сил Китая, но и активнейший пропагандист и популяризатор мировой поэзии, трибуна для лучших достижений китайских переводчиков, школа мастерства художественного перевода.

Но не только это привлекает к «Шикань» китайского читателя — журнал с самого начала занял свое место на переднем крае идеологической борьбы. Он неустанно разоблачает врагов социализма, активно борется за социалистический реализм, против его извратителей и противников.

В последнее время журнал выступил с рядом острых статей, разоблачающих писателей, которые стали на путь ревизионизма, на путь антипартийной борьбы. Он серьезно и глубоко анализировал причины, которые привели этих писателей на враждебную народу позицию. Этому посвящены статьи Тянь Цзяня, Сяо Сюэ, Гун Му, Хун Юн-гу и других. Именно потому, что борьба с ревизионизмом приобрела в наши дни значение огромной важности, мы позволим себе в первую очередь остановиться именно на этой стороне деятельности журнала «Шикань».

Большинство выступлений в последних номерах журнала посвящено Ай Цину — поэту, чье имя и лучшие стихи известны и советскому читателю.

Критик Сяо Сюэ в статье «Вчерашний и сегодняшний день Ай Цина» прослеживает творческий путь поэта, который вместе с литераторами Дин Лин, Фын Сюэ-фыном, Чэнь Ци-ся оказался ныне в лагере правых элементов.

И они и Ай Цин не случайно оказались в этом лагере. Еще в 1942 году, в труднейший для Коммунистической партии период, когда Пограничный район и его центр, город Яньань, находились в кольце блокады и народу и армии пришлось вести войну на два фронта — против гоминдановских реакционеров и против японских захватчиков, когда партия впервые начала движение за упорядочение стиля в работе, без чего немислима была бы будущая победа, писатели Дин Лин, Сяо Цзюнь, Ван Ши-вэй выступали со злопахательскими статьями, пытаясь очернить все, что происходило в колыбели китайской революции — Яньани.

Ай Цин приехал в Яньань в 1941 году. К тому времени он был автором известных стихов и поэм «Даяньхэ — моя кормилица», «К солнцу», «Факел», «Горнист». Его стихи были проникнуты чувством неудовлетворенности жизнью, протестом против угнетения человеческой личности, поэт проклинал «царство тьмы и насилия». Со слезами на глазах писал он — и, нужно сказать, талантливо писал — о «скорби», о «холоде и безмолвии», царящих вокруг. Но когда Ай Цин пытался выразить пафос антияпонской войны, представить прекрасное будущее Китая, тут в его палитре не оказывалось красок и вдохновение покидало его. Пессимизмом, духом безысходности веяло от его стихотворений «Женщина чинит одежду», «Степные просторы», «Север».

«Ай-Цин, — пишет в «Шикань» Сяо Сюэ, — не смог выйти за рамки буржуазного

мировоззрения; даже в его лучших произведениях тех лет сказывается ограниченность и бессилие мелкобуржуазного интеллигента».

Поэзия Ай Цина, лишенная революционного оптимизма, оказалась бескрылой. Ай Цин не был и так и не стал поэтом пролетариата.

Когда Ай Цин приехал в Яньань, партия встретила его радушно, она поверила поэту. Как же Ай Цин оправдал тогда эту веру? Он написал автобиографические стихи «Мой отец», посвященные горечи расставания с отцом-помещиком, и статью «Понимать писателя, уважать писателя».

Он утверждал в этой статье, что партия недостаточно оценила его заслуги, что в ней даже нет людей, способных это сделать. Сам заголовок статьи был насквозь фарисейским, ибо в Освобожденных районах работники литературы и искусства были окружены огромным вниманием и любовью широких масс. Что же касается тезиса «понимать писателя», то в нем сказалось стремление Ай Цина поставить себя «над толпой», причислить себя к «избранникам», к «сверхчеловекам».

Вспоминая об этом периоде жизни Ай Цина, видный китайский поэт Фын Чжи с возмущением рассказывает, как в тяжелейшее время блокады, когда люди испытывали недостаток в предметах самой первой необходимости, Ай Цин, ни с чем не считаясь, требовал издания под его редакцией нового поэтического журнала. Вынужденный отказ со стороны органов революционной власти Ай Цин рассматривал как неуважение лично к нему.

В мае 1942 года в жизни китайских литераторов произошло событие большой важности. ЦК Коммунистической партии созвал совещание по вопросам литературы и искусства. Выступление на совещании товарища Мао Цзэ-дуна послужило серьезным творческим стимулом для всех прогрессивных писателей Китая. Теоретические положения, выдвинутые на яньаньском совещании, и ныне являются основополагающими в деятельности работников литературы и искусства.

В работе совещания принимал участие и Ай Цин. Как он сам говорил, совещание «преобразило» его. И действительно, после совещания Ай Цин создал ряд талантливых стихов о Яньани, несколько произведений посвятил он Советскому Союзу. Но мелкобуржуазная сущность поэта все же брала верх. Слова Ай Цина о том, что «поэзия должна стать оружием пропаганды и воодушевления в революционном деле», о том, что поэт должен быть «трубачом эпохи», в конечном счете остались лишь красивыми словами. «Преображение» Ай Цина не было глубоким и искренним. И это показала жизнь. Ай Цин всячески уходил от современных тем, от вопросов, выдвигаемых жизнью. Он не видит или не хочет видеть пафоса социалистического строительства в Китае. Это его не волнует.

Правда, у Ай Цина есть стихи, в которых он пытается выразить свое отношение к новым героям, к новой действительности. Но стихи эти большей частью бледные, худосочные, беспомощные. Таковы и «Девушка-машинист», и «Хорошо», и некоторые пейзажные стихи. Когда в 1955 году товарищи по перу указывали Ай Цину на это, он в порыве раскаяния признался: «С каждым днем и месяцем я все больше отрывался от жизни». И хотя уже тогда он заявил, что желает «изменить подобное положение», факты говорят о другом.

«Связь с партией, — пишет в той же статье Сяо Сюэ, — идейная вооруженность марксизмом-ленинизмом — вот важнейшее требование к поэзии социалистического реализма. Мы должны, как Маяковский, заявить «моя революция» и отдать ей «всю свою звонкую силу поэта».

Тянь Цзянь в статье «Ай Цин, образумься!» еще и еще раз подчеркивает, что без направляющей мысли партии — будь ты трижды талантлив! — творческая жизнь писателя обречена на затухание.

Заслуживает внимания и статья Хун Юн-гу «Ошибочный путь в творчестве Шао Янь-сяна» (№ 3). Шао Янь-сян, молодой китайский поэт, автор нескольких хороших сборников стихов, таких, как «Пою Пекин», «В далекие края», «Товарищам», за последние два года, став на опасный путь правых элементов в литературе, опубликовал ряд порочных и вредных произведений. В творчестве Шао Янь-сяна последних двух лет преобладают сатирические стихи, что само по себе не может вызвать возражений. Однако, подчеркивает Хун Юн-гу, сатира сатиры рознь. Есть сатира, направленная

против наших врагов. У нее одна цель. А есть сатира, критикующая наши собственные недостатки, и ее цель совершенно иная. Такая сатира должна стать своего рода лекарством для человека, носителя тех или иных недостатков. Однако это оказалось не для всех бесспорной истиной. Правые элементы под маркой «вскрытия теневых сторон» выпустили множество ядовитых стрел, атакуя партию, атакуя социализм, лицемерно называя эти отравленные стрелы «сатирической литературой».

Автор статьи приводит несколько примеров из стихотворений Шао Янь-сяня, свидетельствующих об ошибочной позиции поэта. Если писатель стремится к созданию по-настоящему революционных произведений, заключает свою статью Хун Юн-гу, он прежде всего должен быть сам революционером, должен ни на миг не отрываться от рабочих, крестьян, солдат, должен жить одной с ними жизнью, отдать всего себя делу народа.

Литераторы-ревизионисты выступают против служения литературы и искусства трудящимся и социализму. Они с апломбом утверждают, что-де положения Мао Цзэ-дуна, выдвинутые им на совещании в Яньани, уже устарели, что принципы социалистического реализма необходимо пересмотреть, видоизменить либо вовсе отбросить как негодные. Под широковещательными лозунгами «писать правду», «вторгаться в жизнь» они требуют прежде всего и исключительно «вскрывать теневые стороны жизни», с пеной у рта доказывая, что именно это и есть новый путь в реализме. Они утверждают, что только произведения, вскрывающие теневые стороны жизни, могут быть правдивыми, а произведения, «славящие светлое», всегда «приукрашивают действительность». С их точки зрения, литература и искусство не должны служить интересам широких масс народа; литература и искусство — удел избранных, средство самовыражения писателя.

Вся эта возня не нова. Подобные же речи слышались в кругах польских, югославских и других ревизионистов от литературы. И где бы они ни были, ревизионисты пытаются оторвать литературу и искусство от революционной борьбы, от марксизма, по существу предают интересы рабочего класса и добровольно идут в услужение к буржуазии.

Борьба с правыми элементами в Китае, увенчавшаяся ныне полной победой народа и партии, была, как пишет товарищ Чжоу Ян в статье «Широкая дискуссия на фронте литературы и искусства», опубликованной в газете «Женьминьжибао», «отражением в области литературы и искусства современного этапа борьбы пролетариата и буржуазии в нашей стране...»

Китайские литераторы — писатели, критики, поэты — боролись и борются с правыми элементами и ревизионистами не только путем теоретического разоблачения и разгрома их концепций, но и собственным творчеством.

Со страниц журнала «Шикань» громко и чисто, вдохновенно и оптимистично звучат голоса народных поэтов, поэтов разных стилей, разных творческих манер, поэтов старых и молодых, для которых нет большего счастья, чем служить народу, родине, социализму.

Деятели литературы и искусства глубоко осознали, что самое главное для полного преодоления буржуазной идеологии в области литературы и искусства — это усиление тесной связи между писателями и рабоче-крестьянскими массами. Журнал в первом номере за 1958 год напечатал взволнованную статью заместителя главного редактора Сюй Чи «Поэты тронулись в путь». Да, в путь, а не в обычную творческую командировку, не просто ради «выхода на объект». Поэты столицы решили вместе со своими семьями поселиться в деревнях, в горных и лесных местностях, в скотоводческих районах, в местах строек, чтобы включиться в партийную, административную, хозяйственную работу. Они хотят стать равноправными членами коллективов тружеников, их певцами, их душами. Сюй Чи вспоминает разговор с одним юношей на Юймыньских нефтяных промыслах. Молодой рабочий с гордостью заявил: «У нас есть свой поэт». И показал сборник стихов Ли Цзи и его поэму «Песнь жизни», посвященные нефтяникам Юймыня. Ныне Ли Цзи вновь отправился к дорогим его сердцу друзьям-нефтяникам, и теперь уже надолго. В деревню провинции Хубэй уехал Тянь Цзянь, в провинцию Хэйлуцзян — Янь Чэнь, на новых местах начинают творить поэты-пат-

риоты Юань Чжан-цзин, Цзоу Ди-фань, Вэнь Цзе и многие другие. Сюй Чи выражает надежду, что скоро во всех уголках страны люди с гордостью скажут: «У нас есть свой поэт!» Свою статью автор заканчивает словами: «Поэты уехали. Слушайте их песни!»

Большое значение для дальнейшего роста поэтического творчества, для улучшения всей работы журнала «Шикань» имело решение Союза китайских писателей, опубликованное в журнале «Вэньбао» в конце прошлого года. Это решение касалось работы редакционных коллегий органов СКП, в том числе редколлегии журнала «Шикань». В решении отмечалось, что поэтический фронт расширился, но в стихах еще недостаточно ярко и глубоко отражены дыхание времени, поступь родины, устремившейся вперед. Эти недостатки необходимо преодолеть как можно скорее. Расширить тематику, сделать ее более разнообразной — таково требование рабочих, крестьян, бойцов.

И на страницах журнала «Шикань», как молодые побеги бамбука, стали появляться все новые стихи и песни об удивительных переменах, происходящих на китайской земле. Мы читаем новые стихи о мире поэтов Цзан Кэ-цзя, Сяо Саня, Ван Цзин-чжи, стихи о подъеме в китайской деревне, поэму Го Сяо-чуаня «Хвалебная песнь снегу», о глубини, о революции, о судьбах молодого поколения Китая, стихи Янь И о Баоцзи-Чэндуской железной дороге, участником строительства которой был он сам.

Привлекает внимание своей образностью и силой убежденности цикл стихов поэта Бянь Чжи-линя. Поэт ведет разговор с первыми строителями водохранилища Шисань-лин:

— Чем ты занят? Право, не пойму:
Стук кирки с зари и до зари.
— Я хочу на сотнях тысяч му
Оросить водою пустыри.
И поля в засушливом краю
Из своих ладоней напою.

Особенно хотелось бы отметить два примечательных явления в китайской поэзии наших дней, находящих яркое выражение на страницах журнала «Шикань». Это быстрый, просто стремительный рост молодых поэтических сил из рядов рабочего класса — неоспоримое свидетельство культурной революции в стране!

В четвертом номере журнала опубликовано сто произведений, посвященных трудовым будням рабочего класса Китая, написанных самими рабочими. Пусть несовершенны еще эти стихи, пусть не хватает им профессионального мастерства, но их искренность, их взволнованная приподнятость не могут оставить читателя равнодушным.

Второй раздел журнала озаглавлен «Рабочие говорят о поэзии».

Как должна осуществляться связь поэзии с массами? Какие стихи любит народ? Какие требования предъявляет рабочий класс к поэзии? Сорок три человека высказали свою точку зрения по этим вопросам. Поистине, замечательный литературный диспут!

И не случайно уже в следующем, пятом, номере журнала мы читаем теплые отклики крупнейших китайских писателей — Мао Дуня и Лао Шэ об этой прекрасной ассамблее поэтов. «Большое, радостное событие!» — восклицает Лао Шэ.

Нельзя не отметить и еще одну знаменательную черту в литературной жизни сегодняшнего Китая. Огромный размах приняла работа по собиранию, обработке и публикации произведений народного творчества: песен, поэм, легенд, сказаний. Журнал «Шикань» из номера в номер регулярно знакомит читателей с великолепными образцами народной поэзии. Так, в пятом номере опубликовано шестьдесят народных песен, собранных в различных провинциях Китая.

Вся эта поэтическая жатва — еще один сокрушительный удар по правым и ревизионистам, брюзжащим о подавлении их творческой индивидуальности, о невозможности творить в условиях руководства со стороны партии. Новые успехи китайской поэзии как раз и есть результат животворного влияния Коммунистической партии, крепнущей с каждым днем связи писателя с народом.

В этом отношении весьма показательно творчество поэтов Тянь Цзяня и Цзан Кэ-цзя. Писатель Лю Бай-юй на страницах «Шикань» с чувством радости говорит о творческих успехах выдающегося современного поэта Тянь Цзяня, автора широко известных в Китае сборников стихов об антияпонской войне: «Тем, кто сражается»,

«Возница» и многих других. За последние несколько лет поэт создал ряд значительных произведений, в том числе три поэмы. В последних его стихах явственно слышны песенные интонации. Им присущи мягкий лиризм, задушевность, мудрая простота.

Вот стихотворение «Олень». Поэт вспоминает древнюю легенду об императоре, который выпустил из лука стрелу и приказал там, где она упала, построить город.

Годы шли, сменялись поколенья,
А в степи бескрайней и широкой,
Как и встарь,
одни следы оленьи...

Когда же разбужен был к новой жизни народ, он пришел и построил в степи город стали.

Степь уже покинули олени,
Навсегда из этих мест умчались.
По степи неслись раскаты грома,
О судьбе бегущих не печалься.

Большой любовью пользуется у читателей старейший поэт Китая Цзан Кэ-цзя, редактор журнала «Шикань». Широкий круг его интересов, громко звучит его голос, молодой и темпераментный. Строками своих стихов поэт борется за мир, воспекает советские спутники Земли, славит свой народ, идущий к социализму.

Во втором номере журнала «Шикань» мы читаем его отличное стихотворение «Дует весенний ветер». Весенний ветер — символ великих преобразований, происходящих на китайской земле.

За тысячи лет облысели
Горные склоны,
Но ветер подул весенний —
И вырос покров зеленый.
Засуха шла, люгую,
Творила черное дело.
Ветер водой бинтует
Земли обожженное тело.

Журнал много места уделяет зарубежным поэтам. Здесь можно увидеть переводы стихов Назыма Хикмета, Пабло Неруды, поэтов Индии, египетского поэта Хафиза Ибрахима, Маяковского, Исаковского, Суркова, Симонова, Тычины, Максима Танка, Мирзо Турсун-заде, Венцлова и других.

К 90-летию со дня рождения А. М. Горького журнал в третьем номере напечатал небольшую, но очень интересную статью известного китайского исследователя и переводчика русской литературы Гэ Бао-цюаня «Горький — поэт» и шесть стихотворений Горького в переводе Гэ Бао-цюаня.

Журнал регулярно выступает по вопросам поэтического мастерства. В последнем номере прошлого года он опубликовал статью критика Ань Ци, направленную против многословия, зауми в стихах, поверхностного изображения действительности, против «легкости необыкновенной» в разрешении самых сложных и глубоких жизненных конфликтов. А подобные явления, к сожалению, еще имеют место.

Пять номеров «Шикань», вышедших уже в этом году, свидетельствуют о том, что вопросам теории, поэтического мастерства, вопросам изучения истории китайской поэзии журнал уделяет все больше и больше внимания. Таковы статья Си Нина о творчестве поэта-революционера Инь Фу, одного из первых певцов рабочего класса Китая, погибшего в 1931 году от рук гоминдановских палачей, статья Цзан Кэ-цзя о стихах старейшего деятеля китайской культуры Ван Тун-чжао и некоторые другие.

Журнал внимательно следит за вышедшими в свет новыми книгами, оригинальными и переводными. Интересна статья о первом томе «Избранных произведений» В. В. Маяковского. Автор ее, Цю Цинь, один из переводчиков Маяковского, отмечает, что данное издание стихов поэта отличается от всех предыдущих тем, что здесь все без исключения переводы сделаны с оригинала, тогда как многие старые переводы делались с английского языка и даже с языка эсперанто.

Китайские поэты получили отличную трибуну. «Шикань» — боевой, наступательный журнал. В нем, как в капле воды, отражена поэзия борьбы нового Китая.

Л. ЧЕРКАССКИЙ.

ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА

Индия

«Ная патх» («Новый путь»), ежемесячный журнал на языке хинди. № 1. 1958. Город Лакнау. Издатель Шив Варма. Редакторы Яшпал и Раджив Саксена.

★

Литература хинди — одна из плодоносных ветвей могучего дерева многоязычной индийской литературы. Язык хинди признан сейчас государственным языком Индийской республики. Проблемами развития этой литературы и ее места в жизни индийского народа занимаются многие литературные журналы, издающиеся на языке хинди.

«Ная патх», уже знакомый нашему читателю¹, привлек наше внимание тем, что он дает нам возможность наилучшим образом ознакомиться с важнейшим событием в жизни индийской литературной общественности последнего времени — с конференцией писателей хинди. «Ная патх» посвятил этому специальный номер.

Нам представляется особенно интересным рассказать об этой встрече писателей хинди именно теперь, когда готовится новая, уже международных масштабов, встреча писателей стран Азии и Африки.

Последняя конференция писателей хинди состоялась в 1947 году — в год, когда индийский народ добился освобождения от колониального ига. Инициатором ее была Всеиндийская ассоциация прогрессивных писателей. В обстановке политической напряженности и религиозной розни, порожденной происками английских империалистов, эта встреча, по словам еженедельника «Нью эйдж», «подняла голос за единство писателей во имя служения народу, который только что сбросил с себя ярмо многовекового чужеземного рабства». Однако вскоре организатор этой встречи, Всеиндийская ассоциация прогрессивных писателей, сделавшая немало полезного для развития древней культуры Индии и ее вновь обретенной свободы, фактически перестала существовать. Но и в эти годы забота о развитии и процветании родины, борьба за мир и дружбу между всеми народами по-прежнему были главным делом лучших представителей литературы хинди.

Весь ход событий настойчиво требовал, чтобы писатели хинди встретились снова и обменялись мнениями по важнейшим творческим вопросам. И вот в 1957 году деятели литературы хинди взялись за организацию этой новой встречи. Выдающийся поэт Сумитранандан Пант составил обращение к писателям о созыве конференции в Аллахабаде. Под этим обращением поставили свои подписи такие известные писатели, поэты и критики, как Махадеви Варма, Амрит Лал Нагар, Яшпал, Илачандра Джоши и Хазари Прасад Двivedи. В обращении говорилось: «Предполагаемая конференция писателей хинди созывается отнюдь не по инициативе и под влиянием какой-либо политической доктрины или группировки... Все писатели хинди приглашаются на конференцию, чтобы обменяться мнениями по вопросам творчества и литературной практики. Мы также предполагаем, что на этой конференции будут обсуждены такие вопросы, как развитие литературы после получения свободы, рост сознания писателей в новых политических и общественных условиях, а также личные проблемы, возникшие перед писателями в этих новых условиях».

Но даже несмотря на такие цели и задачи конференции, несмотря на то, что писателям хинди было жизненно необходимо встретиться и обсудить волновавшие их вопросы, нашлись люди, которые приложили все усилия, чтобы сорвать конференцию. Они подняли вопль, что конференция будет «ущемлением творческой свободы» художника, и пытались восстановить против нее отдельных известных писателей. Этим людей в Индии прозвали «американские лобби»². Нам не известно, имеются ли у этих лиц какие-либо прямые связи с американскими империалистическими кругами, но их отношение к созыву конференции настолько противоречило интересам индийских писателей и всего народа, что это прозвище представляется вполне естественным.

Стремление писателей хинди служить своему народу и желание заимствовать

¹ См. «Новый мир» № 3 за 1956 год.

² Lobby (англ.) — в США закулисные дельцы, агенты монополий, «обрабатывающие» в кулуарах путем подкупа конгрессменов в пользу своих хозяев.

друг у друга творческий опыт во имя обогащения национальной литературы и культуры оказались сильнее всех попыток сорвать конференцию. В декабре 1957 года в Аллахабад съехалось более 250 писателей самых различных литературных направлений. Всех их (за небольшим исключением) объединило непреодолимое стремление служить родному народу и для этого совместно обсудить свои насущные проблемы. «Ная патх», рассказывая о подготовке к работе конференции, пишет: «Литературная конференция писателей хинди в Аллахабаде — это венец всех достижений и всей деятельности писателей за последнее десятилетие. Она открывает новую главу в литературе хинди. На этой конференции были представлены различные течения и направления литературы и были заложены основы духовного сотрудничества в области литературного творчества и выполнения общественного долга писателей».

В повестку дня конференции были включены доклады на такие важные темы, как «Национальное развитие и писатель», «Прогресс и традиции», «Проблемы реализма», «Характер критики», «Проблемы оценки новой литературы». На специальных семинарах конференции предполагалось также обсудить вопросы, связанные с развитием отдельных литературных жанров и форм: прозы, поэзии, драматургии, романа и рассказа.

Основное стремление писателей хинди — служить родному народу, трудиться во имя мира и прогресса человечества, — которое объединяло большинство участников встречи и пронизывало их выступления, стало ясным уже с самого начала. Открывая конференцию, Сумитранандан Пант сказал, что писателей хинди связывают узы любви к родине, ее культуре, литературе и прежде всего к ее народу. Развитие и прогресс Индии — общее дело, и многие писатели уже вносят в него свой вклад. Пант подчеркнул необходимость объединиться, чтобы служить человеку и «утолить существующий ныне интеллектуальный голод и неудовлетворенность человека».

Присутствовавшие на конференции в качестве наблюдателей несколько «американских лобби» всячески пытались помешать делегатам обсудить волновавшие их важные вопросы творчества, посеять раздор среди представителей различных литературных направлений. Один из них, так сказать их «лидер», Виджайдев Нараян Сахи, выступил, например, против включения в повестку дня доклада «Национальное развитие и писатель» на том основании, что-де этот вопрос должен обсуждаться в политических кругах, а не на писательской конференции. Но тот же Виджайдев Нараян Сахи и его единомышленники всячески старались навязать участникам конференции обсуждение таких «чисто литературных» вопросов, как «Советский Союз, тоталитарный коммунизм», «Компартия Индии и ее политика» и т. д. Но все эти попытки провалились. Как отмечает в своей статье Пракаш Чандр Гупта, в результате обсуждения доклада «Национальное развитие и писатель» стало ясно, что писатели хинди осознают свою ответственность перед обществом и народом и горят желанием сделать все, что в их силах, чтобы своим творчеством способствовать национальному развитию.

Живой обмен мнений вызвал доклад «Традиции и прогресс».

В индийской печати довольно часто можно встретить такие призывы: современная литература должна, мол, прежде всего следовать традициям прошлого, должна вернуться к формам и сюжетам классической литературы. И в литературной практике нередки случаи слепого преклонения перед традициями и наследием прошлого, даже перед тем, что уже со всей очевидностью отжило свой век. Правда, большинство писателей хинди не следует этим призывам и смело прокладывает новые пути в литературе на основе разумного осмысления и использования духовного наследия индийского народа и достижений литературы других народов мира. В романе «Капли и океан», например, — одном из наиболее значительных произведений литературы хинди за последние десять лет — автор его, Амрит Лал Нагар, устами одного из героев сравнивает духовное наследие индийского народа с большим и прекрасным домом, в котором вместе с драгоценными камнями хранится много мусора. Теперь, когда мы получили свободу и независимость, размышляет герой, нам нужно вычистить этот дом, но так, чтобы не выбросить вместе с мусором и драгоценные камни.

О том, что традиции и прогресс неотделимы друг от друга, говорил видный литератор Б. А. Каусальяян. Они не только не находятся в противоречии, но скорее дополняют и помогают друг другу. Традиции должны развиваться, а прогресс должен указывать направление этого развития. Каусальяян подчеркнул, что в каждую историческую эпоху складывается свое понятие прогрессивного, нового, хотя, конечно, у человечества есть и непреходящие ценности.

Много внимания на конференции в Аллахабаде было уделено вопросам литературной критики и ее роли для развития литературы. С докладами по этим вопросам выступали Намвар Синх, Шивдан Синх Чаухан, Яшпал, Чандрабали Синх и другие. Почти во всех выступлениях звучала тревога по поводу положения в критике.

Видный писатель и литературный деятель Яшпал свое выступление посвятил теме «Место критики в литературе», он указал на важность и большое значение научно обоснованной критики для развития современной литературы, на ее ответственность перед обществом и роль в «освещении путей развития литературы». Он назвал и попытался проанализировать ряд явлений, которые не только не позволяют современной критике хинди «освещать путь развития литературы», но, наоборот, тормозят литературное развитие, порождают неразбериху и путаницу. Особенно резко Яшпал выступил против необъективности некоторых критиков, их неспособности (а может быть, и нежелания) правильно проанализировать и оценить важнейшие процессы, происходящие в современной литературе, творчество того или иного писателя или новое произведение. Он привел примеры, когда у отдельных критиков получилось так, что развитие прозы хинди остановилось на Прем Чанде, а поэзии — на Прасаде, Панте и Нирале.

Яшпал с горечью говорил о духе меркантильности, который все больше и больше, по его мнению, сказывается на характере и направлении литературной критики. Книжный рынок наводнен всякого рода «монографиями», единственная цель которых служить элементарным пособием для сдающих экзамены по истории литературы. В них скороговоркой рассказано о жизни и творчестве того или другого выдающегося писателя, дается краткое изложение его основных произведений. Такие издания пользуются спросом, и издатели предпочитают печатать этот ходкий товар в ущерб хорошим критическим работам и даже романам.

Яшпал осудил тех критиков, которые готовы идти на сделку с собственной совестью только для того, чтобы обеспечить сбыт для книг «своих» писателей. Яшпал безусловно прав — ведь большинство рецензий в таких журналах, как «Пракашан Самачар» и ему подобные, публикуется явно из коммерческих побуждений. Эти журналы принадлежат, как правило, крупнейшим издательствам и играют первостепенную роль в рекламировании их продукции.

Известный критик Чандрабали Синх, выступая на конференции, обратил внимание на то, что некоторые критики утратили в последнее время то, что называется критерием художественности, и готовы выдать за достижение все, что хоть скольконибудь имеет отношение к действительности. Нередко критика объявляет произведения выдающимися лишь за то, что в них писатели пытаются изобразить жизнь простых людей.

Так, очевидно, как нам кажется, получилось и с романом «Дети Варуны» Нагарджуна, который критик Шивдан Синх Чаухан считает одним из лучших романов хинди за 1957 год. А ведь «Дети Варуны» — это всего лишь черновые наброски, сырой материал для будущего романа, а не зрелое произведение. У писателя действительно было благое намерение нарисовать картину жизни рыбаков. Но от желания и верно задуманной темы до ее художественного воплощения — дистанция огромного размера. Само же по себе изображение жизни простых людей для литературы хинди — отнюдь не открытие. На эти темы писали еще Прем Чанд, Нирала, Каушик, Сударшан и многие другие.

Чандрабали Синх отмечал, что именно умения воплотить свой замысел в достойную художественную форму, умения создать образы большой впечатляющей силы согласно специфическим законам искусства и не хватает пока некоторым писателям хинди.

Проза хинди, посвященная жизни индийской деревни, о которой говорил критик Шивпрасад Синх, имеет, по его словам, значительные успехи, но писатели не должны идеализировать жизнь индийской деревни и изображать всех своих героев святыми, наделенными одними добродетелями, как это еще частенько случается. Нужно реалистически изображать происходящие в деревне перемены, борьбу мнений и человеческие отношения. Шивпрасад Синх отметил, что среди писателей, которые пишут о деревне, распространено совершенно неправильное, пренебрежительное отношение к форме произведения. Они считают, что нет необходимости совершенствовать свое мастерство и стиль, так как «для простого народа надо писать вообще без всякого стиля». Шивпрасад Синх показал всю несостоятельность подобных утверждений и призвал писателей совершенствовать свое мастерство, учась у таких великих художников слова, как Чехов и Горький.

Особенно бурные споры разгорелись в связи с обсуждением вопроса об общественном долге писателей и общественной значимости поэзии. Представители так называемой «асоциальной поэтической школы», или, как они сами себя величают, «новой поэзии», — Рагхувир Сахан, Дхармавир Бхатари, Рагхуванш и другие — доказывали, что поэт не несет никакой ответственности перед обществом как художник; что общество «подавляет маленького человека» и его должны взять под свою защиту писатели, что основной целью творчества должны быть «поиски индивидуума, что бы это ни означало» (более точного определения они не давали в силу того, вероятно, что и сами не знают, что это значит!). Что же в этом «нового», оригинального? Это все те же старые разговоры о «чистом искусстве» и бесплодные «поиски индивидуума», к которым уже давно призывают буржуазные идеологи, чтобы отвлечь внимание художников от противоречий, раздирающих буржуазное общество.

Некоторые представители этой, с позволения сказать, «новой поэзии», как отмечает в своей статье Пракаш Чандр Гупта, доказывали, «что обычное познание и восприятие и поэтическое — это две параллельные линии, которые никогда не сойдутся». Один из них даже заявил, что у него «как у поэта нет ни патриотизма, ни любви к обществу». Все это, дескать, имеет отношение к его другой, гражданской жизни.

Разговоры об исключительности, «раздвоенности существа» и абсолютной свободе поэта от каких-либо обязанностей перед обществом возникли отнюдь не на конференции. Их можно было слышать задолго до нее. Укажем хотя бы на выступления журнала «Алочна». Вот, например, статья некоего Малара Виндама Чатурведи (№ 22, 1957). «Кто создает поэзию, как создается поэзия и что создается в поэзии? — вопрошает он и разъясняет: — Если мы сумеем найти правильные ответы на эти три вопроса, мы убедимся, что в поэзии нет и следа общественного». Направление поисков «правильных ответов» здесь ясно с самого начала — это поиски поэзии «без следа общественного»!

В полном соответствии с этой установкой Малар Виндам Чатурведи пишет. «...Поэт — это существо с раздвоенной личностью. С одной стороны, мы видим в нем нормальный человеческий облик, а с другой — поэтический, в котором доминирует творческий дух. Помимо поэтов, в обществе встречаются и другие существа с раздвоенной индивидуальностью, например: философы, политические руководители, обманщики, воры и т. д.». И дальше: «Как человеческое общество в силу специфического образа жизни считает себя отличным от общества других живых существ, точно так же и поэт со своей индивидуальностью держится особняком от всего человеческого общества».

Взаимоотношению литературы и общества посвящена и передовая статья того же номера «Алочна». В ней высказывается прямо противоположная точка зрения: общественная жизнь должна находить свое отражение в литературе, и писатель обязан понимать свой общественный долг. Противоречие? Отнюдь нет, ибо журнал имеет в виду лишь «имеющих уравновешенное мировоззрение» писателей, которые совершенно «безопасны» для литературы и общественной жизни. Вот и получается, что, утверждая, казалось бы, прямо противоположные вещи, журнал, как и выступающие в нем критики, стремится к одному — увести читателя от насущных проблем

современной жизни, таких, как борьба за мир, за освобождение человека от духовного и физического гнета.

Лучшие писатели хинди все чаще и чаще обращаются к противоречиям и контрастам общества, в котором они живут. Индийская общественность высоко оценила романы «Грязное покрывало» Пханишварнатха Рену, «Океан, волны и люди» старейшего прозаика Удайшанкара Бхатта и «Капли и океан» Амрит Лал Нагара. В этих произведениях воссозданы картины жизни различных слоев индийского общества и сделана попытка разрешить (иногда, правда, не совсем удачно) многие вопросы индийской современности.

Лучшие представители литературы хинди были вместе с народом в его трудной борьбе против колониального господства. И сейчас они предпочитают идти вместе с народом, участвовать в его борьбе за укрепление независимой Индии, за разрешение основных проблем, стоящих перед страной, за счастье и мир на всей земле, а не бродить в идеалистических потемках в «поисках индивидуума, что бы это ни означало». Вот почему на конференции в Аллахабаде еще раз был дан решительный отпор всем попыткам представителей «искусства асоциального», «искусства для искусства», увести литературу с пути ее общественного служения.

Сумитранандан Пант, выступая против апологетов поэзии, предпочитающей иметь дело только с внутренним миром человека, заявил, что радость и страдания индивидуума важны, но их нельзя отрывать от общества. «Никто не может жить вне общества. Как птица нуждается в ветке, чтобы свить гнездо,— сказал он под аплодисменты,— так и поэт нуждается в обществе, чтобы создавать свои стихи».

Доктор Хазари Прасад Двivedи, известный критик и поэт, высмеивая разглагольствования о поисках «индивидуума, что бы это ни означало», иронически заметил: «Стоит ли препятствовать кому-либо в этих поисках, если он действительно того желает? В древние времена наши святые и отшельники удалялись в джунгли и горы, когда они считали, что это необходимо для блага человека и общества. Времена изменились, и теперь, если кто-нибудь желает принести пользу человеку или помочь ему в его усилиях возродить самого себя и свою страну, тот должен жить с человеком здесь, в обществе. Тем не менее, если кто-то хочет заниматься только поисками индивидуума, то никакого ущерба для нас не будет, если он последует примеру наших святых отшельников».

Как отмечает журнал «Ная патх», на конференции в Аллахабаде в результате широкого обсуждения было достигнуто единство мнений по наиболее важным вопросам творчества и общественной жизни. И хотя организация, которая объединила бы всех писателей хинди, там создана не была, эта конференция была важным шагом на пути к объединению писателей хинди. На конференции было решено также, что в 1958 году в Бенаресе состоится очередная конференция, где будет продолжено обсуждение важнейших вопросов. Для подготовки ее был избран инициативный комитет, в который вошли представители литературы хинди из различных частей Индии.

Все, о чем говорили, о чем спорили писатели хинди на своей аллахабадской встрече, волнует писателей многих стран Азии и Африки. Пожелаем им, когда они в октябре соберутся в Ташкенте, решить в дружеских спорах эти вопросы, достичь взаимопонимания и творческого контакта.

В. ЯКУНИН.



А. ДЕРМАН

★

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Абрам Борисович Дерман (1880—1952) — литературный критик и литературовед, известный своими работами о Чехове, Горьком, Бунине, Сергееве-Ценском, актере Шенкине и других деятелях русской литературы и искусства, — с особой любовью изучал жизнь и творчество Владимира Галактионовича Короленко, которого хорошо знал лично. Ему принадлежат книги «Писатели из народа и В. Г. Короленко», «Академический инцидент», «Жизнь В. Г. Короленко» и много статей о писателе.

При разборе архива А. Б. Дермана обнаружена неопубликованная рукопись его воспоминаний о Короленко, написанных в 1948 году, которые мы публикуем, в ознаменование исполняющегося в июле этого года столетия со дня рождения выдающегося русского писателя (публикация А. В. Храбровицкого).

С Владимиром Галактионовичем я познакомился в 1902 году. С 1903 по 1907 год я жил в Полтаве и довольно часто с ним встречался. Потом встречи эти происходили реже, при поездках моих в Полтаву, однако знакомство наше не прерывалось до смерти писателя и продолжалось, таким образом, в общей сложности около двадцати лет.

Его отношение ко мне было по-настоящему хорошее, обращение со мной, как и со всеми, простое, прямое и непринужденное. Но мое отношение к нему я не могу назвать простым, особенно же — непринужденным: мне мешала непобедимая робость. Откуда приходила она ко мне при встречах с Короленко, я не мог понять очень долго.

С людьми значительными и даже большими судьба сводила меня не раз, но робости в отношениях с ними я не испытывал — значит, не в этом лежала причина. После смерти Владимира Галактионовича я более года прожил у него в семье, в Полтаве, участвуя в подготовке к печати полного собрания сочинений писателя. Его вдова часто и подолгу беседовала со мной о Владимире Галактионовиче. Уже и тогда я догадывался, а теперь вполне уверен, что нередко она с умыслом знакомила меня с теми или иными страницами жизни Короленко: она знала мою глубокую любовь к нему, знала, что я литератор по профессии, и полагала, что то или другое из ее рассказов уцелеет от забвения. Сама она была до такой степени преувеличенно скромна, что о писании ею каких бы то ни было мемуаров нечего было и думать.

В одну из таких бесед как-то пришлось к слову, и я сказал Авдотье Семеновне вот об этой моей робости. Она была удивлена и несколько огорчена.

— Владимир Галактионович с вниманием всегда о вас говорил... — недоумевала она.

А я не умел ей объяснить, потому что самое ощущение было вполне определенное, а причина неясна.

Теперь, мне кажется, я ее понимаю. При каких бы условиях ни происходили наши встречи: случайно на улице или у него на дому; в обстановке вечеринки для знакомых или в кабинете писателя за его рабочим столом; в веселую или, напротив, в драматическую минуту; когда он работал или отдыхал после работы; когда был спокоен или возбужден; когда был свеж и полон сил или слаб, истощен болезнью,—

все равно: при этих встречах передо мной всякий раз был человек в том состоянии духовного подъема, которое мы привыкли называть вдохновением.

Само собой, что я разумею здесь вдохновение в самом широком смысле слова, включающем в себя узкопрофессиональное, «литературное» значение лишь как один из видов вдохновения.

Таково было и самое первое мое впечатление от Короленко, для которого не могу подобрать другого эпитета, как поразительное.

Я пришел к нему впервые с одним вопросом личного порядка. Дверь отворила высокая девочка в гимназической форме — дочь писателя — и, узнав, что я к Владимиру Галактионовичу, пошла сказать отцу, оставив меня одного. Не прошло и минуты, как за дверью послышались шаги и в комнату словно с разбегу влетел крупный, приземистый человек, с громадной головой на широких плечах, увенчанной обильными кудрями, с большой бородой, с сияющими, как бы чуть влажными карими глазами — самыми прекрасными глазами, какими может обладать человек. И лицо и фигура дышали необычайной жизненной насыщенностью, так и рвавшейся наружу. А я, и без того волновавшийся предстоящим свиданием, заробел от этого напора жизненности.

Из комнаты, откуда вызвали для меня писателя, он унес с собой что-то веселое, радостное, трепетавшее в его глазах. Но когда он увидел меня, заробевшего, лицо его мгновенно преобразилось: улыбка сбежала и в сразу посерьезневших глазах появилось то пронизывающее, яростное внимание, какое с гениальной силой схвачено и передано Репиным в его портрете Короленко — передано в самой позе писателя, столь хорошо знакомой его собеседникам: весь подавшись вперед, он мало сказать — «слушает», он как бы заглатывает то, что ему сообщают, как бы переселяется в душу своего собеседника.

Отвлекаясь в сторону, не могу не добавить еще несколько слов о том же портрете. Дочь Короленко говорила мне, что для самих членов семьи писателя словно что-то по-новому раскрылось в его облике при помощи этого портрета — нечто такое, что они чувствовали, но не вполне отчетливо осознавали.

Возвращаясь к этой интенсивности внимания Короленко, необходимо сказать, что порою она сталкивалась с другой, не менее характерной особенностью его духовного склада, оставившей глубокий след во всем творчестве писателя. Я имею в виду его свойство целиком и безраздельно отдаваться во власть завладевшей им мысли, настроения, стремления к определенной цели и т. п.

Это его свойство мне приходилось наблюдать неоднократно. Оно бросилось мне в глаза уже при третьем или четвертом посещении Короленко. В то время я уже проживал в Полтаве и вступил на стезю «начинающего писателя». К моему первому литературному опыту (в беллетристическом роде) Владимир Галактионович проявил интерес, опубликовал его впоследствии в «Русском богатстве», предложил доставлять ему, если еще что-нибудь напишу, и пригласил приходить к нему запросто.

Вот на это приглашение я и явился к Короленко. В гостиной (она же зала и столовая) я застал у него молодую, очень красивую даму, пришедшую, очевидно, незадолго передо мной, с которой он меня познакомил. Из двух-трех фраз, которыми они обменялись, я понял, что дама привезла ему откуда-то с севера (кажется, из Вологодской губернии) привет, письма и фотографии от каких-то старых друзей или добрых знакомых Владимира Галактионовича.

То, как беседовал и вообще держал себя Владимир Галактионович с этой гостьей, меня очень удивило. Надо сказать, что, как ни свежо было наше знакомство, я уже успел заметить простое, но истинно деликатное обращение писателя с посещавшими его людьми, причем, если это была женщина, у него появлялся какой-то оттенок особенной учтивости, если хотите, галантности в манерах, — несомненные следы воспитания в определенной среде. В данном случае это был визит дамы, любезно выполнявшей поручение каких-то близких Короленко людей. А между тем беседа у них явно не клеилась. Владимир Галактионович ни о чем не расспрашивал, на вопросы отвечал односложно, иногда тяжело вздыхал, фотографии не рассматривал, а лишь перебирал в руках. Когда гостья поднялась, он и попытки не сделал удержать ее и поднялся вслед за ней. Когда, проводив ее, он вернулся в гостиную, у меня как-то само собой вырвалось:

— Вы нездоровы, Владимир Галактионович?

Трудно передать экспрессию благодарности Короленко за этот вопрос.

— Да нет,—воскликнул он, вздохнув с глубоким облегчением и прижимая к груди руки,—я совершенно здоров, но можете себе представить: кончаю рассказ и ничего, ничего не понимаю, не слышу, что мне говорят. Ради бога, простите! Заходите, пожалуйста, всегда буду очень рад, но сейчас я решительно никуда не гожусь!

Это не была та рассеянность, которая составляет необходимую принадлежность классической профессорской биографии. Рассеянностью Короленко ни в малейшей степени не страдал. Напротив, это было нечто ей противоположное — полнейшая сосредоточенность на том, что захватило внимание.

С проявлением у Владимира Галактионовича этой черты я затем встречался не раз; немало рассказывала мне о ней Авдотья Семеновна. Один из таких рассказов я здесь приведу. Случай относился еще к нижегородскому периоду жизни писателя.

Большим праздником в их семье почиталось рождество, потому что в этот день праздновались именины матери Короленко, Эвелины Осиповны, которую Владимир Галактионович нежно любил, да и все любили, кто ее знал. Вечером сошлись гости, сели за стол, завязалась дружная беседа. Авдотья Семеновна, однако, заметила, что Владимир Галактионович какой-то, как она выразилась, отсутствующий и что он очень странно себя ведет: не только почти не принимает участия в общей беседе, но вдобавок еще исчезает время от времени, потом возвращается, чтобы затем снова исчезнуть. Она заподозрила нездоровье, но решила свое подозрение проверить: выждав, когда Владимир Галактионович собрался исчезнуть, она незаметно проскользнула вслед за ним.

В их квартире был длинный коридор, в дальнем конце которого висела под самым потолком керосиновая лампочка. Авдотья Семеновна увидела, как Владимир Галактионович прошел туда, взял с полки какую-то книгу и, став под лампочкой, принялся читать. Тут-то и был он захвачен врасплох. Оказалось, что с утра он начал читать... и не успел кончить к приходу гостей. И теперь эти недочитанные страницы, словно заноза, мешали ему свободно отдаться семейному празднику!

Как уже было выше указано, эта особенность в духовном складе Короленко оставила глубокий след в его деятельности. Поскольку я здесь пишу воспоминания, а не характеристику писателя по источникам, ограничусь лишь самым схематическим наброском данной темы.

Я думаю, что у Короленко это свойство безраздельной самоотдачи какой-то одной мысли, одной цели, одному стремлению было своего рода инстинктом самосохранения, без которого он при своей внимательности к людям и отзывчивости был бы вообще лишен возможности быть писателем. Поглощая его духовную энергию почти без остатка, текущая работа тем самым сохраняла ее от рассеяния, воздвигала преграду против ежедневного вторжения для всего иного, для отвлечения в сторону.

Надо лишь сказать, что действие этого инстинкта было далеко не безгранично, что под напором отзывчивости писателя этот инстинкт самосохранения художника в конце концов сдавал. Общеизвестно, что вышеуказанного рода вторжения составляют в творческой биографии Короленко наиболее характеристическую особенность. Общеизвестно, что он оставил после себя десятки незавершенных произведений, то оборванных в середине, то почти доведенных до конца; что произведение, которое он считал делом своей жизни, — «Историю моего современника» — он также довел едва ли до середины замысла, хотя работал над ним, с большими, правда, перерывами, около двадцати лет.

Я даже думаю, что тот жанр, который стал господствующим в творческом наследии Короленко и который обязан ему огромным обогащением и глубокой разработкой, явился своего рода равнодействующей двух сил: творческой потребности взыскательного и строгого художника и исключительной отзывчивости публициста. Этот жанр, который можно определить как подлинно художественное изображение точно фактической действительности, давал о себе знать в творчестве Короленко начиная с 90-х годов. Достаточно назвать такую его книгу, как «В голодный год», особенно же высокохудожественные, но строго точные со стороны фактической «Павловские очерки». А в «Истории моего современника» этот жанр получил уже полное господ-

ство в литературной деятельности Короленко. При этом необходимо самым резким образом подчеркнуть, что, говоря о равнодействующей двух сил, мы имеем в виду силы равного напряжения.

Взгляд на Короленко как на писателя, в творчестве которого требования художника имели лишь служебное и подчиненное значение для публицистических целей, — не более как старое заблуждение, живучее в силу того, что явление это само по себе встречается довольно часто. Но если дать себе труд углубиться в факты, то на бесконечной веренице примеров мы убедимся, что Короленко ни как автор в отношении своих собственных произведений, ни как редактор в отношении чужих произведений не поступал строгими требованиями художника.

В этом мне как начинающему писателю пришлось убедиться сначала по линии редакторской деятельности Короленко, которую я не могу назвать иначе, как очень суровой. Отзывы свои о рукописях — кто бы ни был автор — он решительно ни в чем не смягчал ни в отношении содержания, ни в отношении формы, и они нередко бывали чрезвычайно резки. Когда на один такой его резкий отзыв о моей рукописи я отозвался пессимистическим письмом и выразил сомнение в целесообразности с моей стороны дальнейших литературных попыток, Владимир Галактионович тотчас ответил, что своих отзывов он принципиально не смягчает, особенно если речь идет об авторе, на которого он возлагает известные надежды. Это последнее замечание я счел за простое утешение. Но впоследствии я убедился в своей ошибке: работая в архиве Короленко, я обнаружил десятки подтверждений именно такой практики писателя.

Никакие сторонние соображения, никакие ссылки на тяжкие обстоятельства не в состоянии были поколебать его и заставить покривить душой при оценке произведения. Нередко бывали случаи, когда автору, указывавшему, что он находится в безвыходном положении и что все его надежды связаны с судьбой рукописи, Короленко посылал денежную помощь и тут же возвращал рукопись, указывая при этом, что, решая судьбу рукописи, он не может выступать из рамок чисто литературной ее оценки.

Были даже случаи, когда авторы, посылая рукопись, заявляли, что они ставят на карту свою жизнь: если вещь будет отвергнута, это равносильно смертному приговору ее автору.

В одном подобном случае, о котором рассказал мне Владимир Галактионович, получилась сложная ситуация: рукопись, которая пришла без сопроводительного письма, Короленко прочел и послал автору положительный о ней отзыв (кажется, с указанием на необходимость доработки произведения). А когда письмо его было уже отослано, получилось письмо от автора, где он сообщал, что в случае отклонения рукописи он покончит с собой. Тотчас же Короленко написал автору вторично, где указывал, что, получи он письмо с угрозой самоубийства вместе с рукописью, он вернул бы ее автору, не читая, потому что давать отзыв о произведении под давлением подобного рода угрозы невозможно.

Поучительны бывали устные беседы Короленко с авторами. Возвращая одному автору его произведение, Владимир Галактионович указал на важнейший минус: неправдоподобно. Автор горячо протестовал.

— Владимир Галактионович! — воскликнул он обиженно. — Ну как вы можете это говорить, когда я честным словом вас заверяю, что списал с натуры все точно, как было.

Разговор происходил в гостиной Короленко, под висевшим на стене большим портретом Владимира Галактионовича.

— Посмотрите, — сказал писатель, чуть-чуть усмехаясь одним глазом, — это портрет с натуры. Его писал с меня известный художник Ярошенко. Правда, неплохой портрет? А теперь на минуту вообразите, что не Ярошенко с меня, а я с Ярошенко написал портрет. Это тоже был бы портрет с натуры. Но боюсь, что он был бы гораздо хуже написан. Как вы полагаете?

Автор рассмеялся и примирительно махнул рукой.

В его отношениях с писателями-самоучками была строгая система, складывавшаяся долгие годы и глубоко продуманная. О ней я говорил подробно в своей книге «Писатели из народа и В. Г. Короленко» и повторять здесь не буду. Отмечу лишь, что

в основе этой системы лежало глубокое участие к этим писателям и громадное чувство ответственности за их судьбу. Настоящее негодование вызывало в нем безоглядное и безответственное поощрение и захваливание начинающих писателей (писателей из культурной среды также, но особенно писателей из народа), которое, по его наблюдениям, порой разбивало жизнь людям, толкая их на путь ложного призвания со всеми драматическими его последствиями. Обладая громадной памятью, он в беседах о таких писателях нередко цитировал примеры литературной беспомощности из присылаемых ему рукописей, часто очень смешные, вызывавшие смех у слушателей. Смеялся и сам Короленко, но почти всегда смех его был пополам с грустью.

Но что вызывало в этом деликатнейшем из людей резкое и нескрываемое раздражение — это проявление неряшества, лени в литературной работе. Этого он не прощал.

Помню один эпизод из данной области, о котором он мне сам рассказал. Знакомая писательница, поэтесса, стихи которой уже появлялись в «Русском богатстве», принесла Владимиру Галактионовичу, как редактору последнего, большое стихотворение.

— Взял я листок, — передавал Короленко, — взглянул: бумага помятая, какие-то пятна... Развернул — помарки, что-то сбоку прилепила, что-то перечеркнула и написала «надо». — Возьмите, — говорю, — вашу рукопись, стихотворение не будет напечатано. Она усталилась на меня удивленно. «Почему?» — говорит. — Потому, что оно плохое. «Позвольте, Владимир Галактионович, но ведь вы же его не прочли!» — И не стану читать: оно не может быть хорошим, вы его писали без любви, неряшливо. Нет, нет, я не стану его печатать. Литературное произведение, сделанное без любви, хорошим быть не может.

Он осуждал небрежный, неразборчивый почерк у авторов, видя в этом неуважение и к труду наборщика и к своему произведению. В его письмах к начинающим писателям не редкость встретить жалобу на этот грех и указания, что такой почерк мешает воспринять художественную вещь, рассеивает впечатление, притупляет чувство непосредственности при чтении. Вспоминаю одно такое письмо к молодой девушке, где Владимир Галактионович давал рисунки «изувеченных» ею букв. Сам он — редчайшая черта в писательской биографии — в молодости писал менее разборчивым почерком, чем в пожилом возрасте и в старости, и мы, работая в его архиве, если приходилось устанавливать дату рукописи, безошибочно относили ее к раннему или позднему времени по этому признаку меньшей или большей разборчивости.

Вообще область литературного творчества как трудового процесса была им продумана и разработана до мельчайших деталей и в личной практике организована до подлинного совершенства, что и давало ему возможность выполнять поистине необозримое количество работы. Он состоял в сношениях с сотнями, если не с тысячами людей, но о каждом из них он мог в любую минуту навести справку в своем собственном архиве и напомнить себе обо всех предшествующих этапах своих отношений с данным лицом. На все получаемые письма он обязательно отвечал собственноручно, причем никогда его ответ не страдал казенным лаконизмом, вроде: «Ваша рукопись не подходит для журнала» и т. п. Почти всегда, — чего бы письмо, обращенное к Владимиру Галактионовичу, ни касалось, — он отвечал не только сообщением своего решения по тому или иному вопросу или просьбе, но и мотивировкой решения. А в иных случаях, если речь шла о присланном произведении, эта мотивировка решения разрасталась в краткую критическую статью. Таковы, кстати сказать, и все без исключения отклики Владимира Галактионовича на те рукописи, которые я ему посылал: очень прямо, очень сурово и непременно мотивировано. Добавлю: помимо мотивировки своего решения в письме к автору, он заносил ее кратко в свою рабочую редакторскую тетрадь. Получив от автора рукопись, он таким образом мог просмотреть рисунок его предшествующей работы по записям в своей тетради и составить суждение о том, растет ли он или остается на месте.

Азбукой писательского труда он считал умение наблюдать окружающую жизнь, и можно сказать, что редкая беседа его с автором — личная или письменная, заочная, — обходилась без указания на необходимость развивать в себе способность наблюдения. Не менее важное значение придавал он упорству в процессе обработки произведения. Вспоминаю выражение, когда мы беседовали по этому предмету: «Слово — что дикий

конь: его надо обуздать!» Сам он, как я впоследствии убедился, изучая его рукописи, работал с поразительным упорством. Пять, шесть, семь вариантов какого-либо произведения или отдельной его главы — обычное явление в его творческой практике, причем в иных случаях в двух смежных вариантах отличия весьма малочисленны, на первый взгляд — несущественны, и это свидетельствует о том, конечно, что достигнутый результат в целом уже удовлетворял писателя и что он кропотливо, упорно шлифовал детали, обуздывал «дикого коня».

...Он был боец по натуре, к учению о непротавлении злу насиллем он относился враждебно, полемизировал с ним и в своем художественном творчестве («Сказание о Флоре...»). Он знал, что такое гнев и ярость. В 1919 году к нему в дом явились налетчики и, угрожая оружием, потребовали выдать хранившиеся там деньги, принадлежавшие Лиге спасения детей, почетным председателем которой был Владимир Галактионович. Меньше всего, вероятно, налетчики ожидали, что этот большой старик бросится с голыми руками на одного из них! Явно опешив, они, выстрелив и промахнувшись, кинулись наутек, а Короленко за ними вдогонку. Его дневниковая запись об этом инциденте дышит глубоким удовлетворением не только потому, что удалось сохранить «детские деньги», но и тем, что никто из его семьи не выказал овечьей трусости, не поддался панике, что насильникам был дан отпор. Лично мне пришлось однажды видеть его в гневе — в октябрьские дни 1905 года, когда черносотенные элементы пытались учинить в Полтаве погром. Я помню речь писателя в городской думе, в которой он призывал встать перед насильниками и не дать в обиду безоружных. И я помню это пламя гнева на его прекрасном лице с выражением глубокой печали.

Нет, это не был «добрый дедушка» из детской сказки. Но это был человек, никогда ни к кому не относившийся с равнодушным безразличием. Человека, относительно которого было бы возможно сказать, что он не имеет права претендовать на внимание со стороны Короленко, я себе представить не могу и думаю, что такого человека не было. Иное дело — колорит этого «внимания»: к одним он мог относиться с самоотверженной любовью, к другим — с глубокой враждебностью, но пройти мимо человека, не уделить ему внимания, проявить к нему равнодушие — этого быть не могло.

Противник не переставал быть для него человеком. Его любимый девиз был: мужество в бою, великодушие к побежденному. Литературный противник точно так же сохранял в представлении Короленко определенные права. Прежде всего, конечно, это требование точности в фактах, когда дело касалось обличения кого-либо в чем-либо. Владимир Галактионович гордился тем, что за все время своей литературной деятельности, в составе которой было весьма много всякого рода обличений, ему ни разу не пришлось вносить какие-либо исправления в фактическое обоснование своего обвинения. Затем о форме и тоне обличительных статей. Брань в этих случаях претила ему. Молодым литераторам — и мне в том числе — он говорил: резкая, отчетливая мысль лучше действует, чем резкое слово, а часто резкое слово заменяет в сущности расплывчатую мысль. Сам он оставил поистине классические образцы страстных обличений без резких слов: достаточно напомнить его «Открытое письмо к Филонову» или статьи, связанные с Мултанским делом, книгу «Бытовое явление» и т. д.

В молодости я питал склонность к задорной полемике. Не скажу, чтобы Владимир Галактионович удерживал меня от этого. Мне даже казалось, что ему это нравилось. Но и тут у него были характерные «короленковские» правила, касавшиеся тона. Не то чтобы он их навязывал, этого он вообще избегал. Он лишь указывал, как сам он в подобных случаях поступает. Он говорил: когда я пишу полемическую статью, то стараюсь мысленно представить, что лично беседую со своим противником. Если воображение мне подсказывает, что я в беседе употребляю те выражения, которые употребил в статье, — я их в ней оставляю; если же чувствую, что в беседе я бы их смягчил, — я смягчаю их и в статье.

Своим авторитетом писателя он дорожил как общественной ценностью и охотно пускал его в ход, если речь шла о поддержке чего-либо справедливого, нужного, полезного. Но в сфере чисто личного обихода он никогда не прибегал к помощи веса своего имени. Между прочим, его друзьям только потому и удалось убедить его согласиться на празднование своего 50-летия, что этому был придан характер общественного чество-

вания определенных политических принципов. Так это было и в последующие юбилейные чествования Короленко — по случаю 60-летия, потом 65-летия. Но и в этих случаях он резко накладывал veto, как только чувствовал привкус искусственного подогрева в юбилейных приготовлениях. Случайно мне довелось в 1913 году быть свидетелем характерной сценки в этом смысле. Я сидел у него наверху, в светелке дачи в Хатках, служившей писателю рабочим кабинетом, когда принесли почту. Мы стали просматривать полученные газеты, как вдруг Владимир Галактионович побагровел и, стукнув по столу кулаком, отбросил от себя газету с возгласом:

— Черта с два!

Оказывается, газета сообщала, что на предстоящее празднование 60-летия со дня рождения писателя Короленко приглашены в Петербург такие-то, такие-то писатели из-за границы. Почему-то особенно возмутило Владимира Галактионовича приглашение Анатоля Франса.

— Ну что ж такого? — сказал я. — Вас переводят, любят..

— Оставьте, пожалуйста, — прервал он меня. — Знаю я эти штуки: накинут на старика петлю и потащат из Парижа в Петербург справлять юбилей писателя Короленко, которого он ни строки не прочел... Я понимаю, если б речь шла о Толстом, а мы... Не-е-ет, черта с два!

Я думаю, что в этом эпизоде проявилась не только глубокая скромность, но и гордость Короленко: он отказывался принимать воздаяния выше своих заслуг, и это была скромность; но попытка раздуть его славу вызвала в нем возмущение, и это была гордость, это был протест чувства собственного достоинства. Сочетание этих двух черт всегда в нем чувствовалось.

Тот, кто не понимал в нем этого сочетания, становился порою жертвой заблуждения в оценке поведения Короленко. В одной книге, например, где описывалось свидание его со Львом Толстым, автор, бывший очевидцем этого свидания, с некоторым недоумением отметил, что Короленко держал себя с Толстым очень почтительно, но в то же время вполне независимо, высказывался совершенно свободно и вообще оставался самим собой. Между тем обычно рассказчик наблюдал противоположное: новый человек при свидании с Толстым как бы попадал в плен его духовной мощи. Автор книги склонен был объяснить это тем, что Короленко недостаточно проникся величием Толстого.

Достаточно, однако, прочесть то, что писал Короленко о Льве Николаевиче, чтобы увидеть, как глубоко заблуждается автор книги. Отношение его к Толстому, при всем расхождении с философским учением последнего, нельзя назвать иначе, как преклонением. Но даже в малейшей степени он при этом не утрачивал ощущения своей собственной личности, не растворялся в Толстом. Это было «преклонение» в кавычках, метафорическое, а не подлинное; восторгаясь и восхищаясь, он сохранял при себе всю свою критическую трезвость. Ее я чувствовал в беседах с Короленко всегда, о ком бы эти беседы ни происходили.

Что-то свежее, подкупающее было во внешних формах его обращения с людьми, но в чем оно заключалось, трудно было сразу определить. Только после долгого знакомства я понял, что это исходило от необыкновенно естественного демократизма писателя. Вообще говоря, в его обращении с разного рода людьми такие вещи, как положение, происхождение, знатность, чины, бедность или богатство и т. д., почти не играли роли. Говорю «почти», потому что легкая отрицательная сдержанность у него все-таки замечалась, если перед ним был то, что называется «сильный мира сего». Но различия в обращении Короленко с писателем или с мужиком из деревни, с политическим деятелем или с извозчиком не было совершенно. Его почти не было и в обращении со взрослым или со школьником. Со всеми он был одинаково прост и внимателен. Помню, стояли мы с ним раз в Хатках на высоком берегу Псла, когда подошла кучка ребятишек. Были тут и местные, деревенские, и дети дачников. Белобрысая девчонка лет шести или семи, Надежка, как ее называли ребята, некрасивая и, правду сказать, с мокрым носиком, почему-то привлекла внимание Владимира Галактионовича — может быть, понравилась ему своей бойкостью. Он бросил шутку по ее адресу, она ловко подхватила, между ними завязалась игра: она укрылась за деревом, а он стал подкрады-

ваться, чтобы поймать ее. Однако Надежка ловко увертывалась и дразнила своего партнера. Потом девочка присоединилась к ребятам, а Владимир Галактионович продолжал смотреть на нее. На лице его лежала полная любви мягкая, нежная ласка. Он любовался этой сопливенькой Надежкой, как отец своим ребенком. И вот тридцать пять лет прошло с того дня, я пытаюсь неуклюжими словами передать эту сцену — цветения человеческого сердца, равного которому я не знал, и чувствую свое бессилье..

Вспоминаю встречу Нового года в доме Короленко. Владимир Галактионович был весел, много шутил. Когда приблизилась полночь, гости стали вынимать часы. Как всегда в таких случаях, получился разнобой: у того без трех минут, у другого без минуты и т. д. Владимир Галактионович вынул из кармана свои и сказал:

— Нет уж, давайте по хозяйским.

Помахав часами-луковицей, он добавил с усмешкой:

— Жениховские. От Авдотьи Семеновны подарок, когда невестой была.. Ведь вот — глупая рыба и на худую наживку идет.

Наступила минута, начались поздравления, тосты, взаимные приветствия. Потом вижу: Владимир Галактионович взял свою рюмку, наполнил другую и, подойдя к домашней работнице, протянул ей.

Мне не слышно было их разговора, но его нетрудно было читать на их лицах: женщина с какой-то благодарной надеждой смотрела Владимиру Галактионовичу в лицо, а он что-то внушал ей — твердо, спокойно. И было видно, что речь идет о чем-то серьезном для нее и трудном, и он это понимает и ее в чем-то поддерживает, укрепляет. Потом она растроганно улыбнулась — всем, всем лицом, — подняла рюмку, и они чокнулись.

...Борьба была его подлинной стихией. Та репутация заступника за несправедливо обиженных, с которой он вошел в историю, будет существенно неполна, если мы не учтем своеобразия форм его заступничества. Конечно, бывали случаи, когда «подзащитный» Владимира Галактионовича был силою вещей обречен на пассивное ожидание результатов усилий и хлопот своего заступника. И Короленко, разумеется, радовался, если эти усилия увенчивались успехом. Но я уверен, что подлинным торжеством бывали для него случаи иного порядка, когда ему удавалось вдохнуть мужество в сердце угнетенного человека, помочь ему разогнуться под бременем причиненной несправедливости и самому вступить на путь борьбы с обидчиком. Для Короленко это было равнозначаше второму рождению, полному преобразению человека.

Я помню необычайно выразительные в этом отношении перипетии знаменитой истории с истязателем крестьян Филоновым. Это дело протекало у меня на глазах с самого начала до конца, потому что я в ту пору был постоянным работником в газете «Полтавщина», куда первоначально стекались сообщения о зверствах Филонова и где затем появилось знаменитое открытое письмо к нему Короленко. Не будет преувеличением сказать, что он горел на этом деле — горел даже физически. Он похудел, черты его широкого лица обострились, выражение гневной скорби не сходило с него. После появления письма он с нетерпением ждал и, скажу, жаждал привлечения его как автора письма к суду. Из села, на которое Филонов обрушил свою свирепую экзекуцию, к Короленко являлись и потерпевшие и сторонние люди с предложением выступить свидетелями, если его будут судить, с обещанием говорить всю правду, несмотря ни на какие угрозы. Короленко предвкушал открытую борьбу поверженных и запуганных людей за свои права, за свое поруганное человеческое достоинство, он предвидел широкие и плодотворные отголоски этой борьбы по всей стране.

И вдруг всему этому положил конец выстрел террориста, убившего Филонова и, по сути дела, облагодетельствовавшего высшую губернскую администрацию, загнанную было в тупик письмом Короленко. Сразу Филонов из преступника, с которым администрация не знала как поступить, превратился в «верного царского слугу», ставшего жертвой своего служебного усердия, а его неумолимый и страстный обличитель — в подстрекателя к «убийству из-за угла».

Тотчас после убийства Филонова мне не довелось видеть Владимира Галактионовича, потому что по настоянию друзей он был вынужден уехать на время из Полтавы, где обнаглевшие черносотенцы совершенно открыто угрожали его жизни. Но даже

много позднее, когда он вернулся в Полтаву, глубочайшая скорбь прозвучала в его словах, когда мы, увидевшись, заговорили о филоновской истории.

— Да, сотни людей лежали ниц на земле, как растоптанные, а потом поднялись, готовились бороться, отстаивать свою честь... И вот со стороны пришел дядя, пальнул из пистолета, и поезжайте поглядите: все смолкло, протесты утихли, люди попрятались по углам...

Борец сказывался в нем и в том, что всякая паника вызывала у него чувство, близкое к презрению, а страха за себя он просто не знал. Помню, как однажды глубокой осенью, поздно вечером, когда у Короленко сидели обычные посетители его суббот, с улицы раздались крики: «Караул!», «Спасите!» В то же мгновение Владимир Галактионович, как стоял, без слов кинулся в коридор и оттуда на непроглядно темную улицу, причем кинулся с такой быстротой, что в первую минуту за ним никто не успел последовать. Это был просто естественный рефлекс, которому не предшествуют никакие колебания, раздумья. Вскоре он вернулся — с ног до головы весь в жидкой грязи! Младшая дочь писателя, гимназистка, расхохоталась, взглянув на его измазанное лицо, на что Владимир Галактионович с веселой укоризной огрызнулся в ее сторону:

— Над старым отцом издеваешься!

Тогда и все кругом засмеялись. А в общем разыгралась веселая сценка, и едва ли кто тогда подумал, что как-никак, а Владимир Галактионович кинулся куда-то навстречу ночному происшествию, характер которого мог обернуться совершенно по-иному.

Мои встречи с Владимиром Галактионовичем становились с течением времени все чаще, но в 1907 году я был подвергнут административной высылке из Полтавской губернии, и общение с Короленко таким образом было у меня прервано. Однако незадолго до высылки мне довелось вынести одно из наиболее глубоких впечатлений от Владимира Галактионовича.

Это было летом. Я работал тогда в редакции полтавской газеты, название которой не раз менялось и потому позабылось. В редакции приходилось засиживаться допоздна в ожидании поступающего материала.

Однажды, в субботу, репортер принес мне поздно вечером информацию о заседании военно-полевого суда, вынесшего обвиняемому смертный приговор. В Полтаве это было начало деятельности столыпинской военно-полевой юстиции. Прямо из редакции я, несмотря на поздний час, отправился к Короленко, у которого, как я уже указывал, по субботам собирались знакомые.

Еще из передней я услышал звонкий голос хозяина, что-то рассказывавшего с веселым смехом, а когда я вошел в гостиную, все многолюдное общество хохотало, а Владимир Галактионович весело сиял глазами. Не успел я поздороваться, как Владимир Галактионович, знавший, что я из редакции, воскликнул:

— А-а! Ну-ка, ну-ка, какие новости? Выкладывайте!

Было мгновение замешательства, потом, делать нечего, я сообщил о приговоре. Короленко отшатнулся на спинку стула так, как если бы ему был внезапно нанесен удар кулаком в грудь. И сразу стало тихо. Потом он сказал:

— Неужели и у нас это будет?

Перед нами был другой человек, и все мы это почувствовали и поняли, что сейчас при нем попросту невозможно заговорить о чем-либо постороннем, но и о том, что сию минуту грозным током пронзило его, тоже нет нужных слов. И когда поднялся один, за ним последовали и остальные, и мы разошлись.

Вскоре мне пришлось уехать. Изредка до меня доходили слухи, что Короленко собирает материалы для работы о столыпинской эпидемии казней, и сам я тоже послал ему однажды такие материалы из Крыма, где я поселился. А когда затем появилась серия его статей «Бытовое явление», у меня осталось такое чувство — конечно, обманчивое, — что первое зерно этой мучительной работы было суждено именно мне бросить в его великое сердце, всегда раскрытое для человеческих трагедий.

Мне доводилось при посещении дома Короленко встречаться у него с людьми самыми разнообразными. Иногда, но далеко не часто, бывало, при этом замечаешь, что присутствие «знаменитости» словно лишало человека простоты и естественности.

что он старается казаться умнее, интереснее, лучше, чем он есть,— и, конечно, становится при этом хуже себя обычного. Несравненно чаще, однако, наблюдалось иное: человек действительно становился в присутствии Короленко духовно краше, лучше, значительнее, подымался на какую-то высшую ступень.

Был однажды такой случай. К известному в то время профессору литературы Батюшкову, редактору журнала «Мир божий», пришел писатель К. в очень нетрезвом состоянии и в буйном настроении. Мягкий и деликатнейший Ф. Д. Батюшков всячески старался его умиротворить, чем-нибудь занять и т. д., но все было тщетно: К. становился все агрессивнее, оскорбил бывших у Батюшкова гостей, бранился, угрожал, требовал вина и вообще вел себя крайне непристойно.

— Знаете что? — неожиданно обратился Батюшков к К.-у.— Поедемте сейчас к Короленко.

К. застыл на мгновение, задумался, потом решительно тряхнул головой.

— Идет. Едем!

— Что вы делаете,— улучив удобную минуту, в ужасе шепнул Батюшкову один из его гостей,— ведь он там наскандалит!

— Я знаю, что делаю,— твердо возразил тот.

На другой день, встретясь с этим человеком, он рассказывал, что К. до такой степени овладел собой и преобразился в доме Короленко, что, кроме него, Батюшкова, никто, вероятно, и не заметил, что он пьян. Он был внимателен, деликатен, не только с интересом слушал рассказы Короленко, но и сам живо, умно, колоритно передавал различные эпизоды своей разнообразной, бурной жизни.

..И тут я должен вернуться к тому, с чего я начал свои воспоминания о Владимире Галактионовиче. Мне кажется, что и моя странная робость в его присутствии, и это преобразование буйного К., и то поднятие на высшую ступень почти каждого человека, входившего в соприкосновение с Короленко, о чем я выше говорил, — я думаю, что все это были лишь различной формы реакции на одно и то же: на присутствие человека, находящегося постоянно в полной мобилизации своей духовной личности.

Я стремлюсь здесь найти наиболее точное выражение для своей мысли, чтобы не ввести читателя в заблуждение. Речь идет здесь о чем-то бесконечно далеком какой-либо риторике, какому-либо приподнятому пафосу или чему бы то ни было в этом роде. Нет, мы просто видели перед собой человека, в повседневном и повсечасном жизненном обиходе которого начисто исключены обывательские будни, их мелочные интересы, жалкие цели, ничтожные соображения, пошлые мысли — все то, что уходит от человека, когда его посещает вдохновение. Владимир Галактионович постоянно находился в состоянии морального вдохновения. А то, что при этом он был сама простота и безыскусственность, шутил, ворчал, смеялся, сердился, отдавался текущей повседневной озабоченности, не только не ослабляло впечатления от этого необычного явления, но, напротив, усиливало его покоряющий характер, подчеркивая бессилие будней над ним.

В последний раз я виделся с Короленко в 1918 году в Полтаве, куда я дважды приезжал специально затем, чтобы привлечь его к участию в литературном сборнике, затевавшемся в Крыму. Полтава в то время входила в территорию, находившуюся под гетманской властью, с которой Короленко открыто не ладил.

Первый раз я с трудом нашел пристанище в какой-то жалкой гостинице, где меня обокрали. Во второй приезд Короленко оставил меня у себя.

...Весь день прошел в беседе о текущих великих событиях, потрясавших страну. Короленко был настроен серьезно, но бодро. За сравнительно небольшой промежуток времени между двумя моими посещениями его тогда еще не вполне установленная болезнь сделала явные успехи: он как-то побелел с лица, оно мне показалось несколько одутловатым. Суровее стали условия жизни. В квартире было холодно, хотя на дворе стояла еще осень, лишь начинало по ночам морозить. Когда я попросил у Владимира Галактионовича рукопись приготовленного тома «Истории моего современника», чтобы почитать ее в постели, он сказал: «Озябнете читать», однако рукопись дал, но укрыл меня поверх одеяла тулупом. И опять, с сомнением покачав головой, сказал:

— Озябнете.

Я долго читал. В доме наступила тишина. Наконец и я загасил свет. Но не успел заснуть, как услышал крадущиеся шаги, остановившиеся у дверей моей комнаты. Тогда я притворился спящим и стал прислушиваться. За дверью происходила какая-то чрезвычайно осторожная возня...

Вскоре я понял: не видя света в моей комнате и полагая, что я заснул, Владимир Галактионович, надев валенки или мягкие туфли, затопил печь, чтобы к утру мне не озябнуть. От печи ли или от ласки этого редкого человека, только мне не было холодно в ту ночь...

Утром, после завтрака, Короленко пошел меня проводить. Времени было достаточно, и мы еще зашли на горку, откуда хорошо открывается живописная Полтава. Постояли, помолчали. Потом обнялись — и разошлись в разные стороны...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Михаил Светлов. Первая книга молодого поэта.— **И. Питляр.** Испытание временем.— **Л. Михайлова.** В поисках неведомых сокровищ.— **Т. Трифонова.** Хозяева жизни.— **В. Блок.** Живой Вахтанго.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Середа. Дружба, скрепленная кровью.— Кандидат исторических наук
В. Попов. Американская петля над Азией.— Кандидат юридических наук
А. Спекторов. В странах Арабского Востока — Кандидат филологических наук
З. Гершкович. Прошлое русской периодической печати.

Литература и искусство

Первая книга молодого поэта

Для невнимательного взора
Природа Севера бедна.
Но разве беден лес, который
Доверил снегу семена?

Читая эти стихи Валентина Берестова, я чувствую, что моя семья расширяется. Семья художников, семья людей, очень любящих человечество. Задача поэта — стать близким людям. В. Берестов еще юноша, но он станет таким взрослым, нужным людям человеком.

Не слишком ли большие авансы я выдаю молодому поэту? Так ведь можно и зазнаться! Нет, думаю, он не зазнается.

...Каждый наш поступок мы должны как бы измерять меркой нашей юности так ли ты мечтаешь, как мечтал, стремишься ли ты к тому, к чему в юности стремился? Многих моих сверстников уже нет в живых, а найти нового друга куда труднее, чем потерять старого.

Все эти мысли пришли ко мне, когда я читал «Отплытие» В. Берестова. Неверно! Не отплытие, а приплытие. Приплытие к человеку, к людям, мечтающим о коммунизме, но еще не живущим в нем.

Но есть у меня и серьезные претензии к молодому талантливому поэту.

Я боюсь, что вы станете просто милым поэтом. Это самая большая опасность, ко-

торая вам угрожает. Откуда возникает такая опасность? От желанья нравиться. Это болезнь молодости, но никогда не было такой молодости, которая бы не прошла. А потом, в старости, чем вы будете дороги людям? Вы будете дороги тем, что беда, настигшая человека, покажется ему рядом с вами более легкой, а радость, пришедшая к нему, более совершенной.

Значит, речь идет о диапазоне творчества. Поэт должен быть спринтером на огромное расстояние, отделяющее горе от радости. Пока что вы только удивительно милый собеседник. Где ваши волевые качества? Вы должны сильным движением взять читателя за руку и указать ему: «Иди туда! Там хорошо!» Пока что это ваше движение слишком мягко. Хорошо, что вы не грубо настойчивы. От этого вам больше верить. Но плохо, что за вашей мягкостью не чувствуешь твердой руки, привыкшей держать тяжелое оружие. Больше видна привычка к легкому и тонкому инструменту. А не ощутив твердости, может быть, и не рискнешь опереться на вашу руку в долгом и трудном пути.

Чтобы указывать, вы сами должны знать, где хорошо, а где плохо. Вы же еще не столько знаете, сколько угадываете. Оттого, может быть, даже о зле вы говорите все с той же обескураживающей улыбкой: вы уже не любите зло, но еще не ненавидите его.

В. Берестов. Отплытие. Стихи. Редактор С. В. Смирнов. 72 стр. «Советский писатель». М. 1957.

В ваших стихах много света и тепла. Это ощущение дает мне счастье. Но в то же время мне чуть страшновато. Я не люблю, когда ко мне приходит настроение: «какие мы все хорошие!» Мне тогда начинает казаться, что я в бою и теряю оружие.

Почитайте классиков. Какие это были люди!

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Что это — умиротворение? Великая вселенная и вечное время? Или только торжественность бесконечности, дающей отдохновение надорвавшейся душе? Но, оказывается, бесконечность дает приют только сильному, собирающему новые силы.

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь.

Первая строфа — это трамплин для прыжка в большую мысль о несдающемся и неломающемся человеке.

А теперь цитата из вашего стихотворения:

Как-то в летний полдень на корчевье
Повстречал я племя пней лесных.
Автобиографии деревьев
Кольцами написаны на них.

Сначала поражаешься: вот выдал прозаизмы — «племя пней», «автобиографии

деревьев». Потом восхищаешься — прелестью и емкостью образа, особенно в последней строке:

...детство станет сердцевинной
Человека будущих времен.

Да, это все очень хорошо, но этого мало. Вы любуетесь отдельными кирпичиками, а забываете о том, что вы строите стихотворение, в котором людям надо жить. Сначала уясните задачу, а потом ищите кирпичи. Узнайте точно, что вы строите.

Человеку нельзя жить без друзей. Находите их! Каждый ваш читатель — это ваш друг. А друзья у читателя должны быть интересные. Иначе к чему ему эта дружба? Вы можете стать большим, а для многих даже единственным другом. Но пока вы только приятель, добрый, веселый, надежный, но все же только приятель. Он может рассказать о жизни немало любопытного и меткого. Он, чувствуете, не откажется помочь в беде. Но все-таки с большой тайной и с большим горем к нему не пойдешь.

Вы любите строить стихотворение на случае, на анекдоте. Вам, как видно, нравится притча. Но она часто сковывает вас. Ее мораль для нынешнего читателя немного наивна. Иногда притча вносит в ваши стихи примитив. Воспитывать своего читателя надо не милыми побасенками, а резким вмешательством в его жизнь.

Вы это можете. Я на вас надеюсь.

Михаил СВЕТЛОВ.

★

Испытание временем

Многие советские писатели, начавшие свой творческий путь еще совсем молодыми людьми в первые годы жизни совсем еще молодой Советской республики, сейчас уже являются авторами многотомных собраний сочинений или же увесистых книг «Избранных произведений». Чрезвычайный интерес для читателя представляют эти книги, в которых писатель, еще пишущий, еще полный творческих сил, уже подводит, тем не менее, некоторые итоги сделанному. Очень интересны эти книги и для критика, перед которым раскрывается увлекательнейшая возможность дотошно «покопаться» в хозяйстве писа-

теля, как бы отрешиться на миг от всего того, что уже было на протяжении многих лет сказано и написано о нем, и посмотреть на его творчество «свежими глазами», глазами непредубежденного сегодняшнего читателя, чтобы понять, что же в этом творчестве живет сейчас для нас и с нами в нашем сегодняшнем дне.

Валерия Герасимова более чем за тридцать лет своей работы в литературе создала сравнительно немного. В книжку «Избранного» вошли почти все наиболее значительные ее вещи. И, читая их подряд, мы сразу же сталкиваемся с любопытной особенностью: небольшие рассказы и повести писательницы очень родственны друг другу. Похожие люди переходят из рассказа в рассказ, перекликаясь друг с другом, группируясь определенным образом,

Е. Герасимова. Избранные произведения. Редактор Н. Крючкова. 464 стр. Гослитиздат. М. 1958.

как бы дополняя друг друга. При этом произведения Герасимовой отнюдь не однообразны. Напротив, они всегда оригинальны и неожиданны. Это — не повторение, а вариации внутренне близких, мучительно интересующих писательницу *тем, образов, мотивов.

Читая Герасимову, видишь, что герои всех ее произведений поставлены в положения остроконфликтные, находятся в состоянии непрерывной и напряженной борьбы. Здесь сталкиваются и противоборствуют силы непримиримые, во всем противостоящие друг другу.

Кто же эти люди и что разделяет их?

Ответ на этот вопрос мы найдем в повести «Хитрые глаза» — одном из лучших и характернейших произведений Герасимовой.

Изображенное в повести учреждение, издательство художественной литературы «Культура и труд», раздираемо внутренними противоречиями. Борьба идет между двумя внутриучрежденческими группировками. Одну из них возглавляет заведующий издательством Захарий Эрастович Миусов, старый интеллигент, эстет и эрудит, несколько старомодный человек, влюбленный в «высокое искусство». Издательство, руководимое Миусовым, поставляет читателю изящные томики изысканнейших французских поэтов или же такие «остро-необходимые» этому читателю книги, как «Мемуары маркизы де Ту» на меловой бумаге...

Во главе другого «стана» стоит заместитель Миусова Иван Иванович Хребтов — «крепкий мужик», сибиряк, фронтовик, человек непритязательных и строгих вкусов. Взгляды Хребтова на литературу диаметрально противоположны взглядам Миусова. Хребтов полагает, что новому читателю нужно давать книги, посвященные самым животрепещущим, злободневным темам. К вопросам художественности он глубоко равнодушен...

И Миусова и Хребтова в издательстве окружают преданные им (до поры до времени) сторонники и единомышленники.

Кто же прав в этом споре?

На первый взгляд может показаться, что именно этот вопрос волнует писательницу, что в своей повести она сталкивает «людей искусства» с «людьми дела», старую рафинированную интеллигенцию и сторонников нового, пролетарского искусства. Однако такой вывод был бы ошибочным.

И Миусов и Хребтов, доказывает всем ходом повествования В. Герасимов, — люди по-своему честные, но заблуждающиеся. Однако основной конфликт повести не ограничен сферой искусства. Спор идет о том, как жить на свете, об общественном поведении человека. Это и есть основная тема творчества Герасимовой, тема, варьирующаяся в каждом ее произведении.

В «Хитрых глазах», как и в любой другой вещи писательницы, все герои резко делятся на два лагеря. В одном — люди идеи, люди страстной коммунистической убежденности и принципиальности, люди, которым эта убежденность, эта твердость мировоззренческих основ позволяет действовать естественно, свободно и последовательно, позволяет жить, а не казаться. Внутренняя убежденность, постоянная мысль об общем деле, которому они служат, как компас, ведет их в жизни, позволяя в каждом данном случае, в любой самой сложной ситуации избрать единственно правильный, нужный народу путь.

В другом лагере, на другом полюсе — люди «без компаса», те, кто не живет, а «кажется», кто приспосабливается к жизни с корыстными и низкими целями, те, кто рядится в фальшивые одежды, в костюмы «с чужого плеча», — приспособленцы, лицемеры, шкурники, мещане всех мастей и рангов.

Настоящие советские люди и люди ненастоящие, кажущиеся, поддельные — вот кто постоянно враждует в произведениях Герасимовой.

Так и в «Хитрых глазах», где в центре повествования стоит сильный и обаятельный образ коммунистки, секретаря парткома издательства Розы Марковны Агейчик. Женщина трудной судьбы, прошедшая суровую жизненную школу, познавшая и тюрьму, и фронты гражданской войны, и счастье и горе, она исполнена огромной внутренней страстности, внутреннего достоинства, большевистской принципиальности, умения разбираться в людях и обстоятельствах. По ее инициативе, собственно, и началась та «заварушка» в издательстве, которая выявила здесь здоровые силы и обновила всю работу учреждения.

К людям того же типа, что и Агейчик, принадлежит Авдеев, председатель комиссии, обслевающей работу издательства, и председатель ревтрибунала Богуш в повести «Жалость», и полковник Махотин в

«Байдарских воротах», и председатель губревтрибунала Дубницкий в рассказе «Человек без подробностей», и секретарь фабричной партийной ячейки, старый рабочий Икрянистов в рассказе «День, идущий мимо», и женотделка в рассказе «Дальняя родственница». Каждый из этих образов по-своему характерен, индивидуализирован. Но вместе с тем всем этим людям в высшей степени присущи общие, типовые черты: они твердо знают, чего они хотят, им чужды мелкие групповые интересы, их судьбы тесно связаны с судьбами народа — и поэтому они просты, несуетливы, уверены в себе и последовательны в своих речах и поступках.

В умении создавать яркие образы коммунистов, людей убежденных и страстных, — большая сила Герасимовой, и в этом отношении у нее есть чему поучиться современной писательской молодежи.

С не меньшей убедительностью изображает писательница и тех, с кем Агейчик и ее друзья ведут постоянную, незатухающую войну, — карьеристов, болтунов, приспособленцев.

Целая галерея таких «кажущихся», фальшивых людей проходит перед нами в повести «Хитрые глаза». Они действительно хитры, эти люди, той хитростью, которая иной раз заменяет человеку ум, они очень изобретательны в своем умении приспособливаться к обстановке, в своей жизненной цепкости, они красно говорят и обладают, как правило, большой самоуверенностью. Внутренне пустые, они и в поведении других людей ищут низменные побуждения, меряют их «своей меркой», они судорожно мечутся из стороны в сторону, делают ставку на тех, кто «посильнее», — сегодня на одного, завтра на другого, а в результате всегда оказываются в проигрыше, терпят поражение в жизни, несмотря на всю свою хитрость...

Вот, например, «миусовец», консультант издательства Львовский. «Евгений Владимирович, — с убийственным сарказмом пишет о нем автор, — носил неофициальное звание «эрудита», и это, казалось, освобождало его от необходимости выполнять какую-нибудь более определенную работу». Евгений Владимирович красив, представительен, велеречив, любезен. Все это заставляет предполагать в нем бездну скрытой премудрости. А на поверку это самый обыкновенный мешанин: трусливый, невежественный, недалекий. Рядом с Львов-

ским — его жена, маленькая, хрупкая женщина, избравшая себе в качестве пожизненного ампула роль этакого «бебе», «совсем ребенка». Валентина Ивановна мила, детски непосредственна, она любит игрушки и шоколад... А на самом деле какое это расчётливое, черствое и коварное существо! «Огромный навык хитрости. Трезвость шестидесятилетней старухи. Железные нервы», — так характеризует Валентину Ивановну ее любовник Сергей Степнов.

Или вот тоже личность из лагеря Миусова — заведующая отделом фольклора Екатерина Васильевна Молостова, или, как ее называли сотрудники, «Екатерина Великая», «Катеринушка». У нее иная игра, иная роль — простой и славной русской бабы, которая при случае и рязанское «страданье» поет, и обласкает, и накормит от души... И этим тоже прикрыто шкурное, эгоистичное, пошлое.

А вот зловещая фигура совсем другого рода. «Хребтовец» Трубкин — человек нахальный, злобный, напористый, играющий роль этакого фронтовика, рубаки, который не боится резать в глаза людям правду-матку, а по существу владеет лишь одним искусством — искусством запугивания и провокации.

И опять-таки в каждом почти произведении Герасимовой мы найдем образы этих «кажущихся», ненастоящих людей, которых писательница изображает с ненавистью и едкой иронией. Вот молодые и поэтому еще более отвратительные приспособленцы: режиссер из рассказа «Третье сословие», снимающий фильмы, в которых в деревенских дворцах культуры «...гремит утесовский джаз, а в зале для спорта, украшенном античными статуями, примерно пятьдесят настоящих бородатых мужиков... ведут какой-то замысловатый ритмический танец», или профессорская дочка Ада из рассказа «Дальняя родственница» — балованная, жестокая, насквозь фальшивая девчонка, которая «у станка» зарабатывает себе право на вуз — «я с завода сматываюсь, ребятки, понимаешь, выдвинули на учебу...». Особенно характерна в этом отношении образ молодого следователя ревтрибунала из рассказа «Человек без подробностей». Выходец из чуждой революции среды, он, казалось бы, искренне и честно ушел в служение революции. Он более непреклонен и беспощаден, чем все его товарищи по работе. «Но, — рассказывает он о себе в третьем лице, — он точно не жил, а действовал со-

гласно установленным им для самого себя правилам и предписаниям...». «По трудному пути мой друг шел, и его как бы все время преследовал страх заблудиться». И, конечно же, он действительно сдал, заблудился, как всегда заблуждаются и ошибаются такие люди.

Но есть у Герасимовой и другая молодежь, другие молодые герои, и их в ее произведениях больше, чем тех, о которых говорилось выше. Это люди чистые, неискушенные, ищущие, переживающие душевный перелом, молодые люди, которые, включаясь в жизненную борьбу, вырастают, взрослеют, обретают твердые жизненные принципы. Герасимова ведь по существу своему — писатель «молодежной темы», как говорили раньше.

Какое бы произведение писательницы мы ни взяли, в каждом из них мы встретим образ молодого человека в пути, человека, который ищет и находит. В повести «Жалость» — это обаятельный образ юной Тани Полозовой, девушки стойкой, мужественной, простой и вместе с тем героичной. В «Хитрых глазах» — это Женя Заботина и Федор Ловцов, очень разные молодые люди, которых объединяет то, что оба они страстно ищут правильных жизненных путей. В «Байдарских врагах» — это юные крымские партизанки, сестры Оля и Лена Куроченко. Это, наконец, скромная «провинциалочка» Маша Груздева, которая нашла в себе мужество разоблачить вражескую сущность своего дядюшки (рассказ «Дальняя родственница»). Они внутренне очень близки между собой, эти славные девушки и юноши, которых жизнь закаляет и превращает в настоящих людей с твердыми убеждениями.

Как нелегко было, например, Жене Заботиной разобраться в истинной сущности той междоусобицы, которая происходила в издательстве, как постепенно, исподволь пришло к ней понимание того, что подчас нужно проявить очень много мужества, чтобы прямо посмотреть правде в глаза, понять свои ошибки и твердо определить свою верную и точную позицию в жизни.

И рядом с этой девушкой, которая, мы верим, уже не собьется с правильного курса, какими же жалкими и ничтожными кажутся все эти Львовские, Глазурские, Калецкие, Трубкины, Молостовы и иже с ними — со всей их «хорошей информированностью», со всей их изворотливостью и хит-

ростью, со всеми их пышными афоризмами.

В умении описывать человека главным образом при помощи его речи, при помощи кратких словесных формул, выражающих самое существо изображаемого характера, — одна из отличительных особенностей писательской манеры Герасимовой, манеры, восходящей, конечно, к Чехову с его несравненным мастерством лаконичной и бесконечно емкой речевой характеристики.

Разоблачая «систему фраз», присущую тому или иному отрицательному персонажу, человеку, который словесной мишурой прикрывает свое душевное убожество, Герасимова создает удивительные по своей точности портреты.

Вот, например, совершенно эпизодическое лицо из повести «Хитрые глаза» — жена писателя Федора Ловцова. Она и в повести-то совсем не действует, и описанию ее Герасимова посвящает всего-навсего полторы странички, а вот она вся перед нами, эта женщина, которая разговаривает с мужем в таком духе: «Как мне славно с тобой, Федор! — очень четко произноса его имя, говорила женщина. — Ты, Федор, настоящий, крепкий и простой!..» «Сегодня мы видели что-нибудь интересное, читали что-нибудь интересное? — почему-то во множественном числе обращалась она к мужу...», «Как в линотипике — неполадочки? А как идет ротация? Не заело?..» Всего несколько фраз, но мы уже понимаем Ловцова, который разошелся с женой «по той глубокой и холодной нелюбви, которая граничит с отвращением».

А у консультанта издательства Львовского другая «система фраз»: «информация — мать интуиции», «итак... легких сновидений, как говорили во времена великого Вильяма...», «во мне проснулся тот никому не нужный «гамлетизм», который является чуть ли не профессиональным заблуждением так называемой старой интеллигенции...»

В. Герасимова тщательно коллекционирует, подбирает такие характерные словечки, в которых как бы в «концентрированном» виде отражается самое главное в плохом человеке — его внутренняя сущность, тот способ, при помощи которого он маскируется под настоящего человека.

В отличие от этих «героев», подлинные герои Герасимовой, настоящие люди, гово-

рлит очень просто, без всяких краснотостей, без громких слов. Иногда даже их речь сознательно снижается, опрощается писательницей.

Порой это нарочитое «опрощение» языка положительных героев, в противовес тем, кто красиво говорит и некрасиво поступает, несколько раздражает. Но чаще Герасимовой удается передать обаяние и убеждающую силу простой, немногословной речи своих настоящих героев.

Читающие Герасимову, вероятно, заметят еще одну примечательную особенность ее творчества — известный рационализм в построении ее произведений. В каждом произведении писательница ставит перед собой четко очерченную задачу, и все построение произведения призвано способствовать тому, чтобы эта задача была разрешена исчерпывающе и так же предельно четко, чтобы герой произведения был поставлен именно в такие — и только в такие — жизненные обстоятельства, при которых должны наиболее полно выявиться именно те черты его характера и общественного поведения, которые писателю необходимо подчеркнуть.

В лучших произведениях Герасимовой каждая лаконичная сценка, каждая деталь, каждое слово «работает» на тему, обнажает и подчеркивает ее.

Но иногда, желая как можно лучше и полнее донести свой замысел до читателя, писательница жертвует естественностью изображения, и тогда в ее произведениях проявляется некая сюжетная «геометричность», симметрия, излишняя завершенность, «закругленность» сюжета. Тогда оказывается, что каждый отрицательный персонаж должен быть непременно и до конца разоблачен и уничтожен в пределах данного произведения, а каждый положительный герой непременно должен в том же произведении увидеть полное и окончательное торжество своего дела. Так, в рассказе «Третье сословие» писательнице зачем-то понадобилось, чтобы жена молодого режиссера, приспособленца и шкурника, неожиданно оказалась той самой женщиной, на которой когда-то был женат самозванный «князь» Гедеонов. Зачем понадобилось «преемственность» между этими двумя негодьями осуществлять таким искусственным образом — неизвестно. Рассказ «Человек без подробностей» испорчен ненужным искусственным обрамлением: оказывается, что случайный собеседник

рассказчицы и есть тот самый «человек без подробностей», которому удалось чудом спастись от расстрела и который превратился теперь в законченного циника и обывателя.

Все объяснить, все довести до логического конца — это присущее писательнице стремление иногда сильно «сушит» ее вещи, делает их умозрительными, рассудочными.

Даже одно из лучших ее произведений — «Хитрые глаза» — несколько ослаблено присутствием этого элемента. Он в том, например, что парторг Агейчик в конце произведения не только одерживает полную морально-политическую победу, но зачем-то еще и избирается председателем правления издательства, а мерзавец Трубкин не только полностью посрамляется, но еще, как выясняется, оказывается уголовным преступником: в прошлом у него темная история — самоубийство оклеветанного им студента.

Кое-что в творчестве писательницы, разумеется, вообще несколько потускнело от времени. Но, как это обычно бывает, коснулось это в основном лишь тех произведений, которые с самого начала были либо неясны по своему замыслу («День, идущий мимо»), либо испорчены некоторой слащавостью, сентиментальностью.

Именно так звучит сейчас рассказ «Простая фамилия» — самый поздний по времени написания из всех рассказов, включенных в сборник. По-прежнему интересны здесь образы мешан и приспособленцев, той богемной «накипи», которая образуется около искусства и людей искусства. Виктор Викторович Сверчковский («не то литературовед, не то музыковед, в общем чего-то «вед») и его окружение очерчены писательницей с прежней злостью и беспощадностью. А вот те настоящие люди, в которых мы так верили, когда читали более ранние вещи Герасимовой, на сей раз «не удались» ей, получились какими-то постыдными, благостными, малосодержательными.

Очень остро и актуально могла бы прозвучать сейчас повесть «Байдарские ворота», если бы ее вторая часть тоже не была затронута ранее не свойственной писательнице сентиментальностью. В начале этой вещи был создан образ большой впечатляющей силы — образ Оли Куроченко, девушки чистой, смелой и умной, которая, однако, в своем гордом презрении ко всему «утилитарному», «скучному» зашла так да-

леко, что начала свысока относиться к жизни, к обычным людям и их простому труду... Во второй части повести, посвященной описанию военных событий, Оля должна была сильно измениться. Партизанка, совершающая смелые подвиги, она должна была обрести верное отношение к жизни, к людям и их работе.

О героических подвигах и гибели Оли и рассказывается в второй части повести, но, к сожалению, рассказывается устами Олиной тети Симы. А эта славная женщина своей суетливой горестной скороговоркой просто не в состоянии поведать обо всем этом. «...По правде сказать,— причитает в повести тетья Сима,— давно я догадывалась, что на большие дела моя Оля пошла... Да и как не заметишь: последнее время не только по ночам она отлучаться стала, а все какие-то бумаги в тюфяк прятала; догадалась я потом — листовки это были. И после взрыва в офицерском клубе совсем особенная была: дрожь ее бьет, а

сама так и сияет. Словно и свою руку к этому делу приложила» и т. п.

Так и не увидели мы сквозь эту скороговорочку образ возмужавшей, выросшей, внутренне изменившейся Оли и ее «большие дела». А ведь это было главным в повести.

Но вот сборник «Избранного» Валерии Герасимовой дочиган до конца. Отчетливо видны его отдельные недостатки, но столь же отчетливо и главное впечатление, которое оставляет сборник: небольшие повести и рассказы писательницы выдержали испытание временем, мы и сегодня воспринимаем их как живые, нужные и волнующие. Основной пафос творчества В. Герасимовой — победа людей принципа над «людьми информации», победа народного, партийного начала над всеми проявлениями мещанства и приспособленчества — не может оставить равнодушным сегодняшнего читателя.

И. ПИТЛЯР.

★

В поисках неведомых сокровищ

«Странный разговор», «Дело Давронова», «Визит в тюрьму», «Мусафед поет стихи», «Игра в загадки»... В начало каждой главы вынесены интригующие подзаголовки, подобно тому как это делалось в остросюжетных произведениях испокон веков. Но старая форма «обслуживает» на этот раз непривычный материал. Распутывание тайны связано не с поисками фамильных драгоценностей, не с личностью неуловимого преступника или блестящего искателя приключений, не с хитросплетением дворцовых интриг и не с подвигом разведчика. Пафос исследования, отыскание неведомых поэтических сокровищ — вот что создает сюжет повести «В поисках Карима Девоны».

Не так давно Иракий Андроников в своей рецензии на книгу С. С. Смирнова «В поисках героев Брестской крепости» справедливо сказал, что в нашей литературе возник новый жанр, материал которому дают поиски исследователей, ведущие к разгадкам исторических или литературных тайн.

Хабибулло Назаров. В поисках Карима Девоны. Повесть. «Дружба народов», №№ 1 и 2. 1958.

Потребность в книгах, где писатель, повторяя ход своей мысли, вслух анализируя факты, делает читателя соучастником в раскрытии исторических и научных загадок, очевидна. Об этом красноречиво говорит широкое признание самими разными читателями таких книг, как труд академика И. Ю. Крачковского, посвященный работе над арабскими рукописями, увлекательные книги профессора А. Е. Ферсмана по геологии, очерки Е. А. Таратуты об авторе «Овода», литературоведческие рассказы того же И. Л. Андроникова. Книги эти научны — таков первый признак жанра, о котором идет речь, — так как содержат научные наблюдения и выводы. Они сродни и очерку, так как захватывают большой жизненный материал, и рассказу — благодаря характеру повествования. Содействуя популяризации науки, они примыкают к научно-популярному жанру и близки к жанру приключений. Но поскольку автор каждый раз имеет дело с новым материалом (как, например, А. Буров, рассказывающий в повести «По следам подвига», опубликованной в этом году в № 5 «Звезды», о героизме безыменного летчика), читателю всякий раз предлагается

новый сюжет, свободный от условных построений детективного жанра.

Элемент научного мышления, конкретность и непосредственность очерка, конденсированная образность рассказа, увлекательность многоэтапного поиска — все это есть и в повести, принадлежащей перу Хабибулло Назарова. И сверх того в ней есть ощутимо переданное своеобразное очарование старого и современного Востока, и это делает повествование привлекательным вдвойне.

И в сюжете документальной повести и за его рамками читателю рисуется облик человека, творческидвигающего вперед свое прямое дело, но не ограничивающего свой «радиус действия» профессиональными интересами.

«Случайная встреча с певцом стихов Карима Девоны многое изменила в моем дорожном маршруте, а затем внесла много нового и во всю мою жизнь. И если я, юрист (автор — министр юстиции Таджикской ССР.— Л. М.), вспоминая и рассказывая о «деле Давронова», пишу книгу о поэте Кариме Девоне, то нет ли в этом «лирическом отступлении», в этом «отклонении» от «существа дела» своей высшей логики? В нашей жизни много поэтического, оно порой не укладывается в рамки обычного, строго запланированного, надо уметь видеть это поэтическое и не уклоняться от него, если, вопреки установленному порядку работы, оно захватывает тебя».

Это прекрасное убеждение автора опирается еще и на ту особую любовь, ту удивительную тягу к поэзии Таджикистана, которую можно было бы определить как любовь — причастность к реально существующему, очень жизненному делу.

На страницах повести возникает образ народа, хранителя и восторженного поклонника поэзии. Неведомый старик, «мусафед», произнес безвестную газель (стихотворение, состоящее из двенадцати двустушией), и от этих строк затрепетало сердце человека, любящего стихи, чье поэтическое воображение с детства питалось величавым образом горы Гозинон («мой Олимп» — полушутливо замечает автор). Тогда тринадцатилетний Хабиб Назаров был горным чабаном, а через несколько лет стал первым секретарем первой комсомольской ячейки в Гиссарской долине.

В таджикском доме пиала чая, что «на-

чинает свое путешествие» с приходом гостя, и песня под аккомпанемент дамбурсы — привычная картина. Нередко можно наблюдать, рассказывает повесть, как люди, вовсе не имеющие отношения к литературе, читают друг другу стихи, угадывая авторов и называя источники. Бывает, что один из играющих произносит двустушие, а противник, подхватывая нить состязания, читает другое двустушие, начинающееся той буквой, которой закончил стих соперник. Классическая поэзия, ее бессмертные творцы популярны в народе настолько, что имя Хафиза, например, стало нарицательным, — «хафиз» значит поэт, народный певец...

Назаров выводит на сцену «криминалистику» особого рода. Начинаются долгие поиски, захватывающие все больше партнеров и помощников, заражающие духом искательства многих людей.

Вот в ЦК слушают стихи Карима Девоны, которые были записаны Назаровым в одном из кишлаков на берегу Вахша у старого Гулямкадыра, певшего для случайного гостя. В ЦК «ссть знатоки таджикской поэзии, но никто не знает ни этих строк, ни имени Карима Девоны». Неужели случайно открыт новый таджикский поэт, талантливый и самобытный? Станный, однако, псевдоним у поэта. «Девона» — сумасшедший, безумный... Судя по его стихам, он знает Бедиля, Хафиза, Машраба, Навои, Низами. Но он не поэт средневековья, не современник Мушфики, его стих сочетает благородную стройность и звучность классиков с тем конкретным поэтическим мышлением, которое сложилось в таджикской поэзии гораздо позднее.

Кто же он?

— Нужно продолжать поиски, — сказали в ЦК.

Одно из «белых пятен» на пути разысканий Назарова — имя полковника Джалилова. Известно, что Джалилов — боевой командир из корпуса генерала Доватора, а ныне военный комиссар Центрального района Сталинабада. Точно ли фольклорный сборник, куда стихи Девоны «Плач матери» попали в качестве безыменной народной песни, составлялся при участии Джалилова?

«— Что же вам, домулло, непонятно? — сказал старик Шукур. — Полковник Джалилов — хороший человек, мы его уважаем, почему же он не может собирать песни?»

И снова мелькают перед взором читателя маяющие подзаголовки: «Еще о Гиссарском восстании», «Последние известия», «Кто такой Абдулмаджид?», «Первая гипотеза», «Свидетельство Зебо Тагаевой».

Автор полон предчувствий, что наконец-то отыскал ту отправную точку, от которой идут и к которой стягиваются все нити жизни и творчества народного поэта.

«Как долго и жадно я к этому стремился! Я в Джурраке, среди друзей и родственников Карима Девоны, среди героев его стихов!»

Взволнованно патетические главы, в которых Гулямкадыр поет стихи Девоны о Гиссарском восстании, сменяются то бесхитростными, то по-восточному степенными и величавыми, то юмористическими рассказами односельчан Карима Девоны. Рассказы «бобо Шукура», чьи родители состояли в родстве с родными поэта, старого Халикназара, о ком упоминает в своих стихах Карим Девона, песни старушки. Зебо на стихи поэта в кишлаке Менатабад — все это свободно входит в повествование.

За два года «терпеливой охоты за каждым стихом, за каждой строфой» накопилось множество блокнотов и тетрадей с записями текстов и рассказами современников поэта, как оказалось, неграмотного. Люди, с которыми встречался автор в своих поисках, движут и сюжет документальной повести и вместе с тем имеют свое реальное место в жизни. Анализ найденных стихов и песен позволяет автору говорить не только об особенностях поэзии Карима Девоны, рисовавшей, в простых, легко запоминающихся формах стиха образы живых, конкретных людей, отвечавшей настроениям обездоленного люда. Сама эта поэзия — слепок жизни — открывает перед автором повести двери в недавнее прошлое, а рассказы старых людей, послужившие материалом для вставных новелл, еще больше подчеркивают достоверность поэтических картин прошлого.

Ниший Карим «сочинял стихи не для услаждения», как многие восточные поэты до него, «он сочинял их для борьбы». Но как трудно было ему, этому мнимому «девоне» и «возмутителю спокойствия», в годы самодержавного гнета и национальной вражды доносить до народа свои гневные слова. Даже лучшие друзья не понимали его непреклонности. И каким кольцом еди-

нотымышленников окружен исследователь, отыскивающий сегодня следы поэта! В этом единении — одно из проявлений творческого духа, созидательных устремлений освобожденного народа.

Идея творчества как выражения души народа служит той невидимой основой, на которой покоится весь сюжет. В повествовании, столь далеком от темы войны, часто встречаются упоминания, связанные с войной. Автор «почтительно и осторожно» спрашивает пожилого собеседника, где он был ранен. «Гулямкадыр шевелит протезом. — На Висле». И «разговор о Кариме Девоне продолжается»... «Научный сотрудник института Лютфи Бузуруг-заде, молодой талантливый ученый, погиб во время войны». — сообщает автор в другом месте. Эти и другие краткие упоминания, разумеется, служат не только констатацией исторического факта — участия таджикского народа вместе со всеми народами Советского Союза в Отечественной войне. Война как антитеза созидания — в этом смысл возвращения автора к образу войны.

То, что делает Назаров, не археологические раскопки. Его поиски и рассказ о них рождены живым ощущением поэзии и огромной радостью, что народу-языко-творцу как бы заново возвращается его поэт, да еще такой, как Карим Девона, остросоциальный в своем творчестве, народный печальник и заступник. И мы понимаем эту радость автора, когда он открывает в истории литературы своей страны новое свидетельство революционного протеста, возникшего в народе в годы, которые предшествовали великим социальным изменениям.

Как здесь не подумать о литературе многих народов Азии и Африки, что стоят на рубеже зреющих исторических событий. Освобождение от колониального гнета не может не вызвать расцвета народного творчества, громадного интереса к фольклорному наследию, которое питалось стремлением к свободе и самостоятельной государственности и которое, конечно, не только никогда не интересовало колонизаторов, но и представляло для них реальную опасность как свидетельство непокорного народного духа. Сегодня западному читателю еще более или менее известны, скажем, африканские поэты, пишущие на французском языке. Но сколько же неизвестных поэтов есть в

Алжире, Марокко, Гане, открытие которых миру еще предстоит!

Конференция писателей стран Азии и Африки, которая объединит литераторов из многих стран мира, наглядно покажет великолепный опыт Советского Востока во всех областях жизни, послужит делу борьбы против колониализма и «западного» высокомерия и будет толчком к расцвету многих и многих дарований.

И как пророчество прозвучат над светлым залом в Ташкенте, где соберутся участники конференции, певучие стихи Карима Девоны:

Белым тут голубям
пролетать бы высоко
над горой Гознион,
Для людей тут сада
наливаться бы соком
под горой Гознион...

Да и сам поэт, правда уже престарелый, мог бы явиться в этот зал. Ведь Карим Девона умер от чумы в 1918 году, когда ему не было и сорока лет и когда он подошел своими босыми израненными ногами совсем близко к тому рубежу истории, за которым началась жизнь, столь отвечавшая его мечтам.

Д. МИХАЙЛОВА.



Хозяева жизни

Разговор об этой книге необходимо начать с признания. Она вышла уже полтора года назад... А писать о давно вышедшей книге не принято считается, что откликаться надо только на новые книги, а те, что обойдены молчанием, пусть так и остаются достоянием читателя, который сам отбирает из не упомянутых критиками произведений те, что ему по душе (а иногда и оцененные критикой книги переоценивает по-своему).

В данном случае необходимо нарушить традицию, потому что книга хороша. И еще потому, что с этой книгой в нашу литературу вошел новый молодой писатель.

Впрочем, рассказы Игоря Забелина стали появляться в журналах еще в 1952 году. Собранные вместе под общим заголовком «Там, где сходятся тропы», они позволяют говорить об авторе как о писателе, имеющем свой круг интересов, своих любимых героев, свои проблемы. И — может быть, это главное — свой большой жизненный опыт.

Игорь Забелин пришел в литературу после того, как он, еще юношей, поработал в колхозе и в МТС, потом окончил географический факультет и аспирантуру, защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата географических наук. В годы студенческой практики, в годы аспирантуры, а затем уже как квалифицированный специалист он побывал — и не только побывал, а поработал — во многих местах: искал золото в Тувинской автономной области, обследовал быт рабочих в угольных

шахтах Чукотки, принимал участие в экспедиции, искавшей промысловые скопления сельди в Охотском море, вел физико-географические исследования в Бурят-Монголии и на Тянь-Шане.

Знание жизни сказывается в рассказах Забелина не только в том, что место их действия — дальние края страны, а герои чаще всего геологи или географы, исследователи и труженики, преодолевающие препятствия и жадно осваивающие свою страну. Знание жизни сказалось и в том, что Забелин в своих произведениях не ограничивается точно переданными фактами и верными портретами людей, а почти всегда поднимается до постановки важных проблем, до обобщений. А обобщения возможны только тогда, когда писатель обладает широким кругом знаний и впечатлений, позволяющих сопоставлять и сравнивать, выделять типическое, отбрасывать несущественное.

Большой жизненный опыт придал писателю зоркость — особенно при оценке людей, о которых он пишет. Он хорошо понимает, что характеры складываются не вдруг, что знания и умение приходят не сразу, что молодой работник может не раз ошибиться, прежде чем станет зрелым, опытным и умелым. И к этому процессу становления характеров и отношений между людьми Забелин относится с чутким, я бы сказала, с бережным вниманием. Он не снисходителен к недостаткам, нет, он просто хочет понять причины их возникновения; и еще — он знает, что они, эти недостатки, исправимы. Забелин верит в людей, в их духовный рост. Ведь этот рост

происходит очень разными и порой очень сложными путями, потому что люди очень не похожи друг на друга.

В повести «Волны шли с океана» — наиболее крупном произведении сборника — рассказана история, в общем, довольно обычная: о том, как полюбили друг друга колхозница Настя и шахтер из соседнего Полединского поселка Петр Латошин, как они поженились и мирно жили и как потом, когда на шахте «уголек к концу подошел», Петр завербовался в Дальневосточный край, на новые шахты у бухты Чернокаменской, и как они поехали в эти места. И о том, как обживают люди этот суровый край и начинают его любить...

Эта история могла бы быть простой иллюстрацией к тому, о чем мы ежедневно читаем в газетах. Но она не стала иллюстрацией потому, что писатель увидел и раскрыл сложные характеры не только Насти и Латошина, но и многих других людей, отношения между которыми осложняют или облегчают создание нового поселка, помогают или мешают общему делу, приносят радость или горе, доверие и дружбу или глухую вражду.

Противоречив и богат красками образ Насти — способной и зло посмеяться над любимым и нежно покориться ему, равнодушно работать официанткой в столовой и горячо увлечься еще по колхозу знакомым делом — работой доярки, работой, которая здесь, на пустынном берегу холодного моря, оказывается особенно нужной, потому что молоко — это здоровье детей. Это возможность в необжитом суровом краю создать семью, поселиться не на время, а на всю жизнь... Настя — вся в движении, вся в становлении. Подчас она устает от невеселой жизни за «семейным пологом» в общей комнате с другими завербованными, раздражается от того, что Латошин занят работой и его любовь словно бы остыла, и тогда она с каким-то злым остервенением дразнит нахального и настойчивого шофера Ездакова и других мужчин, заглядывающихся на нее. А порой она чувствует новый прилив нежности к мужу и с волнением следит за его опасным подъемом на скалы или ждет его возвращения с моря во время шторма...

Не менее сложен и многогранен и образ Латошина. Этот юноша оказывается человеком больших страстей и неукротимой воли к созиданию. Он, не задумываясь, бросает родные места, чтобы ехать в неведо-

мый край, потому что ему необходимо «работать с душой», с большой перспективой. Ощущение будущего как реальности никогда не покидает его: ни тогда, когда он чуть ли не накануне отъезда заново белит свою комнату в поселке Полединском («Ну и что?.. Другие жить будут!»), ни тогда, когда он, рассматривая карту, с уверенностью говорит: нужно, чтобы линия, обозначающая постоянные трассы кораблей, заворачивала в Чернокаменскую, нужно, чтобы здесь вырос большой промышленный центр.

Это чувство перспективы присуще и многим другим. начальник «Бухтугля» Назаренко, с таким вослущением говорящий не только об угле, но и о строительстве домов, и о коровах, и о кинокартинах; агроном, беззаветно полюбивший Север («он не безжизненный, он не освоенный. Это разные вещи»); и люди, строящие себе жилища после работы и справляющие скромные новоселья, — все это энтузиасты будущего, творимого собственными руками. Но творимого не легко, по мановению волшебной палочки, а с большим напряжением, с просчетами и изъятиями, с вызывающими раздражение досадными мелочами неустроенного быта. Эти мелочи — отсутствие жилья или невысыхающая лужа около неудачно выстроенной бани, однообразная пища в столовой или скука по вечерам — у одних вызывают уныние и безразличие ко всему, у других, напротив, пробуждают энергию и настойчивость. И тогда мелочи становятся значительными: на отношении к ним проверяются люди, особую выпуклость приобретают характеры.

И. Забелин внимательно всматривается в своих героев, он словно отбирает, кто из них настоящий строитель жизни, а кто пустоцвет, случайный квартирант в доме, построенном другими. В повести «Волны шли с океана» такими пустоцветами являются и Ездаков с его откровенным цинизмом, и люди, стремящиеся лишь отработать срок договора и скорее уехать.

Высокие моральные критерии, с которыми писатель подходит к людям, отчетливо чувствуются в каждом рассказе, даже там, где нет прямых столкновений между героями. Так, например, в рассказе «Последний маршрут» столкновение происходит не между людьми, люди здесь вступают в борьбу с суровой природой. Два геолога осенью, когда экспедиция уже свертывает работу, отправляются в трудный путь, чтобы занести на карту последний неисследованный

участок берега. Один из них совсем молод и неопытен, старший товарищ не очень доверяет ему, а поход предстоит ответственный и трудный. Продвигаясь вдоль скалистого берега, обходя по пояс в воде нависшие над рекой утесы, ведя на поводу испуганных и обессилевших лошадей, люди выполняют свою задачу и обнаруживают при этом стойкость, выносливость, готовность помочь спутнику, принять на себя наиболее тяжелые испытания. Вот почему они в конце рассказа мечтают на будущий год поехать «куда-нибудь подальше» и непременно вместе: каждый из них почувствовал в другом надежного товарища в труде.

В рассказе «Без свидетелей» ситуация более острая: в трудном походе сталкиваются соперники — геолог Светлов вынужден тащить на себе повредившего ногу Ветрина, женившегося на девушке, которая должна была стать женой Светлова. Здесь, в лесу, действительно без свидетелей, когда ничто не может помешать ему проявить свою ненависть к Ветрину, Светлов грубовато, но не колеблясь помогает товарищу.

Игорь Забелин не торопится осуждать своих героев даже тогда, когда видит их недостатки. Но он беспощаден, когда замечает в человеке главный, несовместимый с советской моралью и идеологией порок — беспринципность, бесчестность, своекорыстие, погоню за личным благополучием в ущерб товарищам и коллективу, а значит, и в ущерб стране. Карьерист и пошляк Анатолий в рассказе «Цветочки», человек лживый и в любви и в работе, не находит у писателя ни малейшего оправдания, как не находит его и Лев Александрович из рассказа «Тополиная выюга».

В рассказах Забелина привлекает не только атмосфера моральной чистоты, не только вера писателя и его героев в то, что честность и мужество бескомпромиссны, что бескорыстие и добросовестность в труде служат залогом множества ценных качеств человека, что дружба — это основа коллектива. В этих рассказах привлекает и поэтичность восприятия природы — суровой, но прекрасной и бесконечно многообразной, и людей — очень разных, но измеряемых высокими нормами коммунистической этики. Тонкие психологические наблюдения, точный и зримый пейзаж, глубина мысли заставляют читать лучшие рассказы Забелина с неподдельным интересом.

К сожалению, так обстоит дело не во

всех рассказах, входящих в сборник. В некоторых из них образное и эмоциональное повествование уступает место неожиданной рассудочности, нравучительности. Тогда рассказ становится длиннее, чем нужно: автор словно не доверяет читателю, который уже давно догадался, кто из героев прав и кто неправ, и продолжает информировать о событиях и сообщать свои комментарии к ним. В этих случаях автору изменяет умение найти большое содержание в одном эпизоде или раскрыть характер во всей его сложности, и он нанизывает одну за одной служебные и житейские подробности. Тогда мысль перестает звучать в самой художественной ткани рассказа и превращается в скучную, хотя и правильную декларацию.

Вряд ли нужно было в рассказе «Розовые окна» так подробно описывать всю биографию героя и героини, так тщательно фиксировать многочисленные разговоры между ними: читатель уже где-то в середине рассказа понял, насколько различны эти два человека, и ему не надо так пространно и на стольких примерах доказывать, что счастье этих внутренне чуждых друг другу людей — мнимое, недолговечное счастье... Вряд ли необходимо было проследживать весь путь молодого человека из рассказа «Мужество любящих» от первого мелкого обмана (фиктивный документ, необходимый для того, чтобы избежать лишних и ненужных формальностей) до карьеристского по своему существу стремления прикрываться благополучными отчетами и рапортами: читателю было бы достаточно одного-двух эпизодов, но очень хотелось бы глубже заглянуть в мысли и чувства героя и особенно его жены, сумевшей бороться за его научную честность, бороться против него самого... Мне кажется, что писателю не хватает того важного умения, о котором, как о самом трудном умении художника, говорил Лев Толстой, — умения вычеркивать лишние слова, выбрасывать лишние факты, оставляя только то, что совершенно необходимо. Ведь только тщательно отобранная — единственная — деталь, только точное — единственное — слово обретает действительную силу художественного воздействия...

Но слабых рассказов в сборнике не много. В целом первая книга Игоря Забелина — живое свидетельство целеустремленного и умного таланта, выросшего в самой жизни и неразрывно связанного с ней.

Т. ТРИФОНОВА.

Живой Вахтангов

В заключение книги «Режиссерские уроки Вахтангова» Н. Горчаков пишет, что он «попытался воссоздать лишь одну из практических сторон деятельности Вахтангова» и не претендует на теоретическое обобщение особенностей его режиссуры. Автор предлагает вниманию читателей записи репетиций и бесед своего учителя, воспоминания о встречах с ним. Только изредка, да и то большей частью в виде кратких связей между мемуарными этюдами, Н. Горчаков делится собственными мыслями о тех или иных чертах творческого метода режиссера.

Рассказ ведется в свободной литературной манере. В нем немало диалогов и беглых, но выразительных зарисовок. Есть тут эпизоды и юмористические и драматические; раскрывается развитие если не характеров, то во всяком случае дарований. Действующие лица этого повествования — люди явно талантливые и, следовательно, интересные. Словом, книга читается не как театроведческое исследование, а как своеобразная повесть о людях театра. И, конечно, своей несомненной увлекательностью она более всего обязана своему главному герою.

Вокруг его имени годами велись споры. Все, кажется, отдавали должное его блистательному таланту, но... Множеством «но», как частоколом, огораживали подчас память о его заслугах перед советским театром. Неясно иногда становилось действительно ли Театр имени Вахтангова продолжал и развивал традиции, заложенные его основателем, или же добивался успехов, «преодолевая» их? Замаскированные и прямые призывы «преодолевать» Вахтангова не раз были обращены к его последователям.

И вот живой Вахтангов улыбается нам со страниц книги Н. Горчакова. Живой неизменно, несмотря на тяжелый недуг, жизнерадостный, пылкий, полный творческих замыслов, тонкий психолог, чуткий воспитатель, умелый организатор. И всегда и во всем — художник!

Испытываешь истинное эстетическое наслаждение, следя за полетом фантазии Вахтангова, за тем, как поэтизирует он на свой удивительный лад и жизненные

наблюдения, и пьесы, которые берет в работу, и самый процесс репетиций, и воспитание молодых актеров. И вдруг — безжалостно укрощает свое безудержное, казалось, творческое воображение, чтобы направить его в точное русло намеченного постановочного плана. С великолепной наглядностью выражено тут вечное противоречие крупного художественного таланта: легкая, бесконечно стремящаяся вверх и вширь фантазия то и дело вступает в противоборство с уверенным, зрелым, дисциплинированным мастерством. Они ссорятся, но существовать врозь не могут — только вместе они в состоянии произвести на свет вдохновенные создания искусства, глубокие по мысли, филигранно отточенные по форме.

Самые увлекательные страницы книги — «рабочий процесс» репетиций. Почти любая из них — своеобразная маленькая пьеса. В ней налицо завязка, кульминация и развязка, несколько неожиданных поворотов «интриги», неожиданных для студийцев, а теперь, благодаря записям Н. Горчакова, и для читателей. Евгений Богратионович любил подстраивать «сюрпризы» актерам, чтобы держать их непрерывно в мобилизационной готовности, всемерно активизировать их творческий потенциал и не давать застыть, замерзнуть их артистической непосредственности.

По ходу репетиции никто не размышлял над ролями отвлеченно, не взвешивал на весах логического мышления сложные формулировки. Режиссер следил за тем, чтобы студийцы вели себя, как подобает актерам-художникам, то есть воспринимали свои задачи образно и воплощали их в образном действии, постепенно «влезающая» в характеры своих персонажей.

«Искать форму, вскрывающую до конца содержание данной пьесы, — подытоживает Н. Горчаков цели, которые ставил перед собой Вахтангов на репетициях, — форму, отвечающую ее стилю, характеру автора. Искать, действовать на сцене соответственно тому творческому приему, который принят для данной постановки в целом».

Может быть, самое поучительное в книге для наших режиссеров — это как раз поиски в каждой новой вахтанговской постановке характерного именно для нее одной, свежего, неповторимого творческо-

го прием. Он пронизывает все работу с актерами, с художником, композитором, все этапы подготовки спектакля. Прием не догматичен, он многократно выверяется и уточняется; никогда не навязывается исполнителям, так сказать, сверху.

Вахтангов увлекал актеров на самостоятельные поиски в нужном направлении, которое подсказывал с поразительной изобретательностью, всегда по-разному, заражая студийцев своей фантазией, находя неожиданные и вместе с тем оправданные — дополнительные к авторским — предлагаемые обстоятельства пьесы, которые помогли бы с предельной выпуклостью обнажить ее суть.

Очень интересны мысли Евгения Богратионовича о подготовке молодых режиссеров, которых он считал необходимым обучать и воспитывать при театрах, о театральном профессионализме, о сценической правде... Со страниц новой книги Вахтангов активно вторгается во многие сегодняшние споры о театре, режиссуре и актерском мастерстве и произносит веские суждения.

Известно, что ему не довелось осуществить свои основные замыслы, он только готовился к их воплощению. Но так был

велик талант Вахтангова, что и в этот период он подарил зрителям замечательные спектакли, увлекая студийцев современным прочтением классики, последовательно ведя их к вдохновенным дерзаниям, созвучным по строю чувств и мыслей интересам послереволюционного зрителя.

«Режиссерские уроки Вахтангова» с удовольствием и пользой прочтут как театральные работники, так и любители сценического искусства. Издана книга хорошо, любовно. Поэтому хочется с благодарностью назвать имена художников-иллюстраторов Г. Шукина, И. Петухова, Е. Голяховского, художественного редактора В. Богданова.

Не хватает в книге цельного, хотя бы и краткого очерка о творческом пути Е. Б. Вахтангова и о театральной жизни Москвы двадцатых годов. Поскольку автор знакомит нас лишь со своими записями репетиций Вахтангова и воспоминаниями о встречах с ним, такой очерк следовало бы дать в предисловии. Он восполнил бы недостающие в изложении звенья для характеристики места Вахтангова в истории советского театра, а это необходимо для многих читателей, особенно молодых.

В. БЛОК.

★

Политика и наука

Дружба, скрепленная кровью

Освет великих исторических событий лежит на каждой странице этой книги. Убедительным языком документов рассказывает она об интернациональной дружбе и международной пролетарской солидарности трудящихся, вставших на защиту молодого Советского государства в тяжелые дни гражданской войны и иностранной военной интервенции. И хотя этот период становления Советской власти хорошо изучен нашими историками, архив-

ные материалы, впервые публикуемые, вносят в него новые черты, обогащают нас новыми подробностями событий тех лет.

Международный пролетариат сказал тогда свое веское, решающее слово: он безоговорочно поддержал рабочих и крестьян Советской России в их титанической борьбе под знаменем Коммунистической партии, руководимой великим Лениным, за новый мир, за светлое будущее всего человечества.

В Англии был создан национальный комитет «Руки прочь от Советской России». Лозунг «Ни одного солдата, ни одного патрона против Советской России» стал популярнейшим лозунгом германских рабочих. В Японии коммунистическая партия требовала немедленно отозвать войска

Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России (1917—1922). Документы и материалы. Сборник I. Главное архивное управление СССР. Центральный государственный архив Красной Армии СССР. Редактор Г. В. Шумейко. 575 стр. «Советская Россия», М. 1957.

из России. Во многих странах Европы рабочие задерживали поезда с военными грузами, предназначавшимися для белогвардейцев и интервентов. Центральный рабочий совет города Кладно (Чехословакия) обратился к рабочим завода «Шкода» с призывом прекратить производство боеприпасов для армии панской Польши. На Вацлавской площади Праги состоялся массовый митинг солидарности с Советской Россией.

Повсюду рабочие выступали в поддержку Советской республики. По ленинским словам, «Как только международная буржуазия замахивается на нас, ее руку схватывают ее собственные рабочие».

Но помощь международного рабочего класса не ограничивалась действиями за рубежами Советской страны. Сотни тысяч военнопленных первой мировой войны, которых Октябрьская революция застала в России, — немцы, венгры, чехи, австрийцы, турки — постепенно становились верными союзниками российского пролетариата. Публикуемые в сборнике документы рассказывают и об участии иностранных рабочих из Китая и Финляндии, Кореи и Бельгии в боях за Советскую власть в Петрограде и Москве, в Белгороде, Костроме, Одессе, Киеве и в других городах и районах страны. Представитель революционного польского полка на заседании Московского Совета 23 ноября 1917 года заявил: «Я должен сказать вам, товарищи, что польский революционный полк в числе 16 000 штыков с первых дней революции стоял на точке зрения «вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов». Теперь, когда мы этого добились, Московский Совет рабочих и солдатских депутатов найдет полную поддержку в польском революционном полку...»

Военнопленные Томского лагеря под руководством Бела Куна и Ференца Мюнниха принимали активное участие в установлении власти Советов в Томской губернии. Созданная в Одессе интернациональная Красная гвардия, в которую входили китайцы, чехи и югославы, участвовала в вооруженной борьбе за Советскую власть.

В Петрограде был создан Революционный союз китайских рабочих, в Москве — Союз военнопленных социал-демократов интернационалистов, в Омске — Революционный центр венгерских военнопленных и т. д. Подобные революционные организации возникали на Урале, Украине, в Сиби-

ри, Поволжье. Совещание китайских и корейских рабочих организаций в России, происходившее в конце 1918 года в Петрограде, обратилось к китайскому народу с воззванием. Оно заканчивалось словами: «Китайские рабочие в России волею судьбы оказались ныне в среде авангарда мировой революции. Они должны помнить, что судьба революции Китая тесно связана с судьбой русской рабочей революции. Только в тесном единении с русским рабочим классом возможна победа революции в угнетенном Китае. Да здравствует солидарность русского и китайского пролетариата!»

Собравшись на митинг в феврале 1918 года в Петрограде, военнопленные немцы, австрийцы, чехи и венгры приняли следующую резолюцию: «Новое наступление немецкого и австро-германского империализма явится покушением не только на революционную Россию, но и на общее дело пролетариев всех стран. Судьба Советской республики прежде всего теснейшим образом связана с будущим всемирной пролетарской революции, потому задача и долг каждого военнопленного — защищать эту республику от всяких покушений всеми силами и всеми возможными средствами. Собрание призывает каждого военнопленного все свои силы предоставить в распоряжение революции, служить ей с оружием в руках».

Революционный центр венгерских военнопленных в Омске опубликовал воззвание: «К оружию! В опасности общая родина социалистов. Наша родина, наше сокровище, наше будущее, единственное наследство наших детей, наших внуков — революция!.. К оружию! Это призыв русского правительства рабочих и крестьян. К оружию! Это и наш призыв, призыв революционного комитета венгерских военнопленных».

В книге напечатаны интересные документы, характеризующие организацию и деятельность Федерации иностранных коммунистов, возглавлявшейся Бела Куном, формирование интернациональных частей Красной Армии, политическую работу среди иностранных трудящихся. Документы рассказывают и об организации ряда интернациональных частей на территории Советской страны. В Москве Тибор Самуэли организовал 1-й коммунистический интернациональный отряд. Сан Фу-ян — китайский батальон. Интернациональные отряды были сформированы Ярославом Гашеком в

Самаре, Келлиером Шандором — в Саратове, Пау Ти-саном — во Владикавказе и т. д. Формирование этих частей возглавляло управление, руководителем которого был герой гражданской войны, патриот чешского народа Славояр Частек. Успешно проходила организация китайских батальонов в Самаре и Сибири. Как сообщала газета «Красная Армия» в июне 1918 года, «строгая дисциплина и выдержанность дают отрядам непоколебимую стойкость и силу: с боев они выходят последними».

Большой интерес представляют для читателя документы, посвященные боевым действиям интернациональных частей Красной Армии против белогвардейцев и интервентов, подвигам 216-го интернационального полка, Китайского полка, кавалерийского и стрелкового полков имени Винермана, Финского отряда, Самарского интернационального полка и многих других частей.

Привлекают внимание страницы книги, отражающие борьбу китайских и корейских революционных отрядов за утверждение власти Советов на Дальнем Востоке. Героически боролся против колчаковцев Китайский полк в составе 29-й стрелковой дивизии. В районе станции Выя полк попал в окружение; ценой героических усилий бойцы разгромили белогвардейцев, вышли из окружения и соединились с частями Красной Армии. Смертью героя погиб командир полка Жен Фу-чен. Газета «Коммунар» писала: «Товарищ Жен Фу-чен пользовался большим влиянием среди китайцев, и все свое влияние и авторитет среди китайцев он принес на службу Советской России. Китайские части, организованные им, были наиболее стойкими и надежными частями у нас на фронте... Память о сыне чужого народа, о тов. Жен Фу-чене, отдавшем свою жизнь за дело угнетенных всего мира, будет свято храниться борцами революции».

В сборнике опубликованы материалы о восьмидесяти храбрцах — венгерских солдатах-интернационалистах, сражавшихся против белогвардейских банд Бичерахова на Северном Кавказе.

В бою в районе села Верхний Икорец на Южном фронте смертью храбрых пало более двухсот бойцов Люблинского интернационального батальона. Командир батальона в донесении командиру 1-го Московского советского полка писал: «Люди дра-

лись, не могу, как и описать, нет слов тому героизму, которое они проявили. Я еще за время войны не видал, чтобы так дрались солдаты. Это истинные борцы революции».

В книге запечатлен замечательный образ Олеко Дундича. С. М. Буденный на страницах газеты «Красный кавалерист» (март 1920 года) писал о нем: «С такими героями, как тов. Дундич, Красная Армия трудящихся непобедима».

За героизм и отвагу многие интернациональные части, их командиры и красноармейцы были награждены боевыми орденами Красного Знамени. Среди них — Олеко Дундич, главком войсками в Северо-Западной Монголии Сухэ-Батор, его помощник Чойбалсан, Людвиг Нелюта, Ю. Вуйчик, красноармейцы Пасты Степан, Р. Розунбуш, Г. Шурман, Чу Чин-лин, И. Немиш, комиссар полка Гонде-Роте, летчик Петкевич и многие-многие другие.

Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с советским народом в значительной степени способствовало разгрому внешних и внутренних врагов первого государства рабочих и крестьян.

В речи на митинге Варшавского революционного полка, отправлявшегося на фронт, В. И. Ленин говорил: «Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать святые идеи и, борясь вместе с вчерашними врагами по фронту — германцами, австрийцами, мадьярами, на деле осуществлять интернациональное братство народов. И я, товарищи, уверен, что если вы сплотите все военные силы в могучую интернациональную Красную Армию и двинете эти железные батальоны против эксплуататоров, против насильников, против черной сотни всего мира с боевым лозунгом: «смерть или победа!», — то против нас не устоит никакая сила империалистов!»

В составлении сборника помогли работники архивных учреждений ряда социалистических стран, приславшие ценные документы, относящиеся к истории международной пролетарской солидарности. Часть документов вошла в рецензируемую книгу, остальные будут использованы при подготовке очередного документального сборника.

А. СЕРЕДА.

Американская петля над Азией

В одном из номеров американского журнала «Каррент хистори» помещена карта бассейна Тихого океана. От США ко многим странам Юго-Восточной Азии тянутся жирные черные линии, которые опутывают их, подобно щупальцам спрута. Подпись к карте гласит: «Зависимость США по стратегическому сырью от слабо развитых районов». Зависимость спрута от его жертвы!.. Далее журнал сообщал своим читателям, что в США ввозится каучук, олово, ртуть, уран, медь, бериллий, бокситы, нефть.

Правда, журнал не сообщил, какое количество необходимого им сырья Соединенные Штаты получают за границей. Об этом можно узнать из книги Ю. Смирнова и В. Софинского «СЕАТО — агрессивный блок колониальных держав». Авторы указывают, что из тридцати восьми важнейших видов стратегического сырья США полностью обеспечены только девятью. Производство США целиком зависит от импорта олова и промышленных алмазов. Импортируется 47 процентов свинца, 41 процент меди, 34 процента цинка, 90 процентов кобальта и марганца, 65 процентов вольфрама, 75 процентов шерсти.

Не удивительно поэтому, что американские монополии видят в странах Юго-Восточной Азии лакомый для себя кусок. Накануне второй мировой войны здесь производилось около 90 процентов мировой продукции натурального каучука, 70 процентов олова, 20 процентов свинца, 17 процентов цинка, 20 процентов вольфрама. В настоящее время доля этих стран в мировом производстве важнейших видов стратегического сырья еще более возросла.

Стремясь к экономическому и политическому закабалению стран Юго-Восточной Азии, США стали инициаторами образования различных агрессивных союзов и блоков. Главную роль среди них, несомненно, играет СЕАТО.

Участниками СЕАТО являются США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Пакистан и Таиланд. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что в «оборонительный союз» СЕАТО вошли только три страны Юго-Восточной Азии (Филиппины, Пакистан и Таиланд) с общим населением в сто двадцать миллионов человек. А в странах этого же района, которые остались вне СЕАТО, население составляет миллиард двести миллионов человек, то есть в десять раз больше. При этом не следует забывать, что Индия, Индонезия, Бирма, Цейлон и некоторые другие страны подверглись очень сильному давлению со стороны империалистических держав, стремившихся вовлечь их в сколачиваемый ими военный союз.

Таким образом, ясно, что СЕАТО не отвечает интересам подавляющего большинства населения стран Юго-Восточной Азии и не имеет никакого отношения к их обороне. В совместной декларации правительства СССР и правительства Китайской Народной Республики (12 октября 1954 года) решительно осуждалось создание СЕАТО, «так как в основе этого блока лежат империалистические цели его инициаторов, направленные прежде всего против безопасности и национальной независимости стран Азии, равно как и против интересов мира в районе Азии и Тихого океана».

Авторы двух рецензируемых работ, в известной мере дополняющих одна другую, и уделили основное внимание выяснению агрессивной сущности СЕАТО.

В своей книге «СЕАТО Безопасность или угроза?» индийский журналист Каранджия сумел собрать большой фактический материал, разоблачающий империалистическую политику Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии. К началу пятидесятых годов, пишет Каранджия, США уже продвинули свои военные границы от Аляски в Китайское море и Индийский океан. Американцы не признают законного правительства Китая, всячески поддерживая свою марионетку — предателя Чан Кай-ши. Они вмешиваются во внутренние дела Таиланда, Индонезии, Бирмы. Они спровоцировали и возглавили две войны — против Кореи и против Индокитая, создали ряд агрессивных блоков и союзов.

Автор дает яркую характеристику американскому империализму и его провозвестнику Джону Фостеру Даллесу. Однажды Каранджия обратился в американское консульство с просьбой выдать ему визу

Р. Каранджия. СЕАТО. Безопасность или угроза? Перевод с английского. Редактор В. Пугачев. 131 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1957.

Ю. Смирнов, В. Софинский. СЕАТО — агрессивный блок колониальных держав. Редактор П. Еронин. 144 стр. Госполитиздат. М. 1957.

на поездку в США, но получил в грубой форме отказ как «пособник коммунизма». Полный негодования, он покинул консульство и невольно бросил взгляд на американский флаг. «И мне показалось,— замечает он,— что яркость звезд и полос померкла и на месте их обозначились черный череп и скрещенные кости пиратского флага антикоммунизма. Этим новым символом осенила себя Америка, вступая в борьбу против азиатского национализма во главе объединения империалистических европейских держав».

Джона Фостера Даллеса автор характеризует как нового Цезаря «века Америки» с жевательной резинкой во рту, который испускает «тарзаны крики», призывая сплести его пиратский «свободный мир».

Каранджия разоблачает лицемерие организаторов СЕАТО, пытающихся прикрыть истинную природу этого блока ссылками на верность, которую якобы сохраняют его участники Уставу ООН. В действительности же СЕАТО «представляет собой вопиющее нарушение духа и буквы Устава Организации Объединенных Наций. Он носит неприкрыто агрессивный характер и открыто заявляет о намерении его участников вмешиваться во внутренние дела других стран».

В последней главе книги, носящей название «Бандунг отвечает СЕАТО», рассказывается о противодействии народов Азии коварным планам империалистов. Бандунгская конференция наглядно продемонстрировала, что народы, недавно обретшие свободу и независимость, полны решимости отстаивать их до конца и бороться против колониализма, в какой бы форме он ни проявлялся. По словам Неру, «ныне Азия уже не является более пассивной; она была достаточно пассивной в прошлом. Это уже более не покорная Азия; она и так слишком долго проявляла покорность. Сегодняшняя Азия динамична, Азия полна жизни».

В заключение автор пишет, что «нужны новые Бандунги, которые продемонстрируют еще большее единство и сознание необходимости коллективной безопасности».

В книге «СЕАТО — агрессивный блок колониальных держав» разоблачается колониалистская политика не только США, но также Англии и Франции.

Авторы разбирают тезис американской пропаганды о том, что экономическая и техническая «помощь» США слаборазвитым странам якобы помогает последним

укреплять свою независимую экономику и содействует их развитию.

Несмотря на широковетательные обещания, слаборазвитые страны получали от США лишь подачки, а не долгосрочную экономическую и финансовую помощь, в которой они крайне нуждаются. США навязывают им такие условия, которые ведут к прямому вмешательству во внутренние дела этих государств. Обычно первым условием является обязательство принять многочисленных американских советников и экспертов. Одновременно США требуют от слаборазвитых стран представления подробной информации о состоянии их промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

Авторы подчеркивают, что «помощь» предоставляется на условиях вовлечения этих стран в агрессивные военные блоки, подписания совместных военных пактов, на условиях поддержки американской внешней политики.

Экономическая «помощь» самым тесным образом переплетается с «военной помощью». Журнал «Каррент хистори» писал, что в 1957 году из ассигнований на иностранную помощь только десять процентов будет истрчено на экономическую «помощь», остальные пойдут на военную «помощь».

Большое внимание уделяют авторы противоречиям внутри СЕАТО, ослабляющим этот блок. В первую очередь это касается противоречий между США и Англией, затем между США и Францией и, наконец, противоречий между западными империалистическими странами — членами СЕАТО и их азиатскими «союзниками».

В книге приведены многочисленные цифровые данные, показывающие усиление роли американского капитала в странах Юго-Восточной Азии после второй мировой войны за счет ущемления интересов английских и французских монополий. Но западноевропейские монополии, особенно английские, не собираются капитулировать без боя. В своих доминионах и колониях Англия еще продолжает занимать довольно прочные экономические позиции. Ее капитал в странах Юго-Восточной Азии в несколько раз превосходит американский.

Книга Ю. Смирнова и В. Софинского завершается рассказом о борьбе миролюбивых народов Азии против колониализма.

События последнего времени еще раз подтвердили тот факт, что СЕАТО является орудием империалистических держав для

подавления национально-освободительного движения в странах Азии. В марте 1958 года в Маниле состоялась очередная сессия СЕАТО, где под руководством Даллеса были разработаны новые планы подрывной деятельности против миролюбивых государств Азии.

Империалистические державы, и прежде всего США, грубо вмешиваются во внутренние дела Индонезии, поддерживают мятежную клику Хусейна—Шафруддина, выступившую против законного индонезийского правительства. По сообщениям иностранной печати, банды мятежников обучаются военному делу под руководством американских инструкторов; США снабжают их вооружением и снаряжением; американские самолеты, пилотируемые чанкайшистскими и филиппинскими летчиками, бомбят мирные индонезийские города и села.

Однако империалистам США не удалось

запугать свободолюбивый индонезийский народ, заставить его отказаться от защиты своей независимости. Войска мятежников на Центральной Суматре разгромлены.

Справедливая борьба индонезийского народа против колониализма находит сочувствие и поддержку во всем мире. 15 мая этого года Советское правительство сделало заявление, в котором решительно осудило агрессивные действия империалистических государств, вмешательство которых в дела Индонезийской республики создает угрозу миру в Юго-Восточной Азии. С заявлениями протеста выступили также КНР, Индия, Бирма, ОАР и некоторые другие страны.

Обе рецензируемые книги приводят ряд непреложных исторических фактов, говорящих о том, что наступил закат господства империализма на Востоке.

Кандидат исторических наук

В. ПОПОВ.

★

В странах Арабского Востока

Капиталистические монополии, несмотря на яростную конкурентную борьбу на международных рынках, быстро находят общий язык, когда дело касается совместной вооруженной интервенции против арабских народов — законных владельцев нефтяных богатств. Нефть, добываемая в странах Арабского Востока, имеет большое значение не только как важнейший экономический ресурс колониальных держав, но и как военно-стратегическое сырье: она легко может быть использована для снабжения армий юго-восточного командования НАТО.

Сейчас положение на Арабском Востоке снова крайне обострилось. Вооруженная интервенция США в Ливане явилась грубейшим военным вмешательством во внутренние дела этого государства.

Решительно выступил против империалистов и их прислужников народ Ирака.

У свободолюбивых арабских народов есть надежные друзья. Советское государство, с первых же дней своего существования выступившее в защиту суверенных прав народов Востока, неуклонно проводит эту линию в своей внешней политике.

И. Левин и В. Мамаев. Государственный строй стран Арабского Востока. Ответственный редактор В. Ф. Котон. 312 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1957.

В 1944 году Советское правительство признало независимость Сирии и Ливана. Именно благодаря твердой позиции Советского Союза была сорвана кровавая авантюра против Египта и предотвращено готовившееся нападение на Сирию. Египетский народ отстоял свои права на Суэцкий канал. Гамаль Абдель Насеру, президенту Египта — страны, принявшей активное участие в Бандунгской конференции, — принадлежат слова: «Когда побежденная нация почувствует дуновение свободы, она превращается в непобедимого великана; а ветры свободы уже подули».

Одним из замечательных результатов распада колониальной системы является возникновение одиннадцати суверенных арабских государств, расположенных на огромном пространстве от Атлантического до Индийского океана и от Средиземного моря до экватора. Близок час, когда свою национальную независимость завоеуют и последние колонии в арабском мире — Алжир и Южная Аравия.

Исследование политического строя молодых арабских государств представляет собой важную задачу, особенно учитывая рост экономических, политических и культурных связей между Советским Союзом и арабскими странами.

Монография И. Левина и В. Мамаева

является первым опытом решения этой задачи. Авторы исследуют государственный строй Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Иордании, Йемена, Саудовской Аравии, Ливии. Возникновение государственного строя Туниса, Марокко и Судана, завоевавших независимость в 1956 году, а также такой важный этап в объединении арабских народов, как создание Объединенной Арабской Республики, заключение союза между этим государством и Йеменом (март 1958 года) и ряд других политических событий произошли уже после того, как книга была сдана в печать.

Исследование построено на богатом фактическом материале. На протяжении многих лет авторы систематически изучали обширный круг источников, в том числе текущую прессу на многих языках, и в первую очередь, конечно, на арабском.

Содержание книги не ограничивается исследованием государственно-правовых актов. В ней широко представлены факты экономической жизни, национально-освободительного и рабочего движения, внешней политики, трудового и аграрного законодательства, деятельности государственного механизма.

Значительные различия в уровне социально-экономического развития отдельных арабских государств обусловили различия государственно-правовых форм. Политическая эволюция конституций арабских государств привела в одних случаях к укреплению демократических парламентских порядков, в других — к установлению режима, фактически ликвидировавшего права и свободы граждан.

Авторы делят арабские государства на три группы: неограниченные монархии, государства с зачаточным развитием парламентских учреждений и государства с более развитыми парламентскими учреждениями. Такое деление (довольно условное) определило в известной степени некоторую повторяемость отдельных моментов и отчасти усложнило структуру книги.

В работе дан обстоятельный анализ конституций арабских государств. Подчеркивается, что тот или иной политический режим зависит от размаха антиимпериалистического и демократического движения и от удельного веса в парламенте национальных элементов.

Читатель знакомится с ролью парламентских учреждений и органов исполнительной власти, а также с различными полити-

ческими партиями. Наряду со старыми партиями, возглавлявшимися крупнопомещичьими и крупнокапиталистическими элементами, появились новые партии, тесно связанные с национальной буржуазией и примыкающими к ней слоями. Новые партии — исламистские, националистические и социал-реформистские — объединяет общее стремление отстаивать национальную независимость страны. Большинство партий второй и третьей групп борется за установление и укрепление демократических порядков, за аграрную реформу, прогрессивное трудовое законодательство. Это создает почву для единого фронта всех патриотических элементов.

Большой интерес представляют последние главы книги. Они рассказывают о том, как эволюционировал политический строй Египта после 1952 года, о Лиге арабских государств и о борьбе арабских народов за независимость.

Давнишнее стремление арабских стран к единству, их солидарность являются крупным международным фактором. Авторы подробно рассматривают экономические и другие причины этой исторической тенденции, ее идеологическое обоснование в работах политических мыслителей и различные проекты объединения арабских стран. Стремление к солидарности, все более крепнущее среди арабских народов, усиливает их сопротивление планам империалистов, стремящихся вовлечь их в военные блоки под эгидой США и Англии.

Виднейший идеолог арабского национального движения XIX века, прогрессивный мыслитель Адиб Исхак выдвинул идею объединения арабов от Марокко до Ирака на чисто национальной основе, независимо от религии. Он указал, что такое объединение явится единственным способом вернуть арабам их права, которых они добиваются.

В настоящее время программа объединения арабов, пишут авторы, связывается в трудах ряда авторов (Зурейк, Зиада, Хусри и другие) с концепцией единой арабской нации, характеризуемой общностью языка, культуры, исторических традиций, географических условий, национального характера.

Государственное объединение всех арабских стран или значительной их части стало программным требованием большинства политических партий. Важная роль здесь принадлежит египетскому народу. Египет яв-

ляется крупнейшим центром арабской культуры. Выходящие в стране книги, журналы, газеты читаются во всех арабских государствах. Авторы приводят такие факты, как постройка египетскими техниками радиостанции в Йемене. Во многие страны Арабского Востока приезжают учителя-египтяне. Египетские фильмы широко демонстрируются в других арабских странах и далеко за их пределами.

Важнейшим шагом на пути объединения арабских народов явилось, как мы уже говорили, образование Объединенной Арабской Республики. Все более укрепляются связи арабских стран, обретших свою независимость, со странами демократического лагеря.

Ширится и растет на Арабском Востоке движение в защиту мира. Оно направлено против империалистов и их пособников, стремящихся вновь закабалить арабские страны, использовать их территорию в качестве военного плацдарма. Это движение по своему характеру тесно смыкается с национально-освободительной борьбой арабских народов.

Содержательная книга «Государственный строй стран Арабского Востока», несомненно, поможет читателям расширить представление о странах, к которым в настоящее время приковано внимание всего мира.

*Кандидат юридических наук
А. СПЕКТОРОВ.*



Прошлое русской периодической печати

Глубокое, конкретное изучение того или иного периода истории страны невозможно без свидетельств периодической печати, живо и непосредственно откликавшейся на все более или менее важные события. Но крайне неблагоприятной — с точки зрения результатов и огромного количества затраченного труда — была бы попытка ориентироваться без верного помощника — поводыря среди густого леса газет и журналов, давно уже ставших библиографической редкостью. Таким «поводырем» являются различные указатели.

Понятно, какую огромную помощь самым различным кругам читателей призван оказать справочник «Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917)», особенно если учесть, что уже в те годы в России выходило более двадцати тысяч различных изданий. Авторы не ставили своей целью дать исчерпывающую характеристику всех тогдашних газет и журналов — это потребовало бы многих томов. Всего в справочнике описано около тысячи изданий. Главную свою задачу они видели в том, чтобы возможно полнее представить периодические издания, связанные с деятельностью большевистской партии.

Сложный и кропотливый, но благодарный труд, проделанный авторами, явился первым опытом аннотированной библиографии печати предреволюционного периода.

Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917). Справочник. Авторы-составители М. С. Черепанов, Е. М. Фингерит. Редактор К. Бойно. 352 стр. Госполитиздат. М. 1957.

Мы находим в справочнике описание большевистских изданий, вышедших как в России, так и за границей, в столичных городах — Петербурге и Москве — и в провинциальных, на русском языке и на языках других народов бывшей Российской империи. Авторы учли и такие газеты большевистского направления, существование которых определялось лишь одним-двумя номерами.

За строками библиографических справок встают волнующие странички героической истории нашей партии, ее мужественной борьбы с царским произволом, с идейными противниками. Вновь и вновь мы обращаемся мыслью к ее неутомимым деятелям, начинаем более полно оценивать величественную роль большевистской печати в воспитании кадров партии и масс трудящихся.

Правда, порой аннотации излишне кратко характеризуют некоторые издания. Так, например, рассказывая о большевистской газете «Новая жизнь», авторы ограничились лишь формальными указаниями на то, что редактором-издателем газеты был поэт Н. Минский, но умолчали об обстоятельствах внутриредакционной борьбы, которую вел В. И. Ленин против Минского, пытавшегося использовать орган партии для проповеди антимарксистских идей.

В предисловии к рецензируемой книге авторы указывают: «Основную часть справочника составляет хронологический список изданий. Аннотации газет и журналов расположены в нем по годам». Поскольку год

появления издания стал определяющим признаком систематизации, в справочник были включены не наиболее важные из всех существовавших в период 1895—1917 годов газет и журналов, а лишь те из них, которые появились в указанный период. Вот почему многие издания, возникшие до 1895 года и продолжавшие выходить много лет спустя, вовсе не попали в сборник, а гораздо меньшие по значению журналы и газеты, появившиеся в этот период, оказались зарегистрированными. Так, например, не попали в справочник «Русская мысль» (1880—1918), «Русский вестник» (1856—1906), «Вестник Европы» (1866—1918) и другие издания. Зато мы найдем описание мало чем примечательного журнала «Новости печати» (1895—1896), газеты «Сын отечества» (существовавшей всего год), сатирического журнала «Волшебный фонарь» (всего вышло восемь номеров), о котором авторы справочника сами замечают, что «издание популярностью не пользовалось», черносотенного еженедельника «Двуглавый орел», выходившего мизерным тиражом, и т. п. Число подобных примеров можно увеличить во много раз.

Иногда для авторов решающим критерием является дата возникновения не издания, а только дата изменения его названия, хотя само издание выходило раньше. Это, в частности, помешало авторам в должной мере отразить участие марксистских публицистов в периодической печати.

Почти все большевистские издания, возникшие после 1895 года, включены в справочник. Однако известно, что Ленин и ряд революционных марксистов, в том числе Г. В. Плеханов, использовали для своих печатных выступлений не только партийные органы, но и различные легальные издания. Из последних многие начали выходить до 1895 года, а потому и не описаны в справочнике. Отсутствуют, например, сведения о таких изданиях, как «Научное обозрение» (1894—1903), «Новое слово» (1894—1897), «Образование» (1892—1909), «Самарский вестник» (1883—1904).

Конечно, хронологический принцип построения библиографии периодической печати сам по себе вполне правомерен.

Примером может служить известный труд Н. Лисовского «Русская периодическая печать. 1703—1900», где представлена история развития периодической печати от ее зарождения до начала нынешнего века. Но в интересующем нас справочнике этот принцип ограничил возможности авторов. При неполноте сборника решающим критерием отбора должна была стать общественная и литературная значимость изданий.

В книге есть и другие недостатки. Описывая журнал или газету, авторы обычно указывают, если это имело место, на перемены в направлении, на преобразования в составе редакции и т. д. Но, аннотируя журнал «Современный мир», начавший выходить под таким названием в 1906 году, составители не указали, что до этого, с 1892 года, он выходил под названием «Мир божий» и что в нем сотрудничал Ленин. В аннотации, посвященной «Известиям отделения русского языка и словесности Академии наук» (1896—1927), следовало упомянуть издания, выходившие позднее и являвшиеся фактическим продолжением издания, описанного в справочнике, вплоть до выходящих и в настоящее время «Известий Академии наук СССР. Отделение литературы и языка». Но авторы об этом умалчивают, хотя в других аннотациях подобного рода сведения сообщаются.

Спрос советских читателей на справочно-библиографическую литературу продолжает неуклонно расти, а число таких изданий остается незначительным. Слабо ведется еще у нас научная разработка проблем библиографии. Пора и издательствам и книготорговым организациям изменить свое отношение к библиографическим трудам, особенно посвященным общественно-политической тематике. При правильной постановке дела библиография является серьезным орудием пропаганды и коммунистического воспитания. Именно так охарактеризовано ее значение в известном постановлении ЦК партии «О литературной критике и библиографии».

Кандидат филологических наук
З. ГЕРШКОВИЧ.

Ленинград.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. КРЕМЕНСКОЙ. Серебристые облака. Рассказы. «Советский писатель». М. 1958. 348 стр. Цена 5 р. 75 к.

«Стоя уже у порога этого мира, медлила она входить — страшно было: вдруг вместо живых шумных трав окажется перед нею необозримый, мертвый, пахнувший формалином гербарий».

Так раздумывает героиня одного из рассказов А. Кременской, собираясь посвятить себя изучению мира природы.

Читатель, перешагнувший вместе с героиней порог этого мира, встретится в книге Кременской не только с «темной, сонной», словно отяжелевшей после захода солнца водой в реке или со «стоящим насмерть» в борьбе с песками пустыни деревцом — «юношей», но и с энтузиастами и преобразователями этого мира — профессором Карагодиным, мелноратором Калугиным, зоологом Соколенко, людьми, самоотверженно борющимися за то, чтобы подчинить природу человеку.

ГЛЕБ ГОЛУБЕВ. Необычные путешествия. «Молодая гвардия». М. 1958. 222 стр. Цена 4 р. 75 к.

В этой книге рассказывается о путешествиях не совсем обычного рода.

Мы читаем здесь об истории девятилетних странствий «российского унтер-офицера» Филиппа Ефремова, который попал в плен в Бухару и бежал из нее через Гималаи в Индию, увидев по дороге много дикий и рассказав об этом диковинном в своей книге. Мы знакомимся с повествованием о двенадцатилетних скитаниях, пленении, бегстве из плена и важных географических открытиях, совершенных при этом великим китайским путешественником Чжан Цянем, первым проложившим путь из Китая в Среднюю Азию. Автор рассказывает о почти фантастическом по дерзости путешествии венгерского языковеда Арминия Вамбери, проникшего под видом дервиша в закрытую тогда для европейцев Бухару, и о великом жизненном и научном подвиге русского врача Даниила Заболотного, исходившего и изъездившего сотни тысяч верст,

чтобы понять, как возникает и почему распространяется эпидемия чумы.

«В жизни всегда есть место подвигам», — говорил А. М. Горький. Все описанные в книге истории необыкновенных путешествий хорошо подтверждают эти слова.

В. БОЛДЫРЕВ. Рассказы о Большой Волге. Саратовское книжное издательство. 1958. 84 стр. Цена 1 р. 10 к.

Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою...

Эти пророческие строки Н. А. Некрасова, приведенные в одном из очерков Болдырева, можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге, рассказывающей о сегодняшней кипучей жизни великой реки. Автор ведет читателя на строительство Саратовской ГЭС, где знакомит со смелыми и настойчивыми инженерами, которые создали новый по сравнению с первоначальным московским вариант проекта и добились большого экономического эффекта.

Увлекательно описана поездка по молодому Куйбышевскому морю, где разыгрываются настоящие штормы. В очерке «Шампань на Дону» автор рассказывает об орошаемых землях, где выращивают превосходный южный виноград.

Написанные живо, в форме путевых записок, очерки читаются с большим интересом.

РАФ. СКОМОРОВСКИЙ. Суровые годы. Роман. «Радянський письменник». Киев. 1957. 474 стр. Цена 6 р. 10 к.

«За окном, через улицу, сверкал безлистый городской сад, и каждого, кто подходил к садовым воротам, сад встречал неизменным вопросом: «Что ты сделал для фронта?» От дождя, от снега, от времени и полотнище и аршинные буквы поблекли».

Слова эти — «Что ты сделал для фронта?», — хорошо знакомые каждому советскому человеку, как бы рефрен романа

Р. Скоморовского. Ими определяется отношение автора к героям, героев друг к другу, моральное лицо того или иного персонажа — будь это работник оборонного завода, эвакуированного в глубь страны, или гражданин оккупированного фашистами города.

В романе много героев. У каждого из них своя судьба, своя личная жизнь, но вместе с тем это и трудная и героическая судьба всего советского народа в суровые годы войны.

С. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ. Сочинения в двух томах. Гослитиздат. М. 1958. I том — 670 стр. Цена 10 р. 50 к., II том — 614 стр. Цена 8 р. 85 к.

Прошло полвека со времени первого издания собрания сочинений замечательного русского писателя С. М. Кравчинского (литературный псевдоним — Степняк) — одного из блестящей плеяды революционеров 70-х годов.

За годы Советской власти неоднократно переиздавались его повести «Андрей Кожухов» и «Домик на Волге». Сейчас советский читатель сможет познакомиться с собранием сочинений Степняка, свободным от цензурных искажений, неизбежных в дореволюционном издании.

Кроме «Андрея Кожухова» и «Домика на Волге», в настоящий двухтомник вошли замечательные очерки «Подпольная Россия», содержащие портреты Я. Стефановича, Д. Клеменца, В. Осинского, П. Кропоткина, Д. Лизогуба, Г. Гельфман, В. Засулич, С. Перовской, очерки, посвященные выдающимся революционерам — Софье Бардиной, Ольге Любатович, Степану Халтурину, роман «Штундист Павел Руденко», драма «Новообращенный», общественно-политические и литературно-критические очерки и статьи Степняка.

Двухтомнику предпослана хорошая вступительная статья Д. Юферева, знакомящая с жизнью и деятельностью Степняка.

В. ИМЕДАДЗЕ. Горький в Грузии. Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1958. 236 стр. Цена 7 р.

В жизни и творческой биографии А. М. Горького Грузия, грузинский народ занимают, как известно, большое место. Еще во времена своих странствий по Российской империи молодой Горький с большим интересом изучал грузинскую культуру, знакомился с лучшими представителями грузинского народа, устанавливал связи с революционным тбилисским пролетариатом. В Тбилиси при поддержке А. Калужного он начал свою литературную работу. Автор аннотируемой книги подробно рассказывает об этом периоде жизни Горького. Он пишет о грузинских общественных деятелях, с которыми Горький познакомился через кружок ссыльных народовольцев, приводит интересные данные о работе Горького в Тбилисских железнодорожных мастерских, об участии его в Красногорской коммуне, о рождении первого рассказа писателя — «Макар Чудра».

Книга делится на две части. В первой речь идет о непосредственном пребывании Горького в Грузии, во второй рассказано о том огромном влиянии, которое оказал А. М. Горький на развитие грузинской общественной мысли и грузинской культуры.

А. ГРУЗДЕВ. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Критико-биографический очерк. Гослитиздат. М. 1958. 184 стр. Цена 5 р. 85 к.

Когда-то Мамин-Сибиряк говорил о своем творчестве, что, если бы собрать воедино все то, что он написал за свою жизнь, получилось бы около ста томов. Но, несмотря на такое обилие произведений писателя, критическая литература о нем сравнительно невелика.

Критико-биографический очерк А. Груздева в некоторой мере восполняет этот пробел. Правда, он не претендует, как говорит во введении сам автор, на полноту и всестороннее освещение жизни и творческого пути Мамина-Сибиряка. Тем не менее читатель этой книги познакомится и с биографией писателя и с его окружением и получит сведения о многих его произведениях и об особенностях его художественного таланта.

ЭСХИЛ. Орестея. Перевод с древнегреческого С. Апта. Гослитиздат. М. 1958. 174 стр. Цена 3 р.

Известно, как высоко ценил Маркс Эсхила, считая его и Шекспира двумя величайшими драматическими гениями, которых породило человечество. «Отцом трагедии» называл Эсхила Энгельс.

Одним из самых замечательных произведений Эсхила, венцом его творчества является «Орестея», состоящая из трех трагедий — «Агамемнон», «Жертва у гроба», «Эвмениды».

Автор перевода этих трех трагедий с древнегреческого стремился передать основной ритмический рисунок подлинника, заботясь при этом главным образом о благозвучии русского стиха. Перу С. Апта принадлежит также послесловие, рассказывающее об эпохе, в которой развивалось творчество Эсхила, и о художественных особенностях его творений.

МАТИСС. Сборник статей о творчестве. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 126 стр. Цена 4 р. 10 к.

Сборник посвящен творчеству известного французского художника и прогрессивного общественного деятеля Анри Матисса.

В него вошли статьи, высказывания, заметки и письма Матисса, дающие представление о том, какими виделись художнику его задачи и средства выражения.

В сборник включена также статья Т. Грица и Н. Харджиева «Матисс в Москве». Книга иллюстрирована и может представить интерес не только для художников и искусствоведов, но и для всех желающих ознакомиться с творчеством Матисса.

Г. КОГАН. У врат мастерства. «Советский композитор». М. 1958. 114 стр. Цена 5 р. 60 к.

Подзаголовок книги гласит: «Психологические предпосылки успешности пианистической работы».

Эта работа адресована в первую очередь молодым музыкантам, но значение ее шире: вопросы психологии пианизма рассматриваются автором в свете некоторых общих закономерностей, свойственных всем видам художественного труда. В ней ставятся вопросы воображения и памяти, сосредоточенности и распределения внимания, творческого волнения и творческого покоя и другие.

Предисловие Г. Г. Нейгауза подчеркивает, что книга эта дает «богатую пищу для размышлений» и что она имеет значение «не только для профессионалов... но и для всякого культурного читателя».

В. М. ХВОСТОВ. 40 лет борьбы за мир. Краткий очерк. Госполитиздат. М. 1958. 160 стр. Цена 2 р.

Исторический Декрет о мире. Он был единогласно принят II Всероссийским съездом Советов на следующий день после победы Октябрьской революции.

1921 год. Разгромлены интервенты, окончена гражданская война. В резолюции X съезда РКП(б) говорится: «Возможность новых, основанных на договорах и соглашениях, отношений между Советской республикой и капиталистическими странами должна быть использована, в первую очередь, для поднятия производительных сил республики, для улучшения положения... рабочего класса». В течение 1921—1922 годов Советским правительством были заключены торговые соглашения с Англией, Австрией, Германией, Италией, Чехословакией и другими странами. Затем следуют договоры о ненападении и нейтралитете с целым рядом государств...

Так, начиная от первого государственного акта Советской власти и до наших дней, прослеживает автор книги борьбу СССР за ослабление международной напряженности и за упрочение мира, рассказывает о ленинских принципах неизменно мирной внешней политики нашего государства.

В. Г. УДОВЕНКО. Дальний Восток. Экономико-географический очерк. Географгиз. М. 1957. 248 стр. Цена 6 р. 45 к.

«Почему-то повелось так,— пишет В. Г. Удовенко в введении к своей книге,— если пишут о Дальнем Востоке, то обязательно на первый план ставят непроходимые таежные чащи, где полноправным хозяином себя чувствует знаменитый уссурийский тигр». Автор показывает Дальневосточный край без нарочитой экзотики, таким, каким он является в наши дни, дни шестой пятилетки.

Книга подробно рисует современный Дальний Восток с его многочисленными предприятиями рыбной промышленности, раскинувшимися вдоль всего морского побережья, машиностроительными заводами

Приамурья и Приморья, статью Комсомольска-на-Амуре, нефтепромыслами Северного Сахалина, целлюлозно-бумажными комбинатами Южного Сахалина, горнодобывающими предприятиями Магадана. Индустриальный центр на востоке страны, форпост социализма у Тихого океана — таким предстает в книге Дальневосточный край.

АХМЕД КЕРУМА. Восставшие арабы в битве за Порт-Саид. Перевод с арабского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 151 стр. Цена 2 р. 90 к.

Борьба египетского народа за свои суверенные права на Суэцкий канал — такова тема этой книги.

Автор рассказывает об истории сооружения Суэцкого канала, о вероломстве англичан, нарушивших его нейтралитет в 1882 году. Египет был оккупирован английскими войсками, и фактическим владельцем канала стала Англия. В книге детально рассматриваются обстоятельства национализации Компании Суэцкого канала республиканским правительством Египта. Автор вскрывает двуличную политику Даллеса в ООН и Совете Безопасности, направленную на поддержку англо-франко-израильской агрессии, и стремление США стать арбитром и таким образом хозяином положения на канале.

Свою книгу Ахмед Керума прислал в Москву с надписью, в которой выражает глубокую признательность и уважение народам и правительству СССР за стойкую позицию в защите Египта и дела свободы, справедливости, мира.

ПРАЗДНИК МИРА И ДРУЖБЫ. Сборник. «Молодая гвардия». М. 1958. 292 стр. Цена 10 р.

«Нас принимали так горячо, что мы были тронуты до глубины души. Это наше счастье, что на земле существует советский народ. Мы мечтаем о том дне, когда наша родина будет свободной и когда мы также сможем принимать у себя молодежь разных стран» (Гей Нафи — студентка из Африки).

«После того, что я увидел в Советском Союзе, я готов стать и стану коммунистом» (Фарх Баруди — депутат сирийского парламента).

«Мое первое впечатление о советском народе было сильным и ошеломляющим, я был искренне и глубоко тронут морем улыбок, радостных лиц, так не похожих на те, которые я видел у себя дома и в Европе» (Лоуренс Рассел Шварц — США).

Эти идущие из глубины сердца слова мы находим в книге, посвященной VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов — яркому и красочному празднику, который надолго останется в памяти у всех его участников. В сборник включены статьи советских и зарубежных писателей и журналистов. Многие из материалов написаны специально для этой книги. Она обильно иллюстрирована.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Советская литературная общественность готовится широко отметить съезд писателей Азии и Африки, который состоится нынешней осенью в Ташкенте. Ряд московских издательств предусмотрел в своих планах на ближайшие месяцы выпуск книг, которые должны глубже познакомить наших читателей с творчеством азиатских и африканских прозаиков и поэтов.

Гослитиздат готовит к печати второй выпуск «Восточного альманаха». В нем, как и в первом выпуске, будут помещены произведения, впервые публикуемые на русском языке. В разделе, посвященном Индии, мы найдем стихи одного из крупнейших индийских поэтов Сумитранандана Панта (хинди), маратхских поэтов Кешавасута, Винаяка Джанардана Карандикара, виднейшего поэта средневековой Индии Кабира, классика Мирзы Хусейна Галиба (начало XIX века). Литература Объединенной Арабской Республики представлена именами Махмуда Теймура, Мусы Аш-Шафана и других. На страницах альманаха мы увидим имена поэтов Ливана Джебрана Халиль Джебрана и Мухаммеда Ибрагима Дахруба. Полностью будет опубликовано произведение непальского поэта Сиддхи Чарана Шреста «Непал завтра», а также стихи Сурья Лала. Читатель познакомится с произведениями недавно умершего прогрессивного писателя Пакистана Саадата Хасана Манто. Впервые у нас будут напечатаны избранные песни тибетского народа. Они очень поэтичны, в них преобладает любовная лирика, описания родной природы. Многие песни посвящены китайской Народной армии-освободительнице. В альманахе войдут произведения писателей Вьетнама, Кореи, Монголии, Судана, Ирана, Турции, Японии.

Большой интерес представляет роман китайского писателя Лю Э (конец XIX — начало XX века) «Путешествие Лао Цаня». По своему обличительному характеру роман в известной мере сходен со знаменитым «Путешествием из Петербурга в Москву» Лю Э в сатирических тонах рассказывает о быте и нравах чиновничества.

Собрание сочинений выдающегося современного китайского писателя и поэта Го Мо-жо составит три тома общим объемом в 65 листов. В первый том войдут его стихи из разных поэтических сборников. Второй том содержит исторические пьесы: «Близнецы», «Тигровый знак» и другие. В третьем томе — рассказы, а также статьи по вопросам истории языка и литературы.

В ближайшее время подписчики получат первые два тома восьмитомного издания «Книги тысячи и одной ночи» — замечательного памятника мировой литературы.

Вскоре на прилавках книжных магазинов появятся полные своеобразия сборники: «Индонезийские сказки» и «Сказки и стихи Афганистана».

К числу лучших произведений одного из классиков индийской литературы Прем Чанда принадлежит роман «Поле битвы». Автор, нарисовав яркую реалистическую

картину жизни индийского народа, затрагивает ряд первостепенно важных общественных проблем.

Наряду с рассказами в сборнике «Избранное» того же автора публикуется одна из его лучших повестей — «Нирмала». Ее лейтмотив — трагическая судьба индийской женщины, ставшей жертвой господствовавших обычаев.

К повести «Нирмала» примыкает по теме лирический роман выдающегося бенгальского писателя XIX века Гонгопадхая «Шорнолота». В нем повествуется о тяжелом жизненном пути индийской девушки.

«Сожженный дом» — так называется роман классика бенгальской литературы Шоротчондро Чоттопадхая, знакомящий с жизнью индийского общества начала нынешнего столетия.

Отдельным изданием выйдет отрывок «Сожжение змей» из знаменитой поэмы «Махабхараты».

К дошедшим до нас древнеиндийским сказаниям относится «Двадцать пять рассказов Веталы». В них действуют герои богатейшей индийской мифологии.

В сборник избранных произведений современного китайского писателя Чэн Дэн-кэ включены три повести, весьма популярные в Китае. Автор, участник боев Народно-освободительной армии, правдиво рассказывает о героизме народа в дни войны и в дни мирного строительства.

В романе китайского писателя XVIII века Цао Сюэ-цина «Сон в красном тереме» перед нами проходят картины повседневной жизни феодального Китая. С огромной художественной убедительностью автор раскрывает темные стороны феодализма и показывает его историческую обреченность.

Сочувствуем к «маленьким людям» проникнуты рассказы крупного японского писателя-реалиста Кункики Доппо, выступавшего на рубеже XX столетия. В сборник включен один из лучших образцов его пейзажной лирики — очерк «Равнина Мусаси».

Роман «Птичка певчая» был написан несколько десятилетий назад, но до сих пор остается любимой книгой турецкой молодежи. Автор, популярный писатель Решад Нури Гюнтекин, лирично и тепло рассказал об истории девушки, пережившей большую личную драму и уехавшей в провинцию учительствовать.

Немалое место в планах Гослитиздата отведено поэзии. Кроме уже упоминавшегося «Восточного альманаха», содержащего ряд стихотворных произведений, выйдет сборник «Новая арабская поэзия», в котором представлены поэты Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Судана, Туниса.

Готовягся сборник «Корейская классическая поэзия», книга «Четверостишия» китайского поэта Бо Цзюй-и.

Организованное в прошлом году Издательство восточной литературы при Институте востоковедения Академии наук СССР также подготовило ряд книг к съезду пи-

сателей Азии и Африки. Среди книг не только произведения этих писателей, но и критические работы советских авторов.

В сборнике «Индийский фольклор о Сипайском восстании» помещены образцы народного творчества, связанные с крупнейшим восстанием против английских колонизаторов.

В переводе академика И. Крачковского публикуется автобиографическая повесть арабского писателя Таха Хусейна, носящая название «Дни». Выйдут в свет сборник «Поэты Африки» и «Сказки Южного Сулавеси».

Две книги советских литературоведов посвящены анализу китайской литературы. Это очерки С. Д. Марковой «Китайская поэ-

зия в годы национально-освободительной войны (1937—1945)» и книга В. Ф. Сорокина «Формирование мировоззрения Лу Синя» — историко-литературный очерк раннего творчества китайского классика.

Работа Г. Ф. Гирса «Современная художественная проза на пушту в Афганистане» — первая у нас монография на эту тему.

«Литературы Индии» — таково название сборника статей о литературах хинди, бенгальской, тамильской, урду, пенджабской.

По мере приближения дня открытия съезда писателей Азии и Африки будет увеличиваться выпуск книг, приуроченных к этому знаменательному событию международной литературной жизни.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Ленин о товарном производстве и торговле в период строительства социализма. 328 стр. Цена 5 р. 60 к.

Пребывание Партийно-Правительственной делегации Советского Союза в Венгрии 2—10 апреля 1958 года. Сборник материалов. 240 стр. Цена 2 р. 50 к.

Шестой съезд РСДРП (большевиков). Протоколы Август 1917 года. 488 стр. Цена 9 р. 70 к.

Д. Аллахвердян. Национальный доход СССР. 152 стр. Цена 1 р. 85 к.

Х. Бербеков. Очерки истории Советской Кабардино-Балкарии. 160 стр. Цена 4 р.

А. Ефремов. Советско-австрийские отношения после второй мировой войны. 192 стр. Цена 2 р. 30 к.

Институт истории партии при Центральном Комитете Румынской рабочей партии. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Румынию. 64 стр. Цена 75 к.

М. Н. Иванова. Октябрьская революция и Иран. 64 стр. Цена 75 к.

Н. Исламов, В. Козачковский, Я. Нальский, А. Промптов. Таджикская ССР. Краткий историко-экономический очерк. 196 стр. Цена 2 р. 50 к.

М. И. Калинин. О корреспондентах и корреспонденциях. 264 стр. Цена 5 р.

Л. М. Кантор. Себестоимость в социалистической промышленности. 276 стр. Цена 5 р. 50 к.

Г. Кессельбреннер. Западный Ириан — неотъемлемая часть Индонезии. 80 стр. Цена 1 р.

В. Корюнов. Монополии и народ. 260 стр. Цена 5 р.

В. В. Куйбышев. Избранные произведения. 536 стр. Цена 8 р.

П. Никифоров. Муравьи революции. 180 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Николаев. На страже партийности. Из истории борьбы В. И. Ленина за осуществление принципа демократического централизма в партии (1895—1917). 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ньото. Октябрьская революция в России и Августовская революция в Индонезии. 32 стр. Цена 30 к.

Б. Е. Штейн. «Русский вопрос». 1920—1921 гг. 336 стр. Цена 8 р.

С. Щепров. Выдающийся революционер Н. Е. Федосеев. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ян Хин-шун. Из истории борьбы за победу марксизма-ленинизма в Китае. 176 стр. Цена 2 р. 30 к.

СОЦЭКГИЗ

М. К. Бункина. Внешняя экономическая экспансия западногерманских монополий. 200 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. А. Вознесенская. Экономические воззрения великих социалистов-утопистов Запада. 84 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. М. Лавровский, М. А. Барг. Английская буржуазная революция XVII века. 366 стр. Цена 12 р. 70 к.

Ф. Я. Полянский. Первоначальное накопление капитала в России. 416 стр. Цена 14 р. 30 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Н. Бирюков. Воды Нарына. Роман. 567 стр. Цена 10 р. 45 к.

М. Горький. По Руси. 407 стр. Цена 6 р. 70 к.

Давид Сасунский. Армянский народный эпос. 395 стр. Цена 11 р. 90 к.

Из китайской и корейской поэзии. 529 стр. Цена 9 р. 20 к.

С. Степняк-Кравчинский. Сочинения. В двух томах. Том 1. 670 стр. Цена 10 р. 50 к. Том 2. 615 стр. Цена 8 р. 85 к.

Юхан Сютисте. Стихотворения и поэмы. Перевод с эстонского. 341 стр. Цена 9 р. 35 к.

Иван Цанкар. Батрак Ерней и его право. Перевод со словенского. 63 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Дихан Абилев. Мелодия весны. Стихи и поэмы. 96 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Грибачев. Путешествия. 350 стр. Цена 7 р. 10 к.

Илья Груздев. Горький, 368 стр. Цена 7 р. 45 к.

Грузинская весна. Сборник. Перевод с грузинского. 176 стр. Цена 4 р. 40 к.

Догоним Америку! Сборник. 192 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Первенцев. Выход в океан. Очерк. 136 стр. Цена 2 р.

Праздник мира и дружбы. Сборник. 296 стр. Цена 10 р.

Олег Смирнов. Медвежий хребет. Рассказы. 176 стр. Цена 4 р. 5 к.

ДЕТГИЗ

А. Батров. Серебряная олива. Рассказы. 192 стр. Цена 3 р. 90 к.

В. Бреннеке. Эрих и школьная радиостудия. Перевод с немецкого. 168 стр. Цена 3 р. 45 к.

А. Гидаш. Шандор Петефи. Перевод с венгерского. 352 стр. Цена 7 р. 95 к.

К. Гладков. Энергия атома. 400 стр. Цена 8 р. 85 к.

Л. Гумилевский. С Востока свет! 248 стр. Цена 6 р. 30 к.

В. Кожевников. Заре навстречу. Повесть. Части I—II. 768 стр. Цена 14 р. 80 к.

А. Котовщикова. Неугомонные. Повесть. 128 стр. Цена 3 р.

С. Липкин. Манас Великодушный. Повесть о древних киргизских богатырях. 256 стр. Цена 5 р.

Ю. Нагибин. На озере Великом. Рассказы о детях. 48 стр. Цена 70 к.

Э. Офин. Степные капитаны. Повесть. 94 стр. Цена 2 р. 40 к.

Первое знакомство. Сборник стихов и рассказов. 176 стр. Цена 5 р. 75 к.

Н. Томан. Что происходит в тишине. Приключенческие повести и рассказы. 360 стр. Цена 8 р.

В. Цыбизов. Необычайные происшествия в Пеньках. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Действие ионизирующих излучений на неорганические и органические системы. 416 стр. Цена 20 р.

А. А. Зимин. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. 498 стр. Цена 29 р. 60 к.

Д. И. Менделеев. Периодический закон. 830 стр. Цена 33 р.

К. А. Пажитнов. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. Хлопчатобумажная, льно-пеньковая и шелковая промышленность. 425 стр. Цена 14 р. 60 к.

Проблемы развития промышленности и транспорта Якутской АССР. 458 стр. Цена 18 р. 35 к.

Развитие союза рабочего класса и крестьянства в СССР. Сборник статей. 342 стр. Цена 15 р.

Средняя Азия. Физико-географическая характеристика. 647 стр. Цена 42 р. 55 к.

Л. С. Цейтлин. Из истории научной мысли в России. (Наука и ученые в Московском университете во второй половине XIX века). 276 стр. Цена 5 р. 40 к.

ГЕОГРАФИЗ

Жюль Верн. Необыкновенные приключения экспедиции Барсака. 167 стр. Цена 3 р. 15 к.

И. М. Забелин. Астрогеография. 62 стр. Цена 1 р. 50 к.

Э. Лендж. В джунглях Амазонки. 94 стр. Цена 1 р. 40 к.

Н. И. Прошин. Страны Аравийского полуострова. 198 стр. Цена 3 р. 25 к.

Д. Шульц. Ловец орлов. 108 стр. Цена 1 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Генрих Белль. Хлеб ранних лет. Перевод с немецкого. 91 стр. Цена 2 р. 30 к.

Андрэ Боннар. Греческая цивилизация. Том первый. От Илиады до Парфенона. Перевод с французского. 255 стр. Цена 10 р. 90 к.

Петру Гроза. Я видел своими глазами страну мира. Перевод с румынского. 194 стр. Цена 5 р. 60 к.

Линия Паасикиви. Статьи и речи Юхо Кусты Паасикиви. 1944—1956 гг. Перевод с финского. 314 стр. Цена 9 р. 80 к.

Васко Пратолини. Метелло. Перевод с итальянского. 300 стр. Цена 9 р. 50 к.

Димитр Талев. Ильин день. Роман. Перевод с болгарского. 614 стр. Цена 22 р.

Луис Фюрнберг. Брат безмянный. Жизнеописание в стихах. Перевод с немецкого. 103 стр. Цена 1 р. 45 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев, В. В. Овечкин, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 18/VI-58 г.

Подписано к печати 17/VII-58 г.

А 07205. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 1186.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.